М. Горький

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

# РУССКАЯ ИСТОРИЯ

## С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

*в* 4-*х*

**ТОМАХ**

ОГИЗ

III-11731

Кров. 52

ПРОВ. 2000

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

# РУССКАЯ ИСТОРИЯ

## С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

II

ТОМ

Библиотека Ленингр. Гос. Инд. Ин-та
87109
им. А. И. ГЕРЦЕНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1933

## ГЛАВА VII

## СМУТА.

### 1. Феодальная реакция, Годунов и дворянство.

Кризис помещичьего хозяйства, как и кризис хозяйства крупных вотчинников в начале века, должен был иметь свои политические последствия. Тогда этим политическим результатом экономической революции была опричнина—ликвидация господства феодальной знати в пользу средних землевладельцев. Результатом экономической реакции должно было быть, хотя бы частичное и временное, возрождение политического феодализма.

Прежде всего старая знать далеко не была разгромлена Грозным столь полно, как бы хотел он и как кажется некоторым новейшим историкам. «Воздвигнуть из камней чад Авраама» на деле оказалось труднее, чем на бумаге. Уже один тот факт, что все окраины московского царства, т. е. всю его военную оборону, пришлось оставить в руках «земщины», т. е. феодальной боярской думы, достаточно знаменателен. Что опричнина как учреждение не пережила Ивана Васильевича ни одним днем, знаменательно не менее; и уже почти не удивляемся, когда слышим, что Грозный «приказал» своих детей—одного малолетнего, Димитрия, другого слабоумного, Федора—трем представителям старинных боярских фамилий: Ивану Петровичу Шуйскому, Ивану Федоровичу Мстиславскому да Никите Романовичу Юрьеву. Правда, последний был в близком свойстве с династией, а двое первых принадлежали к самым покладистым родам старой знати, Шуйские даже сами служили в опричнине, но ни один из них не был ее созданием, и все они, по местническим счетам, стояли на самом верху феодального общества. Эта прочность иерархического положения старых семей только подчеркивалась политическими злоключениями их отдельных членов: старшие представители и Шуйских, и Мстиславских гибнут в ссылке, а в поход против крым-

цев, в 1591 г. снова пришедших под самую Москву, главнокомандующим идет сын сосланного Мстиславского—Федор Иванович. Шуйские—признанные смертельные враги Годуновых, а во главе рати, двинутой Борисом Годуновым против Названого Димитрия, мы находим именно князей Шуйских, и в том числе самого ненадежного из них, Василия Ивановича, будущего царя. А сменяют Шуйских на этом посту князья Голицыны. Первый исторически известный проект русской конституции (договор с Сигизмундом 4 февраля 1610 г.) ставит во главе управления Россией боярскую думу, а после победы над сторонниками этой конституции садится на царский престол старый боярский род Романовых-Юрьевых. И при первом государе этого рода боярская дума, бог весть в который раз, имеет случай заявить, что за службу жалует царь «деньгами да поместьем, но не отечеством». Трещавшее уже в 1555 г. местничество дожило юридически до 1682 г., а фактически иной раз местничались между собою еще и члены петровских коллегий.

Но опричнина не только не добила старой знати—она создала новую. Выходцы из среднего дворянства, попав в приближенье к царю Ивану, очень скоро осваивались со своим новым положением и становились копией низвергнутого ими родовитого боярства. Типичным образчиком таких феодалов из опричнины был Богдан Яковлевич Бельский, «оружничий» Грозного, близкий к нему впрочем не по этой своей официальной должности, а по другим, неофициальным и гораздо менее почетным функциям. В последние годы жизни Ивана Васильевича, он, если верить одному современнику, хорошо знавшему служебные отношения этого времени, был «первоближним и началосоветником», хотя и не носил никакого думного звания: «сердце царя всегда о нем несытне горяше», и Грозный, что называется, глаз не сводил со своего любимца. Державшееся на таком, чисто индивидуальном, основании положение не могло быть прочным: едва Иван закрыл глаза, как Бельский увидал себя не у дел. Он сделал попытку использовать фактически безгосударное положение: один царевич был в пеленках, другой идиот; от их имени должен кто-нибудь управлять—почему не быть этим «кем-нибудь» Бельскому? В противоположность регентству Шуйских в малолетстве Грозного, мы не видим за этим кандидатом на регентство никакой общественной силы. Вся его надежда была на дворцовые связи—он был близок с Нагими, братьями матери маленького Димитрия—да вероятно на свою вооруженную челядь, с которой позже он явился в Москву поддерживать свою кандидатуру уже на царский престол. По крайней мере иначе трудно понять, как удалось ему захватить кремль, когда из рассказа летописи видно, что ратная сила, дети боярские и стрельцы, была не на его стороне. Вмешательство этой ратной силы решило дело: увидя направленную против кремля артиллерию, Бельский сдался,—не без боя однако, так как летопись говорит об убитых и раненых

при этом случае,—и не безусловно. Победившая сторона должна была ограничиться высылкой его из Москвы, сначала на воеводство в Нижний-Новгород, потом, повидимому, он жил в своих вотчинах, жил жизнью богатого феодала: «переезжая от веси в весь, во обилии тамо и покое мнозе пребываше». Единственным мотивом такого относительно Бельского поведения со стороны правительства, круто расправлявшегося со Мстиславскими и Шуйскими, мог быть лишь страх. Бывший «оружничий» Ивана Васильевича лично как землевладелец был очевидно настолько сильным человеком, что достать его в его имениях было не легкое дело, и он в то же время не был настолько опасен, чтобы стоило рисковать из-за этого новой смутой. Надежды вернуться к власти он все время не терял, и едва умер Федор Иванович, Бельский появился опять в Москве «со многими людьми», добиваясь теперь уже прямо царского престола. Ему еще раз пришлось убедиться, что одного своего «двора» мало, чтобы стать политической силой: он опять остался за флагом, и мы снова видим его в почетной ссылке. Но он и теперь не унялся: не удалось стать царем, он готов был удовольствоваться и удельным княжеством. На южной окраине Московского государства, куда его послали ставить города на рубеже против крымцев, он вел себя полным хозяином; на свой счет содержал ратных людей, щедрей, чем это могло делать московское правительство, строил города «по своему образцу», жил в них по-царски и величался будто бы, что Борис Федорович Годунов царь на Москве, а он, Бельский, царь здесь. Здесь он был конечно еще опаснее, нежели во внутренней России—он был теперь ближайшим соседом крымцев, а мы помним, что в подозрительных сношениях с крымцами московскую феодальную оппозицию подозревали еще при Грозном,—в то же время его противник уже крепко держал власть в руках и мог не стесняться. Бельского схватили, «двор» его был распущен, имения конфискованы, а сам он после позорного наказания был «назначен» уже «в места дальние». Он снова появляется на сцене только при Названом Димитрии, но в большую политическую игру играть теперь он уже не решался.

Борису Годунову удалось покончить с крупнейшим из новых феодалов, созданных опричниной. Но, присмотревшись ближе к нему самому и его карьере, мы увидим те же знакомые нам черты крупного феодального сеньера. Что у этого феодала оказалась политическая голова, это было индивидуальным исключением, не менявшим его объективного положения. Трагизм судьбы Бориса в том и заключался, что он был соткан из противоречий: разрешение этих противоречий закончилось катастрофой. За Годуновым в нашей исторической литературе прочно утвердилась репутация человека, отстаивавшего интересы «простого служилого люда, который служил с мелких вотчин и поместий»: иначе говоря, это был «дворянский» царь, в противоположность «боярскому» царю, каким рисуется обык-

новенно Василий Иванович Шуйский. Насколько верна традиционная характеристика этого последнего, мы увидим в своем месте. Что же касается первого, то сведение всей его политики, с начала и до конца, к отстаиванию дворянских интересов делает совершенной загадкой конец его царствования. Ведь именно дворянская масса и низвергла Годуновых, как мы скоро увидим. За что же она разрушила свое собственное орудие? За измену? Но в пользу какого же общественного класса, казалось бы, мог изменить Борис, преследовавший бояр мало чем лучше Грозного и закрепостивший крестьян? С другой стороны, если в его истории мы, вне всякого спора, имеем ряд фактов, позволяющих говорить о его «дворянской» политике,—мы имеем и ряд свидетельств довольно хорошо осведомленных современников-иностранцев, утверждающих в один голос что, «мужикам черным при Борисе было лучше, чем при всех прежних государях», и что за то они ему «прямили и смотрели на него, как на Бога». И если бы спросить самих дворян, под конец годуновского правления, они пожалуй назвали бы его крестьянским царем с такою же уверенностью, с какой современные историки объявляют его представителем помещичьего класса. А бояре далеко не все и не всегда были его врагами. С Романовыми у него было даже какое-то специальное соглашение, и едва ли не этому соглашению Борис больше всего был обязан царским престолом; с Шуйскими у него началось открытой схваткой, а под конец он доверял им, как мы видели, в самом важном для него и всей его семьи деле. Присматриваясь ко всему этому, мы видим, что «дворянский царь», «продолжатель опричнины»,—может быть, и не совсем неверная, но все же очень суммарная характеристика для такой сложной фигуры, какой был этот «рабоцарь», безо всякого «отечества», забравшийся на самый верх московского боярства.

Борис начал, повторяем, как один из магнатов опричнины—как Бельский, стало быть, только на более почетной роли. Личное влияние и семейное положение—вот что было исходной точкой его карьеры. Второй человек по влиянию на Грозного в последние годы его жизни,—первым был Бельский,—шурин старшего царевича, Федора, слабоумного, но «правоспособного», наиболее вероятного наследника Ивана Васильевича, Борис легальным путем достиг того, к чему его соперник стремился нелегально, стал своего рода удельным князем, или «принцем крови», если угодно. Иностранцы называют его «князем» (prince) и «правителем государства» (livetenant of the empire) уже через два года после смерти Грозного. Несколько лет позже это уже его официальный титул—московские дипломатические документы титулуют его «государевым шурином и правителем, слугою и конюшим боярином, и дворовым воеводой, и содержателем великих государств, царств Казанского и Астраханского, Борисом Федоровичем». Иностранцам объясняют, что «те великие государства орды Астрахань и царство

Казанское *даны во обдержанье* царского величества шурину» и что этот последний «не образец никому»—выше всех служилых князей, царей и царевичей. Он самостоятельно сносился с иностранными правительствами—с кесарем, с крымским ханом. Один литературный памятник, хорошо сохранивший то, что говорилось о Годунове в народных массах, приписывает царю Федору такие слова: «аз вам глаголю всем, да не докучаете мне во всяком челобитье, идите обо всяком деле бить челом болшему боярину Борису Годунову—*так бо царь государь и великий князь Федор Иоаннович изволил называть его болши́м*—аз убо указал *все свое царство строить и всякую расправу ему чинить*, и казнить по вине и миловать, а мне бы отнюдь ни о чем докуки не было» [1], а сам Федор Иванович, «прилежа к божественному писанию, во всенощных упражнялся пениях». Если бы понимать эти слова буквально, вышло бы, что Годунов фактически был царем задолго до своего избрания, что и утверждает цитируемый нами памятник, говорящий о Борисе: «только окаянному имени царского нет, а та власть вся в его руках». На деле народная фантазия, как всегда, преувеличивала—Годунов не был совсем один на самом верху феодальной иерархии. Но преувеличивать было что—личное, помимо всякой делегации от какой-либо общественной силы, положение Бориса Федоровича было такое, что мы напрасно стали бы искать в московской истории другого примера, исключая разве митрополита Алексея в дни юности Дмитрия Донского. Все более хронологически близкие к Годунову временщики ни в какое сравнение не шли, и когда одному московскому дипломату по поводу Бориса напомнили Алексея Адашева, дипломат был совершенно прав, возразив на это: «Алексей был разумен, а тот не Алексеева верста!» Адашев держался силою своего ума и поддержкой того общественного класса, который его выдвинул—у Годунова лично была в руках такая материальная сила, что судьбы Адашева он не боялся [2].

Если политика Бориса Федоровича с самого начала носит определенный классовый отпечаток, то лишь потому, что всякая политика вообще есть классовая политика и иной быть не может. Очень соблазнительна мысль: выставить худородного «царского любимца», «вчерашнего раба и татарина», вождем худородного же мелкопоместного дворянства в борьбе с родовитым боярством; но такая комбинация была бы исторически неверна. Противники Годунова очень старались уколоть его—задним числом, уже после его смерти—тем, что он произошел «от младые чади», но при его жизни этому факту придавали едва ли больше значения, чем тому, что Борис «писанию

[1] «Сказание о царстве царя Феодора Иоанновича», Русск. историческ. библиотека, т. XII, стр. 762—763.

[2] Доходы Годуновых с их земель современники определяли в 94 тыс. руб.—до 2½ млн. на наши деньги. Из одних своих вотчин они могли выставить целую армию.

божественному не навык»—был человек богословски необразованный, о чем противная партия тоже вспоминала всегда с удовольствием. Происхождение ни в каком феодальном обществе не играет самостоятельной роли, и родовой спеси московского боярства не надо преувеличивать: терпела же «избранная рада» в своей среде людей, взятых «от гноища», и шли же князья-рюриковичи, да еще из самых старших по родословцу, служить в опричнину вместе с Васькой Грязным и Малютой Скуратовым. Мелкий вассалитет мы видим впервые за Борисом в схватке совсем не с боярством, а с таким же магнатом опричнины, Бельским: в 1584 г. во главе толпы, собиравшейся бомбардировать московский кремль, были рязанские дети боярские Кикины и Ляпуновы, будущие вожди дворянства во время Смуты. И помогали они не одному Годунову, а всем «боярам», т. е. вообще были за наличное правительство против отдельного захватчика. А первый яркий и определенный случай классовой борьбы мы находим три года спустя, и опять борьба дворянства с боярством, сама по себе, была тут не при чем. Случай этот мы имеем в двух версиях: одна, несомненно, тенденциозная, другая знает внешнюю сторону дела, но не знает его подкладки. Но в одном дипломатическом документе московское правительство само проговорилось, что в 1587 г. «в кремле-городе в осаде сидели и стражу крепкую поставили» и что сделано было это «от мужиков торговых», которые «заворовали», т. е. устроили мятеж. Этим достаточно подтверждается то, что тенденциозный рассказ о событиях передает относительно «всенародного собрания московских людей множества», которое собиралось Годунова «со всеми сродниками без милости побити каменьем». Был антигодуновский бунт, устроенный московскими посадскими людьми, на стороне которых оказались не только Шуйские и другие «большие бояре», но и «премудрый грамматик Дионисий, митрополит московский и всея Руси». Вся эта обстановка дает знать, что дело шло никак не о более или менее случайных уличных волнениях,—что подготовлялся государственный переворот, для которого были придуманы и юридическая форма, и политическая по тогдашним понятиям мотивировка. Мотивировка состояла в том, что годуновское владычество грозит, будто бы, самому существованию династии, у Федора нет детей, и виновата в этом царица Ирина Федоровна, сестра Годунова. И вот митрополит, «большие боляре» и «от вельмож царевы палаты и *гости московские и все купецкие люди* учинили совет и укрепились между собою рукописаньем—бить челом государю царю и великому князю Феодору Ивановичу вся Руси, чтобы ему государю все земли царской своей державы пожаловать, *приняти бы ему второй брак*, а царицу Ирину Феодоровну пожаловати, отпустити во иноческий чин; и брак учинити ему царского ради чадородия». Делать из этого политического заговора («совет» на древнерусском языке именно и

обозначает то, что мы выражаем словом «заговор», говоря например о заговоре «декабристов») эпизод дворцовой борьбы внутри тесного круга московской придворной знати, может быть, и очень удобно с точки зрения художественного интереса,—читатели вероятно уже вспомнили сцену из «Царя Федора Ивановича»,—но исторически совершенно неправильно. Шуйским конечно и в голову не пришло бы рисковать головой в этом деле, не чувствуй они за собой «всенародного множества»—того самого, что за полвека сделало их отцов властными опекунами маленького Ивана Васильевича. Но соотношение сил на этот раз оказалось иное. После первого испуга, отсидевшееся в Кремле годуновское правительство круто расправилось с заговорщиками: Дионисий был сведен с митрополичьего стола, Шуйские и ряд других бояр были сосланы, а шестеро московских гостей казнены. Нет никакого сомнения, что решила дело не слабая воля царя Федора, а те самые «дети боярские», о присутствии которых в Кремле проговаривается все тот же упоминавшийся нами дипломатический документ. Старая гвардия Грозного, его опричный «двор», поддержала на этот раз уже лично Годунова, который кстати сказать в качестве «дворового воеводы» (командира гвардейского корпуса), был ее непосредственным начальником. В длинном ряду титулов Бориса Федоровича это звание, как видим, совсем не было пустым звуком.

Столкновение 1587 г. было самым крупным событием московской социальной истории в промежутке между смертью Грозного и избранием Годунова на царство. Оно отметило собою фактическое разложение опричнины, юридически переставшей существовать со дня смерти Ивана IV. Опричнина была блоком городской буржуазии и среднего землевладения; без посадских переворот 3 декабря 1564 г. вероятно не имел бы места. Раньше буржуазия дружила с боярством: оторвать ее от него и перевести на свою сторону было крупным успехом помещичьей партии. Теперь мы опять, как будто, встречаем комбинацию 1550 г.: «купецких людей» вместе с «большими боярами». Как будто,—потому что инициатива теперь едва ли не принадлежала «купецким людям», а «большие бояре» действовали не как класс, а как группа отдельных семей: ведь и сам Годунов был «большим боярином», и с ним была целая боярская партия, много «прельщенных им от царские полаты боляр», вместе с дворянами. Смысл события не в возрождении феодально-буржуазной оппозиции, а в появлении буржуазии как *самостоятельной* политической силы. В своих аристократических вождях московский посад разочаровался вероятно еще до опричнины: история с разводом Федора Ивановича унесла последние остатки их авторитета, если они еще были. Горькие слова московских купцов по адресу Шуйских: «помирились вы (с Годуновым) нашими головами», были надгробной эпитафией бояр-

ско-посадского союза. Характерно, что семейные связи с Шуйскими остались: экономически эти владельцы промысловых вотчин были теснее связаны с буржуазными кругами, чем со своими титулованными собратьями. Когда буржуазии понадобился «свой царь», она стала искать его в рядах этой семьи. В 1587 г. было еще далеко до этого критического момента. Первое политическое выступление «купецких людей» так далеко не метило, но что это было политическое событие, а не дворцовая интрига, тотчас же дала почувствовать внешняя политика Бориса. Опыт Ливонской войны сделал московское правительство очень миролюбивым: но в 1589 г. московским послам, отправленным, уже не в первый раз, договариваться со шведами насчет обратной уступки занятых последними русских городов, было предписано говорить «по большим, высоким мерам» и требовать *«в государеву сторону Нарву, Ивангород, Яму, Копорье, Корелу без наклад , без денег»*. Это был вызов, и в январе следующего, 1590 г., к Нарве двинулось русское войско с самим царем, Борисом Годуновым и Федором Никитичем Романовым. Московское правительство заявляло, что без Нарвы, т. е. без восстановления русской балтийской торговли, оно не помирится. Нарву однако взять не удалось, но в общем поход не был неудачен, и три других захваченных шведами города, Ям, Ивангород и Копорье, перешли обратно в русские руки. Вся эта цепь событий будет нам понятна, если мы припомним, что разрыв посадских с боярами и сближение их с «воинством» произошли именно на почве внешней политики и что оттолкнуть буржуазию от помещиков всего скорее могла неудача Ливонской войны. Теперь Годунов пробовал опять вести буржуазную политику, но осторожно и не настойчиво: буржуазия не была главной фигурой на его шахматной доске.

Если этот крупный феодал желал удержаться у власти, ему не на кого было опереться, кроме «воинства»: не его личное социальное положение определяло его политику, а, наоборот, политика обусловливала его социальные симпатии. Случай отблагодарить своих союзников представился ему очень скоро. В 1591 г., как мы уже упоминали, крымцы опять появились под Москвой. Захват города им теперь совершенно не удался. Опыт предыдущего татарского набега был хорошо использован московскими воеводами, были выработаны новые способы борьбы со степной конницей, и они оказались очень целесообразными. Современники приписывали особенное значение «гуляй-городу»—подвижной деревянной крепости на колесах, изобретате ем которой считали кн. М. И. Воротынского, хотя нечто очень похожее проектировалось уже давно в одном из «пересветовских» писаний. А в смысле собственно городской обороны Годуновым была очень усилена артиллерия,—памятником русского литейного искусства именно этой поры осталась известная «Царь-пушка». Словом, крымцы нашли перед собой

совсем не ту картину, что двадцать лет раньше, и ушли не сделав даже попытки взять город. Но для отражения их была уже стянута громадная армия, поднято на ноги все служилое землевладение центральной России и даже Новгорода и Пскова. Помещики прошлись, разумеется, не даром: за поход было выдано жалованье, выдано чрезвычайно для медлительного московского казначейства быстро,—вопреки повидимому обычаю его стали раздавать, не дождавшись конца кампании, когда войско еще стояло лагерем, и в усиленном размере, настолько усиленном, что сами служилые будто бы удивлялись и говорили, что в прежние времена даже родовитым людям за трудный поход и многие раны не давали того, что теперь получили рядовые дети боярские за войну, больше походившую на маневры, так как только московскому авангарду удалось увидеть крымцев, а главные силы далеко отстали от них. Если мы припомним, какое значение имело государево денежное жалованье в помещичьем хозяйстве, мы поймем, что ничем лучше привязать к себе массу «воинников» Борис не мог. Недаром всякий ропот против годуновского управления после этого похода надолго стих, о чем мы имеем свидетельство авторов, весьма мало расположенных к Борису Федоровичу.

Располагая громадными личными средствами и огромной котерией личных приверженцев, стало быть, примирив с собою, хотя бы отчасти, начинавшую поднимать голову буржуазию, имея вполне на своей стороне весь мелкий вассалитет, всю вооруженную силу государства, Борис стоял так прочно, что большего, казалось бы, ему нечего было желать. Царь Федор, «иже от поста просиявший», был еще не стар и мог иметь детей: год спустя у него родилась дочь, царевна Федосья, умершая в 1594 г. При детях этих, родных племянниках Годунова, его положение регента оставалось бы, по всей вероятности, столь же прочным, как и при их отце. Было бы чрезвычайно странно, если бы в таком положении человек стал себя «усиливать» при помощи преступлений, крайне неловко совершенных и как будто нарочно придуманных, чтобы скомпрометировать репутацию Бориса Федоровича. Между тем подавляющее большинство историков принимает, как достоверный, рассказ о том, что именно в эти годы с ведома, если не по прямому приказу Годунова, был убит младший сын Грозного, царевич Димитрий,—убит в тех видах, чтобы «расчистить Борису путь к престолу». Если бы нужна была специальная иллюстрация младенческого состояния у нас весьма важной дисциплины, именуемой «исторической критикой», и давления на нашу историческую науку обстоятельств и интересов, ничего общего ни с какой наукой не имеющих, лучшей, нежели «дело об убийстве Димитрия царевича», придумать было бы нельзя. Первое категорическое утверждение, что Борис—убийца Димитрия, мы находим в источнике, самого поверхностного анализа которого достаточно,

чтобы не верить именно *этим* его показаниям. В 1606 г., сев на престол посредством государственного переворота, через труп Названого Димитрия, царь Василий Иванович Шуйский нашел необходимым дать юридическое и историческое оправдание своему поведению: доказать, что цареубийство было актом «необходимой самообороны», а что права на московский престол Шуйским принадлежали искони, и они только исключительно по скромности до времени их не предъявляли. С этой целью по городам рассылался целый сборник документов, в фальсифицированности которых никто, кажется, никогда не сомневался, и распространялся небольшой, в литературном отношении весьма удачно написанный исторический трактат, составляющий как бы «историческое введение» к этим документам. Из этих последних следовало, что «страдник, ведомый вор, богоотступник, еретик, ростриrа Гришка Богданов сын Отрепьев» хотел ни более, ни менее, как московских «бояр, и дворян, и приказных людей и гостей, и всяких лутчих людей побити, а московское государство хотел до основания разорити, и крестьянскую веру попрати, и церкви разорити, а костелы Римские устроити». Ясное дело, что убить его было не только можно, но и должно. А введение должно было утвердить читателя в той мысли, что занять место по праву убитого еретика было некому, кроме кн. Василия Ивановича Шуйского, «изначала прародителей своих боящегося Бога и держащего в сердце своем к Богу велию веру и к человекам нелицемерную правду». «Если же все эти качества не доставили благочестивому князю престола раньше, то виновато в этом было гонение «от раба некоего, зовомого Бориса Годунова», который «уподобился древней змии иже прежде в раи прелсти Еву и прадеда нашего Адама и лиши их пищи райския наслажатися». Когда среди подобного текста вы читаете далее, что именно Борис подослал убийц к царевичу Димитрию, элементарная историческая добросовестность заставляет вас отнестись к рассказу с крайней степенью недоверия. Это последнее должно окончательно укрепиться в читателе, когда он видит, с одной стороны, что ни одной живой, конкретной подробности преступления наш превосходно осведомленный автор сообщить не умеет, ограничиваясь шаблонной картиной «убийства невинного отрока» вне времени и пространства, а с другой стороны, что все остальные «независимые и самостоятельные русские писатели XVII в... неохотно и очень осторожно говорят об участии Бориса в умерщвлении царевича Димитрия» [1].

К этой характеристике можно прибавить только одно, весьма любопытное наблюдение: чем *дальше* от события 1591 г., тем *больше* подробностей о нем мы находим в литературе. Всем хорошо знакомый по учебникам детальный рассказ об убийстве,

[1] *Платонов*, Очерки по истории Смуты, стр. 212.

приводимый Соловьевым, читается в так называемом «Новом летописце»—компилятивной истории Смутного времени, окончательная редакция которой не старше 1630 г. Сорок лет спустя после события знали о нем больше, чем мог собрать заинтересованный и пристрастный автор через пятнадцать лет! Такое, хорошо знакомое всякому историческому исследователю явление может иметь лишь одно объяснение: мы имеем перед собою типичный случай возникновения *легенды*. Народное воображение дополнило то, чего нехватало истории, постепенно, деталь за деталью, расцвечивая сухую схему первоначально без всяких доказательств брошенного обвинения. Кто знает отношения Годунова и Романовых, сидевших на престоле в те дни, когда впервые писалась история Смуты—об этих отношениях будет еще речь ниже,—тот не удивится, что воображению тогдашней публики был дан именно такой уклон. Но для всякого «независимого и самостоятельного» русского историка XIX в., казалось бы, ввиду всех этих фактов обязательно отнестись с полным отрицанием к выдумке, пущенной в оборот памфлетом Шуйских—даже в том случае, если бы мы не имели современных событию документов, утверждающих противное. А такой документ есть: сохранилось подлинное дело об убийстве Димитрия—акт «обыска» (по-теперешнему, «дознания»), произведенного по горячим следам в Угличе комиссиею боярской думы,—и в этом деле рядом свидетельских показаний, в том числе дядей царевича, Нагим, устанавливается, что он погиб жертвою несчастного случая: накололся на нож, играя в «тычку». Следствие, правда, производил тот самый благочестивый кн. Василий Иванович Шуйский, с публицистической деятельностью которого читатель познакомился выше: для очень большого скептика, можно согласиться, это дает основание подозревать и акт следствия. Но Шуйский на следствии был не один, во-первых, а затем, уж если заподозревать официальные документы, к которым имел касательство Василий Иванович, то какого же доверия заслуживает его неофициальная публицистика?

Уже лет восемьдесят тому назад один историк, не состоявший на академической службе, но от этого не менее добросовестный, сделал из всех перечисленных фактов единственный возможный вывод: что если не держаться точки зрения абсолютного скептицизма, доверять больше нужно следственному делу, чем литературным памятникам. И он написал в своей книге, что Димитрий царевич погиб в 1591 г. в Угличе от несчастного случая. Но публике не пришлось прочесть такой ереси. Академическая наука твердо держала стражу, и один из ее представителей, едва ли не виднейший в то время, поспешил пресечь зло в корне: по его настоянию соответствующий лист еретической истории, уже отпечатанный, был выдран изо всех экземпляров и сожжен. Аргумент ученого, кажется, был так же прост, как и убедителен: если Димитрий не был мучеником, невинно

пострадавшим от рук злодеев, то как же могли от него остаться чудотворные мощи? Из этого мы можем видеть, насколько проницателен был царь Василий Иванович, превративший младшего сына Грозного в угодника и чудотворца чуть не на другой день после своего восшествия на престол (Шуйский стал царем 18 мая, а мощи Димитрия были уже в Москве 3 июня). Принятая им мера оказалась достаточной, чтобы повлиять на «общественное мнение» не только начала XVII в., но и времен императора Николая Павловича.

Что касается «святоубийцы», Бориса Федоровича Годунова, то он, кажется, более всего страдал не от мучений совести из-за несовершенного им злодеяния, а от сомнений, на наш взгляд, довольно странных, хотя до последнего времени находились исследователи-одиночки, их разделявшие. Есть основания думать, что Борис сомневался: действительно ли Димитрий умер? Если личность слабоумного Федора в его руках была сильным средством поддержания своей власти, то маленький царевич в руках противников Годунова мог стать при случае таким же средством против последнего. И средство это становилось тем опаснее, чем больше было ясно, что от Федора ждать детей уже нельзя и что Димитрий, будь он жив, является единственным представителем потомства Калиты. А слухи, что царевич жив и находится где-то за границей, может быть, в Польше, стали ходить по Москве еще до смерти Федора. Всего через месяц после этой смерти пограничный польский губернатор уже слышал о каких-то подметных письмах от имени Димитрия, появившихся в Смоленске. Только в этой связи можно понять те чрезвычайные меры, какие были приняты московским правительством, т. е. правительством Годунова, именно в эти дни. «По смерти царя немедленно закрыли границы государства, никого через них не впуская и не выпуская. Не только на больших дорогах, но и на тропинках поставили стражу, опасаясь, чтобы кто не вывез вестей из московского государства в Литву и к немцам. Купцы польско-литовские и немецкие были задержаны в Москве и в пограничных городах, Смоленске, Пскове и других, с товарами и слугами, и весь этот люд получал даже из казны хлеб и сено. Официальные гонцы из соседних государств также содержались под стражей и по возможности скоро выпроваживались пограничными воеводами обратно за московскую границу. Гонцу оршанского старосты в Смоленске не дозволили даже самому довести до водопоя лошадь, а о том, чтобы купить что-либо на рынке, нечего было и думать». Одновременно с этими полицейскими мерами принимались и экстренные меры военной обороны, и притом как раз опять-таки на западной границе. «Смоленские стены поспешно достраивали, свозя на них различные строительные материалы тысячами возов. К двум бывшим в Смоленске воеводам присоединили еще четырех. Усиленный гарнизон Смоленска не только содержал караулы

в самой крепости, но и высылал разъезды в ее окрестности. Во Пскове также соблюдали величайшую осторожность»[1]. Все это конечно никак не приходится объяснять желанием москвичей, чтобы избрание нового царя совершилось «втайне от посторонних глаз». Боялись совершенно определенно сношений кого-то, находившегося в Москве, с кем-то, кого подозревали за западным рубежом московского царства, причем сношения эти, видимо, могли кончиться внезапным появлением чужеземных войск в русских пределах. Словом, в 1598 г. готовились к тому, что действительно случилось в 1604. «Самозванец» вовсе не был черною точкой, вдруг явившейся на безоблачном небосклоне борисова царствования: эту эффектную картину мы должны всецело оставить пушкинской трагедии. В действительной истории фигура Димитрия все время чувствовалась за кулисами, и Годунов нервно ждал, когда же наконец она выступит. В этом смысле ему, может быть, действительно мерещился покойный царевич, но только не в образе «кровавого мальчика», а скорее всего во главе польско-литовской рати,—в том именно виде, каким он явился на Руси накануне смерти Бориса.

В связи с этими же опасениями становится понятна та необычайная обстановка, в какой происходило самое избрание Бориса Федоровича на царство, весною 1598 г. Этот любопытный эпизод в новейшей историографии прошел несколько стадий. Сначала историки чувствовали безусловное доверие к очень обстоятельному рассказу об этом событии, какой давался упоминавшимся нами выше памфлетом Шуйского: там можно все найти, что нам так знакомо с детства—и приставов, по команде которых народ начинал кланяться и вопить, и слюни в качестве суррогата слез на сухих глазах, и штрафы с тех, кто не хотел итти к Новодевичьему монастырю молить Бориса на царство. Но так как в этом вопросе не было специальных оснований доверять именно Шуйскому, то благоразумие скоро взяло верх—стало совестно верить сплетням, и на первый план начал выдвигаться земский собор, выбравший Бориса, причем и относительно собора подчеркивалось, что в его составе «нельзя подметить никакого следа выборной агитации или какой-либо подтасовки членов». Пропыра, хитростью забравшийся на царский престол, оказывался законно и правильно избранным на государство «представительным собранием», которое «признавалось законным выразителем общественных интересов и мнений». Нет никакого сомнения, что избрание Бориса было актом, юридически совершенно правильным,—мы сейчас увидим, что оно было обставлено всякими юридическими формальностями даже с излишней, может быть, роскошью. Ни один царь ни прежде, ни после не старался так уверить своих подданных, что он имеет право царствовать.

[1] *Платонов*, цит. соч., стр. 226—227.

Но именно эта заботливая аргументация своих прав, которую мы можем проследить отчасти даже в процессе ее развития, подметить, как одни аргументы заменялись другими, которые казались убедительнее,—именно она-то заставляет отнестись к происходившему с некоторой подозрительностью, независимо от каких бы то ни было современных памфлетов. Никто так не заботится о юридической безукоризненности своих поступков, как именно умные и опытные мошенники. А затем мы уже вышли теперь из той стадии политического развития, когда «избирательная агитация» казалась чем-то «вроде подтасовки» общественного мнения. Всякий из нас теперь по личным переживаниям отлично знает, что никакого организованного массового действия без предварительной агитации невозможно себе представить, и если московский народ 21 февраля 1598 г «во след за патриархом» валом повалил к Новодевичьему монастырю, то очевидно кто-то этим делом руководил и его подготовил. «Клевета на Бориса могла заключаться не в утверждении, что в пользу этой манифестации предварительно агитировали, а в инсинуациях, что она была осуществлена мерами полицейского свойства, через приставов. На этом именно и настаивает пасквиль, пущенный в оборот Шуйскими. Другие же авторы, вовсе не сочувствующие Борису, говорят только, что у последнего везде были «спомогатели»—по-нашему, избирательные агенты—и «сильно-словесные рачители», которых мы теперь назвали бы агитаторами. Итак, «агитация» была, не было лишь «подтасовки». Ее и не могло быть: она была совершенно ненужна, ибо когда начались народные манифестации, решение Земского собора было уже установлено и освящено религиозным авторитетом,—уже 18 февраля в Успенском соборе торжественно молили господа бога, чтобы он даровал православному христианству, по его прошению, государя царя Бориса Феодоровича. Крупный и мелкий вассалитет—на соборе была конечно и боярская дума в полном составе—и церковь уже признали царем Бориса, когда народ отправлялся его молить. Годунову показалось мало тех общественных сил, которые обычно составляли «политический корпус» московского царства—«чинов», представленных на Земском соборе: ему понадобилось участие в деле «всего многочисленного народного христианства». И, сколько мы знаем, это был первый царь, всколыхнувший себе на помощь народную массу, потому что «обращения к народу» Грозного фактически имели в виду высшие слои московского купечества. Это было необыкновенно важно для будущего, но это не менее важно и для характеристики положения Бориса в данный момент. Необычайно торжественный характер избрания должен был заранее преградить дорогу всяким «покусителям», которых, очевидно, ждали.

Та же тревога проникает и самый акт избрания, дошедший до нас в двух редакциях, и крестоцеловальную запись, по кото-

рой должно было присягать население новому царю, присягать опять-таки в необычайно торжественной обстановке, в церквах, во время службы. Противники Бориса находили в этом новом повод для жалоб: из-за шума, поднятого толпою присягавших, в Успенском соборе нельзя было даже пения божественного расслышать, так что набожные москвичи, желавшие помолиться, остались в этот день без обедни. Самое «утвержденную грамоту» земского собора положили в раку митрополита Петра, нарочно вскрытую по этому случаю—что конечно опять было истолковано кем следует, как явное и непозволительное кощунство. По содержанию оба эти документа весьма любопытны, особенно соборное решение, дошедшее до нас не только в окончательном виде, но и в черновике. Последний поражает обилием доводов в пользу избрания Бориса; их так много, что они даже мешают друг другу и в окончательной редакции нашли полезным посократить их число. Их перечень сам по себе интересен: перед нами вскрывается ряд напластований, из которых постепенно составилось русское право престолонаследия к концу XVI в. Древнейшим пластом была удельная традиция, в силу которой «государева вотчина», как и всякая другая, переходила по завещанию, но только в кругу данной семьи, не к чужеродцам. Грамота и отмечает, что Годунов «великого государя сродник», и рассказывает, будто бы еще Иван Васильевич назначил Бориса Федоровича своим наследником в случае смерти Федора. Но московский удел успел превратиться во всемирное православное царство: его престолом нельзя же было распоряжаться, как частным имением. По здравому смыслу ясно было, что определять, кто достоин быть царем всех православных, скорее всего могла православная церковь: грамота и утверждает, что епископы от апостолов имеют власть «сшедшися собором, поставляти своему отечеству пастыря и учителя и царя». Но в 1598 г. и это оказывалось уже пройденной ступенью, и «челобитье всего многочисленного народного христианства» является решающим аргументом,—решающим настолько, что под конец грамота из-за него забывает все другие. «Яко да не рекут неции: отлучимся от них, *понеже царя сами суть поставили*; да не будет то, да не отлучаются... аще кто речет, неразумен есть и проклят». И родство с династией, и завещание Грозного, и соборное определение церкви были забыты редактором документа; он помнил только, что Борис—выборный царь, что это новшество, и что к этому новшеству могут придраться, чтобы оспаривать права Годуновых на престол—Годуновых, ибо выбрана была конечно вся семья: на имя всей семьи, включая и «царевну Оксинью», приносилась и присяга. В окончательном тексте «утвержденной грамоты» уже ничего не говорится о завещании царя Ивана: это смелое утверждение было бы слишком трудно доказать; зато этот текст больше напирает на родство Годуновых с последним потомком

Калиты через Ирину Федоровну, сестру Бориса и жену Федора Ивановича. О том, чтобы были еще какие-нибудь лица, имеющие наследственные или какие-либо иные права на престол, грамота не говорит: но крестоцеловальная запись упоминает одно такое лицо, причем упоминание странно бросается в глаза своей неожиданностью. Мы помним, что Грозный когда-то, не то в посмех, не то ради соблюдения формальности, посадил над «земщиной» особого царя, крещеного татарского царевича Симеона Бекбулатовича. Теперь это был слепой старик, сам вероятно плохо помнивший, что он был когда-то «калифом на час». Тем не менее Борис нашел нужным потребовать от своих подданных, чтобы они царя Симеона на государство не хотели. Один новейший исследователь вывел из этого заключение, что бывший царь земщины был, будто бы, серьезным кандидатом на престол в известный момент избирательной кампании. На самом деле эта характерная подробность показывает лишь, как мнителен был новый царь, и как он принимал меры, чтобы на грех даже и палка не выстрелила. Борис вероятно охотнее бы упомянул на этом месте своих реальных противников,—тоже родичей царей Ивана и Федора, да еще постарше Годуновых, детей Никиты Романовича Юрьева, да не то живого, не то мертвого Димитрия Углицкого. Но о последнем нельзя было говорить официально, ибо официально он был на том свете, а с первыми у Бориса было какое-то соглашение, скрепленное даже крестоцелованием. Сущность этого соглашения нам неизвестна, но характерно одно обстоятельство: романовская версия истории Смуты, нашедшая себе самое раннее выражение у одного неизвестного по имени автора, скомпилированного весьма известным Авраамием Палицыным, старается взвалить вину за нарушение договора на Бориса, тщательно скрывая при том от читателя, за что именно Годунов «изверг из чести» и сослал Никитичей. Довольно верный знак, что правота последних не могла быть доказана так бесспорно, как бы этому автору хотелось.

Итак, только что вступив на престол, Борис чувствовал себя уже на нем непрочно и старался найти как можно больше и юридических и материальных опор для своей власти. Годуновское владычество переживало само себя: регент не встречал никаких серьезных преград своей власти, а едва он стал царем, под его ногами уже клокотала революция. По общепринятому взгляду, эту революцию подготовили бояре. Но в этот как раз период мы напрасно стали бы искать сплоченной боярской оппозиции: будь она, дело едва ли бы кончилось такой странной, для самого боярства рискованной и крайне неприятной авантюрой, как появление на московском престоле Названого Димитрия, которого привели в Москву украинские помещики в союзе с ворами-казаками да польскими искателями приключений. Присматриваясь к политике Бориса, мы легко видим,

что разрыв его с командующими слоями начинался много ниже боярства. Если его политика до 1598 г., политика Годунова-правителя, еще была классовой дворянской,—хотя не столько по тесной связи с этим классом, сколько потому, что все другие классы были в данный момент не на его стороне,—то политика царя Бориса начинает принимать характер совершенно своеобразный, столь же новый и неожиданный, как нов был в области государственного права выдвинутый тем же Борисом избирательный принцип.

За исключением памфлета, выпущенного царем Василием, все авторы, как сочувствующие Борису (их очень мало), так и сочувствующие его противникам (таких большинство), в один голос свидетельствуют о чрезвычайной, невиданной прежде в России заботливости этого государя о массе населения. Только что сейчас упомянутый нами сторонник дома Романовых без всяких оговорок утверждает, что царь Борис «о бедных и о нищих крепце промышляше и милость к таковым велика от него бысть»—и что он «таковых ради строений всенародный всем любезен бысть». Дьяк Иван Тимофеев крепко не любил «злоковарного и прилукавого властолюбца», но когда речь заходит об этой стороне Борисова правления, мы находим у этого желчного чиновника, тщательно собиравшего самые пахучие сплетни о шурине царя Федора, почти панегирик Годунову, написанный даже не без чувства,—как будто автор обрадовался этому светлому оазису среди того моря грязи, какое он сам собрал на страницах своего «Временника». «Требующим даватель неоскуден, к мирови в мольбах, о всякой вещи пр клонитель кротостен... на обидящих молящимся, беспомощным и вдовицам отмститель скор... обидимым от рук сильных изыматель крепок... на всяко зло, сопротивное добру, искор нитель неумолим со властию...». Тимофеев сам становится в тупик: «откуду се ему (Борису) доброе пребысть?» И колеблется между д умя объяснениями: «прикровенной лестью» и... влиянием царя Федора. Для древнерусского человека, с подобострастием взиравшего на юродивых [1], последнее объяснение не заключало в себе ничего комического, но нам приходится лишь зарегистрировать его ради его исторической характерности. Что же касается первого, то почему же Годунов льстил не тем, кто силен, а тем, кто слаб? А наиболее объективный из всех, близких по времени к Борису, историков автор статей о Смуте в хронографе 1617 г. имеет на своей палитре для Годунова почти одни светлые краски: «всем бо неоскудно даяние простираше... мнози от любодаровитые его длани в сытость напиташася... цветяся аки финик, листвием добродетели». Если мы перейдем от этих общих оценок к отдельным конкретным пунктам годуновской полити-

[1] «Благоуродив бяшь от чрева матери своея»—так именно и определил Федора один из тогдашних историков.

ки, мы найдем один, на котором сходится целый ряд писателей, и русских и иностранных: Борис жестоко преследовал взятки и взяточничество—«ко мздоиманию зело бысть ненавистен»—«зелных мздоприимству всему в конец умерщвление не пощаденно бяше». «Никто из судей или чиновников не смеет принимать никаких подарков от просителей», писал побывавший у Годунова на службе французский авантюрист Маржерет: «ибо если обвинят судью или собственные слуги или подарившие (которые доносят нередко, обманувшись в надежде выиграть дело), или другие люди, то уличенный в лихоимстве теряет все свое имущество и, возвратив дары, подвергается *правежу*, для заплаты в пеню, по назначению государя, 500, 1 000 или 2 000 рублей, смотря по чину. Но виновного дьяка, не слишком любимого государем, наказывают всенародно кнутом, т. е. секут плетью, а не розгами, привязав к шее лихоимца кошелек серебра, мягкую рухлядь, жемчуг, даже соленую рыбу или другую вещь, взятую в подарок; потом отправляют наказанного в ссылку, с намерением прекратить беззаконние и на будущее время». «При всем том взятки не истребляются», меланхолически прибавляет Маржерет, опять сходясь в этом с русским автором, сообщающим, что хотя Борис и очень ревностно старался искоренить такое «неблагоугодное дело», как злоупотребления администрации, «но не возможе отнюдь». Мы не станем этому удивляться: практически все полицейские государства ломали себе шею на неразрешимой задаче—сочетать «правосудие» с полным бесправием подданных. Петру Великому везло на этом пути не больше, чем Годунову; но для конца XVI в. самый идеал благоустроенного полицейского государства был уже шагом вперед.

Мы слишком отрывочно знаем социальную и податную политику Бориса, чтобы составить себе сколько-нибудь полное представление о его проектах в этой области. Иностранцы приписывают ему весьма смелый, грандиозный по своему времени замысел: регулировать законодательным порядком повинности крестьян по отношению к землевладельцам. Есть известия, что он стремился перенести центр тяжести государственных доходов на косвенные налоги: осуждая его «злосмрадные прибытки», его противники выдвигают на первый план возвышение кабацкого откупа—«и инех откупов чрез меру много бысть». Это замечание любопытно между прочим потому, что вскрывает классовые отношения при Годунове. Мы знаем, что в Московской Руси было два способа сбора косвенных налогов, откупом и «на веру»—и что последний, вопреки распространенному мнению, был выгодней для торгового капитала. Автор, которого мы сейчас цитировали, обнаруживает редкое понимание экономических отношений своего времени и, судя по другому своему произведению, был очень близок к посадским людям. Его неодобрение годуновской фискальной политики весит очень много: буржуазия и теперь не была на стороне

Бориса, и московский посад не «в ужасе безмолвствовал», когда пали Годуновы, а просто отнесся к этому факту с полным равнодушием. Это была не его династия.

Она не была уже давно и дворянской. По отношению к помещикам Борис стоял перед задачей, прямо неразрешимой. С одной стороны, все продолжавшийся кризис требовал все большей и большей перекачки серебра из казенного сундука в карманы среднего землевладельца. Борис делал на этом пути, что мог: по случаю своего избрания он устроил уже прямо фиктивный поход против крымского хана и роздал за него двойное жалованье. Но этому когда-нибудь должен был наступить конец: государство жило с того же разбредавшегося крестьянина, которого не могли привязать к своим землям помещики. Ограбить город в пользу дворян, как это случилось позже, в XVII в., Борис не решался: после событий 1587 г., по крайней мере невраждебный нейтралитет буржуазии казался необходимым. Оставалось пожертвовать на время дворянскими интересами и задержать разброд, создав для крестьян сносные условия существования в центре. Деятельно колонизируя тем временем окраины, правительство Годунова могло надеяться через несколько лет выйти из кризиса. Голод помещиков удовлетворялся пока что конфискациями имений Борисовых противников—«грабя дома и села бояр и вельмож»: в этом случае Борис не мог, да и не хотел вероятно сойти с пути, завещанного опричниной. Красная нить, которая проходит через всю вторую половину XVI в., захватывает и царствование Годунова—оттого-то, взятое в самом общем очерке, с птичьего полета, оно и рисуется нам, как рисовалось современникам, продолжением царствования Грозного. Но индивидуальность Бориса была не в том, что он был опричник. Конфискации не были для него универсальным средством развязать запутавшиеся аграрные отношения. При данных условиях они были лишь продолжением разгрома старых вотчин: но в один прекрасный день нечего было бы уже и громить, и катастрофа была бы неотвратима. Оставался вопрос, насколько можно было ее предотвратить уже в это время. Не опоздал ли Борис со своей политикою подъема крестьянского хозяйства? Ответить на это могла лишь история. Она ответила не в пользу Годунова. Голод 1602—1604 гг.—сложный результат дворянских спекуляций с хлебом, запустения ближайших к столице областей и случайных атмосферических причин, дождей, от которых хлеб погибал,—поставил аграрный вопрос ребром. Для помещиков непосредственно он был страшно выгоден: параллельно с огромным подъемом хлебных цен [1], чрезвычайно пали в цене рабочие руки; люди шли в рабство даром, за один хлеб; этих дешевых

[1] Если верить хронографу, с 10—15 коп. за бочку (4 четверти) до 3 руб. за четверть, т. е. в 80 раз.

рабов их господа не удостоивали даже кормить круглый год: продержав их, пока кончатся полевые работы, их прогоняли на все четыре стороны потом, в полной уверенности, что весной нетрудно будет найти рабочих еще дешевле. Отношения между барином и крестьянином напоминали уже классическую пору крепостного права—XVIII век—до крепостных гаремов включительно. В дальнейшем голод должен был обострить и действительно обострил кризис, создав огромную «резервную армию» бродячего люда, готовый материал для антидворянского движения, и разогнав, куда глаза глядят, последних «старожильцев». Но о завтрашнем дне никто не думал. Решилось подумать о нем годуновское правительство, организовав продовольственную помощь голодающим. Предприятие оказалось выше технических средств тогдашней администрации; отпускавшейся правительством суммы хватало ровно на одну треть того, что в среднем было нужно человеку при установившихся хлебных ценах. Кроме того помощь голодающим была сосредоточена в городах: туда скоплялась масса нуждающегося люда, цены там вздувались еще больше, и голод еще более обострялся. Народной нужде Борис не помог, но симпатии помещиков утратил окончательно. Достаточно было любого ничтожного повода, чтобы социальное одиночество годуновского правительства из возможности стало для всех очевидным фактом. Повод скоро нашелся, и далеко не ничтожный: долгожданный Димитрий явился наконец из Польши.

## 2. Дворянское восстание.

Вопрос о том, кто был первый Лжедимитрий, когда-то занимал не маловажное место в русской исторической науке. Что эта последняя им уже не интересуется, служит одним из явных доказательств ее большей зрелости. «Для нашей цели нет ни малейшей необходимости останавливаться на вопросе о личности первого самозванца,—пишет один из последних, по времени, историков Смуты.—За кого бы ни считали мы его—за настоящего ли царевича, за Григория Отрепьева, или же за какое-либо третье лицо,—наш взгляд на характер народного движения, поднятого в его пользу, не может измениться: это движение вполне ясно само по себе» [1]. Прибавим только, что и этот автор продолжает называть Димитрия «самозванцем», хотя еще Соловьев вполне убедительно доказал, что во всяком случае он не сам назвал себя царевичем, а другие создали для него эту роль, другие назвали его Димитрием,—а он этому поверил, точно так же, как уверовала в это впоследствии и народная масса. Поэтому пущенный в оборот Костомаровым термин «Названый Димитрий» гораздо лучше передает сущность дела,

[1] *Платонов*, цит. соч., стр. 251.

так что его мы и будем держаться. С этою оговоркой, мнение новейшего историка Смуты приходится принять как окончательное, и вопрос: «кто был Димитрий?» заменить вопросом: «кто выдвинул Димитрия?»

Древнейшую версию ответа на этот вопрос мы имеем в том же самом памфлете Шуйского, где Годунов, впервые в русской письменности, является убийцей настоящего сына Ивана Грозного. Уже одно это совпадение достаточно определяет цену этой версии,—что не помешало ей стать господствующей в нашей исторической литературе и проникнуть во все учебники. Для большего правдоподобия рассказ этот облечен в форму показания «достоверного свидетеля», в форму «извета» некоего старца Варлаама, будто бы бежавшего за рубеж вместе с «Гришкой Отрепьевым» и долгое время сопровождавшего его в его странствованиях. Старец Варлаам был действительно лицом, по-своему осведомленным: в конце «извета» он очень прозрачно проговаривается относительно своей роли. Это был несомненно один из годуновских шпионов, присланных следить за Димитрием, как только слухи о нем проникли в Москву. За свое усердие в этом направлении он попал в польскую тюрьму, но раньше успел собрать довольно много сведений о польских отношениях будущего претендента, что придает его рассказу фактичность и обстоятельность—они-то очевидно и подкупили позднейших историков. Редактор памфлета, обрабатывая эти «агентурные сведения» со своей точки зрения, не все вычистил оттуда, что было можно: сохранил например указание на «прикосновенность к делу» бояр Шуйских, что было важно и полезно для годуновского правительства, командировавшего старца Варлаама на разведки, но для самих Шуйских было конечно лишнее. Несмотря на некоторую небрежность отделки,—небрежность вполне понятную, так как памфлет был рассчитан на общее впечатление и на широкую публику, которая в этих мелочах не стала бы копаться—памфлетист Шуйских сумел дать «извету» тенденцию, вполне гармонирующую с общим тоном того произведения, куда он был вставлен. Димитрий является здесь действительно «самозванцем»: мысль объявить себя царевичем—его личная мысль, продукт его личной нравственной извращенности и «прелютой ереси», в которую он впал. А его главной опорой и первыми руководителями оказываются польские паны, цель которых ясна: разорить московское государство и ввести в нем «езовицкую веру». «Извет старца Варлаама» увеличивал таким образом собою список документов, имевших целью оправдать государственный переворот 17 мая 1606 г. Первоначальный текст донесения годуновского лазутчика давал, повторяем, иную картину: из него видны были давние московские связи Димитрия, видно было то, совершенно исключительное положение, какое занимал этот мальчик-монах (Димитрий был пострижен

14 лет) при дворе московского патриарха, возившего его с собою даже в государеву думу. Но и реставрировав подлинный «извет», устранив тенденцию, внесенную в него памфлетистом,—что и не так легко, ибо мы не знаем, какие именно купюры были им сделаны,—мы все же не получим конечно точного и правдивого рассказа о первых шагах будущего московского царя. С этой точки зрения становится очень любопытна другая русская версия, много более поздняя, тоже далеко не свободная от официального освещения дела, но передающая дело так, как оно *рассказывалось* в широких кругах московского общества,—что не гарантирует конечно точности в подробностях, но зато устраняет одну определенную тенденцию. Старец Варлаам в этой версии совершенно отсутствует, отсутствуют и приключения, якобы сопровождавшие совместное путешествие Варлаама и «царевича» из России, нет и «польской интриги». Все изображается гораздо проще и правдоподобнее. Димитрий обращается к той среде, которая скорее всего могла заинтересоваться его судьбою, к русскому населению, жившему под литовским подданством, среди которого в те дни немало было и прямых московских эмигрантов. Донесение Варлаама, по совершенно другому поводу, называет целый ряд имен этих последних, соединяя их, странным и неожиданным образом, с «мужиками посадскими киевлянами». Этот случайно невыкинутый памфлетистом Шуйских осколок первоначального извета находит себе полное объяснение в позднейшей версии: среди населения «матери городов русских», и туземного, и пришлого, из московских пределов, дело царевича Димитрия Ивановича нашло себе первых прозелитов. Скоро Киев становится центром, куда стекается вся нелегальная Русь: около Димитрия появляются агенты из Запорожья, депутация от донских казаков—и лишь когда он стоит уже во главе некоторой партии, им начинает интересоваться польское правительство. Последнее не было настолько наивно, чтобы пойти на удочку громкого имени: лишь когда за носителем этого *имени* оно почувствовало действительную *силу*, сила эта вошла в расчеты польской дипломатии. В свою очередь, образование партии Димитрия на русско-литовском рубеже не могло быть делом случайности: у нас есть и прямые указания, что агитация в его пользу велась здесь давно, что уже в 1601 г. здесь слышали о «царевиче». Копаясь в московском прошлом Димитрия, насколько оно доступно нашим раскопкам, исследователи неизменно натыкаются как на исходный пункт всяческой агитации на семью Романовых—вторую московскую семью после Годуновых, связанную с последними некоторою «клятвою завещательного союза», но, в конце концов, разгромленную царем Борисом. Историю обвинения и ссылки Романовых теперь никто уже не рассматривает как простую клевету; что в основе дела лежал серьезный заговор, в этом пови-

димому не может быть сомнения. И заговор этот некоторые новейшие историки склонны связывать именно с появлением царевича Димитрия. Повидимому годуновской полиции не удалось—или она не позаботилась—захватить всех участников дела: некоторые, считавшиеся, быть может, неважными и второстепенными, остались на свободе. Борис Федорович удовольствовался карой самых влиятельных и популярных из числа заговорщиков, рассчитывая, как это часто делает администрация в подобных случаях, терроризировать этим остальных. И, как это почти всегда бывает, расчет оказался неудачным. Революционных элементов было так много и они росли так быстро, что уцелевшим обломкам заговора оказалось нетрудно быстро слиться в новую организацию, захватить которую Годунову уже не удалось. Из подполья дело вышло на открытую сцену, и полицейские меры борьбы пришлось заменить военными. Но здесь все шансы оказались на стороне революции.

Движение против Годунова с самого начала приобрело характер *военного восстания*;—оценивая его успехи, это не нужно ни на минуту упускать из виду. Уже не раз цитированный нами романовский памфлетист, гораздо более умный и проницательный, чем «наемное перо» Шуйских, дает очень наглядное и толковое изображение тех общественных элементов, которые прежде всего другого должен был встретить на своем пути Названый Димитрий, двигаясь от Киева на Москву. «Северская» (ныне Черниговская губерния) и «польская» (приступная) украины были военной границей Московского государства: здесь не редкость было видеть, как, пока одна половина населения жала или косила, другая стояла под ружьем, сторожа первую от внезапного набега крымцев—явления, почти столь же обычного в этих краях, как хорошая гроза летом или хорошая метель зимой. Помещики из центральной России смотрели на свое назначение в эти края, как на ссылку, и шли сюда с крайней неохотой. Чтобы колонизировать эти места, правительству приходилось прибегать к услугам настоящих ссыльных, и уже при Иване Васильевиче вошло в обычай заменять ссылкой в северскую или польскую украину тяжкие уголовные наказания, даже смертную казнь. На новых местах всякого вновь появившегося человека стремились утилизировать прежде всего как боевой элемент: присланный из Москвы арестант тотчас «прибирался» в государеву службу, получал пищаль или коня и становился стрельцом или казаком. При Годунове к уголовному элементу ссылки прибавился политический: на украину стали направлять «неблагонадежных» людей, недостаточно опасных в глазах правительства, чтобы их казнить, и недостаточно знатных, чтобы удостоиться заточения в монастырь. Этот политический контингент рос с чрезвычайной быстротой—разгромы боярских семей, сначала Мсти-

славских и Шуйских, потом Романовых, Бельского и других, волна за волной посылали на украину новых невольных колонистов. Все, кто был так или иначе связан с опальными фамилиями, вся их «клиентела», попадали в разряд «неблагонадежных», а в первую голову их «дворы», их вотчинные дружины, люди «на конях играющие», т. е. военные по профессии. Упомянутый нами автор определяет число таких ссыльных—конечно совершенно «на глаз», не претендуя на статистическую точность,—в 20 тысяч душ. Во всяком случае из них одних можно было составить целую армию, тем более что вооруженными они оставались конечно и на новых местах. Те, кто был прямо поверстан в государеву службу, представляли самую ненадежную часть борисовых подданных: кто в службу не попал, примыкали к той, колыхавшейся на обе стороны рубежа массе, которая служила московскому правительству, пока находила это для себя выгодным, и моментально превращалась в «иностранцев», как только эта выгода исчезала. Термин «казачество» прилагается историками обыкновенно именно к этой массе, которая отнюдь не была вовсе аморфной и совершенно неорганизованной: именно военная организация у нее была, и ее выборные «атаманы» умели держать в своих станицах дисциплину не хуже московских воевод и голов. Это опять была готовая военная сила, нисколько не худшая, чем насильно навербованные гарнизоны украинских крепостей. Провести раздельную черту между теми и другими в этих краях было бы впрочем неразрешимой задачей—вчерашний «вольный» казак сегодня становился казаком государевой службы, а завтра опять был «вольным». Так же трудно было бы отделить и в социальном отношении этот мелкий служилый люд, нередко верставшийся небольшими поместьями, от настоящих помещиков, «детей боярских», в этих краях сплошь мелкопоместных. В казачестве были конечно и совсем демократические элементы, беглые «люди боярские, крепостные и старинные», но не следует преувеличивать их влияния, как иногда делается. Идеологию казацкой массы вырабатывали не они. Когда эта масса стала политической силой, она выступила не с лозунгом свободы для крепостных, а с требованием поместий и вотчин, где конечно работали бы те же крепостные. Казак, как правило—мелкий помещик в зародыше, а мелкий помещик ни о чем так не мечтал, как о том, чтобы стать крупным. Оттого казачество и служилая масса, «убогие воинники» Пересветова, так хорошо понимали друг друга, и в политических выступлениях Смуты мы так часто встречаем их вместе. И первый, и второй Димитрии были одинаково и казацкими, и дворянскими царями. И только когда окончательно выяснилось, что на всех «поместий и вотчин» нехватит и что новые, пришедшие с «царевичами» служилые люди могут стать землевладельцами лишь на счет старых, только тогда «дворяне и дети боярские» стали давать «казакам»

решительный отпор. Когда же конкуренты опять были оттеснены на украину, вновь было восстановлено то неустойчивое равновесие, с которого начала Смута —и которое, по мере укрепления дворянской России, становилось все более и более надежным.

Появление казацких ополчений под знаменами Димитрия было таким образом началом дворянского восстания,—и недаром с первой же минуты претендент выступил с обещаниями «воинскому чину дать поместья и вотчины, и богатством наполнить». Упадок популярности Бориса именно среди дворянства очевидно не был тайной для русской эмиграции в Литве,—напротив, как раз на это она и спекулировала, восстановляя разрушенный романовский загово . Будь Борис Федорович в таких же отношениях к помещикам, как в год своего воцарения, поднимать против него мятеж было бы смешным безумием. Но теперь годуновская армия шла на инсургентов из-под палки и готова была воспользоваться всяким удобным случаем, чтобы уклониться от боя. Если поход Названого царевича не был сплошным триумфальным шествием, то это объясняется, с одной стороны, ошибками непосредственных руководителей дела, с другой—тем. что военные силы Бориса не исчерпывались его вассалитетом. Московские эмигранты не были свободны от увлечения западом—католические симпатии самого Димитрия составляют одну из сторон этого явления; они слишком низко ценили военные качества той силы, которая сама шла к ним в руки—пограничных служилых людей и казачества,—и слишком много ждали от нанятых ими польских отрядов. На деле последние не сыграли существенной роли, тогда как первые спасли все дело: сдача без боя, в течение первых же недель похода, целого ряда украинских крепостей: Чернигова, Путивля, Рыльска, Севска, Курска, Белгорода, Царева-Борисова, дала «царевичу» в руки массу опорных пунктов, откуда борисовы воеводы не могли его выбить даже в самые черные для Димитрия дни войны, а блестящая защита Кром донским атаманом Корелой, в сущности, решила поход: московское войско здесь окончательно убедилось, что Годунову с «самозванцем» не справиться, а отсюда был один шаг до вывода, что служить Названому Димитрию выгоднее, чем царю Борису. Присматриваясь далее к военным действиям, начавшимся осенью 1604 г., мы видим, что всякий раз, когда Димитрий встречает серьезное сопротивление (так было под Новгородом-Северском например), на сцене не поместная армия, а зачатки регулярной военной силы: московские стрельцы (позднейшая гвардейская пехота) да иноземные наемники. Это быстро оценил и сам Димитрий, поспешивший взять Борисовых ландскнехтов себе на службу и всячески стремившийся заслужить симпатии стрелецкого войска, в чем он отчасти успел. Если бы не эти, новые для московского войска, элементы, агония Борисова

царствования была бы еще кратковременнее. Но и так это была уже только агония. С первого момента открытого появления «царевича» годуновское правительство растерялось и не знало, что ему делать. Его военные мероприятия были крайне нерешительны и бестолковы: оно сосредоточивало войска не там, где нужно, посылало войска меньше, чем было нужно, и ставило во главе его явно ненадежных, с годуновской точки зрения, предводителей—Мстиславских да Шуйских с Голицыными. В то же время оно усиленно старалось доказать всем,—и прежде всех, кажется, самому себе,—что «царевич Димитрий Иоаннович» не кто другой, как Гришка Отрепьев: как будто достаточно было назвать настоящее имя вождя антигодуновской революции, чтобы покончить с этой последней. Эта растерянность верхов очень хорошо чувствовалась низами, и уже до смерти Бориса правительственная армия начала разбредаться. К моменту этой смерти (13 апреля 1605 г.) в ней остались, рядом с немногочисленными регулярными отрядами, почти только самые ненадежные полки: местные северские служилые люди, еще не успевшие передаться претенденту.

В такой обстановке нетрудно было сложиться новому заговору. Социальный состав его памятники указывают настолько определенно, что споров здесь быть не может: на Годунова встали средние помещики, его главная опора в дни борьбы за власть с его соперниками. Казацкое движение передалось теперь верхним слоям «воинников». Летопись называет даже определенно имена тех, что был «в совете» на царя Бориса и его сына. То были дети боярские Рязани, Тулы, Каширы и Алексина, а среди них на первом месте «Прокопий Ляпунов с братьею и со советники своими». Другие источники называют рядом с «заоцкими городами» и «детей боярских новгородских», но решающим было конечно присоединение к заговору поместного землевладения географически ближайших к театру войны областей. Теперь пол московского царства фактически было в руках Димитрия. Если бы другая половина так же решительно встала за царствовавшую династию, получилась бы междоусобная война в грандиозном масштабе. Что объективно это было возможно, показало царствование Шуйского. Но другая, не помещичья, половина Московского государства—это были города с экономически и социально тесно тянувшим к буржуазии, черносошным—не крепостным—крестьянством, а буржуазия совсем не расположена была жертвовать собой для Годуновых. Отношения к ним Бориса навсегда остались «худым миром», который был лучше конечно «доброй ссоры», какая была в 1587 г., но от которого очень далеко было до преданности. Недаром «царевич» считал посадских на своей стороне, объясняя в своих грамотах, что гостям и торговым людям при Борисе в торговле и в пошлинах вольности не было и что треть «животов их, а мало и не все, иманы были» годуновским правитель-

ством. В этом отношении обе политики Бориса—«дворянская» первых лет и «демократическая» последних—одна другой стоили: на что бы ни шла царская казна, на подачки помещикам или на «кормление голодающих», наполнять ее одинаково приходилось за счет торгового капитала. На спасение такого режима посадские не дали ни полушки денег и ни одного ратника. Столкновение дворянских заговорщиков, с Ляпуновым во главе, и оставшихся верными Борису отрядов стоявшей под Кромами армии было последним актом кампании 1605 г. Соотношение сил было таково, и так велика была растерянность оставшейся у правительства рати, что рязанские дети боярские в союзе с казаками разгоняли ее, почти не прибегая к оружию. Названый Димитрий, продолжавший еще «отсиживаться» в Путивле, совершенно неожиданно для себя получил (в начале мая 1605 г.) известие, что ему не с кем больше воевать. Номинально командовавшие исчезнувшими теперь войсками и управлявшие страной бояре не имели другого выхода, как признать претендента. Их политическая роль в эту минуту была столь же жалкая, как и в расцвет опричнины: восставшее дворянство было фактическим хозяином государства, и бояре, уже не как класс, а просто как толпа классических «придворных», могли использовать минуту лишь для того, чтобы выместить на семье Бориса то, что они вытерпели в свое время от «рабоцаря», худородных возводившего на благородных. Месть была так сладка, что один из самых благородных, кн. В. В. Голицын, не отказался от функций палача: на его глазах и под его руководством были удавлены вдова и сын Годунова. Но на долю боярства и тут выпала чисто исполнительная роль: организаторами свержения Годуновых были агенты «царевича», приехавшие из армии, а совершиться оно могло только благодаря дружественному нейтралитету московского посада,—который не только пальцем не шевельнул на защиту «законного правительства», но и принял живое участие в грабеже годуновских «животов», вспоминая, как покойный царь отобрал «треть животов» у посадских.

Сходство порядков, водворившихся на Москве летом 1605 г., с опричниной Грозного не ограничивалось угнетенным положением боярства—оно шло дальше. Как и их отцы, ровно сорок лет назад, приведшие в Москву Димитрия помещики широко использовали свою победу: такой оргии земельных раздач и денежных наград Москва давно не видала, даже, пожалуй, и в те дни, когда Годунов особенно ухаживал за дворянством. По словам секретаря Димитрия, Бучинского, за первые шесть месяцев своего недолгого царствования названный сын Грозного роздал 7,5 млн. тогдашних рублей, по меньшей мере 100 млн. рублей теперешних. Часть этих денег пошла в карманы казаков и польских жолнеров,—но далеко большая часть разошлась в виде жалованья русским служилым людям, все денежные оклады которых сплошь были увеличены ровно

вдвое: «кто имел 10 рублев жалованья, тому велел дати 20 рублев, а кто тысячу, тому две дано». Роздали повидимому все, что можно было раздать: русские летописцы твердо запомнили, что «при сего царствии мерзостного Расстриги от многих лет собранные многочисленные царские сокровища московского государства истощились». Цитируемый автор приписывает это главным образом жадности польских и литовских ратных людей; но другой современный историк не скрыл, что щедроты «Расстриги» изливались не только на иностранцев. Димитрий, «хотя всю землю прельстити и будто тем всем людям милость показати и любим быти, велел все городы верстати поместными оклады и денежными оклады». Об этих верстаньях, экстренных земельных раздачах в параллель к удвоенному жалованью, в 1605—1606 гг., сохранилась такая масса документальных свидетельств, что мы знали бы о них даже и без летописцев; и у последних больше характерно это отождествление «всех городов», т. е. детей боярских, помещиков, всех городов, со «всею землею»: как во дни опричнины, помещики опять были «всей землей», потому что все земли были в их руках. Огромные имения Годуновых на первых порах могли удовлетворить земельную жажду новых хозяев: но в перспективе виднелись меры и более общего характера; начали уже конфисковывать участки церковной земли,—обращаясь в то же время к монастырским капиталам за пополнением быстро пустевших казенных сундуков. Когда мы слышим о «ересях» Названого Димитрия, это обстоятельство непременно надо принимать во внимание. И боярские конфискации грозили не ограничиться одними родственниками низвергнутой династии—падение Василия Ивановича Шуйского, в первые же дни нового царствования осужденного и сосланного не то за действительный заговор, не то просто за злостные сплетни насчет нового царя, предвещало и с этой стороны большое сходство с опричниной. Димитрий Иванович решительно напоминал своего названого отца—и если боярского заговора еще не было в первые недели царствования, когда был сослан за него Шуйский, он должен был сложиться под влиянием простого инстинкта самосохранения очень скоро. Тем более, что положение боярства теперь было менее безвыходно, чем сорок лет назад. Тогда управы на Грозного можно было искать только в Литве, с большой порухой своему православию—теперь православная церковь изъявляла полную готовность итти рядом с боярами против «олатынившегося» царя; а главное—служилые имели тогда на своей стороне московский посад и боярам, взятым и с фронта и с тылу, податься было некуда. Теперь посадские очень скоро убедились, что от Димитрия им не приходится ждать больше добра, чем от Годунова—и брожение в московском посаде становилось день ото дня заметнее. Кое-какие намеки, разбросанные в летописях и документах, дают нам некоторую возможность проследить,

как распространялось это брожение по различным слоям московской буржуазии. Мелкие торговцы, лавочники и ремесленники не были в числе недовольных Димитрием. Серебро, попавшее в дворянские и казацкие карманы, быстро превращалось в потребительные ценности, и в московских рядах торговля шла на славу. Оттого, к великому огорчению благочестивых писателей, вроде знакомого нам романовского памфлетиста, здесь очень мало внимания обращали на «ереси» «самозванца». Волнение почувствовали здесь лишь тогда, когда необыкновенный наплыв поляков по случаю царской свадьбы (их, считая дворню, вооруженную и безоружную, набралось до 6 тыс.), в связи с пускавшимися заговорщиками нелепыми слухами, разбудил прямо шкурный страх: тогда в рядах перестали продавать приезжим порох и свинец. Гораздо раньше должно было проснуться беспокойство крупного капитала. Названого царя привели в Москву между прочим наиболее демократические элементы «воинников»—самые мелкие помещики русского юга и даже только кандидаты в помещики, в лице казаков. Служилая мелкота еще при Грозном была в тисках денежного капитала, и уже царскому Судебнику приходилось ограничивать право служилых людей продаваться в холопы: это могли делать только те, «кого государь от службы уволит». Кабаление служилых продолжалось и при Годунове: в это время очень многие богатые люди, начиная с самого царя, «многих человеки в неволю себе введше служити», и в числе этих невольников бывали и «избранные меченосцы, крепкие с оружием во бранех», притом владевшие «селами и виноградами». Распространение кабального холопства было таким образом фактом вовсе не безразличным для служилой массы—и для низших ее рядов фактом отнюдь не желательным. Приговор Боярской думы Димитрия (от 7 января 1606 г.), сильно стеснявший закабаление, делая его чисто *личным*,—тогда как раньше кабалы часто писались на имя целой семьи, отца с сыном например, или дяди с племянником,—не выходил, стало быть, за рамки дворянской политики нового царя, напоминая только, что за последним стояли не одни богатые помещики, вроде Ляпуновых, но и служилая мелкота. Недаром самые мелкие из мелких, казаки, с сияющими лицами расхаживали теперь по Москве, где в свое время не один из них изведал холопство, восхваляя дела своего «солнышка праведного», царя Димитрия Ивановича. Но тем, кто промышлял отдачей денег взаймы, такое направление правительственной политики не могло нравиться, и близкий к крупнобуржуазным кругам романовский памфлетист строго осуждает как «врагов-казаков», так и легкомысленных москвичей, которые их слушали.

Это, так сказать, уж не *классовое*, а *слоевое* направление новой политики, явно интересовавшейся низами служилой массы иногда, быть может, и не без ущерба ее верхам, не прошло

даром для Димитрия: если направленный против него переворот не встретил почти отпора в самой Москве, то тут не безразличен был тот факт, что подстоличное дворянство всего менее было взыскано царскими милостями. Названый сын Грозного был царем не только дворянским—но, еще ближе и теснее, царем определенной дворянской группы, детей боярских городов украинных и заокских. Другой боярский приговор, 1 февраля 1606 г., дает возможность к социальному оттенку прибавить этот географический. Приговор лишил права помещиков, от которых в голодные годы разбрелись крестьяне, искать их и требовать обратно: «не умел он крестьянина своего кормить в голодные лета, а ныне его не пытай». Но московская эмиграция шла с севера на юг и от центра к окраинам: на счет запустелых подмосковных ширились, как грибы, возникавшие каждый год на черноземе имения южных, пристепных помещиков, бедные рабочими руками. Недаром именно на юге так популярно было имя Димитрия—популярно долго после того, как его носитель был убит и сожжен, и прах его рассеян по ветру.

Низвергнуть Димитрия вооруженной рукой казалось делом гораздо более трудным, чем одолеть брошенных своею армией Годуновых. Названый был настоящим царем военных людей, и военная свита не покидала его ни на минуту. По городу он всегда «со многим воинством ездил, спереди и сзади его шли в бронях с протазанами и алебардами, и иным многим оружием», так что «страшно» было «всем видети множество оружий блещащихся». Бояре же и вельможи во время этих выездов царя находились далеко от него, на втором плане. И любили Димитрия военные люди: когда заговор проник в Стрелецкую слободу, стрельцы своими руками перебили изменников; и в день катастрофы они кинули царя последние. Но и тут была своя обратная сторона. Военный человек по натуре, Димитрий не мог усидеть на месте. Интересы южных помещиков, хронически терпевших от крымцев, тоже толкали к походу — и именно на юг; напуганные в прошлом крымскими набегами москвичи не без страха и не без укора царю рассказывали, как Димитрий «дразнит» крымского хана, отправив ему будто бы шубу из свиных кож. В центре и на севере к далекому степному походу относились не так, как на юге. Между тем этот последний день ото дня становился неизбежнее: Димитрий деятельно мобилизировал свою армию, устроил огромные магазины в Ельце, увел туда и большую часть московской артиллерии, опять к немалому страху москвичей, которым казалось, что царь «опустошил Москву и иные грады тою крепостию». Всеми этими страхами пользовались заговорщики, систематически пускавшие слухи, что царь «раздражает род Агарянский» недаром и недаром обнажает центр государства от военных сил: это-де все делается, чтобы «предать род христианский» и облегчить

захват безоружной Москвы поляками. Эти толки находили себе благоприятную почву даже и в рядах служилого класса: поход на Крым еще раз географически сузил симпатии помещиков к Названому Димитрию. Белозерскому или новгородскому сыну боярскому совсем не улыбалась перспектива итти за тысячи верст драться за интересы его заокских собратий. Между тем при продвижении войска в сторону степи около Москвы скоплялись именно северные полки, тогда как южные ждали царя на «польской» украине. 3 тыс. новгородских детей боярских и оказались военной силой заговора—с присоединением «дворов» бояр-заговорщиков (есть известия, что Шуйские специально стянули на этот случай все силы из своих вотчин) и посадских, которых снабдили оружием те же бояре,—этого было довольно, чтобы справиться с немецкой стражей Димитрия и даже чтобы заставить поколебаться московских стрельцов. Во всяком случае этого было довольно для нападения врасплох,—а именно на это рассчитывали Шуйские с братией. В таком расчете им очень помогла самонадеянность Димитрия, уверенного, что он «всех в руку свою объят, яко яйцо, и совершенно любим от многих». У этой самонадеянности были известные объективные основания—расчет названого царя не был только свидетельством его легкомыслия; то был результат неверных политических ходов, политическая ошибка. История его воцарения должна была дать ему неправильное представление об удельном весе московского боярства,—он не забывал его приниженной и пассивной роли в те дни, отсутствия в его среде солидарности, так явно сказавшегося в деле Шуйского, кинутого всеми, едва его постигла царская опала. Ему казалось, что бояр вообще бояться нечего,—а в то же время, воспоминания его детства и ранней юности должны были дать ему столь же неверное представление о соотношении сил в кругу самого боярства. Выкормыш Романовых, Димитрий легко привык к мысли, что во главе московской знати стоят именно они и что, имея их на своей стороне, других опасаться нечего. С Романовыми он и старался поддержать хорошие отношения: сосланный и постриженный Годуновым Федор Никитич стал митрополитом Филаретом, единственный уцелевший из остальных братьев, Иван Никитич,—боярином. Несомненное участие и Романовых в заговоре против Димитрия составляет одну из самых темных сторон этого дела. Это дает некоторое представление о силе оппозиционного настроения в самой Москве к концу царствования: даже те, кого названный царь ласкал, не решались остаться на его стороне. Что Федор Никитич и в мантии митрополита оставался боярином и не мог чувствовать особенной симпатии к «дворянскому» царю, да еще с явными «латинскими» склонностями, это тоже могло сыграть свою роль. Как бы то ни было, те, на чью «любовь» Димитрий мог рассчитывать не без основания, в действительности стояли в

рядах его противников. К этому удару с тыла он совершенно не был приготовлен,—и нельзя его за это винить.

Окончательный толчок делу дала уже прямая бестактность польских сторонников Димитрия, которые на всем протяжении его недолгой истории гораздо больше доставляли ему хлопот, чем приносили пользы. Приведенные съехавшимися на свадьбу царя с Мариной Юрьевной польскими гостями жолнеры вели себя крайне бесчинно,—а по количеству их было, как мы видели, столько, что слухи о польском захвате начинали как будто оправдываться. В связи со всем предшествующим это привело московскую толпу в такое нервное состояние, что заговорщики стали опасаться преждевременного взрыва. Возможно, что раньше предполагалось покончить с царем во время похода; теперь пришлось рискнуть на более опасное—добывать Димитрия в его собственном дворце. Уверенность Названого в своих ближайших слугах несомненно облегчила это дело. Характерно, что бояре-заговорщики, ударив в набат в Рядах, на Ильинке, не решились двинуть посадских на Кремль, а направили их на поляков; непосредственно же для убийства «Расстриги» был отряжен небольшой, человек в 200, отряд специального состава, который был легко пропущен до самых царских покоев, потому что во главе его шло первое московское боярство; по имени, летописи согласно называют князей Шуйских, Василия Ивановича, недавно возвращенного «Расстригой» из ссылки, и его брата Димитрия,—но рядом с ними были и «иные многие бояре и вельможи». Позже на улицах Москвы мы встречаем и Мстиславского, и Голицыных, и Ивана Никитича Романова. Позднейшие сказания приписывают Василию Ивановичу Шуйскому самое непосредственное участие в убийстве; защищая его от Димитрия, на последнего и накинулись, будто бы, «бояре и дворяне». Но памфлет Шуйских,—как и памфлетист Романовых, одинаково скользят по подробностям этой трагической ночи: видимо, ни тем, ни другим удовольствия эти воспоминания не доставляли.

Казалось бы, что, идя на такое дело, которое неминуемо должно было кончиться опустением московского престола, заговорщики должны были заранее подумать, как эту пустоту заполнить. На деле однако этого не было—и целых двое суток Москва была без царя. В боярском кругу о кандидатуре молчали: это показывает, насколько жгучим был вопрос. Боялись поссориться на нем накануне дела и тем сорвать самый заговор. Уже это одно должно устранить представление об «аристократической камарилье», «боярском кружке»,—так распространенное в новейшей литературе. Камарилья могла бы спеться, а тут мы никакой согласованности мнений и действий не замечаем. Если у кого из заговорщиков был определенный план действий, то только у одного Василия Ивановича Шуйского, который и поспешил воспользоваться этим своим преимуще-

ством. Пока остальные бояре растерянно толковали о том, что надо «совет сотворити... и общим советом избрати царя на московское государство», что надо разослать грамоты о Земском соборе, как было в 1598 г.—толковали с единственной очевидно целью оттянуть дело, московский посад выкрикнул царем Шуйского. Что воцарение последнего было своего рода заговором в заговоре, полным сюрпризом для большинства членов воображаемой «камарильи», об этом совершенно согласно свидетельствуют и русские, и иностранные источники. Полуофициальная летопись Смуты, которую мы сейчас цитировали, рассказав о недоуменных толках бояр насчет земского собора, продолжает: «но нецыи от вельмож и *от народа* ускориша, без совета общего избраща царя от вельмож боярина князя Василия Ивановича Шуйского... *избрания же его не токмо во градех, но и на Москве не все ведаху*». Автор романовского памфлета совершенно согласно с этим передает дело: «малыми некими от царских палат излюблен бысть царем Василий Иванович Шуйский... никем же от вельмож не перекован, не от прочего народа умолен». Этот последний автор несомненно тенденциозен в данном случае: в 1606 г. Романовы были соперниками Шуйских, как в 1598—Годуновых; но тенденция его состоит в том, что он отрицает участие *народа* в избрании Шуйского, а не в том, что он отрицает участие в этом деле *бояр*. Шуйский «воздвигся кроме воли всея земли» потому, что не все чины и не все города московского государства посадили его на царство. Но «народ» при этом деле был, и о его социальном составе дает вполне определенное показание один иностранец, бывший свидетелем выборов. «Ему поднесли корону,—говорит о Шуйском Конрад Буссов,—одни только жители Москвы, верные соучастники в убиении Димитрия, *купцы*, *сапожники*, *пирожники* и немногие бояре». Шуйский был посадским царем, как Названый Димитрий был царем дворянским. В этом была новизна его положения. Дворянский царь был уже не один: таким был Грозный во вторую половину своего царствования, и Годунов в первую. Но представитель буржуазии еще ни разу не сидел на московском престоле; этот класс впервые держал в руках верховную власть—оставался вопрос, удержит ли он ее, когда московский мятеж уляжется и жизнь войдет в нормальную колею.

«Самовоцарение» Василия Ивановича в первую минуту совершенно ошеломило боярские круги—тем более, что в числе «немногих бояр», посвященных в этот второй заговор, кроме родственников нового царя, повидимому, были одни только Романовы. Филарет Никитич был наречен патриархом, кажется, в то же время, как Шуйский царем: почему это соглашение не удержалось, и Филарет должен был итти искать патриаршества в Тушине, этот вопрос большого исторического интереса не представляет. Вследствие ли разрыва Шуйских с Романовыми, или по какой другой причине, но растерянность боярства

стала проходить довольно быстро: раз не приходилось делить мономаховой шапки, бояре опять стали такой же дружной стенкой, какой они шли убивать «Расстригу». Не удалось посадить своего царя, нужно было хотя гарантировать себя от чужого, и в этом отношении опиравшийся на купцов Шуйский, заранее можно было предсказать, должен был обнаружить меньшую силу сопротивления, нежели окруженный «воинниками» Димитрий. Во время венчания Василия Ивановича в церкви разыгралась странная и на первый взгляд совершенно непонятная сцена. Нареченный царь начал вдруг говорить о том, что он хочет крест поцеловать на том, что не будет он никому мстить за претерпенное им при Борисе—и вообще *ни над кем ничего «творити не будет без общего совета»*. Бояре же и прочие стали ему говорить, чтобы он этого не делал и креста на том не целовал: «понеже никогда тако не сотворися, *и дабы нового ничего не всчинал*». Но Шуйский не послушался и поцеловал крест. При обычном взгляде на Шуйского как на боярского царя тут ничего понять нельзя. Бояре давно уже хотели ограничить царскую власть, оградить себя от произвола сверху; новый царь берется целовать крест, что произвола не будет—бояре его отговаривают. Но, внимательно вчитавшись в слова Шуйского, мы поймем, какую лазейку нашел для себя этот тонкий дипломат. «Общий совет» и вообще на тогдашнем языке, и, в частности, в рассказе об избрании Шуйского у «Нового летописца», которого мы цитируем, есть синоним *земского собора*. Перед этим только что бояре апеллировали к этому учреждению против Шуйского: теперь он апеллирует к собору против бояр, заявляя, что он согласен ограничить свою власть, но только «общим советом», а не боярской думой. Бояре тотчас же очень наивно и выдали себя, обнаружив, что сами они о Земском соборе толковали вовсе не серьезно, а лишь ради того, чтобы оттянуть время. Но и сам царь Василий хотел лишь попугать бояр,—на самом же деле созвать вассалитет московского царства, где большинство, без сомнения, было на стороне убитого им Димитрия, вовсе конечно не входило в его планы. И тотчас же в этой первой стычке обнаружилось, что бояре сильнее; потому что в официальной крестоцеловальной записи, разосланной по городам, царь обещался «всякого человека, *не осудя истинным судом с бояры своими*, смерти не предати». Вопреки мнению некоторых новейших историков, это был колоссальный успех боярства. Даже если бы Шуйский этим своим крестоцелованием лишь закрепил старинный московский обычай, это имело бы не меньшее значение, чем закрепление местнических обычаев при Грозном. Но мы вовсе не имеем уверенности, чтобы политические процессы со времени опричнины разбирались при участии боярской думы, «истинным судом»: наоборот, есть все основания думать, что они разрешались в *сыскном* (а не судебном) порядке, образец которого

давно был дан губными учреждениями. Бояре, которые «пыхаху и кричаху» на Романовых во время их дела, были не судьи, а следователи, назначенные Борисом. Крестоцеловальная запись Шуйского восстановляла судебные порядки там, где со времени опричнины господствовала административная расправа. Но «запись» шла дальше: она заключала в себе ограничение и самой судебной репрессии. До сих пор последняя была коллективной: опала постигала весь род, и все вотчины опальной фамилии подвергались конфискации. В этом, как мы видели, и состоял экономический смысл опричной политики,— массами переводившей вотчинные земли в руки «воинников». Теперь этим массовым конфискациям был положен конец: «вотчин, и дворов, и животов у братьи их (осужденных), и у жен, и у детей не отымати, *будет которые с ними в мысли не были*». Это установление индивидуальной ответственности вместо групповой—чрезвычайно важный факт с социологической точки зрения: но на этой стороне дела мы пока не будем останавливаться. Отметим только, что *боярский* характер «конституции» Шуйского особенно подчеркивается этим пунктом: от конфискаций родовых вотчин никто, кроме боярства, не страдал. Сами авторы «записи» почувствовали это, и так как реальной силой, на которую опиралось новое правительство, были не бояре, а московский посад, то «боярские» статьи конституции получили дополнение, не менее любопытное, чем они сами: «также у *гостей* и у *торговых людей*, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертныя вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не отъимати, будет с ними они в той вине невинны...»

Русская «хартия вольностей» ограждала таким образом интересы, с одной стороны, бояр, а с другой—гостей и торговых людей. Дворянства она не касалась, и в борьбе с тотчас же вновь вспыхнувшим дворянским мятежом казни и ссылка в административном порядке применялись на каждом шагу. Это было ограничение царской власти не в пользу «всей земли», а в пользу только двух классов, которые вдобавок в данную минуту не имели никаких положительных общих интересов. У них был общий враг: средние и мелкие служилые, через посредство царской казны эксплоатировавшие торговый люд и посредством царской власти экспроприировавшие боярство. Пока они не справились с общим врагом, их союз держался кое-как. Но когда этот враг подался и союзникам на освободившемся месте пришлось строить новое здание, тотчас же должно было обнаружиться, как чужды они друг другу. Экономическое родство оказалось сильнее временной политической комбинации, и в конце концов оба *новых* экономически класса: и посадские, и помещики, оказались вместе против представителя экономической реакции, против боярства. Четырехлетнее правление Шуйского было своего рода браком по расчету между

торговым капиталом и боярской вотчиной, где обе стороны ненавидели и презирали друг друга, но разорвать союза не решались, пока не вынудил к этому внешний толчок.

Боярство разорвать союза не могло уже по той причине, что без помощи торгового капитала оно, в самом простом, материальном смысле этого слова, не могло управлять государством. Убитый Димитрий приготовил тяжелую долю своим врагам: на другой день после своего воцарения новый царь увидел себя перед пустыми сундуками. «Царь бо, не имый сокровища много и другов храбрых, подобен есть орлу бесперому и не имеющему клюва и когтей: все царские сокровища истощил богомерзкий Расстрига, разбрасывая деньги; скудость и теснота пришла всем ратным людям», и не пошли ратные люди за царем Василием. Экстренные меры, которые пришлось принять этому последнему, чтобы выплачивать ставшим на его сторону служилым государево жалованье, хотя бы в минимальном размере, показывали, в какой «тесноте» жил он сам: ревнителю православия, только что одолевшему «поганого еретика», пришлось итти по стопам этого последнего, накладывая руку на монастырскую казну, и даже на монастырские ризницы: чтобы добыть денег, переливали в монету церковные сосуды, пожертвованные «по душе» прежними царями. Но всего этого было мало, и если правительство Шуйского продержалось четыре года, оно этим было обязано «торговым людям»: без помощи городов поморских и понизовых, и ратными людьми и деньгами, оно не пережило бы первого восстания.

Это последнее, можно сказать, разумелось само собой после дня 17 мая. Северской украине, приведшей в Москву Названого Димитрия, слишком дорого обошлась кратковременная реакция при Борисе—после первой же случайной неудачи претендента,—чтобы она стала дожидаться расправы с ней со стороны победивших теперь «Расстригу» москвичей. По словам одного современника, «Севера» была уверена, что новый царь готовит ей участь, какую испытал Новгород при Иване Васильевиче. «Можно удивляться тому, как быстро и дружно встали южные города против царя Василия Шуйского. Как только узнали в Северщине и на Поле о смерти самозванца, так тотчас же отпали от Москвы Путивль и с ним другие северские города, Ливны и Елец, а за ними и все Поле до Кром включительно. Немногим позднее поднялись заокские, украинные и рязанские места. Движение распространилось и далее на восток от Рязани в область мордвы, на Цну и Мокшу, Суру и Свиягу. Оно даже передалось через Волгу на Вятку и Каму в пермские места. Восстала и отдаленная Астрахань. С другой стороны, замешательство произошло на западных окраинах государства, в тверских, псковских и новгородских местах» [1].

[1] *Платонов*, цит. соч., стр. 318.

В октябре 1606 г., менее чем через шесть месяцев после воцарения Василия Ивановича, южные инсургенты стояли уже под самой Москвой. Только что цитированный нами автор совершенно правильно говорит, что «на украйне в 1606 г. восстали против правительства Шуйского те же самые люди, которые раньше действовали против Годуновых». Но были и новые элементы—и он тут же дает характеристику южного движения этого года как «возмущения холопей и крестьян против господий своих». Так именно называется посвященная этому движению глава в знакомом нам «Новом летописце». Компилятор этого последнего был особенно близок повидимому к патриаршему двору—и даваемое им освещение южного бунта несомненно заимствовано из патриарших грамот того времени. Эти грамоты Гермогена (патриархом был тогда уже он) дошли до нас и в подлиннике (или, что для нас не составляет разницы, в официальном пересказе). Там действительно говорится, что «воры» (так на московском официальном языке выражалось то понятие, которое в новейших полицейских документах выражается словом «злоумышленники») в своих «проклятых листах» (по-нынешнему, прокламациях) «велят боярским холопям побивать своих бояр, и жены их и вотчины, и поместья им сулят, и шпыням и безыменникам ворам велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе, и хотят им давати боярство и воеводство, и окольничество, и дьячество» [1]. Но из этого текста видно, как неосторожно было бы утверждать, что «воры» ставили «целью народного движения не только политический, но и общественный переворот». Какой же был бы «общественный переворот» в том, что вотчины и поместья сторонников Шуйского перешли бы в руки их холопов, приставших к движению? Переменились бы владельцы вотчин,—а внутренний строй этих последних остался бы конечно неприкосновенным. Эта неприкосновенность старого строя особенно ясна из другого посула «воров»: давать холопам боярство и воеводство, и окольничество. Вся московская иерархия предполагалась, значит, на своем месте—и, когда «воры» прочно обосновались под Москвой, была вопроизведена в «воровской» столице Тушине. Нет никакого сомнения, что мы имеем здесь дело с двойной демагогией. Во-первых, предводители восстания против Шуйского, поднимая на бояр крепостное население боярских вотчин, не стеснялись в обещаниях, надеясь, что исполнять их не придется и что в случае надобности вооруженные помещики легко справятся с мужицким бунтом, если он перейдет границы для них полезного. А во-вторых, патриарх, возбуждая против «воров» городскую буржуазию и ту часть землевладельцев северной и центральной России, которая еще колебалась, напирал как раз на те стороны «воров-

[1] Акты Археографической экспедиции, II, № 57—59.

ской» программы, которая должна была быть особенно одиозна именно для этих классов. В результате и получилась картина чуть ли не социальной революции, которая для данной минуты была еще несколько преждевременной. Главную боевую силу армии инсургентов составляли все те же «рязанцы дворяне и дети боярские» во главе с Ляпуновыми и Сумбуловыми, которые склонили чашку весов на сторону Названого Димитрия в мае 1605 г. Когда Шуйскому удалось (в ноябре 1606 г.) путем тяжелых, без сомнения, пожертвований переманить на свою сторону эту часть восставших, он сразу получил возможность перейти в наступление. А рядом с ними мы встречаем конечно казаков: следующим после Ляпунова и Сумбулова перебежчиком был «атаман казачий Истомка Пашков», который с дружиной в четыреста человек бил челом в службу Василию Ивановичу, рассчитав очевидно, что таким путем ему и его товарищам легче стать помещиками, чем посредством бунта. Сам Истома Пашков между прочим был чрезвычайно типичным образчиком того промежуточного класса, который постоянно колебался между «вольным казаком» и «государевым сыном боярским»: «казачий атаман» по летописи, по документам он значится служилым человеком, и даже не из очень мелкопоместных. Социальную сторону движения представляет собою бывший холоп Иван Исаевич Болотников, по имени которого и все восстание часто называют «Болотниковским бунтом». Но как мало была еще диференцирована эта сторона, видно из того, что и его бывший барин кн. Телятевский был одним из предводителей той же самой «воровской» армии. Социальное движение только начиналось—разгар его был впереди.

Ближайшая судьба Прокопия Петровича Ляпунова служит хорошим образчиком и того, какими мотивами двигалось восстание, и того, какими средствами Шуйский с ним боролся. После своей измены делу инсургентов Ляпунов стал членом государевой думы («думным дворянином») и, вместе с товарищем, Сумбуловым, был назначен воеводой в Рязань: иными словами, Рязань была отдана в руки той дворянской партии, которая стояла за Названого Димитрия и до, и после его смерти. Став хозяевами у себя дома, рязанцы согласились терпеть на Москве Шуйского,—и с этих пор мы видим их в числе лояльных верноподданных Василия Ивановича. О «победе» последнего можно было говорить, как видим, весьма относительно, даже и не считаясь с тем обстоятельством, что «прежде погибшая» Северская украина осталась погибшей для Шуйского навсегда. Свидетельством его критического положения в первый же год царствования служит еще один образчик правительственной публицистики этих дней, составляющий хорошую параллель тому памфлету, с которым мы уже знакомы. Тот был выпущен летом 1606 г. и, как мы помним, ограничивался фальсификацией естественных, на земле происходивших событий.

Осенью в дело вовлечены были уже небесные силы: некий протопоп Терентий (перед этим служивший своим литературным талантом Названому Димитрию, а впоследствии поступивший на службу к польскому королю Сигизмунду) поведал московской публике о видении, явившемся «некоему мужу духовну», пожелавшему остаться неизвестным. Святой муж ночью, не то во сне, не то наяву, очутился в московском Успенском соборе— и там видел грозную сцену: самого Христа, в присутствии богоматери, Иоанна Крестителя и всех апостолов и святых, которые имели точь-в-точь такой вид, как их рисуют на иконах, творившего суд над Москвой, ее царем, патриархом и народом. Приговор был суровый, и московский народ, «новый Израиль», за свои многочисленные грехи был бы совсем осужден на погибель, если бы не вмешательство богоматери, умолившей Спасителя дать москвичам время покаяться. «Видение» по царскому повелению читали в соборе, и не может конечно быть ни малейшего сомнения, что искусное и весьма гибкое перо московского протопопа работало здесь, как всегда, строго согласно с официальными указаниями. Положение Москвы в эти дни (середина октября 1606 г.) было действительно таково, что иначе, как сверхъестественным путем, выбраться из него, казалось, не было возможности. «Окаянные,—пишет официальный публицист Шуйского,—умыслили около града обсести и все дороги отнять, чтобы ни из города, ни в город никого не пустить, чтобы никакой помощи городу никто не мог оказать ниоткуда: так и сделали. В городе же Москве на всех людях был страх и трепет великий: от начала города не было такой беды». «Видение», свидетельствовавшее, что сама божия матерь своими молитвами охраняет город, должно было поднять дух несчастных москвичей, которые теперь себе в свою очередь могли ждать того же, чего ждали себе от Москвы «северяне» по воцарении Шуйского. Чтобы спастись от такой беды, можно было и не только что одного из «воровских» воевод в думу посадить... Даже и после того, как ополчение южных помещиков и казаков было расстроено изменами, а на подмогу царю Василию пришла наконец первая рать с севера, из поморских городов—двинские стрельцы, царские войска долго не могли добить остатков болотниковского ополчения. От Калуги воеводы Шуйского были отбиты, Тула, где потом засел Болотников, была взята тоже при помощи измены после долгой и трудной осады, притом взята на капитуляцию: последние солдаты «воровской» армии, выдав своих вождей, целовали крест царю Василию. Вчерашние политические преступники сегодня опять сделались царя и великого князя служилыми людьми и все на тех же «украинах». Совершенно ясно было, что при первом поводе дело должно было начаться сызнова. А в ту минуту, когда сдавалась Тула, повод уже был налицо: капитуляция состоялась 10 октября, а уже с конца августа в Стародубе-Северском стоял «чудесно

спасшийся» Димитрий с военной силой, гораздо более страшной для буржуазного царя, нежели болотниковские дружины — десятью тысячами, приблизительно, регулярной польской конницы и пехоты, во главе с самыми опытными и талантливыми польскими кондотьерами — Рожинским и Лисовским. Прогулка в Москву с первым Димитрием сыграла для людей этого типа роль разведки. Теперь они «знали дорогу» и видели, что московское правительство слабо, как никогда: странно было бы этим не воспользоваться. Весной 1608 г. второй Димитрий (личность которого уже совершенно никого не интересовала, даже в его время) разбил наголову двинутые против него на юг московские ополчения, а летом этого года Москва опять была в том же положении, как в разгаре болотниковского бунта. «Божиим попущением за беззакония наша содолеша врази православным христианом, и ничем не задержими, дошедши царствующего града Москвы, его же и обседше вкруг, промышляху прияти», меланхолически записал один современник, только что рассказавший о «содолениях» царя Василия. Осадное положение столицы—не внутреннее, а внешнее—начинало становиться для этого царствования нормой.

### 3. «Лучшие и меньшие»

Последние два года царствования Шуйского (с лета 1608 по 15 июля 1610 г., когда Василий Иванович был «сведен» с престола), на первый взгляд кажутся повторением событий 1605—1607 гг.,—новым взрывом всей той же междоусобицы в старой форме и под старыми лозунгами. На сцене опять Димитрий, юридически тождественный с тем, что осенью 1604 г. выступил против Годунова. На его стороне опять казачество, верное ему до конца, и массы мелкого служилого люда, провинциальные дворяне и дети боярские. Эта социальная почва «самозванщины» совершенно не зависит от местных условий: всюду и всегда мелкий вассалитет идет за Димитрием, по самым разнообразным личным побуждениям и под самыми разнообразными предлогами. Подмосковные мелкие помещики присоединялись к тушинцам, осаждавшим Троицкую лавру, для того будто бы, чтобы те не ограбили их имений; а в Вятке городовой приказчик (комендант города) со стрельцами «на кабаке чашу пили за царя Димитрия» потому, что не хотели, чтобы из их краев уводили ратных людей в Москву. Даже выступив в составе «правительственных войск» против «воров», провинциальные помещики скоро оказывались с последними. Костромские и галицкие дети боярские пришли под Ярославль драться с отрядами Лисовского, а потом хотели отбить для тушинцев царский «наряд» (артиллерию),—и немного позже мы их видим вместе с «лисовчиками», громящими Кострому. Зато посадские люди всегда показывали себя лояльными слугами Шуйского:

когда победа, к весне 1609 г., стала было склоняться на сторону царя Василия, он сам приписывал этот успех вологжанам, белозерцам, устюжанам, каргопольцам, сольвычегодцам, тотмичам, важанам, двинянам, костромичам, галичанам, вятчанам «и иных разных городов старостам и посадским людям» [1]. И действительно, те стояли за него «не щадя живота»: один Устюг Великий до весны 1609 г. выслал на помощь московскому правительству пять «ратей», т. е. пять раз испытал рекрутский набор, и, не собрав шестой «рати» только потому, что некого было уже взять, стал нанимать на государеву службу «охочих вольных казаков». Особенное значение для Шуйского в эти годы имела Вологда, в качестве центра заграничной торговли временно сменившая осажденную Москву. Там «собрались все лучшие люди, московские гости с великими товары и со казною, и государева казна великая, соболи из Сибири и лисицы, и всякие меха», а с другой стороны, там же скопились и «английские немцы» с «дорогими товарами» и с «питием красным». И как в движении служилых людей за Димитрия социальные мотивы решительно брали верх над местными интересами, так, с еще большей яркостью, сказалось это здесь: помогали Москве не только местные люди, вологжане, и съехавшиеся в Вологду московские купцы, но и иностранные гости. Английское купечество было тоже на стороне Шуйского.

Всего меньше было на стороне этого «боярского»—по учебникам—царя именно бояр. К концу его правления, кроме личных родственников и свойственников Василия Ивановича, среди его сторонников едва ли можно найти хоть одного представителя феодальной знати. Раньше всех и дальше всех пошли Романовы с их кругом. Посланный с войском против второго Димитрия, Иван Никитич Романов оказался чрезвычайно близок к форменному заговору, имевшему целью повторить то, что некогда произошло под Кромами в мае 1605 г. Заговор не удался,—и за него были сосланы ближайшие родственники Романовых, из ссылки скоро попавшие в тушинский лагерь, где собралась понемногу вся романовская родня во главе со старшим в роде митрополитом Филаретом, который стал в Тушине патриархом. Эпизод этот считался впоследствии настолько соблазнительным, что в официальном житии патриарха Филарета о нем вовсе умолчали. Но показания современников на этот счет так многочисленны и единодушны, что относительно самого факта не может быть сомнения, хотя люди благочестивые и лояльные по вполне понятным побуждениям старались дать ему объяснение, благоприятное для Филарета Никитича. Первая, после Романовых и Шуйских, боярская семья, Голицыны, шла иным путем, но тоже числилась в рядах открытых недоброхотов царя Василия, и ее виднейший представи-

[1] *Платонов*, назв. соч., стр. 397.

тель кн. Василий Васильевич стоял во главе восстания, низвергнувшего Шуйских. «Княжата» помельче, не смевшие рассчитывать на самостоятельную политическую роль, как Голицыны, не чурались и «воровского» двора, благо Романовы придали ему своим присутствием известную респектабельность. Кн. Шаховской был у «вора» «слугою», кн. Звенигородский—дворецким, князья Трубецкие, Засекины и Барятинские сидели боярами в его думе. Одно шпионское донесение из Москвы в Польшу, от конца правления Шуйского, говорило, что «прямят» последнему только некоторые дьяки, а из бояр почти никто.

При таком составе царских думцев, с патриархом из Романовых, Тушино, казалось, немного отличалось от столицы первого Димитрия. И однако, присмотревшись ближе к той армии, которая следовала за вторым «самозванцем», мы замечаем в ней характерные отличия от дворянской рати, что привела первого Димитрия в Москву. Первое из этих отличий, раньше других бросившееся в глаза и современникам и позднейшим историкам, состоит в преобладающей роли, какую играли в Тушине поляки. Романовский памфлетист, писавший повидимому в конце 1609 г., еще при Шуйском, значит, до попытки Сигизмунда захватить московский престол, до того момента, когда борьба приняла национальный оттенок, тем не менее очень много и с большим пафосом говорит об этом факте. По его словам, поляки, хотя их было и меньшинство, распоряжались русскими «изменниками», как своими подчиненными и, посылая их первыми в бой, отбирали потом лучшую часть добычи себе. Повторяем, здесь не приходится видеть националистической тенденции—ей еще пока не было места; да и характеристика, которую наш автор дает полякам, в общем скорее симпатичная: в противоположность русским тушинцам, они изображаются людьми, не лишенными известного рыцарства; они например не убивали пленных и не позволяли убивать своим русским товарищам, когда действовали в бою с ними вместе; тогда как, действуя одни, русские «воры» производили величайшие неистовства. И вот, в описании этих последних проглядывает другая, гораздо более любопытная черта тушинского движения: оно дает иную социальную физиономию, чем какой мы ждали бы от восстания служилых людей против посаженного в цари буржуазией боярина. Тушинские отряды с особенной любовью громят богатых и отнимают их имения. Где имения было слишком много и его было не увезти с собой—«не мощно взяти множества ради домовных потреб»,—они истребляли его, кололи на мелкие куски, бросали в воду; «входы же и затворы всякие рассекающе, дабы никому же не жительствовати там». Хорошо знакомая современному читателю картина разгрома помещичьей усадьбы весьма живо представляется нашим глазам, когда мы теперь читаем эти строки. А когда автор переходит к насилиям над людьми, нам на первом месте встречаются «мнози

холопи, ругающеся госпожам своим» и убивающие своих господ. Мы не будем мучить читателя описанием неистовств холопской мести, у нашего автора не менее наглядным и выразительным, чем картина погрома помещичьей усадьбы: но в высшей степени характерно признание автора, что для мести были основания, что господа заслужили лютую ненависть своих рабов. Картина, как богатые, «в скверне лихоимства живуще», заботятся о кабаках, «чтобы весь мир соблазнити» и на деньги, добытые взятками и грабежами, «созидают церкви божии», а голоса бедняков не слушают, «в лицо и в перси их бити повелевают, и батогами, которые злее зла, кости им сокрушают, и во узы, и в темницы, и в *смыки* и в *хомуты* их присуждают»: эта картина принадлежит к числу самых ярких не только в этом памфлете, но во всей литературе Смуты. Но если для объяснения тушинских неистовств приходилось припоминать все социальное зло, какое накопилось в Московской Руси к началу XVII в., то очевидно, что для самого нашего автора дело было не в одной «бесов злейшей» злобе русских людей, приставших к тушинскому «царику». То восстание общественных низов против общественного верха, которого еще рано было искать в казацких движениях или в болотниковском бунте, теперь начинает действительно проявлять себя под покровом тушинских отрядов. И национальный состав последних был здесь не безразличен; бунтовавшие помещики все же оставались помещиками—и по отношению к крестьянским побегам и крестьянской крепости враг Шуйского был солидарен с его сторонником. Собравшись под Москву вместе с казаками в самую критическую минуту, летом 1611 г., дети боярские не позабудут, что беглых крестьян и людей надо «по сыску отдавать назад старым помещикам». Будь тушинская армия сплошь русско-помещичьей, романовскому памфлетисту не пришлось бы описывать тех сцен, которые мы выше видели. В ином положении находились наемные польские отряды: хотя и шляхетские по своему составу, они, не собираясь оставаться в стране, не были связаны общностью интересов с местными помещиками. Поддерживать московский общественный строй было бы слишком сложной и далекой для них задачей: и трудно было бы этому удивляться, когда мы знаем, что 250 лет спустя гораздо более просвещенные русские дворяне, Самарины и Черкасские, находили же возможным опираться на польского крестьянина против польского помещика. Чего же было спрашивать в XVII в. с «вольных рыцарей» типа Лисовского или Рожинского? Все, что увеличивало «смуту», в самом непосредственном смысле этого слова, было им выгодно, так как делало все более влиятельным положение польской военной силы, единственной организованной силы среди этого хаоса. А добычу у взбунтовавшихся холопов легко было и отнять потом, ибо что же могли сделать полубезоружные погромщики против отлично вооруженной и вымуштрованной

польской конницы? Эта связь двух фактов—социального движения и паразитировавших в стране иноземных отрядов—не могла не стать ясной людям, которые наблюдали дело вблизи и притом в такой подробности, в какой оно нам уже недоступно, особенно когда эти люди в деле были непосредственно заинтересованы. Патриотизм русских помещиков, таким ярким пламенем вспыхнувший в 1611—1612 гг., появился не на пустом месте. Он был, как и всякий патриотизм впрочем, особой формой классового самосохранения.

Мы увидим в своем месте, какие специальные причины, после падения Шуйского, обострили это чувство и заставили помещиков, позабыв все их разногласия, сплошной массой двинуться на внедрившегося в страну иноземца. Но мы увидим также, что это движение, будь оно *только* дворянским, было заранее осуждено на неудачу. Помещичье восстание 1612 г. победило, опираясь на торговый капитал. Какой интерес для этого последнего представляла борьба с польско-тушинской армией? Мы до сих пор принимали как факт, что посадские были на стороне Шуйского: но нельзя же объяснить этот факт только тем, что царь Василий был посажен на престол московской буржуазией. Она задолго до 1610 г. могла убедиться, что избранный ею государь «несчастлив» и что из-за него «кровь христианская льется беспрестанно». Пора анализировать то понятие «буржуазии», которым мы до сих пор оперировали, как само собою разумеющимся. К счастью, наши источники дают для этого достаточный материал. Стоявшие за царя Василия, а позже против царя Владислава города, отрезанные часто от своего организационного центра в Москве, должны были вырабатывать свою организацию и с этой целью поддерживали между собою деятельные сношения. Ряд документов, относящихся к их переписке между собою, до нас дошел. Самыми ранними из них являются «отписки» устюжан к вычегодцам от конца ноября 1608 г. Исходной точкой для переписки Устюга с Солью Вычегодскою явились вести о занятии тушинцами Ростова и Вологды (временно даже эта столица Поморья подчинялась «вору»): событие это устюжане рассматривали как проявление божьего «праведного гнева на всю Русскую землю», и уповали на то только, что по дальности расстояния до них гнев божий, может быть, еще и не дойдет. Но и к ним уже прибыл тушинский агент Никита Пушкин, так что географические аргументы им самим казались не особенно утешительными, и приходилось утешать себя надеждами, что неизвестно еще, чья возьмет—«не угадать, на чем совершится»—да подбадривать себя совершенно уже нелепыми для той поры слухами, что кн. Мих. Вас. Скопин-Шуйский «Тушино погромил». Как бы то ни было, необходимость целовать «вору» крест казалась близкой, а это было крайне неприятно не столько само по себе, сколько по последствиям, обычно сопровождавшим это событие

в других городах. Когда в Ярославле «*чернь* с князем Федором Барятинским крест целовала царевичу Димитрию Ивановичу», из Ярославля «*лучшие люди, пометав домы свои, разбежалися*». И здесь, в Устюге во главе антитушинского движения мы находим тоже «лучших людей»: роль главного оратора на сходке, решения которой передает первая из «отписок», взял на себя *кабацкий откупщик* Михалко. И обращалась устюжская буржуазия в Соль Вычегодскую к своим социальным сверстникам, «посадским и волостным *лучшим людям*», рекомендуя им, в свою очередь, поговорить «со Строгановыми».

Наиболее полную картину этой внутригородской социальной борьбы, представляющей полную параллель сельскому движению, описанному автором романовского памфлета, дает псковский летописец. Псков после Москвы—и после разгрома Новгорода Иваном Васильевичем—был вероятно крупнейшим экономическим центром тогдашней России. Классовые отношения в их тогдашней форме были там наиболее развиты, и смена классов у власти выступает поэтому в летописи особенно отчетливо. Антагонизм «лучших» и «меньших» здесь наметился очень рано—и как раз в связи с признанием или непризнанием правительства Шуйского. Еще в дни Болотниковского бунта последний в числе других городов запросил денежной помощи и у Пскова. Городское правительство, гости, готовы были дать деньги—не свои, разумеется, а собранные со всего Пскова. «Черные люди» очень неохотно подчинились платежу и послали в Москву своих выборных, на которых гости доносили как на крамольников и которые в Москве оказались в очень близких отношениях к псковским стрельцам, весьма скоро изменившим Шуйскому. Псковский воевода боярин Шереметев, как почти все бояре того времени, враждебный царю Василию, играл двойную роль: официально он был на стороне «законной власти», правивших Псковом представителей торгового класса, «гостей», а под рукою помогал тушинским агентам. Но пока «меньшие» были безоружны, дальше «крамольных речей» они не шли. Делу дало быстрый ход появление в Пскове изменивших московскому правительству стрельцов, а в окрестностях города—тушинских отрядов. Мелкие служилые, которыми наполнены были псковские пригороды—пограничные крепости—поцеловали крест Димитрию Ивановичу. А в самом городе набравшиеся теперь смелости «народи» «похваташа лутчих людей и гостей и пометаша их в темницу». Это было в августе 1608 г. Вслед за гостями попал в тюрьму и игравший двойную игру воевода. «Меньшие» со стрельцами оказались хозяевами города. Но у псковской демократии не было уверенности в своей полной победе: ей казалось, что «лучшие» и в тюрьме устраивали против нее заговоры,—и 1 сентября в Пскове разыгрались сцены, живо напоминающие читателю «сентябрьские убийства» Великой французской революции. Когда по

городу разнесся слух, что из Новгорода идут «немцы», нанятые будто бы Шуйским, толпа псковичей бросилась «на начальников градских и на нарочитых града мужей, иже бяху в темницу всажени». Их вытащили из тюрьмы и «нужною смертию умориша»: одних посажали на кол, другим отрубили головы, третьих подвергли телесному наказанию—и у всех конфисковали имение. Бывшего воеводу Шереметева удавили в тюрьме. Вся расправа производилась от имени царя Димитрия. Но конфискация не остановилась на имуществе казненных: демократическое начальство захватило в пользу города казну владыки и монастырей и подвергло гостей такому же принудительному побору в пользу тушинского правительства, какому они раньше подвергали «черных людей» в пользу царя Василия. И демократический террор не остановился на сентябрьских убийствах. В Пскове вскоре случился большой пожар, причем взрывом порохового погреба разрушило Кремль. «Псковичи же народ, *чернь и стрельцы*... рекоша сице: «*бояре и гости* город зажгоша» и начаша в самый пожар камением гонити их, они же побегоша из рада: и наутрие собравси, начаша влачити *нарочитых дворян и гостей*, мучити и казнити, и в темницу сажати». Но мелкие служилые скоро оказались плохими союзниками городского мещанства—и псковские «аристократы» сумели воспользоваться этим, восстановив черных людей против стрельцов. Последние были прогнаны из города, и народная партия лишилась вооруженной силы: в результате, на короткое время город опять перешел в руки гостей; началась лютая реакция—«начальников сонмища» иных «казни предаша», а других и просто «побиша». Но торжество богатого купечества было непродолжительно Оно, во-первых, чересчур быстро обнаружило свою истинную политическую физиономию, предложив целовать крест Шуйскому. А затем «прежереченнии самоначальницы», уцелевшие от казней вожди псковской демократии, нашли себе опору в массе «поселян»—псковских *смердих*, которые нам уже встречались на страницах этой истории. Толпы крестьян появились на улицах Пскова, и при их содействии реакционное правительство было свергнуто. Более двухсот представителей псковской знати, «дворян и гостей», а вместе с ними «черпцов и попов», оказались опять в тюрьме, а имение их было конфисковано. Рать, посланная Шуйским на помощь «б лым людям» Пскова, пришла слишком поздно: в городе уже опять были стрельцы и тушинские казачьи отряды, и царский воевода кн. Влад. Долгорукий, постояв некоторое время под городом, ушел обратно. Псковичи же, готовясь к дальнейшей войне, приняли себе польские отряды: во Пскове появились «лисовчики». Псковскую демократию не приходится однако обвинять за это в недостатке патриотизма, ибо сторона Шуйского призвала к себе на помощь шведов. Но и это ей не помогло: сначала Лисовский, потом

«ложный царь и вор Матюшка» с казаками[1] отстаивали город до 1613 г.—и только общерусский успех «лучших людей» склонил чашку весов на их сторону и в Пскове. Вожди народной партии опять были перехвачены и на этот раз отправлены в Москву, где уже окончательно торжествовал «порядок».

Внутри самого Тушина оказывалось, таким образом, классовое противоречие, грозившее неизбежной гибелью делу второго Димитрия. Начатое средним землевладением восстание принимало действительно физиономию «холопьего бунта». Оттого, в противоположность первому Димитрию, который опирался главным образом на служилую массу, второй держался под конец почти исключительно польскими наемниками да казачеством. Но казаки всегда были готовы стать на сторону помещиков—поверстай их только землей да надели «государевым жалованьем». Служилые верхи тушинской массы должны были скоро понять, что главную опасность представляют поляки. В то же время они представляли и главную боевую силу Тушина. Перед патриархом Филаретом и другими именитыми тушинцами, с одной стороны, помещиками, детьми боярскими, тянувшими ко второму Димитрию,—с другой, встал, таким образом, вопрос: как обезвредить поляков, не лишившись их бесценной в военном отношении помощи? Довольно естественно было в таком положении апеллировать от хозяйничавшего в России «рыцарства» к его собственному, польскому, правительству. Правда, в среде польских солдат Тушина было немало эмигрантов, людей и с польской точки зрения нелегальных: к таким принадлежал между прочим знаменитый Лисовский. Их конечно нельзя было заставить повиноваться польским властям, но можно было привлечь на сторону «порядка»—именно надеждой легализации. Другим, не порвавшим связей с родиной, польский король мог и прямо приказать бросить «хлопов» и помогать помещикам. Было только ясно одно: что *даром* король Сигизмунд в московскую смуту не вмешается; что его нужно чем-нибудь *заинтересовать*, сделать дело русских помещиков *его* делом. В такой обстановке возникает в начале 1609 г. в тушинском лагере кандидатура на московский престол королевича Владислава. Став отцом московского царя, Сигизмунд конечно получал сильнейшее побуждение восстановить порядок в московском государстве.

Мысль о польском кандидате на московский престол была отнюдь не новая мысль. Еще в дни первого Димитрия, пока Шуйский с московскими посадскими облаживал дело в свою пользу, для бояр желанным царем был именно Владислав: на этот счет их агент в Кракове и вел переговоры, которые

[1] С легкой руки первого Димитрия казаки стали изготовлять «царевичей», можно сказать, фабричным способом: имелись царевичи «Август», Лаврентий, два Петра, Федор, Клементий, Савелий, Симеон, Василий, Ерошка, Гаврилка, Мартынка и т. д.

переворотом 17 мая были оборваны без всяких результатов. В 1608 г., когда окончательно выяснилась неустойчивость Шуйского на престоле, дело опять всплыло, и заговорили об этом опять бояре. Достаточно вспомнить положение «можновладства» в польско-литовском государстве, чтобы понять, почему симпатии боярства направлялись в эту сторону. Недаром и в Тушине о польском кандидате вспомнил прежде всего Филарет с его окружающими. Но бояре в эти дни были уже настолько малой политической силой, что им одним было бы совершенно невозможно сделать государем, кого они хотели. Реакция помещичьей массы против тушинского царика, становившегося, помимо своей воли и ведома, но в силу неотвратимого хода вещей, холопским царем, оказала им неожиданную поддержку: дворянству тоже был нужен новый царь, а своего кандидата у него не было. Одинаковое у обеих руководящих групп Тушина—боярской оппозиции Шуйскому и провинциального дворянства—желание обезвредить польское «рыцарство» очень быстро привело к тому, что два старых противника, которым, казалось, теперь было нечего делить, столковались очень быстро. И уже в январе 1610 г. перед Сигизмундом появилось посольство, представлявшее обе группы и поставившее вопрос о Владиславе на совершенно деловую почву: верхи тушинской армии отказывались от своего сомнительного царя и обязывались употребить все усилия, чтобы посадить на московское государство польского королевича.

У польского короля был уже в это время специальный повод вмешаться в московские дела, и именно против Шуйского, т. е. по существу дела, за Тушино, хотя конечно и не за «вора». Польская регулярная конница на службе последнего заставила царя Василия, лишенного вдобавок поддержки большинства своих служилых, искать равносильного ей противника на стороне. Ему не к кому было обратиться, кроме шведов. 28 февраля 1609 г. был подписан в Выборге договор оборонительного и наступательного союза между королем Карлом IX и царем Василием: неизбежным последствием этого договора была война московского государства с Польшей, которая тогда была в войне с Швецией. С точки зрения правительства Шуйского это было вполне резонно: поляки все равно поддерживали Тушино, неофициально война все равно была, а королевское войско было немногим страшнее таких партизанов, как Рожинский или Лисовский. Это сейчас же и оправдалось: даже к осени этого года королю Сигизмунду удалось набрать не более 5 тыс. пехоты и 12 тыс. конницы, причем последняя была хуже тушинских дружин. С этими силами король подступил к Смоленску в качестве крупного коммерческого центра (в нем считали до 70 тыс. жителей), державшему конечно сторону Шуйского. Под Смоленском, осада которого велась очень вяло и неудачно, застали Сигизмунда и тушинские послы.

Договор, заключенный ими с Сигизмундом (он подписан как частное соглашение под Смоленском 4 февраля 1610 г., а 17 августа того же года, принятый правившими Москвой боярами, он стал официальным документом), пользуется громкой известностью в нашей литературе, как первый «проект русской конституции». Собственно, первым документом, содержавшим в себе формальное ограничение царской власти, была запись Шуйского; но та заключала в себе только отрицательные постановления, определяла, чего царь *не должен* делать, тогда как договор 1610 г. пытается определить, *как должен царь править*. При ближайшем рассмотрении однако этот документ совсем не оправдывает своей громкой репутации. Прежде всего никакого «проекта» здесь нет, и авторы, наоборот, принимают все меры к тому, чтобы их не приняли за прожектеров, предлагающих что-то новое. Все должно делаться «попрежнему»— специально оговорено, чтобы «прежних обычаев и чинов, которые были в московском государстве, не переменять». При такой постановке дела весь договор является не программой на будущее, а ретроспективным обзором московского политического обычая, с явной попыткой восстановить во всей неприкосновенности не только то, что было до Смуты, но и то,что было до опричнины. Как это было в дни «избранной рады», вся политическая власть предполагается сосредоточенной в руках бояр: царь ничего не должен делать, не поговоря с ними. «А все то,— заключает договор,—делати государю с приговором и советом бояр и всяких думных людей; а без думы и без приговору таких дел не совершати». Рецепируя содержание крестоцеловальной записи Шуйского, договор особенно подчеркивает участие бояр в суде («а кто винен будет... того по вине его казнити, *осудивши наперед с бояры и с думными людьми...*»). С нашей точки зрения, особенно важной представляется зависимость от бояр *бюджета*: «доходы государские... сверх прежних обычаев, *не поговоря с бояры, ни в не прибавливати*». Но и тут не было конечно ничего нового—налоги и раньше входили в компетенцию боярской думы. Единственной новизной договора, новизной не очень смелой, но очень характерной, является упоминание *о земском соборе* как необходимом участнике *законодательства*: «на Москве и по городам суду быти и совершатися по прежнему обычаю, по Судебнику Российского государства; а будет *похотят в чем пополнити* для укрепленья судов, и Государю на то поволити с думою бояр *и всея земли*, чтобы было все праведно». До опричнины законодательная власть осуществлялась царем с боярами: теперь ею делились и с дворянами, составлявшими подавляющее большинство «совета всея земли». Так учитывал договор 1610 г. политические перемены, происшедшие за шестьдесят лет, с издания царского Судебника: учет очень скромный, если вспомнить, что с тех пор дворянство посадило двух царей на московский престол,

а теперь приходилось ссаживать третьего, главным образом из-за того, что помещики его «не любят... и служити ему не хотят». Под пером московского боярства политический обычай московского государства делал «духу времени» уступки лишь в самых гомеопатических дозах. Особенно если принять во внимание, что инициатива созыва Земского собора всецело оставалась в руках боярства—не к кому отнести «похотят», кроме тех, которые судят, т. е. бояр,—и что состав этой всевершающей коллегии пытались закрепить так же прочно, как это было сделано в пятидесятых годах XVI в. «Московских княженецких и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и чести не теснити и не понижати», говорил окончательный текст договора. В первоначальной редакции это обещание было смягчено прибавкой: «людей меньшего стана» повышать сообразно с личными заслугами. Отпадение этой оговорки в официальном тексте чрезвычайно характерно, как это уже отмечено в литературе: то, что провозглашалось еще опричниками Грозного, что государь «яко Бог и малого великим чинит», московские бояре отказывались признать и через тридцать лет после смерти Ивана Васильевича. Этой юридической неприкосновенности «великих станов» соответствовало конечно гарантирование их экономического базиса: Владислав обязывался «родительских вотчин ни у кого не отнимати». Ограничительные постановления в этом смысле грамоты Шуйского распространялись и на нового государя.

«Боярское правление», которого историки напрасно искали при царе Василии, должно было начаться именно теперь: ничто не дает никакого убедительного доказательства растерянности помещичьей массы перед восстанием деревенских низов, как политическая часть договора 1610 г. Правнуки Пересветова соглашались теперь всю власть отдать «ленивым богатинам», лишь бы удержать свое социальное положение. Последнее и гарантировалось договором, так сказать, с обеих сторон—и сверху, и снизу. Сверху шел к помещику денежный капитал, которым жило его хозяйство,—снизу он старался прикрепить к этому хозяйству рабочие руки. Бояре, становясь московским правительством, формально обещали от лица царя Владислава «*жалованье* велети *давати из четверти по всякий год*, по прежнему обычаю». Гарантировалась таким образом лишь традиционная норма жалованья, не принимая, стало быть, в расчет падения цены денег Изменение этой нормы допускалось, но инициатива его опять-таки должна была итти от бояр: «а будет что кому прибавлено... не по их достоинству, или... убавлено без вины... о том государю советовати с бояры и с думными людьми». Бояре совсем не желали, чтобы государь делал из жалованья средство для усиления своей популярности, как это было при Годунове и Названом Димитрии. Относительно рабочих рук приходилось принимать особые меры предосто-

рожности—теперь в конкуренцию могли бы оказаться вовлеченными и землевладельцы соседней Литвы. Оттого договор и определял: «торговым и пашенным крестьянам в Литву с Руси и с Литвы на Русь выходу не быти». «*Так же и на Руси промеж себя крестьянам выходу не быти*», а крепостным людям свободы не давать, прибавлял первоначальный текст неофициального соглашения. Очень любопытно это опасение эмансипаторской политики со стороны нового царя: помещики как будто вспомнили, как что-то подобное затевал когда-то Годунов. Но самое запрещение «выхода» опять лишь реципировало законодательство Шуйского: указом мар а 9, 1607 г. было уже постановлено: «к торые крестьяне от сего числа перед сим за 15 лет в книгах 101 (1593) году положены, и тем быть за теми, за кем писаны». Только тогда это была мера, направленная в первую голову против «украинных помещиков», которые Шуйскому «служити не хотели», и к которым в голодные годы сошла масса крестьянства из центральных уездов: потому и разрешалось прежним господам искать ушедших и возвращать к себе. Теперь эта оговорка, направленная специально против политически враждебных царю Василию элементов дворянства, естественно отпадала, и оставалось только общее правило его указа: «не принимай чужого».

Если среднее землевладение оказалось в договоре на втором плане, то само собою разумеется, что о буржуазии договор заботился еще меньше, и, кроме свободной торговли с Польшей и Литвой на прежних основаниях, не нашли даже нужным что-либо оговаривать. И это опять было естественно: положение помещиков было трудное, положение московского посада,— а он был ближе всех на глазах, и по нем ценили буржуазию вообще,—было прямо безвыходное. В течение 1609 г. тушинские отряды перехватили дорогу на Рязань, и Москва сидела без хлеба; попытка царя Василия установить максимум хлебных цен ни к чему не привела; этим только лишний раз воспользовалась спекуляция, и, в связи с «хлебной дороговью», «чернь» волновалась, очень определенно высказываясь за тушинского «царика». Настолько определенно, что с этими симпатиями московской «черни» должно было считаться польское правительство: оно очень хотело бы устранить совсем крайне для него теперь неудобную фигуру второго Димитрия, но убить его не решалось, опасаясь, что это восстановит против поляков массу московского населения. Псковские сцены могли разыграться и в Москве каждый день, и «лучшим людям» столичного посада не приходилось ни быть особенно разборчивыми в выборе союзников, ни ставить этим последним каких-нибудь условий.

Есть основание думать, что, заключая договор с Сигизмундом, бояре и служилые люди думали сразу избавиться от обоих царей—и московского, которого теперь вяло поддерживал

московский посад, и подмосковного, от которого отказались теперь верхи его рати. Но и с тем и с другим пришлось подождать. «Вор» успел проникнуть в замыслы своих советников и бежал из Тушина (в первой половине января); само по себе это было бы еще ничего, но с ним ушли все казацкие отряды. Если служилые были в договоре на втором плане, а посадские на последнем, то отношение его к казакам было вовсе странное: самое существование их ставилось в зависимость от решения «бояр и думных людей»; те должны были решить, будут ли казаки впредь «надобны» или нет. Это было, правда, вполне согласно со «старином и пошлиной», которые охраняло соглашение 4 февраля: «по обычаю», казакам не было места в московском общественном порядке. Но тут устарелость боярских взглядов была наказана немедленно и самым чувствительным образом. Обделенные польско-боярским соглашением, казаки тем более должны были дорожить оставшимся в их руках символом царской власти—и всею силою решили поддержать «вора». От него отпали только польские отряды, но он остался все же в военном отношении величиною, которую не приходилось игнорировать. Шуйский же такой величиной неожиданно сделался. Во второй половине февраля в Москве совсем налажено было его низложение: дворяне, с некогда лойяльными рязанцами во главе, при активной поддержке кн. В. В. Голицына, собрали на царя Василия «сонмище» и едва не завладели Кремлем. Но московский посад не видел большой разницы между Василием Ивановичем и *этими* его врагами—в ответ на их призывы он не шевельнулся. Покричав и побезобразничав, дворянская толпа ушла в Тушино. Шуйский в этом деле обнаружил, по летописи, большую твердость, на которую повлиял конечно и нейтралитет московского посада, но еще больше тот факт, что выборгский договор со шведами начал наконец давать свои плоды. Наемные шведские отряды, под начальством царского племянника Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, очистили от тушинцев северные пути к Москве и стояли в это время уже в Александровской слободе. 12 марта Скопин был уже в городе, а за несколько дней перед этим Рожинский поджег тушинский лагерь и отступил со своими поляками на северо-запад, сближаясь с королевскими войсками, оперировавшими против Смоленска. Царь Василий в первый раз после сдачи Болотникова в Туле, после двухлетнего промежутка, наполненного неудачами, оказался опять победителем на поле битвы.

При наличном положении вещей это могла быть лишь отсрочка. Шведская армия, как и всякая европейская армия этого времени, была наемным войском, навербованным из авантюристов всех стран, служивших лишь до тех пор, пока им исправно платили жалованье. Но именно это условие выполнять Шуйскому было труднее всего. Поморская буржуазия еще платила, пока близка была тушинская опасность и вместе

с нею опасность демократического восстания. По мере того как Скопин очищал север, ее щедрость ослабевала, и к лету 1610 г. царь Василий опять уподобился «орлу бесперу». В первой же битве с войсками короля Сигизмунда, под Клушиным, 24 июня, неполучавшие жалованья «немцы» Шуйского без дальнейших околичностей перешли к противнику, и война царя Василия с Польшей была этим кончена, а вместе с тем фактически кончилось и его царствование. Современники, разумеется, приписывали такой неожиданный, после недавнего торжества, оборот дела *личным* переменам: тому, что во главе московской армии стоял теперь не популярный Скопин, за два месяца до того умерший, будто бы «отравленный» Шуйским,— а никем не любимый брат царя Василия, Дмитрий Иванович. Что бездарный московский воевода имел дело с одним из талантливейших польских генералов гетманом Жолкевским, это конечно не могло до известной степени не отразиться на ходе боя. Но измены «немцев» рано или поздно, раз не было денег, никакая талантливость не предотвратила бы: выиграв эту битву, москвичи не смогли бы дать другой, и получилась бы лишь новая отсрочка, меряющаяся уже не месяцами, а неделями. Так что кн. Михаил Скопин умер, по всей вероятности, от тифа, весьма во-время для своей военной славы.

После Клушинской битвы восстановилось, со стратегической точки зрения, то соотношение сил, какое было до падения Тушина. Под Москвой стояла организованная военная сила в лице поляков, а против нее был Шуйский, ослабленный более, нежели когда бы то ни было, лишенный и шведской подмоги, и поддержки уже всех служилых людей, так как даже и рязанцы с Ляпуновым были теперь против него. Московские люди могли теперь тем меньше медлить, что и «вор» тоже стоял в поле,— и этот факт продолжал волновать московских «черных людей». Польское войско было единственной гарантией «порядка», если бы оно согласилось взять на себя эти функции: но оно согласилось на это лишь под вполне определенным условием: признания москвичами договора 4 февраля. «Универсалы» гетмана Жолкевского непрестанно напоминали об этом московской публике; какое значение имели эти «универсалы» в низвержении Шуйского, видно из того, что их аргументация (из-за царя Василия «беспрестанно льется христианская кровь») дословно воспроизведена официальными грамотами о свержении с престола Василия Ивановича. Только страх перед союзом московского простонародья с войсками второго Димитрия заставлял правящие круги до поры до времени играть комедию и официально изображать поляков врагами даже неделю— другую после того, как Шуйский был «сведен» и пострижен. Надо было дать Жолкевскому подойти под самую Москву— и поставить московское население перед дилеммою: или драться с поляками (для чего не было ни средств, ни сил), или впустить

их в город. В то же время нужно было сколько-нибудь прилично подготовить избрание Владислава, так как тушинские послы ни от кого не имели официального полномочия договариваться о судьбах московского престола. После новейших изысканий едва ли может быть сомнение, что выборы Владислава предполагалось обставить столь же торжественно, как впоследствии избрание Михаила Федоровича Романова и как раньше были обставлены выборы Годунова: предполагалось созвать все «чины» московского государства и закрепить дело решением земского собора,—но на это нехватило времени. Пришлось ограничиться собранием представителей собственно от московских чинов, из которых и был импровизирован земский собор сокращенного состава, что было впрочем в тогдашних обычаях и что не считалось незаконным даже при выборах царя: Петр и Иван Алексеевичи впоследствии были признаны именно таким сокращенным собором. Присяга остальных городов служила в этих случаях молчаливым признанием московского решения, и это условие было соблюдено: «так же и всею землею Российскою целовали крест Господень, что Владислав Жигимонтовичу служити прямо во всем», говорит летописец. В традиционном названии последующего периода «междуцарствием» не без благочестивого обмана: на самом деле, с 17 августа 1610 г. на Москве царем сидел Владислав не с меньшим правом, во всяком случае, нежели его предшественник Василий Иванович Шуйский.

Царь Владислав был еще в большей степени только символом царской власти, чем некоторые его предшественники: по малолетству своему он и не приезжал в Москву. Но это конечно нисколько не мешало московскому правительству действовать от его имени, почти ни с чьей стороны не встречая противодействий: *почти* ни с чьей потому, что затруднения, как и можно было ожидать, сейчас же встретились со стороны церкви. Положение церкви в этот момент особенно любопытно для нас, привыкших думать, что православию московские люди были необыкновенно преданы, и что религия была для них выше всего на свете. На самом деле церковь в московском государстве весьма тесно была связана с судьбой других феодальных сил. Несмотря на антагонизм крупного землевладения и монастырей, всего ближе была она к боярству, и разгром последнего Грозным чрезвычайно заметно понизил самостоятельное значение церкви. Патриархи конца XVI—начала XVII в. были политическим орудием в руках светской власти и сменялись вместе с царями. Годуновский патриарх Иов уступил место греку Игнатию, когда власть захватил Названый Димитрий,—а когда он был убит Шуйским, патриархом стал Гермоген. Роль этого последнего, человека, по отзывам современников, недалекого и несамостоятельного, легко подлававшегося чужому влиянию, была при Шуйском довольно жалкая. Духо-

венство его не любило за грубость и жесткость к подчиненным, а светские люди не питали уважения к патриарху, который всегда был покорным слугой Шуйского и готов был покрывать авторитетом церкви всякие дела царя Василия. Дворяне, устроившие «сонмище» на царя Василия в субботу масляной недели 1610 г., когда Гермоген вышел их усовещевать, «ругахуся ему всячески»—пинали его сзади, бросали ему в лицо грязью, хватали его за грудь и трясли. Довольно естественно, что и при составлении договора с Сигизмундом желания Гермогена не спрашивали,—вероятно, считая, что церковь достаточно представлена в лице патриарха тушинского, Филарета Никитича. Но когда договор вошел в официальную стадию, московский патриарх не мог о нем не высказаться—и высказался отрицательно. Весьма возможно, что Гермоген был и в этом случае лишь ширмою, именно для некоторых больших московских бояр, зроде кн. В. В. Голицына, который сам не прочь был воссесть на царский престол и для которого, стало быть, Владислав был лишь печальной необходимостью. Предлог вставить палку в колесо кандидатуры, инициаторами которой были Романовы, сейчас же нашелся. Царь всего православного христианства должен был быть, разумеется, православным, но Владислав родился католиком и был крещен по католическому обряду. Что за это обстоятельство не запнулись тушинские послы, ведшие переговоры с Сигизмундом, это, повторяю, чрезвычайно характерно: пересветовский афоризм, что «правда выше веры», политика должна итти впереди религии, как видно, стал ходячей истиной в московских служилых кругах начала XVII в. В договоре ограничились обещанием, что новый царь не будет «христианской православной веры греческого закона ничем рушити и бесчестити» и обязуется «иных никаких вер не вводити». Но присоединится ли он сам, открыто и торжественно, к православной церкви, для чего, по тогдашним понятиям, необходимо было второе крещение, по православному обряду,—об этом текст договора молчал, а гетман Жолкевский на предложенный ему вопрос ответил уклончиво, что он от короля на этот счет «науки не имеет». С нашими понятиями о древнерусском православии трудно себе представить, как это православные присягали государю, который сам православным еще не был; но такой факт несомненно имел место в 1610 г., и его одного совершенно достаточно для ответа тем, кто хотел бы выставить религиозные побуждения господствующими в поведении людей того времени. Протест патриарха не задержал избрания и имел лишь то последствие, что решено было отправить еще раз к Сигизмунду торжественное посольство: бить ему челом, чтобы он позволил сыну креститься по обряду православной церкви. Гетман Жолкевский, который был не только хорошим генералом, но и ловким дипломатом, великолепно сумел использовать это обстоятельство на благо польской политики. В посоль-

ство, едущее хлопотать о таком важном деле, надо было конечно назначить самых почетных людей в государстве; и вот «великими послами» под Смоленск отправились главы самых влиятельных боярских фамилий: превратившийся из патриарха снова в митрополита Филарет Никитич Романов и кн. Василий Васильевич Голицын. Последнему было предложено организовать и самое посольство, куда конечно попали теперь преданные ему люди; единственный сколько-нибудь серьезный по тому времени соперник Владислава уводил таким образом с собою из Москвы всю свою партию. А о первом сам гетман признавался потом в своих записках, что его хотели иметь «как бы в виде залога», как отца другого возможного претендента: кандидатура Михаила Федоровича Романова уже тогда носилась в воздухе. Поездка этих влиятельных людей в польский лагерь была чрезвычайно выгодна для Сигизмунда, как видим,— с точки же зрения русских интересов она была праздным препровождением времени, даже и не считаясь с тем фактом, что от крещения Владислава московскому государству нельзя было ожидать больших выгод. Ибо в совете польского короля давно, еще с февраля, было решено смотреть на кандидатуру королевича как на промежуточную ступень: раз она была пройдена, следовало, не мешкая, стремиться к окончательной и уже серьезной, не для показу, цели всей кампании—соединению московского государства с Речью Посполитой на таких же условиях, на каких за сорок лет была присоединена к Польше Литва. Тогда вся восточная Европа превращалась в одну огромную державу с Польшей во главе и под одним скипетром, разумеется: Сигизмунд должен был стать царем московским точно так же, как он был королем польским и великим князем литовским. Отправляя «великих послов», Жолкевский отлично знал об этом плане: можно представить себе, как он смеялся в душе, видя хлопоты москвичей о православии совершенно безразличного для Москвы польского мальчика.

Современная Смуте историография, особенно те произведения, что шли из романовского лагеря, страшно раздула задним числом значение «великого посольства». Выходило так, что от «твердости» послов зависела чуть ли не вся судьба московского государства: каких только стараний не употребляли Сигизмунд и его советники, чтобы поколебать «великих послов»,—и все напрасно! Но один из членов посольства, троицкий келарь Авраамий Палицын, при всем своем православии и при всей своей утрированной лойяльности, не мог не признаться, что посольство ничего не сделало—«бездельно быть». Ему и нечего было делать, как сидеть в почетном польском плену: юридически Владислав давно был признан русским царем, и все ему присягнули, а фактически половина его царства скоро находилась уже в состоянии открытого восстания против нового царя по причинам, не имевшим ничего общего с православной верой.

Кандидатура Владислава была принята правящими кругами русского общества под одним условием и с одной надеждой,— что польские войска восстановят «порядок» в московском государстве, подавят социальный бунт низов и дадут возможность помещику исправно получать царское жалованье и хозяйничать в своем имении, а купцу мирно торговать, как во дни Бориса Федоровича, которого когда-то не умели ценить. Прочность польского царя на московском престоле всецело зависела от того, будет ли это условие выполнено. И очень скоро обнаружилось, что правительство Сигизмунда не только не умеет удовлетворить этой основной потребности имущих классов московского общества, но что оно и его агенты в Москве являются новым ферментом разложения. Никогда еще анархия не достигала таких размеров, как в первые месяцы царствования Владислава—и притом формы этой анархии были особенно опасны как для буржуазии, так и для среднего землевладения.

Прежде всего, в Москве льстили себя надеждой, что стоит Сигизмунду приказать—и тушинский «царик», так вредно действовавший на московских «черных людей» и на барских холопов, исчезнет, яко дым. Исчезло однако Тушино, а второй Димитрий остался. Он засел в Калуге со своими казаками, которые грабили и опустошали тем больше, чем меньше оставалось у них надежды стать самим помещиками. Как и следовало ожидать, даже исчезновение «вора» не положило этому конца: второй Димитрий был убит, случайно или нет—для истории это имеет весьма мало значения,—но у вдовы первого Димитрия, Марины Юрьевны, которая была официально женой и второго, оказался сын—и казаки начали приводить к присяге на его имя всех, кто только оказывался в пределах досягаемости «воровских» отрядов. Патриарх Гермоген усиленно внушал своей пастве, что «Маринкин сын» «проклят от святого собору и от нас»; но на казаков патриаршее слово имело конечно еще меньше влияния, чем на купцов и помещиков. Тушино, материально разрушенное, в виде символа грозило увековечиться на русской земле. Польские партизаны точно так же весьма мало смущались тем фактом, что на московском престоле номинально сидел теперь польский королевич: «лисовчики» продолжали грабить так же, как и раньше, только перенеся театр своих действий подальше от Москвы, чтобы не иметь неприятности сталкиваться на поле битвы со своими соотечественниками. К каким последствиям приводило такое положение вещей например в области обмена, можно видеть по одному образчику: в июне 1611 г. казанцы жаловались пермичам, что у них, в Казани, «денег в сборе нет», потому что «с Верху и с Низу ни из которых городов *больших соляных и никаких судов не было*». Вся волжская торговля стала, даже таким предметом первой необходимости, как соль—и конечно не польскому

генералу, сидевшему в Кремле с небольшим отрядом, было помочь этому горю волжан. Но и в самой Москве было не лучше. Хроническая опасность тушинской крамолы привела к тому, что в Москве установилось хроническое осадное положение. Часть кремлевских ворот была заперта, у других постоянно дежурила вооруженная стража, зорко осматривавшая каждого входящего. Польские патрули постоянно объезжали улицы, с некоторых сняли даже полицейские рогатки, чтобы они не стесняли действия польских войск в случае надобности. Ночью всякое движение вовсе прекращалось. Вдобавок, как ни добросовестно старались поддержать дисциплину в своих отрядах польские офицеры, но дисциплина наемного войска тех времен не могла быть высока. Польские жолнеры брали в рядах все, что им понравится, и хотя платили, но не то, что желал получить купец, а то, что казалось «справедливым» самим жолнерам, а при малейшем возражении сабля вылетала из ножен, и это оканчивало спор. Результат был тот, что уже через два месяца после вступления в Москву поляков «в торгу гости и торговые люди в рядах от литовских людей после стола (за прилавком) не сидели»: если понимать буквально это сообщение одной из городских отписок, можно бы подумать, что в Москве всякая торговля к этому времени вовсе прекратилась. В действительности хозяева, вероятно, только спешили запирать лавки возможно скорее и вылезали на свет божий, лишь когда по близости не было видно «рыцарства». Но и этого было достаточно, чтобы с сожалением вспомнить времена даже не Годунова, а Шуйского.

Всего хуже доставалось от польского господства его инициаторам, помещикам и боярству. Нельзя себе представить горшего разочарования чем какое должны были испытать авторы договора 1610 г., так старательно обеспечившие в нем неприкосновенность старых обычаев. Боярское правительство (так называемая «семибоярщина») фактически продолжалась не больше двух месяцев. К концу этого периода дума, номинально державшая в руках все, в действительности превратилась в нечто вроде совещательного совета при польском коменданте Москвы. От того, что этот последний, Александр Гонсевский, сам стал, милостью нового царя, боярином, старым боярам было конечно мало утешения. «К боярам в думу ты ходил,—описывали эти последние его поведение ему самому в глаза,—только, пришедши, сядешь, а возле себя посадишь своих советников, Михайлу Салтыкова, князя Василья Масальского, Федьку Андронова, Ивана Граматина с товарищи, а нам и не слыхать, что ты со своими советниками говоришь и переговариваешь; и что велишь по которой челобитной сделать, так и сделают, а подписывают челобитные твои же советники...» Особенно поперек горла родословным людям должна была стать думная роль Федора Андронова, богатого московского гостя, став-

шего думным дворянином еще в Тушине, а при Владиславе сделавшегося одним из первых людей в думе. Исключительной доверенности, какой пользовался этот «торговый мужик» у короля Сигизмунда, не могли переварить даже его ближайшие товарищи из служилой среды. «Со Мстиславского с товарищами и с нас дела посняты,—жаловался польскому канцлеру Сапеге сейчас упоминавшийся Михаил Глебович Салтыков (когда-то стоявший во главе посольства, которое заключило с Сизигмундом договор 4 февраля),—*а на таком* правительство и вера положена». Как ренегата своего класса, служившего дворянскому царю против купеческого, Андронова ненавидели даже его собратья, посадские люди. И автор одного памфлета тех дней, вышедший из посадской среды или по крайней мере к ней обращавшийся, не находит слов на русском языке, чтобы выразить свое презрение к казначею царя Владислава,—прибегает к греческим. «За бесчисленные грехи наши чем нас Господь ни смиряет, и каких казней ни посылает, и кому нами владети ни повелевает! —восклицает он.—Сами видите, кто той есть, нееси человек и неведомо кто: ни от царских родов, ни от боярских чинов, ни от избранных ратных голов; сказывают,—от смердовских рабов». А пока этот «неведомо кто» распоряжался, старейшие, по родословцу, члены думы, князья Голицыны (брат «великого посла») и Воротынский, сидели «за приставами»—под домашним арестом, как люди, подозрительные для нового режима. Такого «прежнего обычая» не было видано со времен опричнины!

Но опричнина имела под собою определенную социальную почву—она держалась на союзе буржуазии и помещиков. Как должна была относиться к правительству царя Владислава первая,—мы уже видели. А что значил польский режим для вторых, об этом рассказывают члены самого этого правительства. «Надобно воспрепятствовать, милостивый пан,—писал тому же Сапеге Федор Андронов,—*чтобы не раздавали без толку поместий*, а то и его милость пан гетман дает, и Иван Салтыков также дает листы на поместья; а прежде бывало в одном месте давали, кому государь прикажет». А Михаил Салтыков, жалуясь на того же Андронова, писал: «московские люди крайне скорбят, что королевская милость и жалованье изменились, и многие люди разными притеснениями и разоренъем оскорблены». И он указывал на бестолковую раздачу поместий и находил, что такой земельной перетасовки не было даже в дни опричнины: «царь Иван Васильевич природный был», да и тот так не делал,—писал Салтыков, намекая на то, что новому царю не мешало бы быть поосторожнее «природного». Недаром, когда восставшие служилые люди соберутся в Москве, они потребуют прежде всего другого, чтобы раздача поместий производилась по прежнему обычаю, как было «при прежних российских прирожденных государях», и чтобы поместья, данные

кому бы то ни было *на имя короля или королевича*, были отобраны так же, как и те, которые сидевшие в Москве бояре «разняли по себе». Помещики хлопотали, чтобы им, вдобавок к земельной доле, жалованье аккуратно выдавалось из четверти по всякий год, а на деле вышло, что и земельную дачу нельзя было считать своей, ибо ее каждую минуту могла отнять данная где-то за тысячу верст королевская грамота.

Уже к поздней осени 1610 г. вполне определилось, что советников царя Владислава скоро постигнет участь, какую испытали Годуновы в 1605 г.: что они станут социально одинокими,—не найдут ни одного общественного класса, который бы захотел их поддерживать. Горсть польских жолнеров в Москве—вот все, на что они могли рассчитывать. Когда Шуйский боролся со своими первыми бунтами, он был гораздо сильнее: за него была Москва, да вс еще северные поморские и поволжские города. Правительство Владислава, судя по всему, должно было быть гораздо недолговечнее правительства царя Василия. Но из этого не следовало, чтобы его существование не имело никакого влияния на ход событий в те дни. Напротив, отрицательно оно сыграло огромную роль. Задев интересы всех правящих классов и не имея на своей стороне даже народной массы, на которую когда-то хотел опереться Годунов, оно дало повод столковаться тем, кто враждовал во все предшествующее время Смуты. А своим иноверным и иноземным происхождением оно создавало почву для национально-религиозной идеологии, под покровом которой движение могло организоваться, как ни разу раньше. Классовое самосохранение стало национальным самосохранением—в этом смысл событий 1611—1612 гг.

Одним из самых ранних и самых интересных образчиков этой идеологии является «подметное письмо»—по нашему, прокламация,—появившееся в Москве в конце ноября или начале декабря 1610 г. В литературном отношении оно стоит очень высоко, очень напоминая произведение того сочувствующего Романовым публициста, который был использован Авраамием Палицыным в его «Истории в память сущим предыдущим родам», и на которого мы неоднократно ссылались раньше. Весьма возможно даже, что этот публицист и автор нашего подметного письма (которому кто-то дал впоследствии неловкое заглавие «Новая повесть о преславном Российском царстве», хотя никакой «повести» здесь нет) одно и то же лицо: и тот и другой были близки к буржуазии, и тот и другой при очень большом благочестии никогда не прибегают к сверхъестественным мотивам для объяснения событий, что так обычно вообще в литературе Смуты. Есть и одно внешнее сходство: оба не чуждаются мерной рифмованной прозы, так хорошо подходящей к стилю тогдашнего подметного письма, которое должно было читаться не отдельными прохожими,—между ними нашлось бы слишком мало грамотных,—а каким-нибудь грамотеем вслух

целой кучке народа. Если бы удалось доказать тождество двух авторов, мы имели бы чрезвычайно любопытное совпадение: первый призыв к восстанию против Владислава шел бы тогда из романовских кругов, откуда должен был выйти и преемник Владиславу То, что о Романовых нет ни звука в самом письме, не говорит против этого—не нужно забывать, что в эти дни Филарет Никитич, один из «великих послов», был «как бы заложником» у поляков и всякий подобный намек мог ему стоить очень дорого. Как бы то ни было, призывая к восстанию против польского королевича, автор ни словом не обмолвился насчет того, кого следует посадить на его место. Хотя вопрос этот конечно навертывался сам собою. Центральная фигура в его изображении—Гермоген, и как один из первых образчиков «легенды о Гермогене» памфлет не менее любопытен. Автор признается, что от патриарха прямого призыва к восстанию нельзя ждать: «сами ведаете, его то есть дело, что тако ему повелевати на кровь дерзнути?» Но он всем своим изложением дает понять, что Гермоген—душа сопротивления полякам: «стоит один противу всех их... аки исполин муж без оружия и без ополчения воинского». Когда это не произвело достаточного впечатления, пришлось сделать дальнейший шаг: появились грамоты Гермогена, по признанию самих распространителей исходившие однако же не непосредственно от него, так как у патриарха «писати некому, дьяки и подъячие и всякие дворовые люди поиманы». Так понемногу создавалась легендарная фигура, украшающая страницы новейших повествований о Смуте и, кажется, имевшая чрезвычайно мало общего с реальным Гермогеном. Для движения «лучших» людей нужен был символ, каким для «меньших» давно стал «Димитрий Иванович»: противопоставить патриарха, строгого хранителя православия, царю, который «не хочет креститься», было несомненно очень понятным для широких масс мотивом. Но для московской буржуазии, из которой вероятно вышел и к которой, во всяком случае, обращался наш автор, очень характерно, что она могла и подняться над такими простонародными мотивами. С некоторых страниц «Новой повести» на нас смотрит почти античный патриотизм. Автор хвалит смольнян, продолжавших сопротивляться Сигизмунду, за то, что они «хотят славно умрети, нежели бесчестно и горько жити». Грозящее запустение «такого великого царства» трогает его несомненно больше, чем ожидаемая поруха православной веры, и в лозунге, который он бросает в посадские массы, этой вере отведена всего лишь одна треть: «постоим вкупе за православную веру... и *за свое отечество и за достояние*, еже нам Господь дал». А повторяя этот лозунг еще раз, он ставил «царство» даже прежде «веры». Да и мотив восстания для него не столько то, что Владислав не православный, сколько то, что Владислава вообще ждать нечего: сущность письма в том и состоит, что автор раскрывает

московской публике секрет польского заговора—аннексировать московское царство. Как аргументом, автор очень ловко пользуется неспособностью поляков установить порядок в стране: если бы Сигизмунд действительно прочил царство своему сыну, допустил ли бы он такое разорение? «Не только сыну не прочит, но и сам здесь жить не хочет», а будут править москвичами такие люди, как Федор Андронов: вышеприведенные отзывы о нем взяты именно из «Новой повести».

Ее буржуазный автор несколько поторопился, призывая к восстанию москвичей: последствия показали, что городское движение и не могло концентрироваться в Москве, единственном городе, где чисто-военный перевес безусловно был на стороне поляков. Московские «баррикады» 17 марта 1611 г. кончились полной неудачей: поляки выжгли город почти дотла и заставили уцелевшее население вновь присягнуть Владиславу. Нижний-Новгород стал во главе движения не только потому, что волжские торговцы были заинтересованы в восстановлении порядка более, нежели кто-нибудь другой, а ще и по той простой причине, что на Волге не было никаких польских войск, и помешать движению на первых его шагах было некому. Удивляться приходится не тому, что посадско-дворянское движение справилось при таких условиях с поляками—горсть жолнеров в Кремле так же мало могла подавить всероссийское восстание, как мало была она способна поддерживать порядок во всей России,—а тому, что этому движению понадобилось так много времени, почти полтора года, чтобы сорганизоваться. Объяснять это чисто техническими особенностями того времени, отсутствием не только железных, но и вообще каких бы то ни было приличных дорог, кроме речных путей, едва ли можно: правда, события такого рода мерились тогда не неделями, как теперь, а месяцами, но все же первая армия инсургентов, ляпуновское ополчение, стояла уже перед Москвой в апреле 1611 г., тогда как первые призывы к восстанию раздались в декабре предшествовавшего. Причин медленности приходится искать в другой области, и их видели уже современники: автор «Новой повести» видел «горшее всего» в том, что «разделение в земле нашей учинися». Две половины «лучших» людей, городская и деревенская, посадские и помещики, только что четыре года вели отчаянную борьбу между собою, и не легко им было столковаться теперь для общих действий. Когда такие общие действия налаживались в царствование Шуйского, о них толковали как о редкости и ими гордились. «Вы смущаетесь для того,—писала поморская рать жителям городка Романова в 1609 г.,—будто дворян и детей боярских черные люди побивают и домы их разоряют: а здесь, господа, черные люди дворян и детей боярских чтят и позору им никоторого нет». Но романовцы могли бы ответить «черным людям» (здесь этим именем обозначались конечно не низы городского населения в противо-

положность верхам, а податное население вообще в противоположность служилому—буржуазия в противоположность дворянству), что в Поморье дворян-то, почитай, и нет никаких—а вот попробовали бы они ужиться в искони дворянской центральной России. Здесь отношения были таковы, что когда началось восстание дворянства, началось под руководством самой энергичной части последнего, рязанцев, то Прокопий Ляпунов и его товарищи скорее рассчитывали найти себе союзников среди казаков и даже среди наиболее демократических элементов тушинской армии, нежели среди горожан. «А которые боярские люди крепостные и старинные, и те бы шли безо всякого сумления и боязни,—писал Ляпунов в Казань даже в июне 1611 г.,—*всем им воля и жалованье будет, как и иным казакам*».

«Зигзаг», который описало восстание против Владислава, временная неудача этого восстания и временное разложение инсуррекционной армии в июле 1611 г. и объясняется прежде всего этой причиной. Первоначальный состав восставших намечается в февральской грамоте Ляпунова в Нижний: то были рязанцы «с Калужскими, с Тульскими, и с Михайловскими, и всех Северных и Украинных городов со всякими людьми». Такому ополчению не удалось взять в свое время, в 1606 г., даже Москвы, защищавшейся Шуйским чуть не с одними двинскими стрельцами,—а теперь в Кремле были регулярные европейские войска. Города Ляпунову «сочувствовали», но подмоги пока не слали. Казаки являлись технически необходимым союзником—и неуменье оценить этот факт погубило Ляпунова. Казачество не было сознательным классовым врагом помещиков—оно это доказывало много раз за время Смуты; но оно хотело, чтобы на него смотрели как на ровню, а рязанский воевода с его товарищами никак не хотел признать казаков ровней дворянам. Обращаясь к казакам и даже к боярским холопам с демагогическими воззваниями (можно думать, что Ляпунову это приходилось делать не в первый раз, и что болотниковские «листы» рассылались не без ведома дворянских вождей ополчения, шедшего на царя Василия), помещики, когда дело дошло до конституирования взаимных отношений восставшей против Владислава массы, стали едва ли не на ту же точку зрения, как бояре в договоре 1610 г. В знаменитом «приговоре» ляпуновского ополчения под Москвою (30 июня 1611 г.) дворяне даже земельную дачу и денежное жалованье обеспечивали не всем казакам, а только тем, которые давно служат московскому государству. В администрацию же этим младшим братьям служилых людей доступ был начисто закрыт: «а с приставства из городов и из дворцовых сел и из черных волостей атаманов и казаков свести,—постановлял приговор,—а посылати по городам и в волости для кормов *дворян добрых*, а с ними для *рассылки* детей боярских, и *казаков*, и стрельцов».

Для ляпуновских помещиков казак попрежнему был «приборным» служилым человеком, который больше всего годился в вестовые при «добром дворянине». А с низами тушинской армии, которых приманивал к себе тот же Ляпунов, приговор поступал еще проще: «боярских крестьян и людей» он предписывал «по сыску отдавать назад старым помещикам».

Еще недавно, борясь с традиционным представлением о государстве как некоей мистической силе, создавшей Московскую Русь со всеми ее общественными классами, приходилось ссылаться на приговор 30 июня как на доказательство, что и у нас, как всюду, «общество» строило «государство», а не наоборот. Действительно, приговор является весьма любопытной попыткой восставших собственными средствами воссоздать те органы московской администрации, которые в данный момент были захвачены партией Владислава: ворец, большой приход и «четверти»—московское министерство финансов; разряд—военное министерство; поместный приказ, верставший дворянство землями—об этом верстаньи говорится с мелочными подробностями, удивившими одного новейшего исследователя, но вовсе не удивительными в данном случае; наконец приказы разбойный и земский—министерства полиции и юстиции. Но для современного читателя приговор во всяком случае интереснее как отражение классовых тенденций, которым служили «прямые» люди московского государства, восставшие против «кривых», служивших Владиславу, нежели как доказательство «самодеятельности» московского общества XVII в. Эту последнюю едва ли кому нужно теперь доказывать.

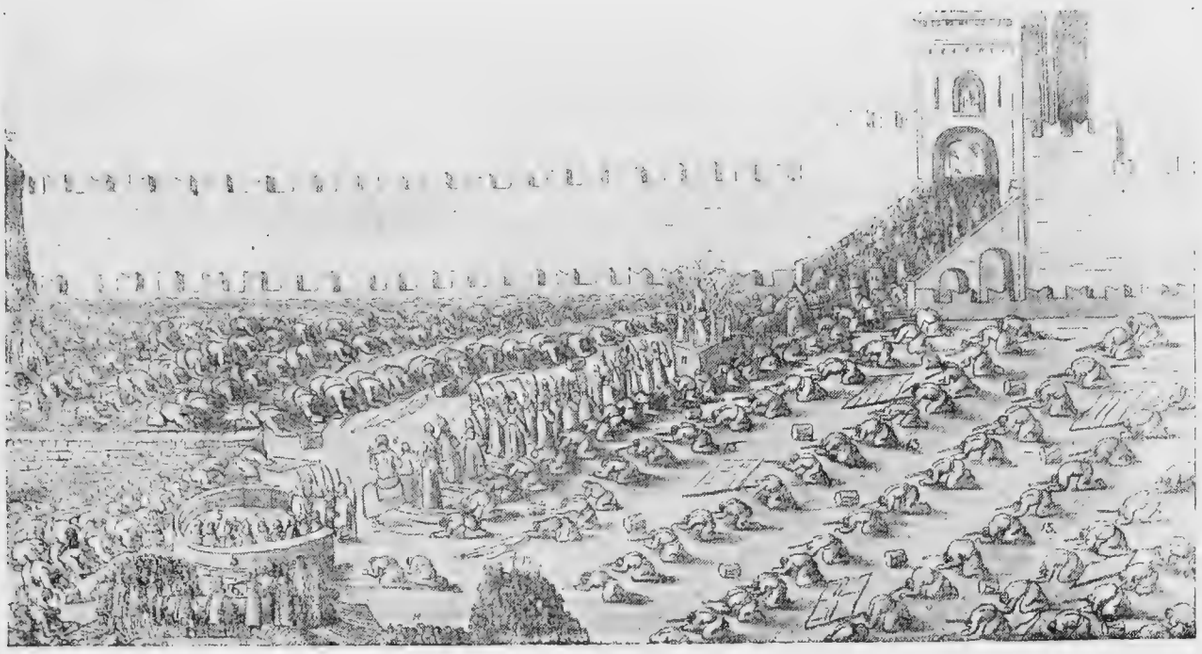
За слишком резкое проявление этих классовых тенденций вождь дворянского ополчения поплатился лично. Когда казаки, видя, что их отодвигают на задний план, «заворовали», начали волноваться, а им на это ответили строгими дисциплинарными мерами, до «сажания в воду» включительно,—последовал взрыв, и Ляпунов был убит на казацкой сходке. Дворянское движение после этого временно потеряло центр—и правительство Владислава смогло продержаться еще около году. Но поражение помещиков имело свою выгодную для них сторону: посадские окончательно перестали их бояться, и города начинают теперь прямо нанимать на свою службу детей боярских, становясь этим на место первого и второго Димитриев.

Современники событий, по свежим следам, так описывали положение дел, сложившееся под Москвою непосредственно после смерти Ляпунова: «старые заводчики великому злу, атаманы и казаки, которые служили в Тушине лжеименитому царю... Прокофья Ляпунова убили и учали совершати вся злая по своему казацкому обычаю». Читатель, привыкший к традиционному изображению казачества, ждет здесь описания покушения на московскую «государственность»: но служилый автор грамоты (она шла не от кого другого, как от знаменитого

кн. Пожарского) ничего не знал о казацком анархизме. Для него «вся злая» заключалась в том, во-первых, что казаки «дворянам и детям боярским смертные позоры учинили»; а во-вторых, и главным образом, в том, что «начальник» казаков, атаман Заруцкий, «многие грады и дворцовые села, и черные волости, и монастырские вотчины себе поимал и сове ником своим, дворянам и детям боярским, и *атаманом* и *казаком* роздал». Антигосударственность казаков выразилась в том, что они сами взяли то, в чем им отказало дворянское ополчение,—самовольно учинились помещиками. От *этого* городам пока было бы еще ни тепло, ни холодно; но казаки, став хозяевами положения, оказались опасны и верхним слоям посадских, как скоро их победа над дворянством стала давать политические последствия. У Заруцкого был свой кандидат на царство—сын тушинского «царика», пу́гало всех «лучших людей» в последние годы своего существования. Казаки были неопасны,—пока они стояли под Москвой, в особенности,—но казацкий царь, наследник тушинского холопского царя, был непосредственной угрозой. Страх перед ней заставлял буржуазию поддерживать казною и людьми Шуйского; страх перед ней заставил города теперь собрать *свою* армию, благо после захвата земель и казны казацкими атаманами служилые люди остались и без жалованья, и с перспективой лишиться своих имений. Как только по поволжским городам прошла весть о катастрофе с Ляпуновым, они тотчас же решили «быти всем в совете и соединеньи»: а «будет казаки учнут выбирати на московское государство государя по своему изволению, одни, не сослався со всею землею, и нам того государя на государство не хотети». Материальным базисом этого союза поволжских городов, к которым скоро пристали поморские, была казна, собранная Нижним-Новгородом, конечно не по индивидуальной инициативе Минина, а просто потому, что союз городов без военной силы был пустым звуком, а военной силы нельзя было получить без денег. Этот наем дворянского ополчения буржуазией и рассказан со всем реализмом как современными грамотами, так и летописцем,—и он, как авторы грамот, не видел в этом простом житейском факте ничего соблазнительного. В грамоте Пожарского к вычегодцам (цитированной выше) так описывается деятельность нижегородцев: «В Нижнем-Новгороде гости и все земские посадские люди, ревнуя по Бозе, по православной христианской вере, не пощадя своего имения, *дворян и детей боярских* смольян и иных многих городов *сподобили неоскудным денежным жалованьем*... А которые, господа, деньги были в Нижнем в сборе всяких доходов и те деньги розданы дворянам и детям боярским и всяким ратным людям: и ныне... изо всех городов... приезжают всякие люди, а *бьют челом всей земле о денежном жалованье, а дати им нечего*. И вам, господа... что есте у Соли Вычегодской в сборе прислати к нам в Ярославль, ратным людям на жалованье».

«Всюду же сие промчеся собрание,—рассказывает «Новый летописец»,—и от многих градов привезоша многую казну в Нижний, и от градов ратные начаша съезжатися: первые приехаша коломничи, та ж рязанцы, последи же из градов украинских многие люди, и казаки, и стрельцы, тии, которые сидели в Москве при царе Василии, и *всем дадеся жалованье: и бысть там тогда во всех людях тишина*». Ратные люди предлагали свои руки, посадские их покупали на собранные деньги: нельзя лучше перевести «патриотическое одушевление» на язык материалистической истории, чем это сделали простые и наивные русские люди начала XVII в.

В нашу задачу не входит описание тех военных операций, которые поздней осенью 1612 г. привели собранную посадскими помещичью армию в московский Кремль. Несомненно, что удачный исход в орой кампании, прежде всего другого, определился ее с лидным финансовым базисом. Взявшись платить всяким ратным людям, буржуазия делала это, как следует: смольянам например давали «первой статье по 50 рублев, а другой по 45 рублев третьей по 40 рублев, а меньше 30 рублев не было». Для сравнения стоит отметить, что «городовые» (провинциальные) дети боярские времен Годунова получали не больше 6 рублей и даже «выборные» (гвардейцы) не больше 15 рублей жалованья: то, что давали теперь рядовым служилым, в старые годы получало только гвардейское офицерство. Но не следует думать, что города собирали нужные для этого суммы исключительно от добровольных щедрот. Правившая городами крупная буржуазия наполняла кассу собранного ею ополчения таким же путем, как некогда казну Шуйского—путем принудительной раскладки. По отношению к богатым капиталистам это бывал обыкновенно принудительный заем: таким путем добывали например нижегородцы деньги от Строгановых и их агентов. Городскую мелкоту просто облагали новыми налогами, взыскивая их, как всегда собирались в московском государстве налоги, без послабления, «с Божией помощью и страх на ленивых налагая». Недоимщик мог и в кабалу попасть,—быть отданным в услужение по «житейской записи», с уплатой за его службу денег вперед не ему, а городской казне. И это, как справедливо указывает новейший историк Смуты, вовсе не служит доказательством личной жестокости Кузьмы Минина и его товарищей. То была особенность социального строя,—того строя, победой которого кончилась Смута.



ГЛАВА VIII.

# ДВОРЯНСКАЯ РОССИЯ.

## 1. Ликвидация аграрного кризиса.

Действительное прекращение Смуты далеко не совпадает с официальным концом «Смутного времени». Михаил Федорович Романов давно был на престоле, а гражданская война продолжалась, как продолжалась и внешняя война, вызванная, в конечном счете, тою же Смутой. По наблюдениям одного новейшего исследователя, максимум разорения приходится даже именно на те годы, «когда национальный и политический кризис Смутного времени окончился» и в Москве давно водворилось «законное правительств ». Крайней гранью «разрухи» для этого исследователя является 1616, если даже не 1620 год; лишь позже этой последней даты можно говорить о сколько-нибудь заметном и прочном улучшении. Почти пятнадцать лет междоусобицы не могли бы пройти даром даже для страны, хозяйство которой раньше было в вполне удовлетворительном состоянии. Подбитую аграрным кризисом XVI в. Московскую Русь Смута, казалось, должна была бы довести до «полного уничтожения». Если уже в конце предыдущего столетия центральные области государства давали картину значительного запустения, то в 10-х и 20-х годах XVII в. посланные «смотреть» землю «писцы» и «дозорщики» находили местами почти совершенную пустыню. По словам цитированного нами выше автора, в вотчинах Троицкого монастыря, разбросанных в 20 «замосковных» уездах—и потому характеризующих более или менее общее состояние края,—«размеры пашни в 1616 г. уменьшаются, сравнительно с данными 1592—1594 гг., более чем в 20 раз; число крестьян, населяющих троицкие вотчины, убывает более чем в 7 раз». В ряде имений Московского, Зубцовского и Клинского уездов, историю которых мы можем проследить, даже к концу 20-х годов перелог, т. е. земля, брошенная и запустевшая, составлял не менее 80%, поднимаясь иногда до 95%,

а земля, оставшаяся под обработкой, не превышала 18,7% всей площади, спускаясь иногда до 5,2%. На юге, в нынешней Калужской например губернии, дело было нисколько не лучше: в имении, где в 1592—1593 гг. было 161 крестьянский двор, в 1614 г. оставалось всего 10 дворов. По Московскому уезду в среднем можно констатировать убыль пашни по крайней мере на одну треть, сравнительно с разгаром кризиса, предшествовавшего Смуте [1].

Всматриваясь в детали этого деревенского разорения, мы скоро однако получаем возможность несколько диференцировать наши представления об экономических итогах Смуты. Разорились более или менее все: но одни более, другие менее. Смута действовала как бы по принципу: «имущему дастся, а у неимущего отнимется». Она повалила тех, кто уже слабо стоял на ногах в эпоху Грозного, и после кратковременного испытания еще больше укрепила тех, кто уже тогда был силен. Благодаря Смуте и ее последствиям, должно было окончательно исчезнуть самостоятельное крестьянство везде, где были помещики. Первое явление, которое бросается в глаза изучающему русскую деревню второго—третьего десятилетий XVII в.—это громадный рост «бобыльских» дворов на счет дворов крестьянских. Если взять за образчик имения того же Троицкого монастыря,—образчик очень удобный, как мы видели,—получаются такие сравнительные цифры: по Дмитровскому уезду в троицких вотчинах по переписям конца XVI в. значилось 40 бобыльских дворов на 917 крестьянских; переписи 20-х годов следующего столетия дают 207 дворов бобылей на 220 дворов, занятых крестьянами. В первом случае бобыльские дворы составляют 4,1%, во втором—48,4%. Для Углицкого уезда соответствующие цифры будут 2,6 и 56,6%. В Белевском уезде на 708 крестьянских дворов писцовые 1628—1629 гг. насчитывают 987 бобыльских, в Углицком на 1186 крестьянских—бобыльских приходится 1074: всюду бобыли из ничтожного меньшинства превращаются в группу по крайней мере равночисленную настоящему крестьянству [2]. Что же такое представляли из себя эти «бобыли»? Основываясь на том, что с бобыльского двора брали вдвое меньше податей, чем с крестьянского, Беляев когда-то определил их как крестьян, сидевших на половинной выти. Сейчас цитированный нами ученый доказал, что в большинстве случаев у бобылей пашни вовсе не было. Основываясь на том, что в этой группе часто встречаются сельские ремесленники, он склонен отнести их всех к этой категории: но как можно себе представить, чтобы в разоренной стране почти половина населения занята была обрабатывающей промышлен-

[1] Данные заимствованы из исследования *Ю. Готье*, Замосковный край в XVII веке (М. 1906), столь же ценного для эпохи после Смуты, как работа Н. А. Рожкова для предшествующего столетия.

[2] См. *М. Дьяконов*, Очерки по истории сельского населения Московского государства, стр. 224—225.

ностью? Где бы она находила себе рынок для сбыта своих произведений? А приняв, что это был пролетариат, уже лишенный собственных орудий производства (предположение для XVII в. еще более невероятное), где находил он себе заработок при полном отсутствии крупной промышленности? Тексты, приводимые тем же автором, дают вполне определенную картину, не заставляя прибегать ни к каким мало правдоподобным гипотезам. Вот например выпись из «дозорных книг» 1612 г. на вотчины того же Троицкого монастыря. «Дер. Кочюгова... двор бобыльский Васьки Антипьева, а *был крестьянин, да обмолодал от войны да от податей*, сказали пашни не пашет, лежит впусте, а было за ним пашни 3 чети». «Деревня Слобода Хотинова... двор бобыльский Первушки Кирилова, а был де крестьянин и от войны обмолодал, и пашня его пуста, а было за ним пашни две чети с осминою». В «дозорной выписи» 1616 г. на вотчины Чудова монастыря в Костромском уезде, в погосте Шунге, перечислено шесть бобыльских дворов, «*а до литовского разоренья те бобыли пашенные крестьяне*, а от литовского разоренья они оскудали, пашни не пашут, жеребей их пашни лежит впусте». О других бобылях, живущих в монастырских деревнях, сказано, что они «от литовского разоренья оскудали, *ходят по миру, кормятся христовым именем*». «Безместные бобыли», «увечные, бродящие бобыли»—эпитеты, на каждом шагу встречающиеся в писцовых книгах. Бобыль, как правило, не ремесленник и не пролетарий в нашем смысле этого слова: это пролетарий в смысле слова античном,—не работник, откреплленный от орудий своего труда, а крестьянин, открепленный от земли, потому что ему нечем стало ее обрабатывать. Человек, изувеченный на войне, или человек, у которого военные люди свели последнюю лошадь, либо сожгли двор со всем именьем, одинаково попадали в эту категорию.

Но открепленного от земли крестьянина зато легко было прикрепить к помещику. Крепостное право быстро растет у нас на развалинах, созданных Смутой, точно так же, как в Германии росло оно на развалинах, созданных Тридцатилетней войной Мы уже не раз отмечали выше, что прогресс крепостного права означал у нас не столько лишение каких-нибудь прав крестьянина—в феодальном обществе он всегда был больше объектом, чем субъектом прав,—сколько прекращение той, разорительной для землевладельцев, игры в крестьян, которая была так же характерна для предшествующей эпохи. И в эту предшествующую эпоху крестьянин нередко был вещью, которую можно было продавать, покупать и менять, как меняли, продавали и покупали холопов. В 1598 г. старец Гурий Голутвина монастыря в Коломне, искавший на помещике Пятом Григорьеве монастырских крестьян и соскучившийся тягаться, «не дожидаясь сказки по судному списку, помирился полюбовно»: «взял я,—пишет старец,—у Пятова в дом Богоявления Господня в Голутвин монастырь *в вотчину крестьян*—

Романа Степанова, да Тимофея Лукина с братом, да Данила Михайлова *с женами и с детьми, и со всем животом и статком.* Данила Михайлова разделя с его зятем с Федкою Степановым животы их по половинам, с женою и с детьми. А Пятому Григорьеву яз старец Гурий по сыску поступился крестьян Данила Тарасова, да Федора Степанова с женами и детьми, и со всеми животы и статки...» [1]. Если мы сравним этот документ самого конца XVI в. с документом 1632 г., где «поместный есаул» Афанасий Семенович Белкин свидетельствует, что он «поступился в дом Живоначальныя Троицы Алаторского Сергиева монастыря... вотчинного своего крестьянина Гришку Федосеева с женою его Овдотьею, Семеновой дочерью, да 3 детьми»,—мы только при помощи очень сильного юридического микроскопа сможем найти здесь какую-нибудь разницу. И поскольку нас интересуют не детали московского права, а эволюция хозяйства московского государства, мы можем считать оба факта социологически тождественными. И в конце XVI и в половине XVII в. крестьянин, уже закрепленный тем или иным путем за своим помещиком, был собственностью последнего. Менялись только, во-первых, способы закрепления: в связи с экономическими результатами Смуты тут интересно отметить, что *ссуда*, раньше бывшая очень распространенным средством привязать крестьянина к имению, теперь приобретает исключительное значение. «На официальном языке с половины XVII в. термин *ссудная запись* совершенно вытесняет старое наименование крестьянской записи *порядною*» [2]. Раньше ссуда была *экономическою* необходимостью всякого благоустроенного хозяйства. В 1598 г. власти Благовещенского монастыря в Нижнем-Новгороде жаловались патриарху Иову: «монастырь де их скуден, и впредь им монастыря и монастырских сел строити нечем, и *ссуды крестьянам новоприходцам*, и служкам и деловым людям жалованья *давати нечем*». Теперь ссуда становится *юридическою* необходимостью для всякого садящегося на землю крестьянина—без ссуды нельзя порядиться в крестьяне. Уложение знает, что крестьяне дают «по себе ссудные и поручные записи». Многочисленные новоуказанные статьи говорят только о ссудных записях на крестьян. Старый термин «порядная запись» становится провинциализмом, удержавшимся, замечательным образом, в экономически наиболее развитых местностях: в псковских записных крестьянских книгах его можно встретить и в самом конце XVII в. Всюду в других местах крестьянин после Смуты фактически не мог поставить своего хозяйства без ссуды; ненуждавшиеся в ссуде были исключением, и московское право с этим исключением не считалось. А затем—что несравненно важнее и не менее характерно—из собственности *движимой*

[1] *Дьяконов*, Акты, II, № 33.
[2] *Дьяконов*, Очерки, стр. 125.

крестьянин все более обнаруживает тенденцию превратиться в *недвижимую*. Мы можем наблюдать этот любопытный процесс с двух сторон: частной и официальной, если так можно выразиться. Во-первых, непременным условием нового типа крестьянских порядных после Смуты является не только ссуда, а еще обязательство: жить за данным помещиком «неподвижно», «прочно» и «безвыходно». «А где нас помещик Петр Татьянин с сею жилецкою записью сыщет, а мы по ней *во крестьянстве за Петра крепки* во всяком государеве суде», говорит одна запись 1629 г. «А из Софийской вотчины нам никуда не выйти,—обязуются новгородские крестьяне в 1619 г.,—*и впредь жити* за митрополитом в Софийской вотчине *неподвижно*». Крестьянский «выход», об упразднении которого так хлопотали помещики во время Смуты, хлопотали и перед Шуйским, и перед Владиславом, оказался очень живучим, и его приходилось вытравлять теперь частными соглашениями, вынуждая крестьян отказываться от права уйти (т. е. быть вывезенными другим помещиком), как вынуждали их принять ссуду. Но это не значило конечно, что официальные хлопоты прекратились. Еще междоусобная война не кончилась, «законное правительство» едва успело усесться на Москве, а Троицкая лавра уже разыскивала своих беглых по всем городам за все время Смуты—«и свозщики во все города для того были посланы». По обширности монастырских вотчин, операция приняла такие размеры, что для санкционирования ее понадобился боярский приговор (1615 г., марта 10), который признал за троицкими властями право вывозить своих крестьян обратно за 11 лет и стремился только оградить интересы помещиков, у которых троицкие старцы собирались отнимать их старинных крестьян, живших за теми помещиками «лет двадцать и больше». Одиннадцатилетняя давность, казалось бы, была достаточна: давности более 15 лет вообще тогдашнее право не знало, а позже мы довольствовались 10-летней. Но землевладельцы стремились сделать крестьян более неподвижными, чем сама земля, и первая половина XVII в. наполнена челобитьями дворян и детей боярских, хлопотавших, чтобы им позволили разыскивать своих крестьян сверх урочных лет, если не без всяких урочных лет вовсе. В 1641 г. десятилетняя давность в исках о беглых крестьянах, раньше составлявшая привилегию некоторых землевладельцев, вроде Троицкого монастыря или Государева дворца, была распространена на всех помещиков: а в 1649 г. Уложение царя Алексея установило «отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людям *без урочных лет*». Любопытно, что и после этого, казалось бы, совершенно ясного закона землевладельцы продолжали требовать от вновь поряжавшихся крестьян *личного* обещания «ни за кого иного не сойти». Не давший такого обещания крестьянин не считался и не считал себя крепким. В 1690 г. чуть не через полстолетия после Уложения, один поряжавшийся в троицкую вотчину

крестьянин рассказывает, как помещик, у которого он жил «годы с три», «начал на него Ефимка просить письменных крепостей, чтобы ему жить за ним во крестьянстве, и он де, не дав ему на себя крепостей, с той деревни сшел...» [1]. Свободный крестьянин не был таким образом юридически немыслим в России даже в начале царствования Петра; но фактически это было настолько редкое исключение, что московское право, грубое и суммарное, регистрировавшее массовые факты, не считалось с этим явлением, как не признавало оно крестьянина, способного завести свое хозяйство без барской ссуды. Уцелевший местами «вольный» крестьянин нисколько не стеснялся однако же тем, что закон его игнорировал, и продолжал при царе Алексее «рядиться» со своим барином так же, как делал он это при Грозном. Всего двумя годами раньше Уложения, один новгородский помещик Иван Федорович Панов дал на себя своему крестьянину Ивашку Петрову такую запись: «мне... его Ивашку не изгонить, *и никому его не продать и не променить*, *и в заставу* (*в залог*) *не заложить* и никакова дурна над ним не учинить, и держать ево мне Ивану во крестьянах, как протчие дворяне крестьян у себя держа». В случае неисполнения Пановым этих условий «ему Ивашку волно и прочь отойти на все четыре стороны» [2]. Собственность, договаривающаяся с собственником насчет условий, под которыми она разрешает последнему собою владеть, есть конечно нечто, противоречащее всякой юридической логике: но московские люди не думали ломать своей жизни в угоду какой бы то ни было логике и устраивались в каждом отдельном случае так, как им было удобнее.

Иммобилизация крестьянства, обычно определяемая как «окончательное установление крепостного права» (хотя мы это сейчас видели, именно правовая сторона дела являлась наименее законченной), была одной из крупнейших новостей русской экономической жизни в послесмутную эпоху. На ее примере мы можем хорошо видеть, как Смута действовала. Она не вносила—и не могла конечно внести—никакой экономической перемены. Первый шаг к закреплению крестьянина в данном имении и за данным помещиком сделан был, даже если и не считать «пожилого» времени Судебников, известным законом 24 ноября 1597 г., установившим пятилетнюю давность для сыска беглых крестьян. Почвой были аграрный кризис и запустение центральной России. Смута лишь довела оба эти явления до крайних возможных пределов—и дала повод извлечь из них все возможные последствия. С прекращением «разрухи» однакоже влияние этой причины должно было бы, казалось,

[1] *Дьяконов*, Очерки, стр. 108; на стр. 106—109 см. много других примеров.

[2] *Дьяконов*, Акты, I, № 40.

итти в убывающей прогрессии. Употребляя ходячее выражение, московское государство «оправлялось» от Смуты довольно быстро. В момент наибольшего упадка (1614—1616 гг.) в знакомых нам троицких вотчинах замосковных уездов пашня составляла 1,8% всей площади, а перелог 98,2%. Но уже по переписям третьего и четвертого десятилетий того же века первая цифра поднимается до 22,7%, а вторая спускается до 77,3%. В письме 20-х годов «есть указания на колонизаторскую деятельность землевладельцев: большой боярин кн. Ю. Я. Сулешов, купив обширную вотчину в Серебожском стану Переяславского уезда, заводит в ней новое хозяйство—«ставит ново» двор вотчинников и целых 5 починков сразу». Находятся и такие землевладельцы, которые заранее готовят дворы для будущих крестьян-колонистов: в вотчине дьяка Г. Ларионова, села Слезнева, Повельского стана, Дмитровского уезда, в конце 20-х годов стояли три пустых двора, «поставлены вновь». К 40-м годам эта «внутренняя колонизация» сделала уже большие успехи: в Переяславском например уезде в 1646 г «появился целый ряд новых селений, ранее (во время переписей 20-х годов) не существовавших». В них было: 20 дворов помещиков и вотчинников, 2 монастырских, 16 дворов задворных людей, 21 двор монастырских детенышей, 143 двора крестьянских с мужским населением в 439 человек, 301 двор бобыльский с населением в 709 человек; было вновь распахано около 2300 дес. земли. Словом, «короткий экономический кризис, вызванный Смутой, прошел так же быстро, как и налетел» [1]. Но намеченное нами явление иммобилизации крестьянства ничуть не исчезло и даже не ослабело, а, наоборот, закрепилось на весь XVII в. Очевидно Смута лишь помогла обнаружиться чему-то, корни чего лежали глубже того слоя, который мог быть размыт междоусобицей. Острый момент аграрного кризиса прошел одновременно с этой последней. Но экономический расцвет времен молодости Грозного не повторился. Осталось хронически угнетенное состояние, к которому помещичье хозяйство приспособилось мало-помалу и с которого начался новый подъем, но уже гораздо позже, не ранее конца XVII столетия. Первые три четверти этого века носят в этой области определенно выраженный реакционный или, если угодно, реставрационный характер. Последний термин лучше подходит, ибо суть дела заключалась именно в реставрации, в возобновлении старого, в оживлении и укреплении таких экономических черт, которые веком раньше казались отжившими или, по крайней мере, слабеющими. Наглухо прикрепленные к имениям крестьяне XVII в. вероятно уже напомнили читателю «старожильцев» прежних боярских вотчин, из поколения в поколение сидевших на одной и той же деревне, пока их не разворошила

[1] *Ю. Готье*, цит. соч., passim.

опричнина. Но за этим сходным признаком идут и другие. Натуральный оброк, казавшийся вымирающим явлением за сто лет раньше, как нельзя быть более обычен в имениях середины XVII в. Боярин Н. И. Романов получал со своих вотчин в год с выти по барану, по полста свиного мяса, известное количество домашней птицы и по 30 фунтов коровьего масла. Баранами и птицей собирал свои доходы с подмосковной вотчины и боярин Лопухин. Крестьяне дворцовых сел Переяславского уезда тоже уплачивали повинности баранами, поярками, овчиной, сырами и маслом [1]. Особенно интересна эта живучесть натуральных повинностей в дворцовых вотчинах: мы помним, что в XVI в. первые опыты рационального хозяйства, с обширной и правильной барской запашкой, встретились нам именно на дворцовых землях. В XVII в. барская запашка здесь постепенно сокращается. В дворцовом селе Клушине еще в 1630-х годах было 250 дес. «государевой пашни», а в 70-х мы находим ее причисленной к тяглым крестьянским жеребьям. В знакомом нам Переяславском уезде, в одном дворцовом имении «государева десятинная пашня» с 546 дес. уменьшилась на протяжении 40 лет до 249 дес.—слишком вдвое, а в другом полностью была сдана на оброк крестьянам. В конце концов барская запашка удержалась только в подмосковных дворцовых вотчинах, где она не столько имела промысловый характер, сколько обслуживала непосредственные потребности многолюдного царского двора. В других местах она заменилась оброком, но не натуральным однакоже, а либо денежным, либо «посошным хлебом». Мы сейчас увидим значение этого факта, а пока заметим, что указанное явление не было особенностью дворцовых именно вотчин, а обще всем крупным имениям этой поры. «Все отдельные примеры, знакомящие нас с хозяйственными порядками нынешних Владимирской, Костромской и отчасти Ярославской губерний в XVII столетии, ставят нас лицом к лицу с хозяйством оброчным. Так, обширная и интересная корреспонденция, которую вел боярин кн. Никита Иванович Одоевский со своей галицкой вотчиной, волостью Нейской, убеждает нас, что хозяйство этой огромной вотчины было исключительно оброчным. Крупные вотчины Суздальского уезда, села Мыть и Мугреево, когда-то принадлежавшие кн. Д. М. Пожарскому, а в конце столетия находившиеся во владении кн. Долгоруковых, состояли в 1700 г. при новых владельцах на оброке [2]. Если бы даже это отсутствие сельскохозяйственного предпринимательства было уделом только крупного землевладения, и то мы имели бы пример большой экономической косности—переживания в XVII в. аграрного типа, хорошо знакомого первой половине XVI в. Но кажется, что и средние хозяйства, с такой

[1] Ю. *Готье*, цит. соч., стр. 455.
[2] Ibid., стр. 515.

головокружительной быстротой переходившие на новые рельсы во дни Грозного, сто лет спустя не только не подвинулись вперед, а даже подались назад. По крайней мере в единственном известном нам примере, относящемся к Костромскому уезду, барская пашня с 90% с лишком в 20-х годах упала к 1684—1686 гг. до 16%. Иные отношения были на юге, где помещик пахал на себя большую часть земли; но это был совсем особенный помещик, располагавший в среднем одним крестьянским и одним бобыльским дворами (Белгородский и Путивльский уезды), в лучшем для себя случае тремя такими дворами (Воронежский у.), а иногда и ни одним (Оскольский у.). На всем огромном пространстве этих четырех уездов [1] исследователь нашел в сущности, не считая монастырей, только одного помещика в настоящем смысле этого слова, у которого было три двора людских, 11 крестьянских и 5 бобыльских, а земли около 750 дес. по нашему теперешнему счету. Притом «помещичий» характер южнорусского землевладения в XVII в. шел не на прибыль, а на убыль. «С течением времени число крестьян и бобылей в Белгородском и Оскольском уездах уменьшалось и абсолютно и относительно, и бывшие помещики превращались в однодворцев». В одном из станов Белгородского уезда в 1626 г. было 146 крестьянских и бобыльских дворов, в 1646 г.—130, а в 1678 осталось всего 21. В другом стану того же уезда для тех же годов мы знаем также цифры: 255, 141 и 60. «То же явление замечаем мы и в Воронежском уезде. По переписным книгам 1646 г. в нем было 2060 дворов крестьянских и бобыльских, а в 167 г. таких дворов в уезде было 1089, т. е., другими словами, число крестьянских и бобыльских дворов уменьшилось здесь почти на 50%. «На самом деле число бобыльских дворов вотчинников и помещиков уменьшилось в гораздо большей степени, так как в очень многих новых поселениях уезда бобыли жили на государевой земле». Если не гипнотизировать себя делением московских людей на «служилых» и «тягловых»—делением чисто политическим и к экономике не имеющим никакого отношения,—то ничто не мешает нам отождествить помещиков южной окраины московского государства, с экономической точки зрения, с крестьянами. Это почти и говорит цитируемый нами ученый, утверждающий, что здесь «господствующим типом хозяйства было мелкое, напоминающее современное крестьянское, с тою только существенной разницей, что мелкий землевладелец XVII в. был обеспечен землею в избытке, по крайней мере, в первой половине столетия» [2]. Нужно заметить, что этой разницей не думало себя гипнотизировать и москов-

[1] Они занимали восточную часть Черниговской губ., всю южную часть Курской, почти всю Воронежскую и юго-западную часть Тамбовской губ., почти всю Харьковскую и северо-восточную часть Полтавской.

[2] *Миклашевский*, К истории хозяйственного быта Московского государства, стр. 210 и др.

ское правительство. В 1648 г. в с. Бел Колодезь и проселки и деревни, тянувшие к нему, была прислана грамота, которою крестьянам объявлялось, что впредь им *за помещиками быть не велено*, а велено быть в драгунской службе, причем они были освобождены от платежа земских и стрелецких денег и других сборов. Они обязывались иметь по пищали, рогатине и топору, *а владение землею* в том размере, в каком они владели до переименования их в драгунскую службу, *было оставлено в прежнем виде* [1]. Так легко, одним почерком пера, можно было превратить тяглых людей в служилых, во всей неприкосновенности сохраняя их экономическую организацию.

Нам остается обобщить то наблюдение, на которое навели нас микроскопические «помещики» украинных уездов. «Господствующим», т. е *экономически* господствующим, по всей России XVII в. было *мелкое землевладение* крестьянского типа, пережившее кризис, который погубил помещика-предпринимателя. Брошенная последним барская запашка не оставалась лежать впусте—она находила себе съемщика в лице крестьянина. Мы это видели на примере дворцовых имений,—но так же поступали и монастыри, и частные землевладельцы. Крестьянский надел рос с неуклонной правильностью все время, пока боярская пашня в лучшем случае стояла на одном месте. В конце XVI в., в разгар кризиса крестьянская пашня в средней России не превышала 2,6 дес. на двор; в первой половине XVII в. она дошла уже до 6 дес. на двор, а во второй, местами, до 9 с лишком [2]. Автор, у которого мы находим эти цифры, видит противовес этому явлению в том, что количество запашки на душу мужского пола не увеличилось за это время, а, кроме дворцовых вотчин, даже слегка упало. Он усматривает здесь «новое понижение крестьянского хозяйства», упуская из виду один факт: что на 2,5 дес. земли хозяйничать вовсе нельзя, а на 6, а тем более 9—уже можно. Рост крестьянского двора, который было бы очень близоруко объяснять одними финансовыми влияниями (с 1630 г. в московском государстве подать брали уже не с количества распаханной земли, а с количества дворов), находит свое место в общей картине экономической реставрации XVII в. «Большой двор» удельной поры, близкий потомок «печища» и «дворища» древнейшей эпохи, недаром возрождается параллельно с упадком поместья и,—как мы сейчас увидим,—с возрождением вотчины. Он потому и понадобился теперь, что был наиболее устойчивой экономической организацией натурального хозяйства, к которому Московская Русь была теперь ближе, нежели за сто лет перед тем. И эта большая устойчивость вела конечно не к «понижению уровня крестьянского хозяйства». Самым характерным показателем того, в

[1] *Миклашевский*, стр. 180. Курсив наш.
[2] Ю. *Готье*, цит. соч., стр. 513.

каком направлении шла эволюция, служит постепенное *исчезновение бобыльских дворов* рядом с поразительным, местами, ростом числа дворов крестьянских. Тот же автор собрал по писцовым книгам такие данные (берем из них лишь некоторые, для примера): в Бежецком уезде в 1620-х годах крестьянских дворов насчитывалось (по 5 прослеженным автором имениям) 155, и в них 158 душ мужского пола; по книгам 80-х годов дворов было 175, а душ в них 5 797, тогда как бобыльских дворов в первом случае было 218, а во втором лишь 75, число же бобылей в них за шестьдесят лет упало с 227 до 197. В 18 имениях Дмитровского уезда за тот же период число крестьянских дворов увеличилось со 125 до 611, а число бобыльских уменьшилось с 83 до 17. В 13 имениях Ростовского уезда вместо 166 крестьянских дворов мы находим 694, а вместо 86 дворов бобыльских только 32. В Переяславском у. в 1620-х годах было на 54 крестьянских двора 79 бобыльских, а в 1680 первых было 338, а вторых только 5. В общем по всем 115 исследованным нашим автором имениям число крестьянских дворов увеличилось в 2½ раза, а население их почти в пять раз: раньше во дворе было менее 2 душ, теперь почти 3,5. Число же бобыльских дворов *упало* вдвое, а население их осталось без перемены. Другим признаком направления, в каком шло развитие, служит соотношение пашни и перелога по книгам 80-х годов. В противоположность тому, что мы видели в начале века или даже в конце предыдущего, в момент наибольшего напряжения кризиса, теперь пашня решительно преобладала. Наш автор приводит ряд имений Шуйского, Юрьевопольского, Костромского и Коломенского уездов, где либо распахана вся земля, за исключением луговой и сенокосной и перелогу нет вовсе, либо он сведен к ничтожной пропорции 6—7% всей площади. В среднем пашня относится к перелогу, как 2 к 1, в то время как в 20-х годах столетия отношение равнялось 1 к 5. Не только раны, нанесенные Смутой, были залечены, но и кризис поместного землевладения можно признать к этому времени ликвидированным; только выигравшими от ликвидации оказались не те, кто потерял сто лет назад. Хищнические формы денежного поместного хозяйства, разорявшие и помещика, и крестьянина, замерли надолго—увидеть их вновь, но уже совсем в иной экономической обстановке, суждено было «веку Екатерины». Зато крестьянин, порабощенный, как в удельное время, вернулся до известной степени и к удельному благополучию—благополучию сытого раба, правда. Что он однако был в минимальной степени удовлетворен своим положением, показывает быстрота, с какой росло в XVII в. население пустевшей при Федоре Ивановиче центральной России. От 20-х до 40-х годов оно увеличилось, по различным уездам, от 2,3 до 6,3 раза; к 80-м же годам местами было в 7½ раз больше населения, чем тотчас после Смуты. Средний коэфициент увеличения, во вся-

ком случае, не менее 5. В конце 20-х годов сельское население Замосковья можно определить цифрою от 400 до 500 тыс. душ обоего пола—крестьян, бобылей и холопов; в конце 70-х соответствующие категории дают от 2 до 2½ млн. [1]. Заметим, что это была пора довольно интенсивной колонизации как южной Украины, так и Поволжья и Сибири. Можно ли говорить о «понижении хозяйственного уровня» в стране, население которой в условиях полунатурального хозяйства так «плодилось и множилось»?

Нам остается проследить еще одну сторону этой регрессивной эволюции—уже не экономическую, а социально-юридическую. Торжество помещиков в 1612 г. должно бы, казалось, закончить процесс, начатый опричниной, и закрепить его результаты—превратить всю обрабатываемую землю в поместную. На первый взгляд так оно и было. Не успела смолкнуть канонада под московским Кремлем, как дворцовые и «черные», крестьянские земли массами стали переходить в дворянские руки: до весны 1613 г. было уже роздано не меньше 45 тыс. дес. земли дворцовой и до 14 тыс. дес. земли «черной»—роздано преимущественно вождям помещичьей рати, ее генералитету и офицерству. Несколько позже дошла очередь до рядовых—около 1627 г. имело место «верстанье новиков всех городов», раздача поместий дворянской молодежи, в службу поспевшей, но еще землею не наделенной и потому сидевшей на шее у старших родственников. Материалом для этого большого верстанья и для многих других, мелких, происходивших в промежутки, послужили опять дворцовые и черные земли, а отчасти и земли, конфискованные у других владельцев; только теперь конфисковали уже не «княженецкие» вотчины—их почти и не оставалось,—а земли, данные побитыми политическими противниками тех, кто торжествовал в 1612 г.: «тушинским вором», а в особенности «королем и королевичем», т. е. польско-боярским правительством 1610—1611 гг. Более жалостливое отношение к тушинским грамотам, сравнительно с королевскими, чрезвычайно характерно: правительство царя Михаила не могло забыть, что и Тушино когда-то было «дворянским гнездом», из которого вылетели Романовы. Оттого «воровские дачи» и не отбирались с такою неуклонностью, как дачи «королевские». Общая цифра розданных мелкими участками земель конечно далеко превышала то, что крупными кусками расхватали «пришедшие в первый час», немедленно после победы. Раздавались целые волости, на 300 иногда поместных участков сразу, в одном известном случае количество розданной в одном месте пашни доходило до 4 500 дес., в другом даже до 7 500. Сколько-нибудь точного итога подведено быть не может—нам и не все случаи верстанья известны: но общую сумму при-

[1] Ю. *Готье*, назв. соч., стр. 269 и «поправка» в конце книги.

шлось бы считать сотнями тысяч, если не миллионами десятин. Интересно однакоже не это само собою разумеющееся последствие дворянской победы, интересен более другой факт: эта розданная *помещикам* земля поколением позже оказалась владеемой не на поместном, *а на вотчинном праве*. Это явление достаточно намечается уже в 20-х годах. В это время в одном из станов Дмитровского уезда можно было насчитать 6 старинных вотчин и 10 выслуженных, пожалованных за две московские осады, при царе Василии и при Михаиле Федоровиче, «в королевичев приход», когда стоял под Москвой королевич Владислав. В отдельных станах Звенигородского, Коломенского и Ростовского уездов соотношение «старинных» (наследственных) и выслуженных вотчин было такое же. В Углицком уезде из 114 вотчин 59, т. е. опять-таки большинство, появились в первой четверти XVIII столетия. В Московском уезде вотчинные земли составляли почти $^2/_3$ всех имений, поместные—немного более $^1/_3$. В одном уезде, Лужском, вотчинное землевладение впервые появляется в эту эпоху. При этом в вотчину имели тенденцию превращаться *лучшие* поместные земли. Уже в 20-х опять-таки годах, т. е. еще задолго до подъема конца столетия, отношение пашни и перелога на вотчинных землях гораздо выгоднее, чем на поместных: иногда в вотчинах относительно в десять раз больше пашни паханой, нежели в поместьях соответствующего уезда. Что конечно не значит, как думает тот автор, у которого мы заимствовали эти статистические данные, будто вотчинное хозяйство было устойчивее поместного: экономически оба типа ничем друг от друга не отличались, при одинаковых размерах. Даже юридически отличие не было так велико, как привыкли думать мы, следуя историкам русского права, с большой легкостью переносившим в феодальную Русь нормы современных буржуазных отношений. Поместья почти всегда передавались по наследству и переходили из рук в руки даже через специальные запреты. Правительство например очень старалось изолировать поместные участки, дававшиеся служилым иностранцам,—число их все увеличивалось в XVII в.,—тем не менее по документам можно насчитать целый ряд несомненно русских людей, владевших иноземцевскими поместьями[1]. Все, чего удавалось более или менее достигнуть,—это чтобы «земли из службы не выходили». Но, во-первых, служить обязаны были и вотчинники, после Грозного «не служить никому» было уже нельзя. А во-вторых, провести и этот принцип на практике было не легким делом. Помещик, как и всякий православный человек, стремился «устроить свою душу»—обеспечить молитвы церкви за него после его смерти и, как всякий землевладелец, достигал этого, жертвуя тому или другому монастырю часть своих земель. Бывало это и в XVI в., а в XVII сделалось оби-

[1] *Ю. Готье*, назв. соч., стр. 309, примеч. 5.

ходным явлением, несмотря опять-таки на ряд форменных запретов, и целый ряд поместных участков сливался таким путем с монастырскими вотчинами. Втолковать московскому человеку разницу между «собственностью» и «владением» было далеко не легким делом, в особенности когда право собственности на каждом шагу нарушалось не только верховной властью, как это было при всякой опале времен Грозного или Годунова, но и любым сильным феодалом [1]. «То, чем я владею, мое, покуда не отняли»—такое, юридически неправильное, но психологически совершенно понятное представление существовало у каждого древнерусского землевладельца, был ли он вотчинник или помещик. И разницу между вотчиной и поместьем мы поймем легче всего, беря их не со стороны обязательств, лежавших на том и на другом типе землевладения по отношению к государству, а со стороны хозяйственного интереса владельцев. С этой точки зрения мы легко поймем, почему излюбленным типом второй половины XVI в. было поместье, а следующего века—вотчина. В период лихорадочной, хищнической эксплоатации захваченной земли ее стремились использовать возможно скорее, чтобы затем бросить и приняться эксплоатировать новую. И когда отношения снова приняли средневековую устойчивость, естественно было появиться тенденции—закрепить за собою и своей семьей занятую землю, и не менее естественно, что раньше всего эта тенденция обнаружилась по отношению к более ценным имениям. В поместье брали теперь то, что не жалко было бросать. Мало-помалу однако же закреплять за собою имение стало такою же привычкой землевладельца, как и закреплять крестьянина в этом имении, и тогда «поместный элемент» в московском, и особенно подмосковном, землевладении «стал очень близок к исчезновению». В Боровском например уезде в 1629—1630 гг. поместные земли составляли $^2/_5$ всех земель, а вотчинные—$^3/_5$, а в 1678 г. первые давали лишь $^1/_4$ всех имений, а вторые—$^3/_4$. В Московском уезде в 1624—1625 гг. поместные земли составляли еще 35,4%, а в 1646 всего 4,4% [2].

Юридическая реставрация была бы для нас совершенной загадкой, не знай мы, на какой экономической почве она выросла. Возрождению старого типа хозяйства, с натуральным оброком и слабо развитой барской запашкой, отвечало возрождение и старого поземельного права. Естественно, что должен был возродиться и старый *тип* владения. «Старинная» боярская вотчина XVI в. была, как правило, латифундией, сменившее ее поместье было образчиком среднего землевладения. В XVIII в. мы опять встречаем латифундии, и возрождение их всецело падает на первые царствования новой династии. Уже на другой день Смуты началась настоящая оргия крупных

[1] Примеры см. в гл. II настоящей книги.

[2] Сводку данных для 15 уездов см. в цит. соч. *Готье*, стр. 387 и сл.

земельных раздач, своего рода реставрация того, что уничтожила когда-то опричнина. В 1619—1620 гг. был роздан целый Галицкий уезд, т. е. все его «черные», занятые свободным еще крестьянством земли. Лишь в редких случаях то была поместная раздача мелкими участками; гораздо чаще мы встречаем целую волость, отданную одному лицу, с более или менее «историческим» именем. Тут мы находим и боярина Шеина (смоленского коменданта времени Сигизмундовой осады), и боярина Шереметева, и Ивана Никитича Романова, и князей Мстиславского, Буйносова-Ростовского и Ромодановского. Галицкий уезд конечно только пример: массу таких же случаев мы встречаем и в других местах, и раньше 1620 г. и позже; большая часть, почти 60 тыс. дес., розданных в первые месяцы царствования Михаила Федоровича, пошла под крупные вотчины, а в 20-х и в 30-х годах можно найти ряд случаев, когда по царскому пожалованию в одни руки за один раз попадало по 300 дворов крестьян по 1,5 тыс. дес. земли. В результате, «черных» земель в Замосковье к концу XVII столетия не осталось вовсе, а дворцовых было роздано в несколько приемов от 1,5 до 2 млн. дес. И чем ближе мы к концу эпохи, тем грандиознее становится размах процесса. Уже при Федоре Алексеевиче (1676—1682 гг.) крупные раздачи составляют больше половины всех пожалованных за это недолгое царствование земель. С 1682 по 1700 г. роздано в вотчину «16 120 дворов и более 167 тыс. дес. пахотной земли, не считая сенокосов и лесов, придававшихся иногда в огромном количестве к жалуемым вотчинам». Между пожалованными первое место занимает царская родня того времени: Апраксины, Милославские, Салтыковы, Нарышкины, Лопухины. В одни руки сразу попадали иногда, как это было в 1683—1684 гг. с Нарышкиными, до 2½ тыс. дворов и до 14 тыс. дес. земли. Но это было ничто сравнительно с теми латифундиями, которые стали возникать при Петре, когда Меншиков единолично получил более трех волостей с 20 тыс. дес. Всего за 11 лет царствования Петра (1700—1711 гг.) было роздано из одних дворцовых земель около 340 тыс. дес. пахотной земли и 27 500 дворов крестьян против 167 тыс. дес. и 16 тыс. дворов, превратившихся в латифундии в течение предшествующего 18-летнего периода. Так, *дворянство* окончательно усаживалось на места *боярства*, выделив из своей среды и новую феодальную знать, подготовляя расцвет «нового феодализма» XVIII в.

## 2. Политическая реставрация.

Возрождению старых экономических форм должно было отвечать воскресение старого политического режима. Все учебники переполнены описаниями «злоупотреблений» московской администрации XVII в. Обычно они рисуются как продукт свободной «злой воли» тогдашнего чиновничества. Иногда к

этому присоединяются еще фразы о «некультурности» современников царя Алексея, и объяснение считается исчерпанным, если историк напомнит своему читателю об упадке «земского начала» в те времена и замене его «началом приказным». «Бюрократия» в глазах среднего русского интеллигента так недавно еще была столь универсальным объяснением всяческого общественного зла, что углубляться далее в «причины вещей» было совершенно излишней роскошью.

Для упрощения вопроса полезно с первых же шагов расквитаться с предрассудком о «приказном начале». Если понимать под торжеством этого последнего замену общественного самоуправления бюрократическим самоуправством, историческая действительность не дает для такого объяснения никаких опорных пунктов. Все те «органы общественной самодеятельности», которые были созданы XVI в., остались и в XVII, вплоть до эпохи Петра, под теми же именами, а слегка костюмированные и много позже. От того, что земский староста стал называться бургомистром, земский целовальник—ратманом, а земская изба—магистратом, читатель согласится, большой перемены быть не могло. Губные власти также дожили до Петра,—и то, что при нем вместо губного головы мы находим ландрата или комиссара, не более резко меняло сущность дела. Если же под развитием приказного начала понимать образование профессиональной группы чиновников—в XVII в. почти исключительно финансистов или дипломатов, юристы к ним присоединились гораздо позже,—то такая диференциация шла на счет феодального режима, а никак не на счет «самоуправления» вообще. Феодальная Россия, как и феодальная Европа, знала только одно разделение правительственных функций: духовную и светскую власть. Представители той и другой, каждый в своей сфере, делали все, что теперь выполняется самыми разнообразными профессионалами: и судили, и подати собирали, и дипломатическими сношениями заведывали, и войсками командовали [1]. Усложнение правительственного механизма, параллельно экономическому развитию, повело к выделению в руки особых специалистов, отчасти буржуазного происхождения, трех первых из перечисленных функций, и за феодальной знатью осталось ближайшим образом лишь военное начальство. Это и было «образованием бюрократии» как у нас, так и на Западе, одинаково: факт, о котором могут сожалеть лишь представители исторического романтизма, вздыхающие об утраченной «гармонии» средневекового быта. Современному читателю, буржуазному или небуржуазному, нет ни малейшего основания присоединяться к этим вздохам. Соотношение обществен-

[1] Представители духовной власти у нас осуществляли эту последнюю функцию чаще косвенно, через посредство своих бояр; лишь на долю настоятелей некоторых монастырей—Троицкого или Соловецкого—выпадали иногда обязанности военных комендантов.

ных сил не могло измениться от того, что способ действия этих сил стал сложнее: характер режима определяла его классовая физиономия, а не то, осуществлялся ли он людьми «штатскими» или военными.

Но и возникновение «приказного строя» в этом последнем, единственно правильном понимании слова вовсе не составляет характерной черты государства первых Романовых. Громадное влияние профессиональных чиновников, дьяков, отмечалось еще современниками Ивана Васильевича Грозного. В следующее царствование дьяки Щелкаловы иностранцам казались порою олицетворением московского правительства,—а по словам одного русского современника, одному из Щелкаловых немало был обязан своим возвышением и Борис Годунов—взгляд, к которому присоединяются и новейшие историки [1]. В Смутное время бывший дьяк из купцов Федор Андронов одно время, как мы видели, правил московским государством. XVII в. дает больше аналогичных примеров количественно, но столь ярких—ни одного. Дьяки царей Михаила и Алексея были куда скромнее этих вершителей судеб московского царства. Отмечающееся обыкновенно обстоятельство, что при этих государях дьячества не чураются дворяне, прежде гнушавшиеся «худым чином» (самой известной дворянской фамилией, составившей себе карьеру на чиновничьих должностях, были Лопухины), можно наблюдать опять с более раннего времени: еще Сигизмунду, в 1610 г., московские дворяне бивали челом о назначении их дьяками. А приводимые Котошихиным образчики власти бюрократических учреждений, вроде приказа тайных дел, отчасти намечают первые шаги дальнейшей эволюции, с которою нам придется детальнее знакомиться, изучая так называемую «петровскую реформу»,—отчасти же являются просто преувеличением дьяческой власти, естественным под пером автора-подъячего. В общем центральное управление московского государства не делает заметных успехов в этом направлении до самого начала следующего столетия, когда сразу, в немного лет рушится вся система старой центральной администрации—и дума, и приказы. Главное же новообразование в области местного управления, воеводская власть, носит все признаки типичнейшего феодального учреждения—воевода и войсками командует, и судит, и подати собирает. Отобрание у него этой последней функции является опять-таки одним из признаков дальнейшего поступательного движения в самом конце изучаемой эпохи.

От простого и легкого способа объяснения «злоупотреблений» властью «бюрократии» приходится, таким образом, отказаться. А так как объяснение от «злой воли» может удовлетворить в наше время лишь детей (и то не из очень бойких), насчет же

[1] См. *Платонов*, цит. соч., стр. 199.

«культурности» как противоядия «злоупотреблениям» мы имеем столь блестящие отрицательные примеры, как современные Соединенные штаты и современная Франция, то остается применить к московскому государству тот метод, какой мы применили бы к этим последним,—и искать не злоупотреблений, а образчиков классового режима. Став на этот путь, мы прежде всего тотчас же увидим, что между «общественной самодеятельностью» и «злоупотреблениями» никакого прирожденного антагонизма не было,—что первая, как она тогда существовала, была, напротив, весьма подходящей питательной средой для последних. Классической страной *земских учреждений* в XVII, как и XVI в., были Поморье и Поволжье. Поморские и понизовые города были средоточием московской буржуазии, в противоположность городам южным, представлявшим собою военно-аграрные центры, за стенами которых местное земледельческое население отсиживалось от неприятеля и откуда командующие элементы этого населения «правили» окружающей страной. На севере было иначе. Слабое развитие крупного землевладения на малоплодородной, непригодной для сельскохозяйственного предпринимательства, почве повело к тому, что здесь в больших размерах до самого XVIII в. сохранилось юридически свободное крестьянство, экономически закрепощавшееся не помещиками, а городскими капиталистами. Здесь возникло настоящее буржуазное землевладение, с которым дворянское правительство XVII в., привыкшее видеть землю исключительно в руках военных людей, не знало что делать, и то отбирало деревни «купленные и закладные»—у «гостей» гостиной сотни и торговых и всяких чинов людей, то возвращало их обратно [1]. Каких размеров достигала диференциация посадского населения в XVII столетии, покажут два-три примера. В Усолье во второй четверти этого столетия встречались купцы, дворы которых ценились от 500 до 1000 руб.: в переводе на теперешние деньги это дало бы от 5 до 10 тыс. рублей; но нужно принять во внимание, что строительные материалы на тогдашнем лесистом севере стоили буквально гроши, так что стоимость построек, сравнительно с движимостью, была совсем не та, что теперь. Не тысяча, а даже 300 руб. составляли настоящий, и крупный притом, капитал для тогдашнего купца: в столице Сибири, в Тобольске, крупнее капиталов тогда и не было. Человек, у которого один дом со всем обзаведеньем стоил до тысячи рублей, был бы, для начала XX в., «стотысячником», а Усолье не бог весть какой крупный центр. Устюжна Железопольская была еще меньше, а там за бесчестье «молодшего» человека брали только рубль, а за бесчестье «торгового»

[1] См. *Лаппо-Данилевский*, Организация прямого обложения в Московском государстве, стр. 157. Процесс образования сельской буржуазии нами прослежен в главе III настоящей книги: «Феодализм в древней Руси», в виде примера.

пять рублей: верхи городского общества были крупнее низов ровно впятеро. В Нижнем-Новгороде существовали четыре категории посадского населения, высшую из которых составляли «лучшие люди»—оптовые торговцы и судохозяева, а низшую—«худые люди» и обитатели Кунавинской слободы, имевшие однако свои дворы—бездомные бобыли сюда не входили. Мы видели, какую заметную страницу в истории Смуты составила борьба этих «лучших» и «меньших» людей в тогдашнем городе. Смута кончилась победой «лучших», и органы земского самоуправления, и на посаде и в тянувшем к нему уезде, перешли в их руки. Наиболее скромные из них воспользовались этим лишь для того, чтобы не «тянуть тягла» вместе с массою посадского населения, т. е. свалить на нее главную тяжесть государевых податей. Так, в Сольвычегодске в 1620-х годах был «земский целовальник»—по-позднейшему член уездной земской управы,—который числился, вместе с некоторыми другими, в «отписных сошках», в общую городскую раскладку не входил и за городскую мелкоту не отвечал. Не потому конечно, чтоб он и его товарищи были люди бедные: наоборот, это были местные воротилы, владевшие не только дворами на посаде, но и соляными варницами, лавками, амбарами, а в уезде «полянками» и «пожнями». Другой земский целовальник, Тотемского уезда, обнаружил уже большую агрессивность: он, вместе с другими «сильными людьми», захватил целый ряд пустошей и пустых крестьянских жеребьев, но податей за них не платил вовсе, предоставляя это делать крестьянам, по круговой поруке. Когда крестьяне вздумали на него жаловаться, земский целовальник им сейчас же напомнил, что ведь и самый сбор податей в его же руках: он начал жалобщиков ставить на правеж «в лишних податях и в мирских поборах»—«и бил их без милости». Присланный для разбора жалобы из Тотьмы приказный человек оказался на стороне «сильных людей»—и настолько явно и беззастенчиво притом, что приехавший из Москвы пристав должен был посадить его в тюрьму; но сделал ли что-нибудь сам пристав, нам неизвестно—и во всяком случае после его отъезда дела наверное пошли по-старому. О каком-либо контроле со стороны «меньших» по отношению к «лучшим», разумеется, и речи быть не могло. В Вологде не только «молодшие», но и «средние» люди не могли добиться, чтобы им позволили «считать» земских старост: «лучшие» предпочитали обделывать все дела в своем кругу, причем место контроля занимало, повидимому, дружеское и полюбовное распределение доходов. В Хлынове дело было еще проще: там староста с целовальниками просто «расписывали» между собою собранные с мира деньги, продолжая неукоснительно править их с плательщиков. От этого многие как посадские, так и волостные люди «охудали и обдолжали велики долгами, и пометав дворы свои, разбрелись врозь». «Обдолжанию» много содействовали тот же ста-

роста с целовальниками, занимавшиеся, в числе прочего, и ростовщичеством. Запустение Хлынова обратило на себя внимание в Москве, и посадским людям разрешено было выбрать счетчиков для производства ревизии хлыновского земского управления: оставался однако вопрос, кто при установившихся в Хлынове порядках мог попасть в счетчики и какие практические результаты могла дать такая ревизия.

Но одним финансовым иммунитетом правившие земством капиталисты повсе не собирались ограничиваться, и хозяйничанье их не кончалось на государевых податях и мирских сборах. Земские власти не только собирали налоги, но и судили. В большинстве случаев рука руку мыла—дело и здесь не выходило из тесного дружеского кружка. Но случалось ссориться и «сильным людям», и тогда повторялась по отношению к суду та же история, которую мы уже имели случай наблюдать по отношению к податям: сами судя других, местные богатеи судиться в земском суде не хотели, исхлопатывая себе особую подсудность. От 1627 г. до нас дошла такая челобитная земского целовальника Устюжны Железопольской: «взял, государь, устюжский посадский человек Аксентий Перваго сын Папышев твою государеву грамоту из Устюжской чети, что искати ему, Оксентью, на устюжских на посадских людях по кабалам перед воеводою на Устюжне, а по твоему государеву указу на Устюжне перед земскими судьями не ищет и сам посадским людям перед земскими судьями отвечать не хочет». Целовальники от лица всего посада хлопотали об упразднении такого иммунитета для Аксентия Папышева. До нас дошла и челобитная этого последнего; из нее мы узнаем, что он сам был земским судейкой и даже председателем («головщиком») местного земского суда и повидимому сначала домогался, чтобы его дела «по кабалам и по записям» вершились тем самым присутствием, где он председательствовал. Взять на одного из своих сограждан кабалу, предъявить ее ко взысканию в качестве истца и присудить себе следуемое в качестве судьи—это была конечно наиболее удобная процедура в мире. Но, то ли она оказалась слишком упрощенной даже для юридической совести товарищей Папышева, то ли он с ними в чем-то не сошелся—последнее правдоподобнее,—только другие «земские судейки» на это не согласились: под тем предлогом, что он себе никакой управы в земском суде найти не может и, не будучи в состоянии по кабалам ни взять, ни платить,—дипломатично прибавлял он,—от того рискует «вконец погибнуть и государевой подати отбыть»; устюжский излюбленный человек и добивался, чтобы его ростовщические процессы вел государев воевода. В Москве решили дело скорее в его пользу: кабальные дела Папышева остались за воеводой, и лишь по другим процессам он возвратился в подсудность земского суда. Посадским же людям оставалось повидимому только отводить душу «неподобною лаею».

Об этом можно заключить из другого устюжского документа той поры, челобитной того же Папышева, уже как судьи, о том, как ему решать некоторые, не вполне для него и его товарищей ясные, судебные казусы: из нее мы видим, что это был очень ревностный судья и для своего времени тонкий юрист. В числе смущавших Папышева казусов были дела о бесчестьи. «И некоторым, государь, посадским людям можно платить бесчестье, и они, государь, бесчестье деньгами платить не хотят, а говорят: «бейте де нас по государеву указу батогами», а надеются на то, что мы выбраны, сироты твои и доводчики, на год за службу «и бить де нас батогами гораздо не смеют», а впредь грозят продажами. И иные, государь, надеючись на свое безделье, *нарочитым посадским людям* говорят: «как де мы ни обесчестим, и нам де ведь батоги лише пробьют, а и батоги де нас горазно бить не смеют, а будет де нас учнут гораздо бить батоги, и мы де после на судьях и на доводчиках ищем». В Москве и на этот раз поддержали устюжских капиталистов—и на челобитной Папышева положили резолюцию: «...а за бесчестье били бы батоги, не боясь никого».

То положение вещей, какое существовало до Смуты, а во время ее вызвало целый ряд известных нам городских взрывов и сделало тушинского «вора» царем всех угнетенных и обиженных, продолжало господствовать в русских городах и после окончания «Смутного времени». Естественно, что и социальная борьба времени Смуты то там, то сям должна была вспыхивать,—и то, что она не принимала уже тех острых форм, как в те дни, на фоне общерусской междоусобицы, не лишает ее ни социального смысла, ни интереса. В 70-х годах XVII в. устюжский уезд был совсем в полону у городских капиталистов Устюга Великого. В своей челобитной уездные люди очень картинно изображают тогдашнее положение вещей. «Крестьяне у них, посадских людей, во всем были порабощены и *посадские земские старосты по своему богатству* гордостию своею крестьян теснили и *вменяли себе в место рабов*, и могутством своим и великими пожитками у нашей братьи у скудных крестьян покупали себе в Устюжском уезде лутчие деревни и «начали быть во многих волостях владельцами, и оттого мы, крестьяне в их насильстве оскудали и от той скудости крестьяне в их деревнях работают на них вместо рабов их...» Но и здесь наконец наступил момент, когда «сильные люди» раскололись и притом повидимому более серьезно, чем когда бы то ни было в подобных случаях. Таможенный староста, сам конечно крупный торговец, воспользовавшись совершенно своеобразным предлогом — проездом голландского посланника (не забудем, что в те дни Северная Двина была дорогой в Западную Европу),—собрал сходку и на ней произвел своего рода муниципальную революцию. Собравшиеся крестьяне выбрали своего особого «всеуездного земского старо-

сту»—«и учинили особую наемную, новозатейную волостную избу кроме общей старинной, посадской земской избы». Знаменательной особенностью устюжского конфликта было то, что местный воевода стал на сторону «бунтовщиков». Мы не знаем его побуждений, но в Москве дело было выиграно ходоками волостных людей только потому, что они не жалели денег, раздавая по сто рублей в один день московским подъячим: что за устюжским крестьянством стояла оппозиция местных капиталистов, это доказывается, как видим, не только личностью вождя восстания,—что само по себе могло еще быть и случайностью. Перекупив с помощью этой купеческой оппозиции Москву на свою сторону, устюжские уездные люди даже подчинили себе посад, получив право штрафовать «лучших людей», если они не захотят «платить с крестьянами в ряд» и не вложатся в общий оклад.

Нужно впрочем заметить, что симпатии московского начальства к «меньшим» людям на посаде и в деревне не всегда возникали на почве личной корысти тех или других «начальников». В дни Смуты крупная посадская буржуазия и помещики, правда, были союзниками. Но едва прошли эти дни и улеглась общая гроза,—исчезла опасность поддерживаемого Тушиным бунта «меньших», старый антагонизм скоро проснулся, и коренное противоречие интересов этих двух элементов относительно государевой казны, помещика как получателя, буржуа как плательщика, должно было чувствоваться все сильнее и сильнее. На знаменитом «азовском» соборе 1642 г. гости и гостиной, и суконной сотни торговые люди рекомендовали возложить военные тягости на служилых людей, «за которыми твое государево жалованье, вотчины многие и поместья есть; а мы холопы твои, гостишки и гостиныя, и суконныя сотни торговые людишки городовые и питаемся на городех от своих промыслишков, а поместий и вотчин за нами нет никаких, а службы твои государевы служим на Москве и в иных городех по вся годы беспрестанно, и от твоих государевых беспрестанных служб и от пятинныя деньги, что мы, холопы твои, давали тебе, государю, в Смоленскую службу, ратным и всяким служилым людям на подмогу, многие люди оскудели и обнищали до конца». Дворяне же и дети боярские разных городов говорили: «а с твоих государевых гостей и со всяких торговых людей, которые торгуют большими торгами, и со всяких черных своих государевых людей, вели, государь, с их торгов и промыслов взять денег в свою государеву казну, ратным людям на жалованье, сколько тебе, государю, Бог известит, по их торгам и промыслам и прожиткам, и тут объявится той казны пред тобою государем много». Мы знаем уже, что «нищали до конца» не все разряды посадского населения одинаково. Когда мы читаем, что на Белоозере в 1618 г. посадские люди стояли сразу на трех правежах—на одном у воеводы «за недоимочные хлебные

и кабацкие деньги»: да те же посадские люди стоят на другом правеже у сборщика, присланного для взыскания земских денег; да они же стоят на третьем правеже у сына боярского, сбирающего запросные деньги», «и с правежов и достальные посадские люди разбредаются и бегают с женами и детьми»,— мы понимаем, что это написано не о московских оптовых торговцах, товарищи которых в провинции сами таким же путем «правили» со своих меньших братьев. Но что от победы, одержанной сообща верхними слоями посада и средним землевладением, последнее выиграло очень много, а первые довольно мало, показывает хотя бы тот факт, что площадь дворянского землевладения выросла после Смуты во много раз, а купеческие капиталы за первую половину века увеличились гораздо менее. В 1649 г. в Москве гостей и людей гостиной и суконной сотни было почти в полтора раза менее, чем при Федоре Ивановиче, причем лишь меньшинство их (из 116 человек суконной сотни только 42) допускались к «верным» службам, остальные не представляли в глазах дворянского правительства достаточного обеспечения, потому что капиталы их были слишком уже незначительны. И виноват в этом явлении был не столько общий экономический застой, чувствовавшийся в городе в гораздо меньшей степени, чем в деревне: те же плачущиеся на свою бедность гости 1642 г. наивно проговариваются, что сумма косвенных налогов, а стало быть, и торговых оборотов, возросла за царствование Михаила Федоровича в десять раз,— сколько то интенсивное доение торгового капитала, каким занимались овладевшие властью помещики. О пятинных деньгах (сбор в 20% с капитала на военные надобности) на соборе 1642 г. говорили не одни гости, но и—вероятно с большим правом—старосты и сотские черных сотен и слобод—представители мелких торговцев и ремесленников. Всякий рубль, шевелившийся в кармане московского буржуа, был на счету у помещичьего правительства—и последнее пользовалось всяким удобным случаем, чтобы подойти к этому рублю поближе. Жалобы «меньших» на притеснения со стороны городских богатеев представляли именно такой случай. Когда в 1663 г. нижегородскому воеводе было приказано «беречь, чтобы в Нижнем-Новгороде посадские земские старосты и целовальники и денежные сборщики, и мужики богатые и горланы мелким людям обид и насильств, и продажи ни в чем не чинили, и лишних денег с мирских людей, сверх государевых податей, не сбирали, и ни в чем мирскими деньгами не корыствовались, тем бы мирских людей не убытчили», то тут же сейчас и было прибавлено: «а в какие будет государевы подати с мирских людей, что денег собрать понадобится, и в *тех государевы подати* земские старосты и целовальники и денежные сборщики с мирских людей *денег собирали с его Александрова (воеводы) и дьяка Фирса ведома*, по тягу и по развытке, в которые госуда-

ревы доходы сколько с них доведется взять...» Под предлогом охраны обиженной городской мелкоты городская касса попадала в крепкие руки воеводы.

Но главной ареной борьбы двух командующих классов московского общества были не земские, *а губные учреждения*. Мы знаем, что эта форма «общественной самодеятельности» с самого начала носила классовый характер: губной голова или староста всегда был из дворян или детей боярских. Но, во-первых, выбирали его, хотя из одного определенного класса, *все классы общества*, кроме крепостного крестьянства. А во-вторых, он действовал не один, а с *целовальниками*, присяжными, которые всегда были не-дворяне: губной голова—дворянин—был лишь председателем этой, действительно всесословной, комиссии. Его права были, как мы видели в свое время, очень обширны, но окончательное решение он не мог произнести один, и если оно чересчур задевало интересы не-дворян, он рисковал наткнуться на сопротивление своих демократических товарищей. В центральной России, исконной помещичьей стране, эти ограничения власти губного старосты могли быть, и вероятно были—пустой формальностью. Но на севере, где буржуазия была сильна и крепка, даже в XVII в. ей иногда удавалось низвергать неудачных для нее губных голов и ставить на их место своих кандидатов. В Устюжне Железопольской в 1640-х годах два раза дворянский кандидат в губные старосты должен был уступить место кандидату посадских, хотя и взятому, само собою разумеется, тоже из служилых людей. Два раза дворяне и дети боярские потом снова брали верх, но в третий раз конфликт разрешился тем, что посадские получили право выбрать себе особого старосту, который заведывал бы одним посадом, без уезда. При таких условиях тот факт, что выбора одних дворян и детей боярских все чаще и чаще считалось достаточно и мнения посадских уже не спрашивали, приобретает особенное значение: иногда же посадские хоть и участвовали в выборах, но их голоса как бы не считались, так как всегда оказывался предлог найти их кандидата «неспособным» к отправлению губной должности. Еще более любопытна эволюция губной коллегии. В XVI в. товарищ губного старосты, в XVII—целовальник, является уже его подчиненным: староста приводит его к присяге, староста объявляет ему приказы, пришедшие из Москвы, которые писались на имя одного старосты. В 1669 г. целовальники были вовсе упразднены, вернее сказать, они превратились в тюремных сторожей, так как «тюремные целовальники», сторожившие арестованных, сохранились до конца века. Но эта должность была давно никому не интересна, и местами уже в 20-х годах посадские люди «потюремных денег не давали и в тюрьму ничем не тянули». Что очень удивляло дворян, которые находили, что хотя губное дело и есть их, специально дворянское дело, но нести рас-

ходы и по этому делу, как по содержанию всего дворянского государства вообще, должны тяглые люди. Но для этих последних губной староста давно был не «органом общественной самодеятельности», а орудием классового гнета,—и они заботились, разумеется, не о том, чтобы губные учреждения хорошо обслуживались (кто станет заботиться о доброкачественности цепи, которою его сковывают?), а о том, как бы от них избавиться. Уже в самом начале рассматриваемого периода, в 1614 г., шуяне так писали о своем губном старосте Поснике Калачеве: «и учал, Государь, тот Посник на нас посадских людишек похвалятися поклепом и подметом и наученным язычной молвкою, и учал, Государь, нам угрожати всякими похвальбами, а велит нам к себе носити корм всегда, хлеб, и мясо, и рыбу, и питье, мед и вино, и учал Государь, у нас заставаючи, к себе на двор животину всякую бить, и учал, Государь, нам посадским людишкам чинити насильство и налоги великие; и многие, Государь, посадские люди от его, Посника, насильства разбрелися, и посадские дворы от него, Посника, запустели, а мы, *сироты твои государевы, того Посника в губные старосты не выбирали и выбору нашего на нем нет*». Это не какой-нибудь исключительный случай «злоупотреблений»—каждый раз, как староста бывает выбран одними служилыми людьми, он посадским людям «чинит налоги и насильства многие», и те начинают опасаться «в больших налогах и в обиде вконец погибнуть». Им начинает наконец казаться, что приказный человек, по крайней мере, выбранный не непосредственно их ворогами, местными помещиками, все же будет лучше. И каждый раз центральное дворянское правительство утилизирует этот взрыв отчаяния посадских, чтобы лишить их и последней доли самостоятельности: местный воевода получал предписание смотреть, чтобы на посадских людей и уездных крестьян «в язычной молвке губной староста клепать не велел и для своей корысти тесноты и продажи и убытков не чинил; если же учинится язычная молвка на посадских людей и на уездных крестьян, и *про ту молвку воеводе и дьяку велеть сыскивать* до прямо вправду, и указ чинить по государеву указу и по Уложению, а о больших делах, или о которых в Уложении не написано, писать к государю в Москву».

Само собою разумеется, что надежды посадских на беспристрастие приказных людей, присланных из Москвы, оказывались весьма наивными. Это испытали на себе например те же устюженцы,—у которых раньше их спора с дворянами из-за губного старосты распоряжался один приказный человек, Вахрамей Батюшков. «И он де Вахрамей,—били челом устюженцы,—на них посадских людях емлет свои кормы немерные, и людские и конские и деньщиков на двор к себе емлет же по вся дни не по государеву указу, а им де посадским людям чинит налоги и продажи великие, и *торговых людей с товаром из го-*

*рода не отпущает* и в тюрьму сажает напрасно для своей бездельной корысти; *да и иных де городов торговых людей, которые на Устюжну приезжают для торгу со всякими товары, в тюрьму сажает же*». Недаром устюженцы так хлопотали потом о губном старосте! А шуяне, которые променяли своих губных голов на воевод, в шестидесятых годах так характеризовали одного из этих последних,—повидимому, не худшего, нежели его предшественники: «бьет нас (воевода)... без сыску и без вины, и сажает в тюрьму для своей корысти; и, выимая из тюрьмы, бьет батогами до полусмерти без дела и без вины. И в прошлом во 172 году убил он, воевода, заперши у себя на дворе, таможенного ларешного целовальника Володьку Селиванова до полусмерти и таможенному сбору учинил поруху большую. Многих приезжих торговых людей, соленых и рыбных промышленников... убытчал и разорил, и в тюрьму сажал; и многих приезжих торговых людей разогнал и торги разбил, и твой Великого Государя таможенный сбор остановил; а нас, сирот твоих, выборных людей, вконец погубил своею великою теснотою и налогою и продажей, и убийством»... Два приведенные примера—стереотипны; их можно бы привести сколько угодно. Но второй из них сам по себе интересен тем, что в нем очень отчетливо выступает тот общественный класс, который страдал от воеводских насилий: это не те мелкие люди, которые били челом на свои земские власти; это уже сами власти—земские старосты да богатые купцы, рыбные и соляные промышленники. От дворянской администрации страдала вся буржуазия—верхи ее, как во дни юности Грозного, даже больше, чем низы, потому что с верхов больше можно было взять. А в том, чтобы взять, чтобы получить от своей власти непосредственную материальную выгоду, для воевод и приказных людей и заключалась суть всего дела. Не один Вахрамей Батюшков брал «кормы немерные»—приказчик Сумерской волости (около Новгорода, на юг от оз. Ильменя), Дмитрий Мякинин, шел гораздо дальше: его агенты ходили по дворам крестьян и по клетям и забирали там «насильством платки и иное, что попадет». «Да он же Дмитрий звал их (сумерских крестьян) к себе на пир, и которые крестьяне у него на пиру были, и он с них поклонное взяв, сажал в тюрьму, и они из тюрьмы у него выкупались, а давали рубля по два и больше, а которые у него на пиру не были для того, что люди недостаточные, поклонного дать нечего, и он по тех посылал с приставы людей своих и правил на них поклонного с человека по два алтына по две деньги, и по гривне и больше». В Сибири, за глазами московского начальства, приказные люди и воеводы устраивали свои, особенные от государевых, таможни и брали на них особые пошлины, параллельно государевым—по определенному тарифу, около 4% с рубля. Когда на наши глаза попадается приказный человек, который начинает свою административную деятельность с того, что

берет с управляемых «въезжее», а потом совсем, как «волостель» доброго старого времени, времени даже не Ивана Грозного, а Ивана III, начинает тащить с этих управляемых всяческие натуральные «кормы»,—рожь, ячмень, пшеницу, телят, баранов, масло, яйца, рыбу, овес, сено,—нас это уже совершенно не удивляет. Читатель давно уже узнал знакомую картину «кормленщицкого» управления: в *возрождении кормлений* мы и имеем сущность той административной реставрации, отдельными проявлениями которой были рассказанные нами случаи губного и воеводского произвола.

После той резкой критики кормлений, которую мы читали у Пересветова, после того, что мы знаем о годуновской администрации, пытавшейся осуществить идеал полицейского государства на практике, феодальные порядки XVII в. не приходится рассматривать как простое переживание. Для этого новые «кормления» были и чересчур универсальным явлением. К тому, что «общественная совесть», в лице дворянской публицистики времен Грозного, резко осудила, дворяне XVII в. относились с величайшим благодушием, как к делу совершенно нормальному. На должности «общественного» характера—например губные—смотрели и не в виде «злоупотребления», а совершенно официально, точно так же, как и на все другие. В той же устюженской переписке есть один любопытный документ, который стоит привести целиком,—так хорошо он воспроизводит точку зрения на вопрос середины XVII в. «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Русии бьет челом холоп твой Бежецкого верху малопомесной и пустомесной Микитка Акинфеев сын Маслов. Служил я, холоп твой, отцу твоему государеву блаженные памяти государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии 20 лет, и был я, холоп твой, на вашей государевой службе под Смоленском с приходу и до отходу, в осаде сидел и всякую осадную нужу и голод терпел. И ныне я, холоп твой, был на твоей государеве службе с твоим государевым боярином и воеводой с Василем Петровичем Шереметевым, да с Ондреем Львовичем Плещеевым в Курске и в Карпове, Сторожеве, всякое твое государево дело земляное и городовое делал с своею братею и пожалованными вряд; а как я, холоп твой, вам государем и почел служить и работать, и неть на меня не бывало, всегда на твою государеву службу поспеваю и стою до отпуску без съезду. Милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, пожалуй меня, холопа своего, за мой службишка и за мое Смоленска осадное сиденья и за нынешнее нужное терпенья,—вели, государь, меня отпустить на Устюжну Железопольскую к своему государеву делу. А служу я, холоп твой, тебе государю по выбору. Царь государь, смилуйся, пожалуй!». Не нужно думать, чтобы в Устюжне была в это время «вакансия»: ничуть не бывало, там в это время сидел

губным старостой, по выбору местного населения, кандидат посадских Иван Отрепьев. Но московское правительство нимало этим не постеснилось и распорядилось «губные дела на Иваново место Отрепьева ведать ему же, Миките (Маслову); а почему ему Миките губные дела ведать, о том указал государь послать память в Разбойной приказ». Только жалоба устюженцев, сопровождавшаяся конечно добрым подарком московским подъячим,—что Микита Маслов «им налоги и обиды чинит большие не по делу»,—привела к известному уже нам «восстановлению справедливости». И такая замена местного «излюбленного человека» излюбленным человеком московских приказов вовсе не была каким-нибудь исключением—это опять стереотипный случай. За два года до Микиты Маслова совершенно так же мотивировал свою просьбу о назначении в Клин Яков Артемьевич Бибиков. «Скитаюсь я, холоп твой, меж двор, помираю голодной смертью—писал он,—милосердый государь, пожалуй меня, холопа твоего,—вели, государь, мне быти у своего государева дела в Клине приказным человечишкой, а был, государь, в Клине губной староста Федор Кривцовской, и тот Федор обнищал». Почему нищета Кривцовского лишила его места, а такая же нищета Бибикова давала ему право на это место, челобитчик не объяснял, но у него было особое средство разжалобить государя, и оно подействовало. «Государь указал»—помечено на челобитной—«будет нет губного старосты, велеть быть приказным человеком, и *будет слеп*». Губной староста, как мы знаем, должен был преследовать воров и разбойников, и добрые историки русского права не шутя были уверены, что московское правительство голову теряло, как ему справиться с разбойниками. А оно с самым великолепным спокойствием назначало на губную должность человека *слепого*—и именно потому, что он был слеп. И это опять было общее правило: в 1661 г. было *запрещено* назначать воеводами и приказными людьми дворян и детей боярских *не раненых*, не увечных, здоровых; «кормление», ведь, награда за службу, нечто вроде пенсии,—чего же ее давать здоровому, годному еще к «полковой службе» человеку? Если Яков Бибиков, несмотря на свою слепоту, не сделался грозою клинских разбойников (губные дела все же остались за Федором Кривцовским, а Бибикову было поручено лишь финансовое управление), то исключительно по собственной неловкости: он дал взятку в «Устюжскую четверть», а губные старосты ведались Разбойным приказом, этот последний и отстоял свои права. В самом начале рассматриваемого периода, тотчас после Смуты, в Москве еще как будто вспоминали иногда годуновские традиции: в воеводских наказах 20-х годов воеводам строго предписывалось: «никаким людям для своей корысти обид никаких и налогов не делати, и хлеба на себя пахати и молотити, и сена косити, и лошадем корму не имати, и вина курити, и дров сечь и всякого

изделия делати не велеть, и с посаду и с уезду кормов и питья и за корм и за питье денег не имати и тесноты некоторыя людям не делати, чтобы на них в обидах и ни в каких насильствах челобитчиков государю не было». А в 70-х годах, упраздняя где-нибудь приказную должность, уже без церемонии облагали жителей оброком за «воеводские доходы»—как в первой половине XVI в. за «наместнич корм». И едва ли только анекдотом является тот известный случай, рассказанный Татищевым, когда царь Алексей искал для разжалобившего его дворянина город с «доходом» в шестьсот рублей,—а нашел только в четыреста. А уже наверное не анекдот рассказ того же Татищева, что все города были в приказах расценены по известному тарифу,—и кто сколько платил, тот такой город и получал.

«Кормленья» и при Иване Грозном едва ли наследовались, ибо давались обыкновенно на один-два-три года, чтобы по очереди все служилые люди могли покормиться: исключение представляли только «княжата», сидевшие великокняжескими наместниками на своих бывших уделах. В XVII в. потомков удельного княжья встречается очень много—их плодовитость одолела-таки «губительную» политику Грозного, но они ничем уже не выделяются из рядов московского вассалитета и стоят нередко даже на его нижних ступеньках, как это было с известным историком Смуты, кн. Катыревым-Ростовским, который так и «закоснел» дворянином московским и умер, не попав в думу, или с князьями Долгоруким и Прозоровским, в 1670 г. не владевшими уже ни пядью вотчинной земли. Для наследственности новых кормлений почвы таким образом было еще меньше, чем в XVI в.,—и нет ничего удивительного, что воеводы подобно наместникам и волостелям эпохи Грозного менялись каждые два-три года. Тем интереснее немногие, уже действительно исключительные случаи, когда устанавливалась наследственность и в XVII в.: они еще раз подчеркивают направление эволюции. Один известный нам случай относится к *верным* должностям: во Пскове «у соли» был посадский человек Сергей Сидоров сын Огородник. «И та твоя государева соль была за тем целовальником Сергеем многие лета, а по смерти его досталась та соль его Сергееву сыну Филипу, и та соль и за тем Филипом была много ж время, и по смерти того Филипа досталась та ж соль его сыну Прокофью Филипову». Другой случай имел место уже в самом конце рассматриваемого периода, собственно уже в эпоху Петра, но тем он характернее. В 1699 г. в Нерчинске умер воевода Самойло Николев—и воеводой на его место, по челобитью нерчинских детей боярских, служилых и жилецких людей, был сделан его сын. То, что этот последний был малолетний, не остановило московского правительства, и оно согласилось на передачу воеводской должности по наследству, обусловив ее лишь тем, не менее характер-

Государственная ордена Ленина библиотека им. В. И. Ленина

ным, чем всё остальное, условием, чтобы за малолетним воеводой присматривал *дядя* его, воевода Иркутский.

Если прибавить ко всему этому, что в своих вотчинах и поместьях каждый землевладелец был судьею для своих крестьян по всем делам, кроме «губных»—главным образом разбоя,—и что по всем делам, даже и по губным, ему принадлежало право предварительного следствия, как оно тогда понималось, т. е., включая сюда и пытку, нам придется дополнить картину «господства частного права» лишь одним штрихом: в XVII в., как и в предыдущем, продолжали существовать *иммунитеты*, особая подсудность для особых разрядов лиц и учреждений. Как легко получалась самая мелкая из таких привилегий, освобождение от подсудности ближайшему местному суду, мы уже видели выше. Можно было добиться и большего: подчинения, в судебном отношении, исключительно центральным учреждениям. Такой привилегией пользовалось потомство Кузьмы Минина: но она давалась и совсем незнаменитым людям: в 1654 г. например вечную и потомственную несудимую грамоту получили посадские люди города Гороховца Иван Кикин и Афанасий Струнников: их, употребляя удельную терминологию, судил «сам князь великий или кому он укажет». Подобным иммунитетом пользовались все гости и люди гостиной сотни: их судил только царь или государев казначей (министр финансов); как это ни странно, но привилегия часто могла быть в известном смысле прогрессивной чертой, как это мы увидим впоследствии,—точно так же, как и специальная подсудность иностранцев, судившихся в Посольском приказе. Наибольших размеров достигал конечно иммунитет церковных учреждений. Протопоп московского Успенского собора судил церковных людей и принадлежавших собору крестьян во всех делах, не исключая губных, и обязывался докладывать государю только, если сам не мог решить дела. Редкий монастырь не умел выпросить себе той же привилегии—в 1667 г. она была обобщена церковным собором, постановившим, что, по правилам св. отец, церковные люди, считая в том числе и многочисленное крестьянство, сидевшее на церковных землях, подсудны только суду церкви. Образчиком феодальной анархии наверху служит то обстоятельство, что после этого общего постановления продолжали существовать жалованные грамоты—и там, где их не было, церковные люди подпадали общей подсудности. А что происходило там, где они были, об этом рассказывает нам между прочим такое челобитье посадских людей Старой Руссы на монахов Иверского монастыря, добившихся иммунитета уже в последнем десятилетии XVII в. Рассказавши о разных, слишком обыкновенных в те времена вещах,—о том, как «старцы» своих крестьян на суд не дают, отчего вотчина их сделалась притоном воров и разбойников, и т. п., русане продолжают: «Да они же Иверского монастыря старцы, которые бывают в Старой

Русе, надеяся на мочь свою и на несудимые грамоты, ездя по посадам многолюдством, и нас сирот ваших посадских людей бьют и увечат своею управою, а иных и ножами режут, и от того бою и увечья, и ножевого резанья иные померли; а иных из нас, посадских людей, денною и нощною порою хватают по улицам и водят к себе на монастырской двор, и в чепь сажают, и держат в чепи не малое время и потому ж бьют и мучают, занапрасно и безвинно... Да они ж Иверского монастыря старцы, многолюдством в Старорусском уезде ездят по вашей великих государей по дворцовой волости, и жилые деревни с божиим милосердием со святыми иконами и со крестьянскими животы жгут, и крестьян разоряют и бьют, и увечат, и из пищалей по крестьянам стреляют и всякое озорничество и поругательство чинят, чтобы им Иверского монастыря старцам и досталными вашими великих государей дворцовыми деревнями и всякими угодьи в Старорусском уезде мочью своею завладеть; и в городе в Старой Русе по посадам, также и в той вашей великих государей дворцовой волости, ездя по дворам, непригожие дела творят... А для челобитья порознь о таком их Иверского монастыря старцев о многом насильстве и о завладении наших тяглых земель и всяких заводов и об их самовольстве и озорничестве и об нашем от них затеснении и разорении и о больших налогах и о многой обиде ехать нам к Москве невозможно, потому что они Иверского монастыря старцы люди мочные» [1].

Областные учреждения были главной ареной классовой борьбы. Центральная администрация была гораздо более однородна в классовом отношении—буржуазия проникала в центральные учреждения очень редко, и то потеряв свою непосредственно классовую физиономию. Кузьма Минин, как раньше Федор Андронов, должен был превратиться в «служилого», чтобы заседать в царском совете, и из посадского земского старосты стал «думным дворянином». Но число таких anoblis было ничтожно в московском государстве XVII в.,—гораздо ничтожнее, чем например во Франции в эту же эпоху [2]. Демократию Московской государевой думы составляли «худородные» помещики да дьяки—два элемента, которые в это время, как мы видели, весьма склонны были перемешиваться. В период петровского подъема волна этой демократии сразу смыла последние остатки старой знати, и в боярских списках послед-

[1] Для большинства вышеприведенных фактов см. цит. выше соч. *Лаппо-Данилевского*, затем *Чичерина*, Областные учреждения в России в XVII веке и сборник документов «Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства», под ред. пр.-доц. А. И. Яковлева, М. 1909.

[2] «Гости», добиравшиеся до думных чинов, встречаются однако не только в бурные дни первой четверти XVII в., а и в более спокойное позднейшее время. Такими были например Кирилловы. См. «Боярская дума», изд. 3-е, стр. 397.

них лет думы запестрили имена людей, не только что не носивших думных чинов, как знаменитый Ромодановский, и в думе оставшийся только стольником, а и просто «людей», вроде не менее знаменитого «прибыльщика» Алексея Курбатова, бывшего холопа Шереметева. «Великая разруха» московского государства в начале века подготовила издалека такой его конец, но он пришел скорее слишком поздно, чем слишком рано. Местничество недаром дожило до 1682 г.,—и при первых двух царях новой династии состав центральных учреждений носил более архаический характер, чем можно было ожидать. Влияние старого боярства, как социальной группы, на дела было ничтожно уже в 1610 г., а еще в 1668 г. она давала почти половину всего состава думы (28 из 62 бояр, окольничих и думных дворян)—и, как свидетельствует Котошихин, исключительно потому, что «великой породе» все еще отдавалось преимущество перед «ученостью» и личными заслугами. Прочность старых предрассудков, может быть, еще выразительнее выступает в том, что говорит тот же Котошихин по поводу иерархического положения царских родственников. «А которые бояре царю свойственники по царице, и они в думе и у царя за столом не бывают, потому что им под иными боярами сидеть стыдно, а *выше не уметь, что породою не высоки*»: из дальнейшего видно, что и в товарищи к таким «не высоким породою» царским свойственникам нельзя было посадить мало-мальски родовитого человека. Не только милость царя, но и родство с царем не могли прибавить человеку «отечества»: зато не только царская милость, а и простая географическая близость к источнику власти давали ему действительное влияние на дела. Антиномия феодального общества, где король не мог посадить маркиза ниже графа, но где и граф, и маркиз одинаково низко кланялись королевскому камердинеру, целиком воспроизводилась московским придворным обществом времен царя Алексея. По рассказу Котошихина, всего выше в фактической, а не в показной, для параду, иерархии московских чинов стояли *постельничий и спальники*. Первый стлал царю постель и спал с ним в одном покое—и в то же время хранил у себя печать «для скорых и тайных» царских дел, т. е. стоял ближе всех к тому внедумскому законодательству, путем «именных указов», которому суждено было вытеснить устаревшую механику боярской думы. А вторые одевали и обували царя утром, раздевали и разували его вечером—и за то попадали в самые первые ряды царских думцев. Пожалованные в бояре или в окольничие (сообразно с их «отечеством»—это строго соблюдалось!), они носили звание «ближних» или «комнатных» бояр и окольничих, имели громадную привилегию беспрепятственного входа в царский кабинет («комнату»), куда другие думцы могли попадать только, когда их позовут, и инсценировали думское заседание в тех случаях, когда царю была нужна санкция думы, а де-

литься своею мыслью со всеми ее членами он не хотел. «А как царю лучится о чем мыслити тайно,—пишет тот же Котошихин,—и в той думе бывают те бояре и окольничие и ближние, которые пожалованы из спальников, или которым приказано бывает приходити; а иные бояре и окольничие, и думные люди в тое палату в думу и ни для каких-нибудь дел не ходят».

Феодальным отношениям и порядкам соответствовали и феодальные *учреждения*. Нам до сих пор не приходилось касаться механизма московского центрального управления именно потому, что вотчина потомков Калиты ничем существенно не отличалась в способе своего управления от других вотчин,—кроме только той разницы, какую могли внести *размеры* этого, совсем необычайного, «имения». Недаром название московского министерства, «приказа», происходит от одного корня с нашим «приказчик»: министры московского царя, по происхождению и характеру своей власти, ничем и не отличались от приказчиков любой частной вотчины. И это не единственный образчик выразительности московской административной терминологии: в конце XVI в. департаменты тогдашнего министерства финансов, «Большого прихода», назывались очень характерно, по именам дьяков, которые ими заведывали—«четверть Дружины Петелина», «чертверть Андрея Щелкалова», «четверть Василия Щелкалова». Позже эти четверти получили географические названия—мы встречаем Устюжскую, Володимерскую, Галицкую четь; но характер личного «приказа» остался за их дальнейшими подразделениями, «повытьями», до конца XVII в.; еще в 1683 г. мы встречаем «повытье Ивана Волкова», «повытье Максима-Алексеева», «повытье Василия Протопопова». При этом и между «четями» и между «повытьями» города и уезды были разбросаны в самом причудливом беспорядке: так, в повытье Василия Протопопова ведались и далекие Тотьма с Чарондой, и Бежецкий верх в нынешней Тверской губернии, и подмосковные Клин, Вязьма, Руза и Звенигород. В Галицкой чети, кроме Галича, состояли Кашира, Коломна, Белев и Кашин. Называть такое деление «территориальным» можно, как видим, только с большой оговоркой: ни одно из этих министерств или департаментов не ведало определенной сплошной территорией; зато не было ни одного вовсе без территории: даже в Посольском приказе, ведомстве иностранных дел, по-нашему, было несколько городов, и притом вовсе не пограничных, а таких, от которых целый год скачи, ни до какого иностранного государства не доскачешь,—вроде Елатьмы или Касимова. В списке московских приказов времен царя Алексея, и даже позднее, учреждения государственного характера и различные отделы частного царского хозяйства перепутываются не менее пестро, чем города в тогдашнем министерстве финансов,—причем те и другие функции сплошь и рядом осуществляются одним и тем же учреждением. Был приказ «Большой казны», около 1680 г.

стянувший к себе приблизительно половину всех государственных доходов,—настоящее министерство финансов: но его отнюдь не следует смешивать с приказом «Казенным», который заведывал царским гардеробом, а в то же время ведал и некоторых торговых посадских людей. Приказ «Золотого и серебряного дела», собственно, занимался царской посудой, золотой и серебряной,—но еще при Петре в его же компетенцию входили и некоторые кавалерийские полки «иноземного строя»—драгуны, рейтары и копейщики. Иногда эта комбинация различных функций в одном и том же учреждении ставит историка государственного права перед настоящей загадкой. Почему например Конюшенный приказ заведывал сбором с бань? Ответ может быть только один: когда-то поручили оба эти дела одному и тому же приказчику потому ли, что это был ловкий человек, который мог со многим сразу управиться,—или потому, что хотели увеличить доходы царского конюшего, персоны очень важной в московском государстве, как и соответствующий ему «коннетабль» в средневековом французском королевстве. Для интересующей нас политической реставрации характерно, что эта черта — смешение государева хозяйства и государственного управления — одинаково свойственна как старым приказам, унаследованным государством Романовых от времени еще досмутного, так и центральным учреждениям, возникавшим вновь в XVII в. Как типичный образчик нарождающегося бюрократического строя приводят обыкновенно приказ тайных дел, возникший при царе Алексее. «Тайна» этого приказа, собственно, заключалась в том, что туда «бояре и думные люди не ходили и дел не ведали». Но зато сам приказ ведал и думных людей: сидевшие в нем чиновники, «подьячие», посылались вместе с думными людьми, назначенными в посольства, в полковые воеводы и т. д. «И те подьячие над послами и над воеводами надсматривают и царю, приехав, сказывают; и которые послы или воеводы, ведая в делах неисправленье свое, страшатся царского гнева,—и они тех подьячих дарят и почитают выше их меры, чтоб они, будучи при царе, их послов выхваляли, а худым не поносили. А устроен тот приказ при нынешнем царе (Алексее) для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялися все по его хотению, а бояре бы и думные люди о том ни о чем не ведали». Мы уже говорили, что власть подьячих Тайного приказа Котошихин, по всей вероятности, преувеличил: однако самая идея—поставить думных людей под контроль недумных—была несомненно новой идеей, что нисколько не мешало новому приказу заведывать между прочим и царской соколиной охотой. Но наиболее типичным пережитком феодальной администрации XVII в. был приказ Большого дворца. Ведомство царского двора, по новейшей терминологии, он до самого конца столетия оставался крупнейшим финансовым учреждением государства после «Большой казны» и собирал целый

ряд чисто государственных налогов, прямых и косвенных, таможенные и кабацкие деньги, стрелецкую подать, ямские и полоняничные; а рядом с этим он же собирал и оброк с дворцовых сел и волостей.

В ряду «переживаний» феодализма, которыми наполнено московское государство XVII в., нельзя обойти одного, резюмирующего все остальные. Речь идет об учреждении, получившем громкую и не совсем заслуженную, хотя вполне понятную, известность в новейшее время,—о земском соборе. В наши дни совершенно утратилась та острота, которая отличала вопрос о земских соборах древней Руси до революции 1905 года. Сейчас едва ли кому придет охота волноваться по поводу того, было ли это нечто вроде конституционных собраний Западной Европы, или же это был далекий прообраз чиновничьих комиссий дней Александра III—была ли это палата народных представителей или же «совещание правительства со своими собственными агентами». Ни та, ни другая модернизации московского «совета всей земли» теперь вероятно не нашла бы защитников. Историки правильно угадывали, что это было нечто своеобразное, не укладывающееся в шаблоны новейшего, буржуазного государственного права, но они напрасно видели в земских соборах своеобразие *национальное*. То была особенность, свойственная не какой-нибудь стране, а всем странам в известную *эпоху*. И местной особенностью русских собраний этого рода было разве то, что у нас они, притом в самой грубой, рудиментарной форме, дожили до такой стадии социального развития, на которой в Западной Европе мы их или не встречаем вовсе, или же они принимают там более современную форму. Всякий средневековый государь действовал постоянно с совета своих крупных вассалов, духовных и светских, а в более важных случаях—с совета всех вассалов, которые приглашались конечно не поголовно, а в лице наиболее влиятельных и авторитетных из них. В Московском великом княжестве нам известно, по крайней мере, одно такое собрание, предшествовавшее походу Ивана III на Новгород в 1471 г.: Иван Васильевич совещался тогда не только с епископами, князьями, боярами и воеводами, но со «всеми воями». Под последними, как совершенно справедливо догадываются историки, нельзя разуметь никого другого, кроме мелкого вассалитета—«детей боярских». Новостью, которая отличала первый Земский собор в настоящем смысле (знакомый нам собор 1566 г.) от этого собрания, было, пожалуй, только участие в нем представителей буржуазии, гостей и купцов. Само собою разумеется, что нормы «народного представительства», равно как и термины «совещательный» или «решающий голос», к подобного рода «думе» суверена со своими вассалами совершенно неприложимы. Вассалы не народ, даже в том суженном смысле, какой имеет слово «народ» и «народный представитель» в странах, где нет всеобщего

избирательного права. Это, действительно, «орудия» сюзерена, т. е. нечто такое, без чего последний лишен всякой возможности действовать; тут нельзя говорить о «решающем» или «не решающем» голосе. Современная государственная власть физически вполне может действовать без согласия народного представительства: все ее действия станут от этого неправомерными, но их материальный эффект в подобных случаях бывает даже сильнее нормального, ибо силою обыкновенно стараются восполнить недостаток права. Средневековый государь вовсе не обязан был слушаться своих вассалов—юридически его волеизъявления было вполне достаточно, чтобы сделанный им шаг был законным. Но он был лишен физической возможности предпринять нечто такое, чего не пожелали бы исполнить его вассалы. Всякий человек «вправе» связать себе ноги, но, связав себе ноги, нельзя двигаться, почему ни один человек в здравом уме и не попробует осуществлять такое свое непререкаемое право. Читатель догадывается, когда должен был наступить конец средневековым «государственным чинам»: это должно было случиться в ту минуту, когда сюзерен перестал зависеть от натуральных повинностей своих вассалов,—когда он получил в руки силу, позволявшую ему *покупать* услуги, вместо того чтобы их *выпрашивать*. Вот отчего окончательное торжество денежного хозяйства было всегда критическим моментом для «прав и вольностей» феодального дворянства. Реальная власть переходит тогда в те же руки, в чьих были деньги,—в руки торговой буржуазии, а ей средневековые чины с их преобладанием поземельного дворянства вовсе не были нужны и интересны. Только там, где землевладение сделалось буржуазным или где буржуазия не имела никакого значения, средневековые учреждения сохранились, принимая новую форму: первый случай имел место в Англии, второй в Польше. В России и во Франции дело шло иным, можно бы сказать, более нормальным путем: и там и тут рост торгового капитала и его влияния на дела совпадает с ростом абсолютной монархии и упадком тех форм «политической свободы», которые были тесно связаны с натуральным хозяйством.

Оживление земских соборов в первой половине XVII в. было таким образом чрезвычайно тесно связано с тою экономической и политической реставрацией, которою отмечена эта эпоха. В то время как предыдущее столетие знает только два, самое большее четыре собора (если принимать существование собора 1549 г. и считать собором то, что происходило в Москве в 1584, при воцарении Федора Ивановича), на протяжении полувека, за сорок лет, с 1612 по 1653 г., нам известно десять соборов,—причем не будет ничего удивительного, если современем станут известны еще новые,—и в течение 9 лет, с 1613 по 1622 г., собор функционировал ежегодно. Но это материальное усиление учреждения не сопровождалось его эволюцией от

первобытных форм к более современным. Первый—и повидимому единственный—этап этой эволюции относится к концу предыдущего века. На соборе 1598 г., выбиравшем на царство Бориса Федоровича Годунова, кроме обычных крупных и мелких служилых и посадских людей, попавших туда по их «служебному положению»,—как выражаются обыкновенно наши историки (правильнее было бы сказать—«по их общественному влиянию», потому что все эти «головы» и «выборные» попали на командирские места именно по той причине, что они принадлежали к «сливкам» местного помещичьего общества, и в еще большей степени то же верно относительно представителей буржуазии, «гостей»),—кроме этих членов «по положению», были и настоящие «представители», если не «народа», то хотя бы одного дворянства. Их было на 267 членов собора около 40 человек, по подсчету проф. Ключевского. Но даже и в позднейших случаях это представительство не сомкнулось в классовые группы, подобные отдельным États средневековой Западной Европы. На соборе 1642 г., известном нам лучше всех других, вотируют отдельно *семь* служилых групп, кроме бояр: 1) стольники, 2) дворяне московские, 3) головы и сотники московских стрельцов, 4) «Володимирцы-дворяне и дети боярские, которые на Москве», 5) дворяне и дети боярские Нижнего-Новгорода, муромцы и лушане, «которые здесь на Москве», 6) дворяне и дети боярские разных городов: «Суздаль, Юрьев Польский, Переславль Залесский, Белая Кострома, Смоленск, Галич, Арзамас, Великий Ногород, Ржев, Зубцов, Торопец, Ростов, пошехонцы, новоторжцы, Гороховец», 7) дворяне и дети боярские разных других городов: мещеряне, коломничи, рязанцы, туляне и пр. То же было и с «третьим сословием»: гости, гостиной и суконной сотни торговые люди совещались и голосовали отдельно от сотских и старост черных сотен и слобод. Представительство «четвертого сословия», *крестьянства*, отличалось еще более случайным характером. Крестьянство не слилось с «третьим чином», как во Франции, и не выделилось в особую корпорацию, как в Скандинавских государствах. Но оно не было и систематически устранено, как на польском сейме. Крестьяне,—разумеется, не крепостные, за которых отвечали их господа, а «черные» или дворцовые,—появляются на соборах, но не обычайно спорадически. На соборе 1682 г. были выборные от дворцовых сел, которых раньше мы никогда не встречаем. А выборные от черного крестьянства должны были участвовать в соборе 1613 г.—факт, который долго оспаривался, оспаривается иногда и до сих пор, но который может быть подтвержден документально. Сохранилась грамота, приглашающая угличан прислать «*уездных крестьян* десять человек», чтобы им, вместе с выборными от посада, «вольно было во всех угличан всяких людей место о государственном и о земском деле говорить без всякого страхования». Подписей крестьянских уполно-

моченных на избирательной грамоте Михаила Федоровича однакоже нет: значит ли это, что крестьянские выборные почему-либо на собор не попали, или же они сплошь были безграмотные—подписи дворян, игуменов и протопопов «во всех уездных людей место» довольно часты в грамоте,—сказать трудно. Как не умело организоваться представительство от отдельных социальных групп, так не умело выработаться и самое понятие «представительство». Вообще говоря, на соборах XVII в. присутствуют уполномоченные от различных разрядов населения. Можно бы думать, что воля этого последнего определяла, кто пойдет в Москву говорить от его имени. Но кое-какие образчики будничной практики соборных выборов заставляют очень в этом сомневаться. В Ельце в 1648 г. по государевой грамоте велено было выбрать из детей боярских двух человек: но они были выбраны на деле не местной дворянской корпорацией, а воеводою. Елецкие помещики били за это на воеводу челом, но, странным образом, не за то, что он узурпировал их права, а за то, что он выбрал людей плохих, «ушников»,—занимавшихся доносами на свою братию. Выходит, что если бы воеводский выбор был удачнее и добросовестнее, то ельчане с ним и не стали бы спорить. На соборе 1642 г. среди довольно многочисленных и довольно пестрых групп служилых людей мы находим неожиданно двух отдельных дворян—Никиту Беклемишева да Тимофея Желябужского. Их мнение стоит в одной линии с другими, но они никого не представляли, кроме самих себя. Таким образом представительство по общественному полномочию и представительство по личному праву, разделившиеся в Англии еще в XIII в., у нас не различались и в середине XVII в.

Столь же неопределенна была и *компетенция* соборов, если подходить к ним с нашей точки зрения. С одной стороны, начиная с Бориса Годунова (а может быть, и с Федора Ивановича) до Петра, все русские цари были выборные, и выбирал их собор. Признание царя «всей землей» считалось капитальнейшим условием законности царской власти с точки зрения русского государственного права XVII столетия. Восстания против Шуйского тем и мотивировались, что он «поставлен царем» «без ведома всея земли». Невозможность организовать всеземские выборы с самого начала была крупным минусом в кандидатуре Владислава. При избрании Михаила Федоровича старались соблюсти все необходимые условия возможно полнее,—и в его избирательной грамоте писалось, что «все православные христьяне всего московского государства от мала и до велика и до сущих младенец, яко едиными усты вопияху и взываху, глаголюще: что быти на... всех государствах Российского царствия... блаженныя памяти царя Федора Ивановича сродичу, благоцветущия отрасли от благочестивого корени родившуся Михаилу Федоровичу Романову-Юрьеву». Как известно, изби-

рательная грамота подписывалась еще и долго спустя после собора, так как старались собрать возможно более подписей: все вассалы без исключения должны были признать нового сюзерена,—чтобы никто не мог последнего упрекнуть, как упрекали Шуйского, что он «самовенечник». Казалось бы, в руках земского собора была «верховная учредительная власть»: чего же больше? И однако же, с одной стороны, московские люди XVII в. такой своей прерогативой очень мало дорожат. В 1636 г. галицкий воевода Щетинин из сил выбивался, чтобы организовать выборы в земский собор по Галицкому уезду,—но как ни старался, более двадцати помещиков набрать не мог, и выборных от этих двадцати пришлось послать за весь уезд. К составу «верховного учредительного собрания» (правда, что в 1636 г. царя выбирать не приходилось) население относилось со злостным, можно сказать, индиферентизмом: большинство галицких дворян и детей боярских, пишет воевода, «выбору не дают, ослушаютца». С другой стороны, московское правительство нисколько не стеснялось игнорировать требования «народных представителей». На собор 1648—1649 гг., утвердивший Уложение, выборные привезли много челобитных. Иные из них были уважены, другие же правившие страною бояре объявили «прихотями»,—и никто не думал принимать их во внимание. Но и то и другое станет нам довольно хорошо понятно, если мы вспомним, что сюзерен не был обязан спрашиваться своих вассалов во всех случаях жизни. Там, где его требования не выходили за круг обычного, он мог их предъявлять категорически—и его нельзя было ослушаться: раз признав государя, его вассалитет тем самым однажды навсегда обязывался исполнять все его *нормальные* распоряжения. Речь о согласии вассалов заходила только тогда, когда требования выходили из нормы, носили чрезвычайный характер. Тут приходилось уже не требовать, а просить, и иногда слезно. Когда в 1634 г. истощенной казне Михаила Федоровича понадобились средства для борьбы с Польшей и торговый капитал был обложен экстренным сбором, «пятой деньгой» (20% податью), а помещики должны были согласиться на нечто вроде принудительного займа («запросные деньги»), то царская речь на соборе выражалась так: «а то ваше нынешнее прямое даяние приятно будет самому Содетелю Богу. А государь царь и великий князь Михайло Феодорович всея Русии то ваше вспоможенье учинит памятно и николи не забытно, и вперед учнет жаловать своим государским жалованьем во всяких мерах». Земский собор всегда был синонимом экстренного запроса: при таком его характере ему мудрено было сделаться популярным.

ГЛАВА IX.

# БОРЬБА ЗА УКРАИНУ.

## 1. Западная Русь XVI—XVII веков.

Господство среднего помещика определяло не только внутреннюю, а и внешнюю политику Московского государства после Смуты. Боярская Русь XVI в. остерегалась обострять свои отношения с Западом и была, по-своему, права: ливонская война при Грозном кончилась неудачей; феодальные ополчения московского царя не выдерживали схватки грудь с грудью против регулярных армий новой Европы. Надо было искать врага по себе,—каким казались крымские и поволжские татары. От них умели по крайней мере отбиваться: а когда под Москву в 1610 г. пришла польская армия, ей сдались сразу, и не пытаясь завязывать неравной борьбы. Дворянское ополчение, собранное торговыми городами, уничтожило ореол непобедимости, окружавший до тех пор польское «рыцарство». Раньше полякам случалось проигрывать отдельные сражения: то, что произошло под Москвой в 1612 г., было проигрышем целой кампании. Правда, дальнейший переход в наступление не удался победителям. А когда против Московского государства оказались еще шведы, и вовсе пришлось сдаваться. К 1620-м годам Московская Русь была отброшена на восток дальше, чем это было когда бы то ни было со времени Ивана III. Не только у Москвы не было теперь ни одного порта на Балтийском море, но все выходы в это море были наглухо для нее заперты: в XVII в. стало чужим даже то, что целые столетия было «своим» для Великого Новгорода. А сухопутная западная граница, с Литвой, подошла почти к пределам нынешней Московской губернии. Днепр на всем протяжении стал нерусской рекой, а Вязьма стала первым пограничным русским городом с Запада. Такой разгром, казалось, должен был бы надолго отбить охоту от всяких предприятий в эту сторону. На самом деле, XVII столетие оказалось веком «западных» войн по преимуществу, как XVI

было по преимуществу веком войн восточных. С первого взгляда может показаться, что причины этого явления были чисто стратегические: с польской армией под Вязьмой, со шведской—под Новгородом московскому государству жить было нельзя: для того чтобы оно могло когда-нибудь приспособиться к такой границе, его жизненные центры должны были бы стоять южнее и восточнее. Имея столицу где-нибудь на средней Волге, можно было помириться с границей на верховьях Днепра,—но Москва не могла же оставаться в постоянном риске польской осады. Стратегические причины—стремление «поворотить» обратно к Москве отобранные у нее города, если не все, то хотя Смоленск с Дорогобужем,—всего больше выступают на вид в мотивах первой же после Смуты войны московского государства с Польско-литовским. Но рядом со стратегическими мотивами еще раньше, уже в 20-х годах, выступают другие—современникам менее заметные, но на самом деле более непосредственные. Уже на соборе 1621 г. указывалось, что в пограничных уездах: Путивльском, Брянском, Великолуцком и Торопецком «литовские люди начали в государеву землю вступаться, остроги и слободы ставят, села и деревни, леса и воды освоивают, селитру в Путивльском уезде в семидесяти местах варят, будники золу жгут, рыбу ловят и зверь всякий бьют, на пограничных дворян и детей боярских наезжают, бьют, грабят, побивают, с поместий сгоняют...» Шел спор о том, чья колонизация возьмет верх в краях, отчасти искони пустых, отчасти запустошенных Смутой. И едва ли нужно говорить, что медаль имела две стороны. Тот же Путивльский уезд, где «литовские люди» контрабандой варили селитру, бывал свидетелем и других картин. В начале 40-х годов путивльский воевода писал в Москву, что к нему приходят «литовские люди белоруссы» и бьют челом, чтобы им дали хлебное и денежное жалованье, и землю—и они тогда будут верно служить московскому государству. Московское правительство весьма охотно исполняло такие просьбы и всячески наказывало своим агентам, «чтобы въезжим черкасам (так называли тогда этих литовских эмигрантов) ни от каких людей продажи и налогов и убытков никаких не было, и лошадей и всякия животны у черкас никто не отнимал и не крал, и самому воеводе к черкасам держать ласку и привет добрый, чтобы черкас жесточью в сомненье не привесть». До какой внимательности к «черкасам» доходило суровое к своим московское начальство, видно из того, что даже бродивших по Москве «меж двор», совсем нищих эмигрантов охотно подбирали, снабжали деньгами, давали им хлебную подмогу и устраивали их в южных уездах, поручая специальному вниманию местного воеводы. На что способны были закрыть глаза в Москве, когда дело шло о «черкасах», покажет один характерный случай. По южному рубежу, на границе степи, сохранились еще обширные, девственные леса: их нарочно берегли, так как они служили есте-

ственным барьером против татарской конницы, не решавшейся углубляться в их чащу. Леса были объявлены заповедными, и за порубку их полагалась, на бумаге, смертная казнь, а на деле, по крайней мере, били кнутом; даже за простой «въезд» в такой лес без надобности и разрешения начальства подвергали наказанию. Что, казалось бы, должны были сделать с людьми, которые «заповедный» лес распахивали и устраивали в нем пасеки и винокурни? Но когда за таким делом заставали «черкас», то ограничивались тем, что приводили их «ко кресту»—к присяге на верность московскому государю,—да рекомендовали им устраиваться на «русской», т. е. противоположной от степи, стороне леса. И если сломали их винокурню, то только ввиду явного намерения поселившихся курить вино не только для своего обихода, а и для продажи: такого нарушения казенного интереса в Москве снести не могли. Не нужно конечно думать, что эти «черкасы» были бездомными людьми, не имевшими над собою никакого начальства. Это были «подданные» пограничных польских панов, которые могли бы в этом смысле составить не менее длинный список жалоб, чем какой читали на соборе 1621 г. В 1638 г. лубенский староста писал путивльскому воеводе: «подданные князя Иеремии Вишневецкого, поднявся в нынешнюю свою казацкую войну от места Гадяцкого (города Гадяча), *несколько тысяч*, ушли в Путивль». Граница была так неопределенна впрочем, что и сам князь Иеремия не был вполне уверен, кому принадлежат земли, населенные его «подданными»—Москве или Польше. Когда заключали Поляновский мир (в 1634 г., после неудачного русского похода под Смоленск), Вишневецкий очень хлопотал о том, чтобы как-нибудь не отмежевали части его «Лубенщины» к московскому государству. И лишь когда побитые на войне москвичи «без спору» уступили спорную территорию «в королевскую сторону», хозяин Лубенщины осмелел и стал требовать, чтоб московское правительство пустило его агентов уже в заведомо московские уезды разыскивать его беглых крепостных. Москва была тогда в таком угнетенном настроении, что согласилась и на это, по крайней мере на словах. Велено было «князь Еремея подданных с государевой земли ссылать беспрестанно *тихостью*»: последнее слово должно было показать московскому начальству на местах, что энергии особенной в этом деле от него не требовали.

Колонизационная подкладка русско-польской борьбы и сделала главным театром ее не верховья Днепра, стратегически наиболее важные для московского государства, а земли к востоку от его среднего течения—«левобережную Украину», нынешние Черниговскую и Полтавскую губернии. Борьба с Польшей в XVII в. стала борьбою за Украину. Национальная по форме, национально-религиозная по своей идеологии, в сознании самих боровшихся, борьба эта была, в сущности, *социальной*. Боролись два *типа* колонизации, воплощенные в двух общественных группах: *казачестве*, с одной стороны,

*крупном землевладении*—с другой. Так как первое рекрутировалось преимущественно из людей русского языка и православной веры, а представителями второго были люди польского языка и польской культуры—католичество же в Польше этой эпохи стало чем-то вроде сословной религии всех людей «порядочного общества» и «хорошего» происхождения,—то национально-религиозная оболочка происходившей здесь классовой войны была довольно естественна. Ее не приходилось выдумывать позднейшим ученым, как это в значительной степени случилось с дворянско-посадским восстанием, закончившим Смуту. Но, более плотная и прочная, чем в московском государстве начала века, это была все же лишь оболочка. Казак ненавидел польского пана прежде всего другого потому, что ему, мелкому землевладельцу-хуторянину, не было больше места среди росших со сказочной быстротой и отовсюду надвигавшихся на казацкую землю панских фольварков. А московский помещик потому оказывался союзником этого казака, что он и сам в этих местах был таким же мелким землевладельцем-хуторянином, как и казак,—значит, и таким же, как он, социальным врагом панских латифундий. Что в борьбе приняли деятельное участие пробивавшиеся в казачество верхние слои *посполства*, крепостного крестьянства, это было опять вполне естественно—так же естественно, как и то, что в 1606—1608 гг. крепостное крестьянство боярских вотчин шло рука об-руку с мелкопоместными дворянами. Но и там, и тут союз был до поры до времени. Когда враг был выбит с поля, все пришло в норму: казачество осталось казачеством, посполство—посполством, и даже тот факт, что казацкая старшина превратилась уже в настоящих помещиков, не дал ничего нового: и в начале века казацкие атаманы ни к чему так не стремились, как к тому, чтобы быть поверстанными государевыми поместьями и стать «настоящими» дворянами, чего более удачливые из них и достигали. Великорусские события начала века были не так ярки и шумны, как малорусские лет сорок спустя—на севере все было серее и молчаливее, юг был красочнее, а кроме того, юг был ближе к Европе—значит, культурнее и сознательнее. Но основные тенденции движения были сходны, и нет ничего удивительного, что экспансивные украинцы, нашумев и наговорив гораздо больше своих великорусских собратьев, кончили тем же, чем и они: в 1654 г. стали «под высокую руку» той самой династии, что сидела на московском престоле уже с 1613 г.

Мы оставили юго-западную Русь в тот момент, когда татарское нашествие добило последние остатки древнейшей русской «государственности», экономическим базисом которой была «разбойничья торговля», а главным театром—бассейн Днепра. Здесь старая общественная постройка подгнила больше, чем где бы то ни было, и последствия толчка, данного татарами, были разрушительнее. Правда, ходячее мнение, что Киев после Батыева нашествия превратился в не очень большую деревню,

с большим жаром и большой ученостью оспаривалось в новейшей литературе. Но спор привел лишь к тому, что люди стали правильнее оценивать непосредственные результаты монгольского погрома вообще—и прежде всего научились отличать судьбу *города* от судьбы *земли*. Мы уже упоминали в своем месте [1], что татары, прежде всего другого, были разрушителями городов и что это неслучайное обстоятельство было логическим выводом из их стратегии столько же, как и из их политики. Более живые города северо-восточной Руси оправились довольно быстро после погрома. Уже ранее несколько раз опустошавшийся и с каждым десятилетием все более падавший, в хозяйственном и политическом отношениях, Киев подняться из своих развалин не смог. Допустив даже, что известный рассказ Плано Карпини о «большом и населенном городе», «обращенном почти в ничто» (в нем осталось не более 200 домов), относится и не к Киеву,—остаются еще известия русских летописей о том, что население Киева, если не непосредственно после Батыя, то в конце XIII в. «все разбежалось». Один факт, точно установленный, именно критиком общераспространенного мнения, особенно ярко подчеркивает запустение *города* Киева: во второй половине XIII столетия здесь вовсе не было князей, а когда в следующем веке они появились, то это были «владетели весьма невысокого полета», промышлявшие разбоем по большим дорогам [2]. Представлять себе, как это готов сделать наш автор, что киевляне этого времени были счастливыми республиканцами, значит переносить в XIII в. понятия и отношения гораздо более позднего времени. Князья из Киева ушли очевидно потому, что им нечем было там жить: княжеские доходы были слишком незначительны, чтобы можно было держать там княжеский стол, как были слишком незначительны церковные доходы, чтобы можно было сохранить в Киеве митрополию. Насчет последнего мы имеем документальные свидетельства, а первое, по аналогии, гораздо более вероятно, нежели Киевская республика XIII в. Но запустение «матери городов русских» вовсе еще не обозначает запустения и всей Киевщины—в этом критики старого мнения вполне правы. Сельскую Русь татары опустошили ровно настолько, насколько это было неизбежно при тогдашнем способе ведения войны. Бестолкового истребления жителей они не могли допустить уже потому, что собирались их эксплоатировать—и действительно эксплоатировали между прочим и население Киевщины. Мы довольно точно знаем натуральные повинности, установленные для населения этих мест татарами, и уже самая наличность этих повинностей предполагает как само собою разумеющееся, что здесь в достаточном количестве имелись живые люди: те «мертвые кости», о которых говорит Плано Карпини и которые, с его

[1] См. т. I «Р. И», стр. 143.
[2] *М. Грушевский*, Очерк истории Киевской земли, стр. 468.

слов, фигурируют во всех учебниках, не могли бы доставлять татарам пшеницу и звериные шкуры. А раз страна была достаточно заселена, хотя, вероятно, и гораздо реже, нежели в цветущие времена Киевщины, должен был современем заселиться вновь и ее главный город: этим вполне объясняются противоречивые на первый взгляд показания летописей и документов о «процветании» и «красоте» Киева еще в XV в., о его тогдашней торговле и новых разгромах (особенно в 1416 и 1482 гг.), тогда как после Батыя громить там, казалось, было уже и нечего. Настоящее, хотя все же и в это время не абсолютное, запустение Киевщины относится повидимому именно к концу XV в., когда стали посещать страну крымские татары, приходившие за живым товаром и потому опустошавшие гораздо энергичнее, чем Батый.

Территория древнерусских княжеств к западу от Днепра ни в один момент древнерусской истории не являлась таким образом совершенной пустыней. Переход ее под главенство Литвы в половине XIV в. (наиболее правдоподобной датой занятия литовцами Киева является как известно 1362 г.: старые рассказы о завоевании Киева Гедимином, около 1320 г., новейшей критикой признаются легендарными) если что-нибудь изменил в положении дел, то только к лучшему. В лице литовского великого князя Киевщина получила очень сильного сюзерена, от которого, в случае надобности, можно было ждать поддержки, но который, как и всякий феодальный сюзерен, во внутренние дела своих вассалов не вмешивался. «В Литовско-русском государстве,—говорит один из новейших историков этого последнего,—установился социально-политический строй, сильно напоминающий средневековый западноевропейский *феодализм*. В тогдашней канцелярской латыни это сходство стало отмечаться западноевропейскою феодальною терминологией еще ранее, чем названный строй установился окончательно. В различных грамотах, писанных в первой половине XV в., встречаются упоминания о «баронах», «рыцарях», «вассалах», «присяжниках» (homagiales), «феодальных службах». Позже эта терминология проникла и в русский канцелярский язык великого княжества [1]. Феодальные отношения составляют не «западноевропейское», а «общеевропейское» или даже общечеловеческое явление, как мы знаем. Но литовский феодализм был действительно ближе к западному типу, нежели например московский. Здесь были резче выражены как феодальный *иммунитет*, так и *иерархичность* феодального строя, делавшая из господствующего общественного слоя некоторое подобие лестницы. Литовский великий князь вовсе не собирал податей в вотчинах своих вассалов,—тогда как северо-восточные князья всегда собирали, по крайней мере, татарскую дань,—и вовсе не имел там права суда, тогда как его великорусские современ-

[1] *М. Любавский*, Литовско-русский сейм, М. 1901, стр. 101.

ники всегда оставляли себе наиболее лакомые куски судебного дохода. Аррьер-вассалы, которые в Московской Руси только встречаются, в литовской составляют общераспространенное явление—нельзя себе представить большое западнорусское имение без своих «земян» и своих «бояр», зависевших всецело от своего непосредственного сюзерена и вполне отрезанных от сюзерена верховного, великого князя. Великокняжескому суду они подлежали лишь в том случае, если их ближайший сюзерен не давал на них суда и управы; но и в этом случае, получив челобитье от обиженного, великий князь всегда начинал с вежливых напоминаний, пуская в ход свою власть только в крайней необходимости. Феодализм вообще равнодушен к национальным перегородкам—национализм появляется лишь на следующей ступени социального развития. Уже поэтому нельзя было ожидать какого-нибудь гнета со стороны литовского сюзерена по отношению к его русским подданным только потому, что он—литовец, а они—русские. Присутствие в «господарской раде»—курии или боярской думе наследников Гедимина—русских бояр из бывших удельных княжеств, аннексированных Литвою, достаточно засвидетельствовано для самых первых десятилетий после аннексии: совершенно не видно, чтобы здесь была какая-нибудь борьба за национальное право,—очевидно и мысли об этом не приходило в голову ни завоевателям, ни завоеванным. Католическая церковь, явившаяся в Литву после унии с Польшей (в 1386 г.), пыталась провести другую границу:—запереть дверь в великокняжескую думу «схизматикам», сделав из православных так сказать вассалов второго сорта. Сравнительно малое число «панов радных» русского происхождения и православной веры и в особенности бледная роль в господарской раде православных архиереев—рядом с выдающимся влиянием в ней высшего католического духовенства—долгое время поддерживали у историков убеждение, что попытка эта католической церкви удалась. Впечатления от позднейшей религиозной борьбы, в дни католической реакции второй половины XVI в., когда притом боровшиеся стороны не останавливались и перед подделкою документов, укрепили этот предрассудок еще более. Теперь однако можно считать доказанным, что тенденции католицизма не нашли себе воплощения в литовско-русской действительности. Знаменитый Городельский привилей 1413 г., устранявший вассалов некатолического исповедания от высших должностей в великом княжестве, в этом своем пункте остался мертвой буквой, а в 1432 г. все преимущества, данные этим привилеем боярам-католикам, были формально распространены и на бояр-православных. Позднейшие документы, содержавшие ограничение этого рода, повидимому просто были сочинены иезуитами в конце XVI в. Православное же меньшинство в господарской раде достаточно объясняется тем, что католицизм уже тогда успел сделаться фешенебельной верой,

которую поспешило усвоить все, что претендовало на знатность: все крупнейшие землевладельцы, за единичными исключениями, оказались католиками, а непосредственными вассалами великого князя были, разумеется, именно крупные землевладельцы. И в то время как католическая церковь в крае рекрутировалась из сливок местного общества, «православные архиереи выходили большею частью из мелкого люда, из духовенства или простонародья, мещан и крестьян, и изредка из мелкой или средней шляхты» [1]. То, что казалось историкам религиозной перегородкой, на самом деле было социальной, и религиозной борьбы в западной Руси не было до конца XVI в. точно так же, как не было национальной.

Не вызвало такой борьбы и формальное присоединение юго-западной Руси к Польскому королевству по Люблинской унии 1569 г. История этой унии представляет собою чрезвычайно поучительный пример того, как под национальным конфликтом скрывается, в сущности, социальный. В старой литературе, например у Соловьева, дело изображалось так, что унию поляки навязали Литве, литовцы же «сильно упорствовали, но потом должны были согласиться на соединение, когда увидели, что не поддерживаются русскими». Мотивом, заставлявшим «русских» держать нейтралитет в споре, были притеснения, которые они якобы испытывали от «литовских вельмож». Что последние не пользовались никакими особенными привилегиями, сравнительно с «вельможами» русскими, это мы уже знаем. Несомненный факт, что и русская знать относилась к унии так же враждебно, как и паны радные литовского происхождения: в числе крупных землевладельцев непосредственно аннексированного Польшею Подляшья (восточный угол позднейшего «царства Польского»), устроивших настоящую обструкцию в борьбе с унией, мы находим коренные *русские* фамилии: Ходкевичей и Сопег. Причины, делавшие этих «вельмож» различных национальностей патриотами автономной Литвы, очень любопытны и гораздо сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Дело было не только в нежелании делиться своей властью с «вельможами» польскими. «Автономное Великое княжество литовское было предприятием, на которое магнаты затратили огромные фамильные капиталы в форме ссуд скарбу (великокняжеской казне), и им естественно хотелось попрежнему хозяйничать и распоряжаться в этом предприятии. Уния, как ее понимали поляки, угрожала положить конец этому хозяйничанью, и потому магнаты так и противились ей. Самые ярые противники унии были как раз те именно паны, которые потратили так много своих денег на нужды великого княжества, вроде например пана Яна Еронимовича Ходкевича, старосты Жмудского, или подканцлера Остафия Воловича. Очевидно, они боялись не

[1] *М. Любавский*, назв. соч., стр. 363.

только за свое значение в будущей соединенной Речи Посполитой, но и за свои «пенязи», отданные в ссуду скарбу и гарантированные заставами (залогом) господарских имений [1]. Каким образом государство этого времени могло стать своего рода капиталистическим предприятием, это мы увидим позже: здесь мы найдем один из характернейших показателей экономического переворота, совершавшегося в эту именно эпоху. Сейчас мы должны отметить другое: если «капиталисты» знатного происхождения косо смотрели на унию, к ней совсем иначе должны были относиться незаинтересованные в «предприятии» средние и мелкие землевладельцы. Так оно и было. Поляки всегда имели на своей стороне «литовское рыцарство», без различия происхождения, а противились унии только литовские «потентаты», по словам польских делегатов, докладывавших о ходе переговоров на Петроковском сейме в 1565 г. Оттого стремление отделить это «рыцарство» от его «потентатов» и вступить с ним в непосредственные сношения было одним из главных приемов польской политики, а стремление не допустить этого—одним из главных приемов литовской «рады». Но литовско-русская шляхта не ограничивалась платоническими симпатиями к унии—она проявляла в этом отношении инициативу, весьма смущавшую литовских «потентатов». Около 1563 г. «рыцарство», находившееся тогда в походе против Москвы, составило между собою особое соглашение с целью добиваться унии во что бы то ни стало, даже вопреки желанию официального литовского правительства; отступившие от этого соглашения, напомнившего русскому исследователю классические «конфедерации» польской шляхты, должны были считаться изменниками и, в случае победы сторонников унии, подлежали изгнанию, а если бы «паны радные» вздумали преследовать какого-нибудь «земянина» за участие в соглашении, остальные должны были за него вступиться как один человек. Польша шла впереди Литвы в процессе социального развития—в ней переход политической власти в руки среднего помещика (в Польше величавшегося «народом», как в московском государстве такой же помещик был «всей Землей») совершился уже в первой половине XVI в. Глядя на это, литовско-русская шляхта не могла не «разлакомиться», и никакие попытки литовской аристократии купить себе мир со своим дворянством социальными уступками не достигали цели. На Бельском сейме 1564 г. феодальная знать отказалась от своих судебных привилегий, согласившись подчиниться одинаково со всеми «земянами» выборному земскому суду; это было, помимо всего другого, тяжелой материальной жертвой, потому что непосредственные вассалы литовского великого князя лишились теперь крупной доли своего судебного дохода. Но для «рыцарства» этой уступки

[1] *М. Любавский*, цит. соч., стр. 821.

было мало. Статут 1566 г. повел дело дальше: этим статутом законодательная власть с «Рады» (Боярской думы) была перенесена на «вальный сейм» (Земский собор), без согласия которого великий князь обязался не издавать никаких уставов. Собственно, шляхетский «народ» Литвы уже держал верховную власть в своих руках, но ему было мало и теоретического признания его верховенства: ему нужно было свое, шляхетское правительство, а этого он не надеялся достигнуть без помощи польской шляхты. Люблинская уния, поставившая весь ход дел в объединенной Речи Посполитой под контроль общего польско-литовского сейма, где не было ни литовских «княжат», ни иных членов по личному праву, а только «послы, избранные литовским и польским рыцарством», осуществила это желание. Настолько оно было главным, а все другие стороны унии второстепенными, видно из того, что отдельные «земли» не остановились перед перспективой стать непосредственными подданными «короны», как только явилось сомнение, удастся ли провести план объединения на шляхетских условиях для всей Литвы. «Захват» поляками Подляшья и Волыни, а затем Подолья и Киевщины при совершенно явном попустительстве местной шляхты, которая все время хлопотала об обороне не от «захватчиков»-поляков, а от своей туземной аристократии (доходившей до угроз татарами!) представляет собою одну из любопытнейших сторон Унии 1569 г. Он лучше всего другого показывает, что образование единой Речи Посполитой было последствием не каких-нибудь дипломатических шахматных ходов—так часто изображались дела в старые годы,—а политическим закреплением общего как для «короны», так и для «княжества» социального явления: перехода фактического влияния в обществе от крупной феодальной знати к среднему землевладению. В Польше и Литве в половине XVI в. произошло то же, что в иных политических формах случилось на три четверти столетия позже в Московской Руси.

В этой последней, как мы знаем, основу социальной перемены составляла перемена экономическая: зарождение ранних форм менового хозяйства и в связи с этим превращение феодального землевладельца в сельского хозяина-предпринимателя. В Польше и Литве этот процесс выступает перед нами еще отчетливее. Все основные его черты—замена натурального оброка денежным, появление барской запашки и в связи с нею барщины, уменьшение крестьянского надела в пользу барской пашни—все это прекрасно знакомо и западнорусским писцовым книгам XVI в., которые притом гораздо богаче таким материалом, чем их московские современницы. В Московской Руси этого времени денежный оброк был, как мы видели в своем месте, очень распространен; в Руси Литовской и аннексированных польскою короною русских областях он решительно господствовал, причем мы имеем ряд характернейших случаев превра-

щения невинных натуральных поборов патриархального средневековья в очень серьезную денежную подать. Такова была например история *медовой дани*. В королевских имениях Львовского староства—части старинной Галицкой Руси, присоединенной к Польше еще в XVI в., по инвентарю 1545 г. те крестьяне, «кто имел пчел», давали ежегодно по пяти полумерок меду. «Люстрация» 1565 г. показывает нам «медовую дань» уже как постоянный налог, по 30 в среднем грошей с хозяйства (от 2 до 3 руб. золотом на теперешние деньги): и всего через 5 лет, к 1570 г., этот налог доходит до 50 грошей на хозяйство (более 4 руб.). В то же время в имениях Пинского повета—нынешней Минской губ.—та же «медовая дань» была главным платежом крестьян и составляла на каждое хозяйство от 20 до 127 грошей литовских (которые были крупнее польских): чтобы правильно оценить эти цифры, надо иметь в виду, что в эти годы и в этих местах двухдневная барщина выкупалась обыкновенно 1 злотым—24 грошами. Минимальные размеры «медовой дани» были немногим меньше, а максимальные в пять раз больше этого. Одинаковые условия в нынешней Минской губ. и в нынешней Галиции не должны однако вводить нас в заблуждение, будто всюду было одно и то же. Даже в самой Галичине различия были довольно резкие и не случайные. В то время как в восточных староствах можно было найти, в довольно чистом виде, «первоначальные элементы, из которых складывались крестьянские платежи», в западных—большая часть натурального оброка переведена на деньги, а в Самборщине мы видим денежные платежи за все «данины» [1]. Ту же особенность мы замечаем и в распространении *барщины*. Она есть уже всюду; но на востоке, в землях великого княжества Литовского, в начале второй половины XVI в. она только что заводилась; известный «устав о волоках» короля Сигизмунда-Августа (1557 г.) только еще высказывает пожелание, чтобы во всех королевских имениях в Литве заводились «фольварки»—усадьбы с барской запашкой. Под последнюю отводилась $^1/_8$ всей культурной площади: на каждую «волоку» дворцовой пашни должно было приходиться не менее 7 волок крестьянских, с вполне устроенным хозяйством, «з волы и с клячами» на каждой, так как обрабатывать хозяйскую пашню предполагалось крестьянским инвентарем. Как и в дворцовых имениях Московской Руси того же времени, хозяйство пытались поставить рационально: из «устава о волоках» мы выносим очень живое представление о том, как была организована крестьянская «работа» в большом благоустроенном имении юго-западной Руси. Староста—«войт»—в воскресенье назначал каждому из «подданных» его урок на всю неделю. За исправным выполнением этого урока следили строго:

[1] *М. Грушевский*, в предисловии к I тому «Источники украинско-русской истории» («Жерела до історіи Украіни Руси»).

кто не выходил на работу во-время, в первый раз платил грош, во второй раз барана, в третий раз его «бичом на лавке карали»; если манкировка была злонамеренная, например по причине пьянства, телесное наказание полагалось сразу. Зато можно было избавиться от наказания вовсе, если предварительно заявить начальству об уважительной причине, мешающей выйти на работу; только от самой работы ни в каком случае нельзя было избавиться: пропущенные дни должны были быть отработаны во что бы то ни стало. Регламентировано было употребление времени и в течение самой работы: кто работал со скотом—волом или лошадью,—имел право отдыхать три часа в продолжение рабочего дня: час перед обедом, час в полдень и час перед вечером; пеший работник отдыхал все эти три раза по получасу. Выходить на барскую работу обязательно было «як солнце всходить», а уйти можно было только на заходе солнца. Но, строго регламентированная, количественно барщина была еще невелика, как можно было бы догадаться уже по относительным размерам барской и крестьянской запашки: у крестьянина брали в Литве 2 дня в неделю, т. е. $^1/_3$ его рабочего времени. В Галичине мы встречаем гораздо более высокие нормы работы: двухдневная барщина спускается чуть не на последнее место, наиболее распространенной является обязанность работать 3 дня в неделю или же каждый день по полдня; и не редки—нисколько не реже двухдневной барщины—четырех- и пятидневная: это был максимум эксплоатации, так как два дня в неделю, воскресенье и базарный день, крестьянам оставляли всегда. Такие порядки были в галицких «королевщинах», т. е. имениях совершенно того же типа, как и те, о которых говорит «устав о волоках». На частновладельческих землях эксплоатация была гораздо сильнее: это мы можем видеть очень наглядно, когда какая-нибудь «королевщина» попадает «в держанье» к частному лицу. Одно дворцовое село Львовского староства еще в 1534 г. не несло никаких повинностей, кроме натуральной «данины», по барану и по свинье с каждого хозяйства; пашня была даже не меряна. Но вот в нем явился «державец», Станислав Жолкевский, и тотчас же завелись новые порядки. Пашня была тщательно вымеряна, и часть ее отошла к усадьбе (прежде тут барской усадьбы не было), для обработки этой земли была заведена барщина, но натуральный оброк не только не был отменен, а к нему прибавился еще денежный. «Жизнь и хозяйство села изменились до неузнаваемости. В 1534 г. здесь было 28 хозяйств на немеряной земле, дававших 28 баранов и столько же свиней, причем тех и других у каждого хозяйства было значительное стадо... В 1565—1570 гг. здесь было уже 60 тяглых хозяйств на 10 ланах (по-московски «вытях») и 26 загородников (по-великорусски «бобылей»), причем крестьянские земли уменьшились по малой мере втрое... Упало и скотоводство; в 1565 г. с 62 хозяйств

получено только 20 штук свиней и 1 баран—далеко меньше, чем раньше получалось с 28 хозяйств [1]. Как отнеслись к этой перемене сами обитатели села, источники не говорят. Но мы имеем один случай, показывающий, что заведение новых порядков не всегда было простым и легким делом. В том же Львовском старостве было село Добряны, по привилею короля Владислава, от 1439 г., дававшее ежегодно 8 дней барщины, 24 гроша «чиншу» (денежного оброка) и колоду овса с «лана». Тогда в нем считалось 14 ланов; к XVI в., благодаря распашке новых земель, оказалось уже 36. Но главным фактом было расширение барской запашки в Добрянах: 8 дней в год для ее обработки стало не хватать, и приходилость сгонять крестьян из дальних имений. Ввиду этого дворцовое управление, производя в 1530-х годах новое обмежевание земель, постановило, чтобы добрянцы работали на барщине по два дня в неделю (тогдашняя норма в королевских имениях). Но селяне «противились этому силой, не приняли нового межевания и не хотели работать барщины», и до 1570 г. их не удавалось к этому принудить. Попытка посадить в Добряны новых «осадников», чтобы получить рабочих для барской пашни, не удалась—местное население их выжило. Люстрация 1570 г. ввела опять двухдневную барщину, понизив чинш до 18 грошей, но добрянцы и теперь не послушались и до 1578 г. не приняли «реформы». Что с ними далее случилось—неизвестно [2].

Понижать «чинши», вводя барщину, приходилось очень часто: но это вовсе не обозначало обыкновенно облегчения крестьянских повинностей. В Теребовльском старостве до 1550-х годов работали по 8 дней в год и платили 48 грошей чиншу. Новый староста уменьшил чинш до 30 грошей, но ввел двухдневную барщину: по тогдашней цене рабочих рук она обошлась бы, применяя вольнонаемный труд, не дешевле 60 грошей,—иными словами, крестьянские повинности, в переводе на деньги, выросли почти вдвое. Но чинш никогда не исчезал вовсе, даже в тех случаях, когда крестьяне работали *ежедневно*; были случаи, что ежедневная барщина сочеталась даже с довольно высоким денежным оброком—до 24 грошей с хозяйства в год. При таких условиях крестьянский надел уже в XVI в. превращался в то, чем он должен был стать впоследствии, при «капиталистической» барщине,—в особую форму натуральной заработной платы барского батрака. В тесной связи с ростом барщины стоит поэтому другое явление: дробление крестьянских наделов, поощряемое барской экономией. Географический закон этого явления тот же что и двух предыдущих. «Вообще говоря, крестьянские участки уменьшались по направлению с востока на запад и с юга на север». «На во-

[1] «Жерела», т. VII, Предисловие, стр. 7.
[2] Ibid., стр. 7—9.

стоке в половине XVI в. господствуют хозяйства на целых дворищах, или на дворище сидят по два хозяйства... дальше на запад число хозяйств, приходящихся на одно дворище, увеличивается...» [1]. Падение размеров хозяйства идет чрезвычайно правильно: если ехать с востока на запад, путешественник встретил бы на самой восточной границе Галичины крестьян, сидевших на полной выти («дворище» или «лане»); дальше начинали попадаться полудворищные хозяйства; еще дальше они преобладали, и попадались уж четверть-дворищные; и, наконец, еще западнее начинали встречаться «вісімки»—хозяйства на $^1/_8$ лана. Начало дробления весьма точно совпадает с началом изучаемого нами экономического процесса—полу- и четверть-дворищные хозяйства начинают появляться с конца XV—начала XVI в.

Был однако предел дробления, ниже которого неудобно было спускаться и с точки зрения барской выгоды: мы уже видели, как измельчание хозяйств влияло на скотоводство, а барские пашни обрабатывались крестьянскими волами и лошадьми. Но тут две тенденции барщинного хозяйства сталкивались. Барину нужен был не только крестьянский скот для обработки земли—ему прежде всего нужна была сама земля, и если для «фольварка» ее нехватало, не у кого было взять ее, кроме крестьян. Отдельные случаи сгонянья крестьян с надела мы наблюдали и в восточной России. Но там это не более, чем симптом процесса, во всей широте никогда не развертывавшегося. Не то было в Руси западной. Здесь эти явления были настолько распространенными, что начинали внушать правительству опасения чисто финансового характера: можно было бояться в иных местах, что скоро не с кого будет брать таких специально-крестьянских налогов, как «надельные»—прямая подать с каждого крестьянского хозяйства. Сухие «люстрации» (переписи) становятся почти сантиментальными, рассказывая, как тот или иной пан «скупил» крестьянина. «Служебники (вассалы) нынешнего староства (Саноцкого) скупили в этом году трех селян,—говорит одна люстрация,—*не без розлива слез*; а они были очень хорошими хозяевами, на тех пашнях родились и состарились, и было под ними полтора вымеренных лана пашни, с которых они аккуратно платили чинш и тягло, как рассказывают о них соседи. Про эти ланы Змеевский (один из «скупивших» вассалов) сказал, что их дал ему король, уволивши их от права и от власти города и *от уплаты всяких чиншей*. Так осиротели убогие люди, а тягло и чинш с этих земель пропадет». Бог весть, заинтересовался ли бы судьбою «убогих людей» королевский ревизор, если бы тягло и чинш не пропали: но его словам о «розливе слез» можно поверить, и нельзя считать очень преувеличенным заключительное его за-

[1] *М. Грушевский*, ibid., т. I, стр. 15—16.

мечание,—что «коли так каждый год будут скупать по нескольку крестьян, их немного останется в старостве». Но крестьян не только «скупали»—у них и просто отбирали землю «неизвестно по какому праву», как отмечает люстрация в другом месте. Обезземеливали не только отдельных «селян», но и целые селения. В одном селе Перемышльского староства, где еще в 1553 г. было 36 тяглых хозяйств, сидевших на полудворищах, в 1565 г. оставалось лишь 20 «загородников»—безземельных бобылей, работавших на барской пашне. Люстрация глухо замечает, что это случилось «по вине самих крестьян», но трудно ли было найти «вину» в подобном случае?

Что делали обезземеленные? В одних случаях, как мы уже видели, параллельно с экспроприацией крестьянства рос разряд «загородников»—рос, кажется, даже быстрее, чем шло обезземеление. В одном из сел Перемышльского староства за 70 лет, с 1497 по 1565 г., из 22 ланов крестьянской земли успели оттягать только 1½ лана, а рядом с 40 хозяевами мы видим здесь уже 14 загородников, не имевших своей пашни. В другом селе в 1497 г. был всего один лан земли, а в 1565 г. мы находим здесь 5 хозяев и 24 загородника. Впрочем наиболее энергичное обезземеление падает на средние десятилетия века, и на них приходится максимальный рост загородничества, так что предыдущие десятилетия можно пожалуй и не считать: с 1553 по 1565 г. в 21 селении Перемышльского староства число загородников с 66 увеличилось до 141—на 133%. В Саноцком старостве за еще меньший период, с 1558 по 1563 г., число загородников удвоилось; здесь загородники составляли к этому последнему году 11% всего населения, а в Перемышльском даже 26%. Но далеко не все обезземеленные попадали в эту категорию. То, что крестьян довели до потери своего хозяйства, ясно указывало на *избыток* в данном именин рабочих рук: но если были избыточные рабочие руки, естественно было использовать их в другом месте, где были «великие и густые леса». О том, чтобы «осаживать» людьми леса, «на волоки размеренные», заботится даже устав Сигизмунда-Августа, в сравнительно просторной еще Литве. Новым поселенцам давалась льгота на 5, на 6, даже на 10 лет,—а где были «черные леса, тяжкие к вырублению», и еще больше. На западной окраине должны были заботиться о том же еще ревностнее: и действительно, добрая доля Саноцких «королевщин» «была свежим колонизационным приобретением»; в начале XVI в. здесь было не более 30 сел, принадлежавших короне, в средине—до 54. Прибыль падала здесь, как и в Перемышльской земле, почти исключительно на «горские села», villae submontaneae, врезавшиеся в лесную чащу Карпат, куда уходили «копать лес» люди, не примирявшиеся дома с положением загородников. Как быстро шло здесь заселение, видно из того, что на верховьях Вислока люстрация 1565 г. застала 18 сел с 311 хо-

зяйствами на 200 ланах земли,—о которых и помину не было в начале столетия. Нет надобности говорить, что здесь условия крестьянской жизни были совсем иные, чем на старых местах:—о барщине здесь и во второй половине XVI в. иной раз ничего не слыхали, разве что ходили в горячую пору на помочи. Но перейти на другую землю того же хозяина—это было еще полсвободы. Просторные земли на востоке манили больше, нежели «тяжкие леса» Карпат. Переписи нередко сообщают нам, как крестьяне, у которых соседние паны оторвали добрый кусок пашни и сенокоса, кинули оставшуюся землю и «пошли себе»—пошли неведомо куда. И такие неведомо куда ушедшие люди встречались уже в изобилии не только на западе, а и на востоке: «устав о волоках» много внимания уделяет беглым, видимо, очень заботясь о том, чтобы не отрезать им дороги назад, ежели захотят вернуться. Среди восточных панов были особые спекуляторы на таких беглых: ими главным образом, Вишневецкие колонизовали свое Посулье,—где на месте пустыни, бывшей здесь еще в начале XVI в., к концу его были десятки сел, а к середине следующего—довольно густо заселенная местность, с порядочными городскими центрами. По инвентарям 1640-х годов в «Вишневеччине» было до 40 тыс. хозяйств—в том числе в ее столице Лубнах—2 646 дворов: а владелец всего этого, уже упоминавшийся нами выше кн. Иеремия, мог затратить на свою свадьбу 250 тыс. злотых (почти 300 тыс. зол. руб. на тепершние деньги). При этом целые города, например Пирятин, были заселены беглыми [1]. Замки Вишневецких давали этому пришлому люду оборону от татар. Но кто был похрабрее, в своих поисках воли и лучшей жизни не останавливался конечно на подданстве Вишневецким: на восточной окраине панская колонизация сталкивалась с другой колонизационной струей—с колонизацией вольной, *казацкой*.

Романтическое представление о казачестве как о союзе вольных людей, не стерпевших крепостного ига и ушедших в вольную степь—строить себе новый мир, где все равны, где нет крепостных и господ,—это представление очень живуче в исторической литературе, даже до сего дня. Знакомясь с фактами, вы однакоже напрасно ищете той «демократической, пролетарской дружины», о которой вы столько читали и слышали. Под именем «казаков» вы везде встречаете мелких землевладельцев, очень напоминающих тогдашнего окраинного помещика и целыми рядами незаметных переходов связанных с земледельческим классом вообще. Мы уже упоминали об этом, не приводя подробностей, по поводу роли казачества в Смуте. Вот несколько образчиков того, что представляли собою вели-

[1] Специальный исследователь Лубенщины и Вишневецких относится к этим цифрам подозрительно—не без оснований. Но других нет. Колоссальный же рост Вишневеччины и он признает. См. *Лазаревский.*, Лубенщина.

корусские казаки южной окраины. Под Белгородом было село Стариково, населенное беломестными атаманами и казаками. У каждого из первых было по 30 четвертей пашни «в поле»—т. е. по 45 дес. пахотной земли всего—и по 150 копен сена; у каждого из вторых—по 20 четвертей (30 дес.) и по 100 копен. Кроме казаков в том же селе жило 34 человека бобылей, работавших на этой самой казацкой земле. То же самое было и под Воронежем. Писцовая книга говорит: «на Воронеже (река) на атаманских и на казачьих придаточных землях деревни, в тех деревнях дворы атаманские и казацкие поставлены на приезд, а за ними живут бобыли пашут их землю». В двух деревнях Оскольского уезда тоже жили казаки. Но они «мало чем отличались от детей боярских». По крайней мере в одной челобитной они писали, что «как были в Осколе дозорщики и писцы, и ту... землю писали за ними, и в сошное письмо в уезде писали с Осколяны детьми боярскими вряд» и что они «четвертные деньги в ямской приказ и стрелецкие кормы и всякие государевы подати платят с Осколяны детьми боярскими вряд ежегодь» и вряд же с ними служили всякую службу [1]. Но, скажет читатель, это казаки «городовые», «служилые»,—а были особые «вольные»—на Дону например. К тому же все эти данные относятся уже к XVII в. Мы однако тщетно стали бы искать между «служилыми» и «неслужилыми» казаками той демаркационной черты, которую обыкновенно проводят с такой уверенностью,—и ранее казачество ничем в этом случае не отличалось от позднейшего. В половине XVI в. ехал из Москвы в Константинополь посол Новосильцев. Провожать его до Азова должны были донской атаман Мишка Черкашенин с 50 атаманами и казаками «своего прибору»: это была стало быть вольная казацкая дружина, временно порядившаяся в службу к московскому правительству. По дороге один из членов этой дружины дезертировал, о чем посол доносил государю так: «Мишкина прибора казак поместный (такой-то) на твою государеву службу не пошел, воротился из Рыльска к себе на вотчину Рыльскую». Можно было быть служилым государевым казаком и в то же время присоединиться к одному из вольных казацких отрядов—одно другому вовсе не мешало. В данном случае поместный казак пошел за вольным атаманом (которого мы скоро видим ведущим на свой страх и риск войну с турками) с целью так сказать благонамеренной: с тем, чтобы охранять царского посла. Но благонамеренная цель вовсе не была обязательна. Незадолго перед тем шестеро путивльских—т. е. «городовых»—казаков примкнули к отряду «черкасов» и с ними вместе ограбили крымского гонца, шедшего из Москвы. Дело это казалось им настолько естественным, что затем четверо из них, как ни

[1] *И. Миклашевский*, К истории хозяйственного быта Московского государства, с 77, 83, 111.

в чем ни бывало, вернулись к себе в Путивль. Правда, в ответ на жалобы крымского правительства, царь отрекся от этих своих «слуг» и честил их «разбойниками». Но это была обычная фразеология, раз навсегда выработанная для случаев подобного рода. И в Крыму, и в Константинополе по аналогичным поводам всегда говорили: «сами знаете, что на Тереке и на Дону живут воры беглые люди, без ведома государева, не слушают они никого...» Но когда обращались к самим казакам, говорили совсем другое. Когда в конце XVI в. донских казаков заставляли без выкупа отдавать назад «черкас», т. е. литовских пленников, захваченных ими во время набега (среди полного официального мира, разумеется), а казаки в ответ стали грозить, что они уйдут с московской службы, царский посол говорил: «отъездом вам государю грозити непригоже, холопы вы государевы и живете на государевой отчине». Но, не считая этого специального повода к разрыву, казаки и не думали отрицать своих обязанностей по отношению к Москве: «тебя, посланник, провожать и государю служить мы готовы», говорили они. Их только очень обижало, что хотят отнять у них пленных, которых они добыли «своей кровью» и которые представляли конечно значительную хозяйственную ценность в этих пустых краях, где даже и бобылей найти было уже нельзя. А под конец Смуты, когда казацкая служба в этих местах стала особенно нужна, в одном официальном документе писалось даже, что «их атаманскою и казачьею службою, радением и дородством Московское государство очистилось и учинилось свободно». Московский дипломатический стиль отличался большой гибкостью, и понимать его буквально было бы очень неосторожно: те, к кому обращались московские дипломаты непосредственно, турецкие паши и крымские мурзы, никогда бы себе такой неосторожности не позволили. «Вы говорите: донские казаки — вольные люди, воруют без ведома вашего государя,—отвечал русскому послу великий визирь в 1592 г.,—крымские и азовские лююди такие же вольные. Вперед только государь ваш не сведет с Дону казаков, и я вам говорю по богу: не только крымским с нагаями велим ходить, но сами пойдем своими головами с многою ратью сухим путем и водяным, с нарядом и городом, хотя и себе досадим, а уж сделаем это, и тогда миру не будет». В ответ на эти воинственные речи великого визиря московское правительство, которое только что уверяло, что с казаками оно не имеет ничего общего, послало на Дон грамоту, где между прочим говорилось: «вы бы службу свою показали: перебрав лучших атаманов и молодцов конных, послали на Калмиус, на Арасланов улус, улус его погромили бы...».

Что было на Дону, то было и на Днепре. В этом отношении «черкасские» казаки, городовые и запорожские, были родными братьями великорусских казаков «верховых» и «низовых». И тут, и там экономической основой было промысловое хозяй-

ство: охота, рыболовство и, в очень большой степени, бортничество. О последнем стоит сказать несколько слов. Охотничьи промыслы казаков слишком хорошо известны—отметим только, что на Днепре в это время они приобретают особое значение, так как с уплотнением населения Западной Руси охота там становится все больше и больше панской привилегией: уже в 1557 г., по «уставу о волоках», за убийство серны или другого крупного зверя крестьянину угрожала смертная казнь—так же, как и тому, кто попадется в пределах «пущи», заповедного королевского леса, с «рушницею»—огнестрельным оружием. Экономическая роль бортничества была никак не менее значительна, чем охоты или рыбной ловли. В Путивльском уезде незадолго перед Смутой одного «медвяного оброку» собиралось 2 320 пудов—да еще к тому 100 руб. деньгами. «Литовское разорение» уменьшило натуральный оброк почти вдвое, но зато скоро после него в крае появляется более интенсивная форма пчеловодства, занесенная все теми же «черкасами»: вместо «бортных ухожаев» появляются пасеки, иными словами, пчел начинают водить искусственно, не довольствуясь тем, что можно было найти готовых в лесу. То, что мы знаем о людях, принесших с собою это техническое новшество, не оставляет сомнения, что то были эмигрировавшие из польских пределов казаки. «Тех пасек литовские люди,—жаловались обитатели Вольновского уезда,—у нас на Вольном лошадей крадут и сильно отнимают и нас бьют и смертное убойство нам чинят и по дорогам проезду от них нет». По сыску оказалось, что эти «черкасы пришли из Ахтырки, Гадяча, Миргорода, Полтавы и т. п. Как всегда, московское правительство не захотело применять к литовским эмигрантам крутых мер. Сначала велено было «сослать их с государевой земли, без бою и без задору»—а когда и пришельцы, со своей стороны, повели себя корректно и подали царю челобитные, прося оставить их на занятых ими землях, в Москве не затруднились исполнить эту просьбу. Пасечники-казаки встречаются нам и в западной, правобережной Украине—еще в половине XVI в. Одна петиция веницких земян, 1546 г., упоминает, что по местному обычаю паны брали с казаков, «имеющих 30 пчел», копу грошей «поклону»: упоминание об этой пошлине рядом с крестьянским «выходом» бросает свет на положение казаков в ту эпоху; они очевидно сидели не всегда на вольной, а иногда и на панской земле. В Вишневеччине мы встречаем позже сплошные и очень крупные казацкие поселения на земле Вишневецких. Это приводит нас к вопросу о происхождении западнорусского казачества, выясненному в соответствующей литературе гораздо лучше, чем происхождение казачества великорусского.

Мы не будем останавливаться на этимологии слова «казак» (или «козак», как пишут и говорят на юго-западе). Нет ничего более шаткого, чем этимологические толкования. Можно

себе представить, что будет, если какой-нибудь историк XXX, положим, века вздумает путем этимологических сближений определять, что такое были наши сибирские «стрелковые полки» времени русско-японской войны. Из того, что корень один со словом «стрела», он заключит, вероятно, что то были отряды пехоты, вооруженной луками и стрелами, а так как полки назывались «сибирскими», то дело ясно—это были вспомогательные дружины диких сибирских инородцев на русской службе. Мы ничего не извлечем для истории казачества ни из того факта, что так назывались отряды легкой татарской конницы, ни из того, что в половецком словаре 1303 г. «козак» значит «сторож». Слово пришло, конечно, с востока, но понятие было вполне местное, и обозначавшаяся словом вещь существовала в действительности ранее, чем к ней приурочили именно это слово. В основе западнорусского казачества, как и восточного, лежала обязательная военная служба всего пограничного населения—нельзя даже сказать «служба», потому что с этим словом связывается представление о некотором принуждении сверху, а здесь, на окраине степи, откуда ежегодно появлялись татары, человеку естественно было быть военным: безоружный человек здесь жить не мог. Нужно было или отказаться от колонизации этих мест, или итти сюда не только с сохой, косой и топором, но и с ружьем. Ружье было так же необходимо здешнему поселенцу XVI—XVII вв., как и южноафриканскому колонисту XIX в.: причем и там, и тут роль этого орудия производства отнюдь не была только пассивная, как часто изображается. Грабежи татарских стад, «лупление чабанов татарских», а в более удачных случаях «лупление» и соседних турецких городков—входили в круг обычных промыслов в южнорусской степи точно так же, как грабежи туземцев в круг «промыслов» южноафриканских. Если житомирские мещане 1552 г. обязаны были «рушницы мать и стреляти добре уміти», а их сельский сосед, волынский крестьянин, по словам одного писателя конца XVI в., «идя на работу, нес на плече ружье, а до боку чеплял шаблю або меч»,—то это конечно не значило, что все эти люди представляли собою нечто вроде современной швейцарской милиции. Надоело пахать или торговать,—можно было отправиться и «козаковать»: кто был помоложе и попредприимчивее, тот это и делал. Когда «козакованье» становилось неудобно польскому правительству, оно и взывало обыкновенно к старшему поколению: требовало, «абы отцове сынов своих на козацтво не выпущали». Благодаря этому, отсутствие там или сям названия казаков вовсе еще не указывает на отсутствие и самого явления. В Барском старостве середины XVI в. мы не встречаем казаков как особой общественной категории, а это было «одно из казацких гнезд» того времени. «Козаковала» здесь главным образом мелкая шляхта, преимущественно русская. «В правительственных актах, например, в грамоте киевскому

воеводе 1541 г., казаки разумеются под общим названием *мещан*» [1].

Это отсутствие резкой социальной отграниченности малороссийского казачества от других общественных классов продолжается и в позднейшую эпоху, когда казачество становится революционным элементом. Один из предводителей казацкого восстания 1590-х годов, Шаула, был черкасским мещанином, и притом не из бедных, судя по тому, что у него занимал деньги Киево-печерский монастырь. В Киеве, по поводу того же восстания, было конфисковано несколько домов, принадлежавших казакам-«здрайцам» (мятежникам). Но теснее всего казачество было связано конечно с землевладением. В 70-х годах XVI в. мы находим большие земли на р. Ворскле, принадлежащие «козаку-земянину» Омеляну Ивановичу: королевская грамота титулует этого «казака-дворянина» «шляхетным». В 90-х годах другой казак, Тимко Волевич, имел большие поместья в Чигиринщине, «издавна принадлежавшие его предкам, кушвшим их на свои деньги». За то же восстание 1596 г. был конфискован целый ряд имений, принадлежавших «казацким особам»: мы узнаем об этом из жалованой грамоты короля знакомому нам по истории Смуты гетману Жолкевскому, которому были отданы эти имения. Наконец, один из главных вождей того же восстания, знаменитый гетман Лобода, «несомненно был богатым человеком: на это указывают многочисленные справки об его имуществе, которое искали по монастырям, у евреев (некоего Леона Перцовича) и у помещиков (Семена Бутовского, киевского войскового)». Будучи уже гетманом, Лобода кушил себе с. Сотники. В следующем столетии земельная собственность становится даже социальной основой для партийной группировки казачества. Когда впервые введен был реестр, т. е. сделана была попытка ограничить казацкие привилегии сравнительно небольшим, тесным кругом более зажиточных казаков, реестр приняли и держались относительно польского правительства лойяльно «дуки»,—партия, к которой «принадлежали, главным образом, казаки богатые». «Между ними бывали в те времена богачи, что могли смело равняться с земянами; некоторые были шляхетского происхождения. Им было что терять, и они должны были оглядываться на польское правительство». Иначе совсем относились к этому последнему «нетяги», казаки бедные, для которых «козакованье» было промыслом: «запрещение грабежей для них было отобранием главного источника дохода» [2].

---

[1] *Грушевский*, Примітки до історії козачини (Записки наукового товариства імени Шевченка, XXII).

[2] См. того же автора «Матеріяли до історіі казацких рухів 1590-х рр.» (ibid., XXXI—XXXII) и *Рудницкого*, Українські козаки в 1625—1630-х рр. (там же). Место не позволяет нам здесь коснуться истории *реестра*: она подробно рассмотрена в цитированной на предыдущей странице ст. проф.

Как видим, мы весьма далеки от «пролетарских демократических дружин», принципиально враждебных наличному общественному строю. В казачестве и польских помещиках мы видим двух классовых противников внутри одного и того общества. Это были два разных способа ликвидации древнейшего, «натурального», феодализма. Польским панам лучше удалась задача, на которой сломало себе шею московское боярство XVI в. Их латифундии более успешно превращались в сельскохозяйственные предприятия с обширной барской запашкой и массовым применением крепостного труда. Здесь мы имеем уже в XVI в. тот «восточноевропейский» тип хозяйства, который в великорусские области стал проникать лишь в XVIII в. Но и противник у польской латифундии был более европейский. Если не бояться характеризовать сложное явление по одному признаку, казацкую земельную собственность, в массе среднюю или мелкую, знавшую батраков и «подсуседников», но не знавшую ни организованной барщины сотен крестьян, ни сеньериальных прав землевладельца, ни иммунитета, ни права суда, ни мелких земян-вассалов,—можно бы назвать «буржуазной». Казацкая буржуазия, в лице Богдана Хмельницкого, и подняла знамя восстания против польского феодализма. Как и всякая другая буржуазия, она не могла обойтись без «чернорабочих», без массы «поспольства»—и благодаря этому она была в своих лозунгах демократичнее своей социальной сущности. Но когда боевой момент прошел, экономические отношения взяли свое: казачество разместилось наверху, поспольство осталось внизу.

## 2. Казацкая революция.

С последней четверти XVI в. тот антагонизм мелкого и крупного землевладения, который воплотился в украинских казаках и польских панах, приобретает свою окончательную форму. Первые находят идеальное оправдание своих классовых требований, выступая защитниками *православия* против *унии*; вторые, проводя эту унию, стараются сделать православную церковь орудием в руках крупного землевладения. А на попытку польских помещиков подчинить всецело казачество польской «государственности», взять его целиком на коронную службу и точно регламентировать его положение на этой службе, казаки отвечают тем, что создают себе заграничный центр, независимый от польского государства, в образе *Запорожской Сечи.*

---

Грушевского. Там вполне убедительно доказывается, что, во-первых, при Стефане Батории никакого реестра не было, а во-вторых, что попытка реестра преследовала главным образом одну цель: избавиться от дипломатических затруднений с Турцией, порождавшихся казацкими набегами.

Мы видели выше, что православная церковь в предшествующее время не пользовалась в югозападной Руси особым почетом и уважением, но и не была в то же время предметом гонений. Руководящие общественные слои просто не обращали на нее внимание, предоставляя эту «хлопскую веру» хлопам. Этим объясняется и демократический состав православной церковной иерархии, о котором тоже говорилось выше. Демократическое происхождение русских архиереев вовсе однако не означало, что православная церковь в югозападной Руси была организована демократически. Напротив, и в то время она, как всякая церковь в феодальном обществе, зависела от крупного землевладения. Церкви и монастыри стояли на боярской и княжеской земле, и владельцы этой земли были их патронами: назначение священников, игуменов и архиереев зависело от них. Но при натуральном хозяйстве это право не давало им почти никакой выгоды. Церковные доходы состояли из тех же продуктов, что и натуральный оброк, плативший помещику, и увеличивать количество этих продуктов выше известной меры было, как мы знаем, бессмысленно при условиях натурального хозяйства, при отсутствии рынка и сбыта. Положение стало быстро меняться по мере того, как в западную Русь стало проникать денежное хозяйство. Два факта местной церковной жизни тесно связаны с этим новым явлением. Оба давно обратили на себя внимание историков, но брались они не с той стороны, которая была для них характерной: потому они оставались изолированными друг от друга и не связанными с общим ходом исторического процесса. Очень известен, даже из «Тараса Бульбы», факт *отдачи в аренду* православных церквей в западной России этого времени. Но и в повести Гоголя, и в исторических работах старого времени подчеркивалось при этом только то обстоятельство, что арендаторами обыкновенно были евреи: как будто отдача церкви в аренду лицу другого исповедания что-нибудь здесь меняла. Суть дела была здесь в том, что возможность быстро превращать продукты в деньги соблазняла и на церковные учреждения смотреть как на выгодные предприятия. Еще больше церквей соблазняли в этом отношении монастыри, эксплоатировавшие не один какой-нибудь отдельный приход, а целую округу. До нас дошел от конца XVI в. целый ряд документов, относящихся к монастырю Святого спаса во Владимире на Волыни. Из этих документов мы видим, что монастырь составлял частное имущество одной дворянской семьи, некоего Михаила Оранского с тремя сыновьями. В состав этого имущества входила и «церковь со всеми речми (вещами) церковными, с книгами, с образами, с уборами священническими и со всем тем, что только в той церкви и монастыре есть, и ключи церковные». При этом одна из королевских грамот специально оговаривала, что никто из владельцев этих священных предметов не обязан быть сам ду-

ховным лицом—«в стан духовный становиться и стричься». Они обязаны были только держать в том монастыре викария, «человека духовного хорошо сведущего в священном писании, для отправления церковных треб». Раз монастырь мог быть предметом частного освоения, он мог, разумеется, и арендоваться, и закладываться: в том же собрании документов мы имеем например «заставную запись», удостоверяющую, что кн. Чарторыйский отдал в заклад «земянину» (помещику) Лазарю Иваницкому «монастырь Честный Крест, с церковью и островом всем, на котором монастырь и церковь Честного Креста стоят». А дальше, здесь же мы встречаем арендную запись на одно имение холмского повета, где в числе арендного имущества мы находим рядом с садами, огородами и виноградами, с коровами, и их приплодом, и церкви «с подаваньем их»—с церковными доходами. Арендаторов было двое:—один из них был еврей, другой же—местный помещик. Нужно иметь в виду, что превращение церкви в предприятие сопровождалось таким же усилением эксплоатации, как и превращение в предприятие обыкновенного имения. Арендатор старался вытянуть из «подаванья церковного» возможно больше денег, и население не могло не почувствовать этой перемены. А так как народная ненависть всегда обращается на ближайший источник зла, не стараясь докопаться до его корней, то совершенно естественно, что в народных песнях XVII в. «жиды-рандари» (арендаторы) занимают такое выдающееся место, совершенно заслоняя собою панов-собственников церквей и монастырей, в чей карман шло, в конечном счете, «церковное подаванье».

Но те же новые экономические отношения вызвали к жизни и явление совершенно иного порядка и противоположного значения. Денежное хозяйство как в Московской Руси, так и в Западной выдвигало, если не на первое, то на очень видное место *буржуазию*. Смиренно подчинявшаяся феодальной церкви раньше, эта последняя начинает теперь поднимать голову и в церковных делах—и именно для своей церковной самостоятельности. Положение православной веры, как веры хлопской, в литовско-русском государстве очень помогало буржуазии в этом случае. Здесь не успела сложиться та прочная, централизованная церковная организация, опиравшаяся на всю силу государственной власти, какая образовалась к XVI в. в Москве например. В Москве было свое, местное, церковное начальство—святейший патриарх московский и всея Руси, без разрешения которого никто и подумать не мог что-либо предпринять в церковных делах. В Западной Руси были отдельные владыки:—луцкий, львовский, киевский и другие,—сильные каждый у себя в епархии, но когда перед ними являлся какой-нибудь из восточных патриархов, хотя бы из далекого Иерусалима или же совсем проблематичной в XVI в. Антиохии, западнорусский епископ в глазах своей собственной паствы от-

ходил на второе место. Но восточные патриархи, паствой которых у себя дома являлась по большей части местная буржуазия, давно стояли на почве менового хозяйства. Церковные привилегии на турецком востоке были настолько практически-ценной вещью, что их давно продавали и покупали, как всякое другое благоприобретенное право. Отчего было не торговать ими и в других местах, если находились покупатели? И вот, какой-нибудь антиохийский патриарх, приехавший за милостыней на Русь, проезжая город Львов, весьма охотно и без малейшего стеснения продает местному «мещанству» не более не менее, как полный иммунитет по отношению к местному, львовскому, архиерею. Братство, образованное львовской буржуазией (она упомянута в грамоте на первом месте, но членами братства могли быть и шляхтичи и крестьяне), получало право не только ставить себе священника, которого епископ не мог отказаться посвятить, но и следить за нравственностью всего вообще духовенства, не исключая и самого епископа, а если бы епископ вздумал не подчиниться этому контролю, «таковому епископу сопротивляться всем как врагу истины». Можно себе представить лицо львовского владыки, когда он читал этот документ, против которого юридически он был однако бессилен, так как патриарх, хотя бы и антиохийский, был в церковной иерархии старше его. Притом восточные владыки наезжали за милостыней часто—можно было. в подкрепление антиохийской грамоты, добыть такую же от иерусалимского патриарха или, еще лучше, от константинопольского: это было не сложнее, нежели в наши дни купить какой-нибудь экзотический орден, вроде Льва и Солнца. Можно было отмежеваться от местной церковной власти еще решительнее: рекордной, по-теперешнему выражаясь, является в этом случае одна грамота константинопольского патриарха Кирилла, где епископ, который осмелился бы посягнуть на привилегии Крестовоздвиженской церкви (Луцкого братства), приравнивается к «святокрадцам», и ему сулится отлучение от церкви не только на этом свете, но и «по смерти»—на веки вечные. Как было западнорусскому архиерейству не заскучать по «своем» начальстве, которое могло бы оградить его от подобных неприятностей и восстановить год от года все более утрачивавшуюся им монополию «вязать и решать»? Но выработать местный патриархат было не так легко, при отсутствии туземной государственной власти и при таком отсутствии единодушия между самими владыками, что один из них, случалось, выгонял другого из его резиденции пушками. Оставалось одно—опереться на соседнюю церковную организацию, по силе и дисциплинированности далеко оставлявшую за собой не только местную, но даже и московскую церковь. Такой организацией был католицизм. На этой почве и возникла Брестская уния 1596 г.

Этот основной мотив унии—борьба западнорусского епи-

скопата с «засильем» восточных патриархов—чрезвычайно отчетливо звучит во всех униатских документах эпохи и, прежде всего, в самом главном из них—в том послании, с которым обратились к королю Сигизмунду III западнорусские владыки в декабре 1594 г. Их уполномоченный должен был говорить королю: «Видя в старших наших, патриархах, великие нестроения и нерадения о церкви божией и законе святом, видя их неволю, видя, что вместо четырех патриархов сделалось восемь, видя, как они живут на патриаршествах, как один под другим подкупается, как, сюда к нам приезжая, они никаких диспутаций с иноверными не чинят, только поборы с нас берут и, набравши откуда ни попало денег, один под другим там, в земле поганской, подкупаются,—видя все это, мы, епископы, не желая далее оставаться в таком беспорядке и под таким их пастырством, единодушно согласившись, хотим приступить к соединению веры и пастыря единого, главного, которому самим искупителем мы вверены, святейшего папу римского пастырем своим признать». В официальном документе, каким было это обращение к королю, нельзя же было обойтись без патетических фраз о развращении восточной церкви—в частной переписке говорили проще и откровеннее. Один из творцов унии, убеждая одного из своих товарищей, писал ему уже без всяких претензий на моральный пафос: «Патриархи будут часто ездить в Москву за милостынею, а едучи назад, нас не минуют; Иеремия (константинопольский патриарх) уже свергнул одного митрополита, братства установил, которые будут и уже суть гонители владык: чего и нет,—и то взведут и оклевещут; удастся им свергнуть кого-нибудь из нас с епископии—сам посуди, какое бесчестье! Господарь король дает должности до смерти и не отбирает ни за что, кроме уголовного преступления, а патриарх по пустым доносам обесчестит и сан отнимет,—сам посуди, какая неволя! А когда поддадимся под римского папу, то не только будем сидеть на епископиях наших до самой смерти, но и в лавице сенаторской засядем, вместе с римскими епископами и легче отыщем имения, от церкви отобранные». Особенно не давали жить епископату братства: по словам тогдашнего киевского митрополита, львовский владыка (во Львове было самое старое и самое сильное братство), «будучи в крайнем томлении от братства», готов был поддаться не только что папе, а хотя бы самому дьяволу—«врага душевного рад был бы на помощь взять». Но братства были органами церковного влияния буржуазии, а епископы были ставленниками крупного землевладения. Инициатива унии как раз и принадлежала церковным феодалам: Кириллу Терлецкому, одному из епископов, отстаивавших свои права артиллерией, Ипатию Потею, в миру, до пострижения, сенатору и брестскому каштеляну (коменданту), Гедеону Балабану, получившему львовскую кафедру по наследству от своего отца, тоже епископа львов-

ского. Сведение Гедеона с епископии по жалобе братства и было тем событием, которое дало непосредственный повод к унии. Дальше нечего было ждать—не дожидаться же было, когда братства начнут выбирать своих епископов. Церковный конфликт сводился таким образом к классовому, и православные по-своему были правы, когда они впоследствии со злорадством указывали униатам, что без буржуазии и униатская церковь все-таки обойтись не может, и что самый энергичный униатский епископ, Иосафат Кунцевич,—сын сапожника. Зато потомки знатных фамилий попадали теперь на кафедры двадцати лет и могли, не проявляя особой энергии, просидеть на них до глубокой старости, не боясь мещанских «братств». До конца XVI в. буржуазия наступала, а церковный феодализм оборонялся. Теперь стало наоборот. Волынский депутат на сейме 1620 г. рассказывал о том же Львове—центре буржуазного движения: «кто не униат, тот в городе жить, торговать и в ремесленные цехи принят быть не может, мертвое тело погребать (по православному обряду), к больному с тайнами христовыми итти открыто нельзя». Вести легальную борьбу с униатской церковью, за спиной которой стоял весь полицейский аппарат польской «государственности», было немыслимо. А попытки борьбы революционной встречали немедленную и свирепую репрессию. Мятеж витебских мещан, во время которого был убит Кунцевич, кончился тем, что более ста горожан из самых зажиточных были приговорены к смерти—двадцать из них, в том числе два бургомистра, были действительно казнены, остальным удалось бежать, но все имущество их было конфисковано; ратуша и православные церкви были разрушены. Нет ничего мудреного, что западнорусское мещанство в таком положении все чаще и чаще начинало вспоминать о казаках.

В обычном представлении запорожские казаки рисуются до такой степени противоположными всему, что мы связываем со словом «буржуазия», что классовое родство казачества и мещанства теперешнему читателю, смотрящему сквозь призму исторической романтики, разглядеть не легко. Современникам, для которых казаки были вполне реальной вещью, это удавалось лучше. Посол германского императора Эрих Лясота, бывший в Запорожской Сечи в конце XVI в., говорил сечевикам, жаловавшимся ему, что у них нет лошадей для похода в Молдавию, куда звал их император: «поднимитесь вверх по Днепру—и вы сможете достать лошадей *в своих городах и селах, где вы родились и выросли и где у каждого из вас есть родные и знакомые*». А двумя десятками лет раньше польский хронист Мартин Бельский так описывал низовое казачество: «Эти посполитые люди обыкновенно занимаются на низу Днепра ловлею рыбы, которую там же, без соли, сушат на солнце и тем питаются в течение лета, *а на зиму расходятся в ближайшие города, как то: Киев, Черкасы и другие*, спрятавши предварительно на каком-

нибудь днепровском острове, в укромном месте, свои лодки и оставивши там несколько человек на курене или, как они говорят, на стрельбе». Эти показания вполне сходятся с тем, что мы знаем о запорожцах из документов: в древнейшем из них, грамоте литовского великого князя Александра (1499 г.), фигурируют казаки, приходящие сверху, от Киева и Черкасс, на низовье Днепра *рыбу ловить*; часть улова они должны были отдавать киевскому воеводе—по этому случаю дана и грамота. Через сто лет связь Запорожья с Киевом была еще настолько прочна, что в Киеве делалась запорожская политика: инициатива союза казаков с императором принадлежала некоему Хлопицкому, который в своем проекте основывался именно на том, что он слышал в Киеве. В самой Сечи проект наткнулся на затруднение, но совсем особого рода. Более подвижные демократические низы казачества были за поход в Молдавию, но более зажиточные слои, среди которых видную роль играли «владельцы челнов», и к которым принадлежала запорожская старшина, не обнаруживали никакой охоты к сухопутной авантюре. Из описания этого эпизода у Лясоты мы узнаем, что «демократическая, пролетарская дружина» была организована весьма аристократически. Запорожское вече состояло из двух «кол»: одного, в котором совещалась старшина, и другого «из простого народа, называемого у них чернью» (!). В это последнее коло членов запорожской демократии есаулы загоняли палками. Решения здесь постановлялись быстро и провозглашались с большой экспансивностью: с первого же совещания «чернь» стала величать германского императора, бросая вверх шапки и изъявляя готовность принять все условия, предлагавшиеся его послом. Но это не имело никакого практического значения: деловые переговоры все же таки пришлось вести со старшиной. Та была несравненно менее уступчива, и дело затянулось; тем временем «владельцы челнов» повели свою агитацию, и скоро «чернь» высказывалась с такою же экспансивностью против союза с империей, как раньше за него. В конце концов Лясоте так и пришлось уехать, не добившись никакого практического результата: он должен был удовольствоваться «принципиальным» обещанием низового казачества помогать императору против турок, да и за это пришлось заплатить 8 тыс. золотых дукатов. Запорожская аристократия умела блюсти интересы Сечи, где она была хозяйкой не только в политическом отношении конечно. Роль «владельцев челнов» мы уже видели: помимо их, Лясота упоминает в числе «зажиточных казаков» еще «охотников», а современные документы—«хуторян». Казак как мелкий землевладелец проник таким образом и за пороги, но здесь, в этих нетронутых местах, он перемешивался еще с промышленником, вовсе однакоже не походившим на горьковского босяка. Сечь была достойной представительницей мелкой казацкой буржуазии.

Особенности географического положения Запорожья создавали здесь, помимо земледелия, охоты и рыболовства, еще один промысел, который всего больше определял собою физиономию низового качества. «Владельцы челнов» совсем не потому только делали в Сечи и дождь, и хорошую погоду, что суда были необходимы для рыбной ловли—рыболовная лодка далеко не была таким ценным «орудием производства», как мореходная чайка, необходимая отнюдь не для одного рыболовства. Северные берега Черного моря уже тогда были покрыты турецкими и татарскими поселениями, достаточно богатыми и культурными, чтобы там было, что взять. В «Белограде» (Аккермане, Бессарабской губ.) был, по словам польского хроникера, «большой порт, из которого *до самого Кипра пшеницу с Подолии возили*; теперь через тот город сухим путем на Очаков к Москве ходят только караваны». Автор тут же и объясняет,—кажется, сам того не замечая,—почему упала аккерманская торговля: «из Белограда пролегает широкая дорога, *на которой казаки часто турецких купцов разбивают*, и если хотят добыть языка, то добывают его скорее всего именно там». «Они (казаки) причиняют очень часто большую беду татарам и туркам и уж несколько раз разрушали Очаков, Тягинку, Белоград и другие замки, а в полях немало брали добычи, так что теперь и турки, и татары опасаются далеко выгонять овец и рогатый скот на пастбище, как они прежде пасли, также не пасут они скота нигде, и по той (левой) стороне Днепра на расстоянии десяти миль от берега...» Так случайное указание польского летописца вскрывает перед нами специальную причину постоянных столкновений уже не казачества, а именно Запорожья с поляками: морские разбои низовых казаков лишали крупное польское землевладение ближайшего рынка для продуктов его имений. Спор шел действительно между «культурой» и «дикостью», как склонны изображать дело новейшие польские писатели[1]: вернее сказать, между двумя ступенями культуры—к северу от порогов была уже полукапиталистическая Европа XVI в., к югу процветали нравы времен Святослава Игоревича. Стремление подчинить Запорожье государственной опеке и прекратить губившее польскую торговлю пиратство, с одной стороны, стремление не допустить этой опеки и обеспечить за собою исконный «национальный промысел»—с другой, составляют исходную точку всех столкновений Польши с Запорожьем, начиная с бунтов Косинского и Наливайки до восстания Хмельницкого. Суть конфликта опять-таки очень хорошо и опять-таки бессознательно намечена тем же польским хронистом, которого мы уже цитировали выше (Мартином Бельским). «Казаки нас наибольше ссорят с турками,—говорит он,—сами

[1] А следом за ними и увлекшиеся их взглядами малорусские историки, например покойный Кулиш.

татары говорят, что если б не казаки, то мы могли бы хорошо с ними жить; но только татарам верить не следует: хорошо было бы, чтоб казаки были, но нужно, чтобы они находились под начальством и получали жалованье... Если бы мы захотели привести в порядок казаков, то это легко можно было бы сделать: нужно принять их на жалованье и построить города и замки по самому Днепру и по его притокам, что очень легко сделать, так как леса на островах имеется весьма достаточно,— было бы лишь к тому желание»...

В то время когда писались эти строки, «желание» было уже обнаружено в достаточной мере—уже в 1572 г. король Сигизмунд-Август назначил «старшего и судью» над запорожскими казаками, подчиненного в свою очередь коронному гетману (главнокомандующему польской армией). Несколько позже началась постройка и замков (сначала в Кременчуге), откуда польские гарнизоны могли бы «держать в порядке» Запорожье. Но политика польского правительства в этом пункте не отличалась выдержанностью: среднее землевладение, «шляхта», господствовавшая в это время на сеймах, не склонна была очень принимать к сердцу интересы украинских магнатов. Тем приходилось самим заботиться о себе,—и первое казацкое восстание, Косинского, носит чрезвычайно характерную физиономию дуэли низового «рыцарства» с отдельными феодалами, сначала Острожским, потом, когда Острожский оказался сильнее, чем думали его противники, с Вишневецким, на победе которого движение и оборвалось. Позднейшие украинские летописцы уже этому моменту казацкой революции усваивали ту религиозную идеологию, которая должна была неразрывно связаться с казацким движением позднее. Но на самом деле Косинский и его товарищи не выставляли еще никаких ни религиозных, ни социальных лозунгов; их движение даже не было движением всего казачества, а с другой стороны, в нем видную роль играли и неказацкие элементы: сам Косинский был шляхтич. Наиболее определенный пункт его программы заключался в требовании казацкого «присуда», т. е. упразднения феодального суда и предоставления казачеству того же права выбирать себе судей, какого давно добилась западнорусская шляхта [1]. Но не прошло двух лет со смерти Косинского, как мы имеем перед собою уже весьма типичный казацкий бунт, со всеми его классическими признаками—участием панских «подданных», крестьян, погромами католиков и униатов и т. д. То было разыгравшееся в 1595—1596 гг. и захватившее все Поднепровье, от Могилева до Черкасс, восстание Наливайки и Лободы. Лозунг «за православие против католицизма и унии» был поднят впервые Наливайкой; его деятельным помощником был православный священник, его брат, Демьян. Как понимали

[1] См. выше, стр. 78.

они борьбу за православную веру, показывает их первое выступление, направленное против известного нам инициатора унии Терлецкого. Не будучи в состоянии достать его самого (тот был тогда в Риме именно по делу унии), Наливайко со своими казаками, во-первых, дотла ограбил имение его брата и жены этого последнего, забрав у них все, что только было в их усадьбах ценного; а затем экспроприировал ризницу Терлецкого, предусмотрительно спрятанную последним перед отъездом в одном частном доме, что однакоже не спасло ее от казаков. Затем, по очереди, были ограблены все тянувшие к унии духовные и светские феодалы, попадавшиеся на пути восставших. Но мы напрасно стали бы искать каких-нибудь положительных шагов со стороны Наливайка, с целью восстановить господство православия: редко в истории так называемых «религиозных войн» религия более наивно выдвигалась, как простой предлог, чем здесь. Врагами православия очень быстро оказывались все, у кого было что взять: рядом с епископами-униатами и католическими костелами Наливайко грабил и торговцев-караимов, и православных мещан, которые сами, как мы видели, были противниками унии. Формулируя свои требования в письме к королю Сигизмунду, Наливайко в сущности все сводил к тому, чтобы польское правительство взяло его казаков на жалованье, а самого Наливайку сделало над казаками гетманом. И еще более откровенно та же мысль проводится в замечательном письме другого героя восстания 1595—1596 гг., запорожского кошевого Лободы, к гетману Замойскому. «Ты не требуешь от нас услуг великому княжеству литовскому и всей Речи Посполитой,—писал вождь низового казачества,—ты указываешь на мир со всех сторон, со всеми неприятелями короны польской. За это да будет хвала Господу Богу за такой мир люду христианскому, что он смягчил сердце каждому неприятелю креста святого. Но если мы пришли в этот край, то причина этого для всякого очевидна: в это зимнее непогодное время, когда ты нас никуда не требуешь на услугу, Бог знает, куда нам направиться; поэтому покорно и униженно просим, благоволи не заборонять нам хлеба-соли». А так как на это гетман мог бы ответить, что «хлеба-соли» достаточно забрал себе Наливайко, то Лобода спешит откреститься от этого союзника-конкурента: «что же касается того своевольного человека Наливайка, который, забывши почти страх Божий и пренебрегши всем на свете, собрал по своему замыслу людей своевольных и чинил большие убытки короне польской, то мы об нем никогда не знали и знать не желаем».

Письмо Лободы с совершенной определенностью ставит перед нами причину собственно запорожского движения. Как раз перед 1595 г. адресат этого письма, гетман Замойский, в интересах молдавской политики Польши, избегая разрыва с Турцией, строжайше запретил низовым казакам беспокоить

турок. «Национальный промысел» Запорожья был пресечен: надо было найти где-нибудь вознаграждение за это. О том же, что сделало экспедицию низового рыцарства за жалованьем (за «стациями», как это тогда называлось в Польше) народным мятежом крупного масштаба, мы узнаем совершенно случайно из одного описания конца восстания. Когда казацкий лагерь был со всех сторон окружен коронными войсками и осажденные вынуждены были вступить в переговоры, польский военачальник, уже не раз нам встречавшийся на этих страницах, гетман Жолкевский, потребовал от казаков, чтобы они по указаниям находившихся в польском войске помещиков выдали всех беглых крепостных, приставших к казачеству. Казаки отказались, и лагерь был взят штурмом, со страшным кровопролитием—по одной версии; по другой—были выданы только казацкие предводители, с Наливайкой и Шаулой во главе (Лободу перед этим убили сторонники Наливайка), и за это Жолкевский уступил по остальным пунктам.

Восстание Наливайка дает нам уже стереотипную картину казацких «рухов» вплоть до Хмельницкого. Картина очень не сложна и складывается, приблизительно, из таких элементов: прелюдией всегда является запрещение со стороны польского правительства «национального промысла», страшно дорого обходившегося Польше, так как за каждый набег запорожцев турки платили жестокими репрессалиями по отношению к южным областям королевства: запрещение морского разбоя вынуждает низовых рыцарей искать «хлеба-соли» в другом месте, и они почти инстинктивно, вместо того чтобы спускаться по Днепру вниз к Черному морю, начинают «выгребаться» кверху, в направлении Киева. Здесь они быстро находят себе массу союзников в придавленном новыми хозяйственными условиями крепостном крестьянстве и озлобленном унией мещанстве; начинается борьба «за православную веру» и, фактически, за свободу сельского люда: «посполитые» массами превращаются в казаков. Польское правительство всегда оказывается неготовым, и полуразрушенные замки Киевщины, Подолья и Волыни с их слабыми гарнизонами, становятся на первых порах легкой добычей восставших. Но проходит несколько месяцев, и на сцене появляется медленно мобилизуемая коронная армия. К этому времени первое увлечение народной массы успевает уже остыть; она начинает смутно сознавать, что у казачества свои интересы, отдельные от поспольства, а казачество начинает так же смутно чувствовать, что превращение всех посполитых в казаков было бы весьма невыгодно для самого казачества. Военные неудачи в столкновениях с польскими регулярными силами поспевают как раз во-время, чтобы быстро довести этот процесс разложения до конца. Восставшие капитулируют, а польское правительство облегчает эту капитуляцию, стараясь не доводить противника до крайности. Свирепо-

карая отдельных «здрайцев» (мятежников), оно не стремится уничтожить тот порядок, который создает метежи; остается казачество, верхи которого прямо берутся на коронную службу; остаются панские имения с их барщиной и поборами, остается уния с ее бесконечной церковной склокой. Проходит несколько лет, пары в котле вновь накопляются, и, когда правительство Речи Посполитой, в вечной заботе о хороших отношениях к Турции, вновь затыкает клапан—закрывает запорожцам дорогу на юг,—происходит новый взрыв.

Нужно отдать справедливость польскому правительству: оно принимало все меры к тому, чтобы казацкая революция стала своего рода perpetuum mobile. Но «вечное движение» на одном месте так же немыслимо в истории, как и в механике. Экономическое развитие автоматически, без чьего-либо сознательного вмешательства, обостряло «классовые противоречия» в деревне—раздувало ненависть хлопа к пану. То же экономическое развитие так же автоматически поднимало значение буржуазии и делало для нее все более невыносимой ту своеобразную форму феодального гнета, которая звалась «унией» и, как мы видели, через церковь захватывала области, не имевшие ничего общего с религией, мешала ремесленнику работать, а купцу торговать. То же экономическое развитие, наконец, все больше и больше стесняло казачество, стесняло чисто территориально, прежде всего, так как пустых земель становилось все меньше, и панскому фольварку некуда было раздвигаться, не затрагивая казацких хуторов. Захват казацких земель панами стоит на одном из первых мест в жалобе, поданной послами Хмельницкого на варшавском сейме летом 1648 г. Но и там, где у казаков ничего не отнимали прямо, им становилось тесно хозяйничать: денежное хозяйство все промыслы—и охоту, и рыбную ловлю, и даже «национальный промысел» запорожцев—превратило в выгодные статьи дохода, арендовавшиеся не хуже церквей и монастырей. Народные песни надолго запомнили, как казаку нельзя было ни рыбки в реке поймать, ни лисичку убить, не заплатив предварительно «жиду-рандарю», и жалоба на то, что у казаков отнимают «их добычу — татар и татарчат молодых», стоит не на последнем месте в списке обид, привезенном в Варшаву послами Хмельницкого. На последнем месте здесь стоит православная вера... Надежда польского правительства найти среднюю линию среди этой отчаянной борьбы двух крайностей, экономически исключавших друг друга, была полнейшей утопией. И хотя министры и генералы Речи Посполитой, можно думать, искренно желали быть умеренными, объективные условия делали и их радикалами против их воли. Приняв решительную меру, они обыкновенно пугались; сделав два шага вперед, они делали полтора шага назад, но, поминутно запинаясь, жалея о собственном радикализме, они все же наступали на казачество все ближе

и ближе и, невольно являясь акушерами истории, делали решительный взрыв все неизбежнее.

В этом наступлении польского «уряда» на казаков вообще и на Запорожье в частности можно насчитать четыре этапа. Первым—была попытка создания окончательного казацкого «реестра», попытка выделить из жидкой массы казачества некоторый твердый осадок, «настоящих казаков», за которыми и оставить все казацкие права и привилегии, слив остальных с массою «штатского» населения. Эта более алхимическая, нежели химическая, операция имела место после так называемого «Куруковского дела»—восстания казаков (вызванного, разумеется, запрещением похода на Турцию) в 1625 г. Побежденные на Куруковом озере (около нынешнего посада Крюкова, на Днепре), казаки должны были согласиться на то, чтобы казацкое войско было ограничено 6 тыс. человек, внесенных в «реестр», которые и получили самоуправление и все казацкие права по части охоты и других промыслов. Остальные, не вошедшие в реестр (выписанные из него, отсюда «выписчики»), должны были сравняться с «посольством» и быть обезоруженными. Но так как в это время у Польши шла война со шведами, и профессиональные солдаты, какими были казаки, были крайне ценны, то само же польское правительство вербовало «выписчиков» на коронную службу, уничтожая левою рукою то, что оно только что сделало правою. Затем настояния турецкого правительства, все чаще и чаще грозившего войной за казацкие набеги, заставили правительство польское от платонических запрещений набегов перейти к мерам более практическим: в 1635 г. в начале Запорожья по планам французских инженеров была построена крепость Кодак, где постоянный польский гарнизон должен был бдительно следить, чтобы ни одна запорожская «чайка» без разрешения начальства не смела пробраться к Черному морю. Первый комендант Кодака вел дело так решительно, что не позволял запорожцам ездить даже на рыбную ловлю. Но при первом же восстании крепость была моментально взята, и это повторялось при всех следующих восстаниях. Бунт Павлюка и Остряницы (1638 г.) дал толчок к следующему этапу: «ординацией» этого года было упразднено казацкое самоуправление, и казаки были подчинены полковникам, назначенным Речью Посполитой. Влияние этой меры можно оценить потому, что поведение назначенной правительством старшины было одним из главных предметов жалобы, поданной казаками, восставшими под предводительством Хмельницкого. И, наконец,—это был последний удар,—видя, что Кодак не помогает, у запорожских казаков отняли и уничтожили их мореходные суда («челны»), оставив им только речные рыболовные лодки. После этой меры, которая, по мнению польских политиков, должна была окончательно умиротворить низовое рыцарство, новое общее восстание было совершенно неизбежно.

Восстание Хмельницкого в своем первоначальном периоде не отступало от обычной схемы. Личные обиды чигиринского сотника, которым так много места отдают историки, в действительности имели очень мало значения рядом с основной обидой, нанесенной запорожскому войску истреблением челнов, закрытием для низового казачества дороги к Черному морю. Польская администрация поняла это сразу, и первое, что предложил королю Владиславу коронный гетман Потоцкий как только пришли первые слухи о начинающемся в Запорожье движении, это «позволить казакам выдти в море». Об этом отлично знали и сами казаки: «была воля королевская, чтобы мы на море шли,—говорили послы Хмельницкого в Варшаве,—*и деньги даны нам на челны*». Но организовать сразу морскую экспедицию было немыслимо после того разгрома, который произвели сами поляки, и Потоцкий должен был это признать: «В один час этого не сделается,—писал он,—одни челны еще не готовы, другие готовы, но не в таком порядке, чтобы на них можно было в море итти». А запорожцам приходилось выбирать быстро, ибо они оказывались между двух огней. Было два новых условия, обострявших положение так, как этого не было ни в одном из предшествующих «рухов». Первое заключалось в том, что отмена казацкого самоуправления «ординацией» 1638 г. временно погасила всякую партийную рознь внутри самого казачества, во всем его объеме. Перед лицом *назначенных* польским правительством полковников не было больше ни «дуков», ни «нетяг»—первым, зажиточному слою, теперь даже больше доставалось, потому что у них больше можно было отнять. Личная история самого Богдана Хмельницкого характерна именно для периода после 1638 г.: до того времени этот крупный хуторянин отлично уживался с «лядской неволей» и делал карьеру в рядах реестрового, состоявшего на королевском жалованьи, казацкого войска. Но эта карьера была теперь заперта для него и его сверстников—в старшину попадали теперь не те, кого выдвигало зажиточное казачество, а те, кого хотели видеть во главе казаков польские паны. А история с Чаплинским показала ему—и показывала опять-таки всем его односословникам, таким же крупным хуторянам, как он,—что дело идет не просто о «прекращении политической деятельности» для них, что и «уйти в частную жизнь» невозможно—и там достанут польские «урядники» и обидят, когда захотят. Потеряв хутор, и сына, и любимого коня, ограбленный и обиженный, Богдан Хмельницкий должен был понять, что никакая «легальная» борьба с администрацией была невозможна, и, что было важнее, это поняли все. Почти моментальный переход всех «реестровых», т. е. всей более зажиточной части казачества, на сторону восстания сам по себе не давал выбора запорожцам.

Другим условием, заставлявшим низовое казачество спешить, был новый фактор, который Хмельницкому удалось вве-

сти в игру: этим новым фактором была Крымская орда. Дружба крымцев с казаками была очень не новым явлением: еще в 20-х годах польскому правительству приходилось много хлопотать, чтобы расстроить казацко-татарский союз. Но тогда эти отношения больше были использованы Ордою, чем Запорожьем. Мы часто видим казаков в Крыму, на службе той или другой из боровшихся там за власть партий. Но никогда раньше крымцы не приходили на Украину бороться за казацкие вольности. Чтобы поставить дело так, нужна была недюжинная моральная отвага. Было бы наивностью думать—а Хмельницкий совсем не был наивным человеком,—что татары даром, из симпатии к казачеству, вмешаются в междоусобную войну. Открытыми воротами в Поднепровье они конечно должны были воспользоваться для своего обычного дела: для того чтобы вернуться в Крым, «ополонившеся челядью», как возвращались из похода древнерусские князья. «Ясырь», невольники и—опять, как в старое время,—в особенности невольницы для крымцев составляли главное, приходили ли они на Русь с Хмельницким или без него, ибо это была главная статья их отпускной торговли. За участие татар в игре приходилось платить несколькими десятками тысяч украинской молодежи, которая пошла на невольничьи рынки Средиземного моря и Малой Азии. И украинцы хорошо запомнили эту сторону войны Хмельницкого: до XIX в. дожили песни, полные горького сарказма по адресу того, кто призвал татар на Русь. «Погляди, Василь, на Украину,—говорит одна из таких песен,—вон Хмельницкого войско идет, все парубочки (юноши) да девушки, молодые молодицы да несчастные вдовицы. Парубочки идут—на дудочках играют, девушки идут—песни поют, а вдовы идут—сильно рыдают да Хмельницкого проклинают, чтобы того Хмельницкого первая пуля не минула, а другая ему в самое сердце попала.» Но зато военные результаты достигнуты были этим отчаянным шагом самые решительные: с Ордой вместе казаки на первых порах были безусловно сильнее коронной армии. Ни Желтых Вод, ни Корсуни нельзя себе представить без Тугай-бея, начальника вспомогательного крымского отряда. И недаром так ценил дружбу этого татарина «старший войска запорожского», как подписывался Хмельницкий в эту пору. «Тугай-бей, брат мой, душа моя, один сокол на свете,—говорил Богдан во время своей знаменитой беседы с польскими послами (в Переяславле, в феврале 1649 г.),—готов все сделать, что я захочу. Вечная наша казацкая дружба, которой всему свету не разорвать». А когда эта «вечная дружба» дала трещину, когда поляки пообещали хану такой же «ясырь» без всякой войны, Богдан на самом верху своей военной славы, под Збаражем, оказался бессилен и должен был капитулировать на другой день после блестящей победы. До самого союза с Москвой вопрос о том, на чьей стороне татары, был совершенно равносилен вопросу: кто сильнее на поле битвы?

Этот успех дала Хмельницкому не только его дипломатическая ловкость, разумеется; момент был благоприятный, как никогда: Крым переживал тяжелый экономический кризис, богатый «ясырь» выводил Орду из тупика, Орде, значит, нужна была война. С другой стороны, по мере того как Польша укреплялась на низовьях Днепра, запорожцы становились регулярным войском на королевской службе, Крым чувствовал у себя на шее врага, куда более опасного в будущем, чем казаки. «Лупленье чабанов» казацкой молодежью было дело вполне терпимое сравнительно с возможностью, что татарские «шляхи» будут перехвачены регулярной польской силой. Словом, экономика, и прямо и косвенно, одинаково толкала крымцев на этот союз. Старые малорусские историки стыдились его: Антонович и Драгоманов весьма неохотно напечатали приведенную нами выше песню и, видимо, непрочь были внушить читателю мысль, что, быть может, она еще и не подлинная. Новые историки склонны, пожалуй даже преувеличивать значение факта, и Грушевский например видит в татарском союзе главную причину «неслыханного в истории казацких войн успеха» Хмельницкого. Сам Богдан, кажется, лучше видел причины своего успеха, лучше понимал, что татары гарантируют только *военную* сторону дела, и союз с ними только *военный* успех, а успеха политического нужно искать иным путем. «Поможет мне вся чернь,—говорил он в том же разговоре с польскими послами,—до Люблина, до Кракова. Как она не изменяла (православной вере), так и я ей не изменю, это—правая рука наша». Причина «неслыханного успеха» в том и заключалась, что на Украине поднялась «вся чернь», и только когда союз Хмельницкого с чернью был разорван, ему не оставалось другого выхода, кроме татарского, турецкого, шведского или московского союза [1]. Войны Хмельницкого с поляками резко распадаются на два периода: демократическую, крестьянско-мещанско-казацкую революцию 1648—1649 гг. и чисто казацкие кампании последующих лет. Разрыв Богдана с «чернью» служит гранью обоих периодов и в то же время меткой его наивысшего успеха; после этого его влияние идет на убыль, как и его слава.

Хлопское движение точно так же было лишь использовано Хмельницким, а началось оно самостоятельно раньше, чем запорожцы и крымцы пришли на Украину, и там, куда они еще и не заходили. Еще Богдан сидел в Запорожьи и вел переговоры с сечевиками, а в вотчинах Вишневецкого было больше чем простое брожение: Потоцкий доносил королю, что воевода русский (Иеремия Вишневецкий) отобрал у своих людей «несколько десятков тысяч самопалов», с которыми они собирались итти к

[1] Это признает и проф. *Грушевский*: но, весьма характерно, он дает этому не объективное объяснение—от несовместимости интересов казаков и «посполства», а субъективное—от неумения Хмельницкого оценить значение народной массы.

Хмельницкому. Движение в Галиции началось задолго до того, как в этих краях показались первые отряды казаков: масса восставшего крестьянства была, наоборот, «авангардом армии Хмельницкого», по словам одного историка [1]. Организационно этот авангард совсем не был связан с главными силами: от одного из его вождей, Кривоноса, Богдан открещивался не хуже, чем в свое время Лобода от Наливайка. Восставшие крестьяне уже в это время в глазах казацкого предводителя были бунтовщики, которых он не усмирял еще только потому, что они били поляков, значит, в военном отношении, как-никак, ему помогали. Один современный документ рисут нам живую картину этой, не имевшей социально ничего общего с казачеством, украинской пугачевщины. В одном галицийском селе отряды восставших, «разбойницкие хоругви», начали с того, что захватили замок, ограбили его и добром поделились. Потом вернулись на село, одни на телегах, другие пешком, с женами и детьми. Вся эта орда добиралась не столько до личности, сколько до имущества панов: убегавших помещиков не тронули, но забрали сундуки с их вещами, выпорожнили двенадцать сусеков с мукой, пшеном, горохом, солодом, житом, на лошадях въехали в гумно, забрали и оттуда овес, ячмень, горох, а самое строение разобрали и бревна увезли. А чего не смогли увезти, собрали в огромную кучу на дворе и зажгли. Это был, собственно, погром, а не вооруженное восстание, но погромщиков было столько, что небольшие отряды польской регулярной конницы были бессильны против них, а главные силы были связаны борьбою с Хмельницким и с татарами. Но движение не ограничивалось деревенскими низами: уже и они имели своих организаторов в лице духовенства. Почти в каждом погроме мы видим в качестве руководителя православного священника. Если верить показаниям одного попавшего в польские руки казацкого шпиона, и высшее духовенство не было движению чуждо: владыка луцкий Афанасий посылал будто бы казакам порох и пули, владыка львовский — три бочки пороху. Один священник говорил рассказчику: «У нас лучше вести, чем у вас, мы один другому пишем, и так вести доходят до самого Киева». Письма важных духовных лиц ходили будто бы по рукам между казаками. Еще сильнее было революционное движение среди буржуазии. Мещане копили тоже порох и пули для казаков, другие портили городские пушки, чтобы помешать обороне против казаков, третьи не останавливались даже перед обещанием зажечь город в случае надобности для той же цели. Львов Хмельницкий взял при помощи тамошних мещан, указавших ему, где идет городской водопровод, и как его перерезать. А в то время как земля всюду тряслась, громадное народное движение разрасталось час от часу. Хмель-

[1] *С. Томашевский*, Народні рухи в галицькій Русі 1648 р. Записки наук. Т-ва ім. Шевченка, т. XXIII—XXIV, стр. 16.

ницкий писал униженные просьбы польскому королю, уверяя его в своих верноподданнических чувствах, и клялся всеми святыми, что только нарушение казацких привилегий и вольностей заставило его, Хмельницкого, взяться за оружие и призвать к себе на помощь крымского хана. Стоит Речи Посполитой уважить законные требования казаков, и все сразу прекратится. А в этих требованиях нет ни звука ни о мещанах, ни о крестьянах, и только православная вера упомянута на самом конце, как бы для соблюдения приличия.

Требования Богдана Хмельницкого не оставались, правда, на одном уровне за все это время. Первая их редакция, относящаяся к лету 1648 г., не идет дальше ограждения казацких интересов в самом узком понимании этого слова. Первый пункт жалобы, поданной на варшавском сейме, резюмирует их все: «польское начальство обращается с нами, людьми рыцарскими, хуже, чем с невольниками». Казаки протестуют не вообще против тяжести податей, а против того, что подати берутся и с них, казаков; не вообще против непомерно высокого оброка, а против того что оброк берут с матерей и отцов казацких, хоть их сыновья и на службе, «как с других хлопов»; не вообще против барщины, а лишь против того, чтоб на барщину гоняли «наравне с мещанками» казацких жен; не вообще против стеснений права охоты, а на то, что даже на Запорожьи право казака охотиться обусловлено тяжелыми поборами. «И здесь, на Запорожьи, не дают нам покою, —писал королю Хмельницкий тем же летом, — не обращая никакого внимания на права и привилегии, которые мы имели от вашего королевского величества, вольности наши войсковые и нас самих обратили в ничто». В феврале следующего, 1649 г. мы слышим уже другое. Главной причиной зла оказываются уже не польские «урядники» с их злоупотреблениями, а уния: «неволя, горше турецкой, которую терпит наш народ русский»; уния должна быть упразднена: пусть остаются по-старому греческая вера и римская вера; что принадлежало православным до унии, пусть вернется к ним. Воевода киевский, чтобы был «русского народу» и православной веры, каштелян тоже; и чтобы они оба, как и митрополит киевский, имели место в сенате. К этому прибавляются *личное* требование, касающееся только Хмельницкого, выдача его ворога Чаплинского, и одно общеказацкое требование, тоже личного характера,—чтобы коронным гетманом не был Иеремия Вишневецкий.

За полгода перед тем требования были «сословными», казацкими: теперь они становятся национально-религиозными. Причина перемены совершенно ясна: за это время Хмельницкий победителем вступил в Киев, где его встречали «как Моисея», «спасителя и освободителя народа от неволи ляшской», встречала киевская академия и духовенство, как и следовало для полноты картины, с одним из восточных иерархов, патриархом иерусалимским, во главе. Движением завладела украинская интел-

лигенция—буржуазная интеллигенция, ибо и борьба с унией была, как мы видели, прежде всего, мещанским делом. Но мы напрасно стали бы искать в официальных заявлениях Хмельницкого демократических требований, выражавших настроение той «черни», которая была «правой рукой» Богдана, по его собственным словам. Когда нужно было похвастать своей силой перед польскими послами, «чернь» сыграла в последний раз свою роль. Но даже в этой замечательной речи, которую до сих пор сочувственно цитируют украинские историки, Хмельницкий договаривается до обещаний, которые немало удивили бы хлопов, если бы те их услышали. Пообещав сначала, что ни одного князя и ни одной шляхетки ноги на Украине не останется, Богдан затем и с ними готов был примириться—«пусть с нами хлеб едят»: только бы войска запорожского слушали да на короля не «брыкались». Нам еще ни разу не приходилось останавливаться на этой черте «демократической, пролетарской дружины»—ее глубоком монархизме. Хмельницкий не мог представить себе казаков без короля, как его донские собратья не могли бы представить себе Руси без царя всех православных. Королевские привилегии, подлинные или фантастические, составляли в его глазах юридическую основу всех его требований. Он непрестанно уверял в своих верноподданнических чувствах и Владислава, и позже Яна-Казимира. Когда последний прислал ему знаки гетманского достоинства—булаву и знамя,—он был этим весьма польщен, не меньше, нежели какой-нибудь варварский король эпохи переселения народов, получивши от императора консульские инсигнии. Победа над королевскими войсками внесла в этот монархизм только то нового, что Богдан стал чувствовать себя немножко ровней своему владыке: «хотя плохой я и ничтожный человек, а все же Бог меня учинил *единовластием*, *самодержцем русским*». Но даже и в эту минуту, хотя он и пьян был, по собственному признанию, он не забывал, что «король королем будет, чтобы карать и казнить шляхту, дуков, князей, но чтобы был он в этом волен: согрешит князь—отрубить ему голову; согрешит казак—и ему то же сделать». Если у Хмельницкого был какой-нибудь политический идеал, шедший дальше знакомых ему по опыту форм «государственности», то это был идеал не народоправства, хотя бы самого примитивного, а централизованной абсолютной монархии, с военной диктатурой во главе, наподобие той, о которой мечтал Иван Пересветов. Только такие идеалы и могло выращивать Запорожье.

В практической политике он руководился однакоже даже и не этим идеалом, а просто ближайшими, насущными интересами того класса, который он представлял,—буржуазии казацкой и неказацкой. Когда измена крымского хана под Збаражем поставила на карту все казацкие завоевания, Хмельницкий очень скоро пошел на основное польское требование, которое красной нитью проходит через все переговоры на протяжении этих двух

лет—«отступиться от черни, чтобы хлопы пахали, а казаки воевали». Добившись утверждения королем Яном-Казимиром всех казацких вольностей, запорожское войско очень охотно согласилось «вместе с коронным войском, общими силами, как давать отпор всякому пограничному неприятелю, так и *усмирять всяческие бунты*». И это не были пустые слова. До нас дошло несколько универсалов Хмельницкого, показывающих, что обещание «усмирять бунты», т. е. помогать панам обращать обратно в крепостное состояние только что завоевавших себе свободу хлопов, понималось им вполне серьезно. В этих универсалах «Богдан Хмельницкий, гетман, с войском его королевской милости запорожским» предписывали, чтобы «подданные» и «нереестровые» (т. е. не внесенные в реестр казаки—даже и они!) «*панам своим были послушны, как прежде*, и никаких бунтов и своевольных поступков не учиняли». А кто вздумал бы учинить какую ни есть кривду, того полковники киевский и черниговский должны были казнить смертью без всякого промедления. Другой универсал предоставляет право смертной казни и самим панам, только под надзором казацких полковников. Причем для вяшшего вразумления тут прибавляется, что не один мятежный хлоп уже и казнен. Не будем удивляться, что украинский народ в своих песнях так плохо поминает Хмельницкого и так славит полковника Нечая, убитого поляками именно в то время, когда коронные войска явились на Украину снова, чтобы вместе с запорожцами восстановлять порядок.

### 3. Украина под московским владычеством.

Разрыв с «чернью» и ненадежность хана, который за хороший «ясырь» готов был продать кого и что угодно,—это после Берестечка [1] было уже совершенно очевидно, но достаточно ясно было это и под Зборовым,—делали для Хмельницкого неизбежным союз с одной из «великих держав» восточной Европы. Не считая Польши, с которою Хмельницкий вел войну, таких держав было две: Московское государство и Швеция. Может показаться, что упоминать эту последнюю страну как возможную союзницу казаков в борьбе с Польшею,—своего рода исторический педантизм, объясняемый суетным стремлением перечислить все «исторические возможности», хотя бы и крайне далекие от осуществления. На самом деле, оба союза, с Москвою и с Швецией, объективно были *одинаково* возможны, и Хмельницкий действительно колебался между ними до последних дней своих,—причем в эти последние дни шведский союз был большею реальностью, чем московский. Но он совсем не

[1] Перед этой битвой (20 июня 1651 г.) московский агент доносил из Крыма: «Татары говорят: если поляки окажутся сильнее нас и казаков, то мы против них стоять не будем, а заберем за выход у казаков жен и детей в полон и приведем в Крым».

был новостью. «От шведского короля,—говорил в 1657 г. Богдан московскому послу,—я никогда отлучен не буду, потому что у нас дружба давняя, больше шести лет»: начало союза со шведами довольно точно совпадает, таким образом, с Берестечком и с окончательным разочарованием в крымском союзе. Своим скандинавским союзником Хмельницкий был очень доволен: «Шведы—люди правдивые,—говорил он в той же беседе с окольничим Бутурлиным,—всякую дружбу и приязнь додерживают, слово свое держат». Правда, говорилось это не без того, чтобы уколоть москвичей, которые слова своего не додерживали. Но Карл X мог действительно обещать казацкому гетману нечто такое, чего от царя Алексея тот дожидался тщетно: положение вассального государя, «удельного князя киевского», в своих внутренних делах независимого от кого бы то ни было, а по внешнему положению равного герцогу курляндскому или даже курфюрсту бранденбургскому. И такие обещания на самом деле были даны и приняты: в начале 1657 г. союз, считавший уже шесть лет фактического существования, был окончательно оформлен. «Изменник» Мазепа мог бы найти весьма авторитетный пример в подтверждение своего образа действий по отношению к Карлу XII. Если в конце концов Украина осталась в зоне московской политики, и, за исключением короткого эпизода при Мазепе, никогда не была шведским вассалом, здесь очевидно виноват был не Хмельницкий лично. Идеалистическая историография конечно всегда готова была дать этому факту субъективное объяснение: русское и православное казачество не могло примириться с зависимостью от иноверного и иноземного государя. Но мы скоро увидим, что представительница православия на Украине, киевская митрополия, с зависевшим от нее духовенством, была самым упорным врагом, какого встречало здесь московское владычество. Что касается русских симпатий Хмельницкого и его товарищей, то не надо забывать, что в рядах сражавшегося с ними польско-литовского войска было сколько угодно русских. Вся шляхта Волыни, Подолии, польской Галиции и литовской Белоруссии была русской крови и, по большей части, русского языка; главные деятели со стороны поляков, в области дипломатии—Адам-Кисель, на поле битвы—знакомый нам Иеремия Вишневецкий, были русские, а первый даже и православный. Казаки и сами заявляли, что считают Киселя «своим»: но это нисколько не прибавило ему авторитета в глазах казаков и не помешало его переговорам с Хмельницким кончиться полной неудачей. А в припадках гнева на Москву тому же Хмельницкому случалось говаривать, что он отдастся в подданство турскому царю и вместе с турками и крымцами будет ходить войною на Московское государство. Хоть и сказанные в гневе, это не были пустые слова: до нас дошла грамота султана Магомета IV (от декабря 1650 г.), где Богдан титулуется «голдовником» (вассалом) Турции, в знак чего ему и жалуется от султана почетная шуба. А уж

кто бы, казалось, дальше был от казачества и по национальности, и по вере, и по всему историческому прошлому, чем «неверные» турки? Союзы государств и в XVII в., как теперь, определялись не симпатиями народных масс, а политическими расчетами руководящих слоев—симпатии же очень легко инсценировались и тогда, как теперь, если руководящим слоям то было нужно. Когда Богдану был нужен московский союз, посланцы царя Алексея отовсюду слышали хвалы московскому государству и выражения горячего желания «в государеву сторону перейти». Но переговоры и после этого шли не только с Москвой, а и с Швецией, и с султаном, и венгерским правителем Ракочи, и если в конце концов ближе всех оказалась все же Москва, то это был результат своего рода «естественного отбора». Почему в этой борьбе союзов московский оказался «наиболее приспособленным», хотя личные симпатии Хмельницкого и руководящих кругов казачества к нему вовсе и не лежали, это становится ясно, когда мы читаем переписку Богдана с Москвой с первых же шагов восстания. В первых же письмах перед нами стоит чудовищный, с точки зрения традиции, образ—польско-московского союза против казаков: едва узнав о восстании запорожцев, московское правительство сосредоточило под Путивлем 15 тыс. человек. Формальным предлогом для этого был союз Хмельницкого с крымским ханом и возможность нападения беззастенчивых по части международного права крымцев на соседние русские области. Но казаки этому не верили и говорили, что москвичи «в речи на татар, а более на самих нас хотели ляхам помогать», как писал Богдан (20 июня 1648 г., вскоре после Корсунской битвы) хотмыжскому воеводе кн. Семену Болховскому. Месяц спустя он писал путивльскому воеводе еще прямее: «Не надеялись мы того от вас, чтобы вы ляхам, недоверкам, на нас, православных христиан, на братию свою, помощь войсками своими давали...» Но московское правительство, по-своему, было право: даже и позднее, когда Украина уже признала московскую власть, беглые боярские люди и крестьяне собирались в глухих лесах целыми ватагами и хотели итти к Хмельницкому, надеясь найти на Украине и землю и волю. Но в это время московская администрация, в союзе и единении с казацкой, могла их хватать и вешать, а что было бы делать, если бы казацкое государство стало совсем независимым? На Москве значение того факта, что «чернь»—«правая рука» Хмельницкого, понимали едва ли не лучше, чем сам Богдан. Поскольку московское государство было дворянским, а не боярским, оно было ближе к казакам, нежели к польским панам: но поскольку казацкая революция, в начальном своем периоде, была и крестьянской, она была одинаково страшна и панской, и дворянской «государственности». Хмельницкий должен был дать известный залог своей благонадежности, чтобы в Москве согласились хотя бы разговаривать с ним. В 1653 г., когда запорожское войско дало

виденные уже нами блестящие примеры «восстановления порядка», вопрос был только об условиях союза: принципиально дело могло считаться решенным. Но в 1649 г. для Москвы разумнее было держаться выжидательной политики: а чем осторожнее были в Москве, тем настоятельнее нужен был Хмельницкому московский союз, или, по крайней мере, благожелательный нейтралитет московского государства. Как польское восстание 1863 г. было раздавлено между Россией и Пруссией, так казацкое восстание XVII в. было бы, вне всякого сомнения, раздавлено между Москвою и Польшей, действуй эти последние вместе. Разъединить их было основной дипломатической задачей гетманов и после Хмельницкого: но те иногда разрешали эту задачу, становясь на сторону Польши, как это сделал Выговский. В разгаре же борьбы с поляками Хмельницкому не оставалось другого выхода, как искать московской дружбы, независимо от того, был он сам, внутренно, другом Москвы или нет.

Московский союз был *политической* необходимостью для казачества, как крымский был необходимостью *военной*. Находясь в различных плоскостях, они, как это ни кажется на первый взгляд странно, и не мешали друг другу. Получив 27 марта 1654 г. в качестве «вечного подданного» царя Алексея жалованную грамоту на город Гадяч, Богдан через три недели, 16 апреля, писал крымскому хану, что и ему присяги он не нарушит «на веки вечные», и сам, и все потомки его. Хана он называет в этом письме «своим всемилостивейшим государем», а насчет московского союза объясняет, что хану нечего от того бояться: ведь всякий ищет «иметь побольше приятелей»; поляки заключили же союз с венграми и волохами, отчего же ему, Богдану, не подкрепить себя, с своей стороны, московской дружбой? Но уже из этого совпадения двух союзов с двумя обычно враждовавшими между собою государями видно, что «подданство» на Украине понималось совсем не так, как понимали его обычно в Москве. В первое время подчинение Украины московскому царю представлялось Хмельницкому в очень своеобразной форме. Мы знаем, что «сильный король» Речи Посполитой был его заветной мечтой: ему казалось, что, когда властная рука сверху обуздает панов, последние сразу притихнут и станут для казаков безвредны. Но у выборных польских государей самих не было другой опоры, кроме этих же панов: могли ли они обуздать тех, от кого сами зависели? Иное дело, если король будет иметь собственную силу, независимую от польской аристократии,—такому королю легко будет справиться с панами. Вот, если бы королем стал государь московский: он бы показал панам, как обижать казаков! «Мы бы желали себе такого государя-самодержца в своей земле, как ваша царская вельможность,—писал Богдан в первом своем письме царю Алексею (8 июня 1648 г.),—если бы была на то воля Божия, да твое царское желание, сейчас же, не мешкая, на панство то наступати—мы бы со всем войском запорож-

ским готовы были услужить вашей царской вельможности!» В этом водворении «православного хрестьянского царя» на польский престол руками запорожского войска казацкий гетман (в переписке с Москвой он уже тогда подписывался так, чего еще тщательно избегал, пиша полякам) видел даже исполнение какого-то «предвечного пророчества Христова», хотя едва ли сам сумел бы сказать, где его можно найти. Вначале Москва, так недавно сама избавившаяся от польского царя, относилась однакоже к «предвечному пророчеству» довольно холодно. За пятнадцать лет перед тем Смоленск не удалось добыть обратно у поляков—где уж тут, казалось бы, мечтать о польском престоле? Только неожиданно блестящие успехи московских войск в начавшейся в 1654 г. войне (в первых числах июня сдался первый «литовский» город Дорогобуж, а в августе московские воеводы стояли уже на старой литовской территории, под Могилевом; год спустя московский царь вступал в Вильну и, с благословения патриаршего, стал писаться «великим князем литовским») выдвинули вопрос о польской кандидатуре Алексея Михайловича в область практической политики. Но тут сейчас же и обнаружилось, как близоруки были надежды запорожского войска. Одна мысль о том, что московский царь, может быть, сделается и королем Польши, крайне ослабила энергию Москвы в борьбе с этой последней. Польские дипломаты систематически манили царя Алексея престолом Речи Посполитой и очень удачно выменивали на эти туманные надежды вполне реальные куски занятой московскими войсками территории. А к Украине будущий православный государь Польши стал так относиться, что Хмельницкому пришлось искать подмоги у Карла X шведского и Ракочи венгерского.

Надежды на всемогущего короля-царя, который смирит гордых панов, поблекли у Хмельницкого впрочем еще гораздо раньше. Не нужно забывать, что он, по собственному признанию, «сделал то, чего не мыслил». Казацкие восстания до сих пор всегда кончались неудачей, как только на театре войны появлялась регулярная коронная армия: теперь случилось неслыханное: вся эта армия, с двумя ее главными командирами, гетманами, оказалась в казацком плену. По той же переписке Богдана с царем Алексеем видно, до какой степени самому казацкому предводителю трудно было освоиться с таким неожиданно счастливым оборотом дела: взятие в плен гетманов Хмельницкий прямо приписывает татарам, умеьшая свою военную славу к явной невыгоде для своей конечной цели—союза с Москвой. Ряд новых побед приучил его к тому, что он сильнее, чем мыслил когда бы то ни было. Тон его переговоров с московскими дипломатами становится все увереннее. Москва ему еще очень нужна, но он говорит с нею уже почти, как с равным. Вначале он, и бунтуя против Речи Посполитой, не мог себе представить себя иначе, как польским подданным—мы видим, что даже еще в

разгаре революции он не переставал уверять короля Яна-Казимира в своих верноподданнических чувствах. Но это было в официальных документах, где каждое слово взвешивалось: в застольной беседе, когда языки развязывались, Богдан уже в феврале 1649 г. начинает называть себя «единовластцем русским. Эта мысль, что он, Хмельницкий,—государь, государь новой страны, независимой, казацкой Украины, мысль, которой раньше он сам испугался бы в трезвом виде, начинает сквозить все отчетливее в его внешней политике—и в мелочах, вроде подыскивания для своего сына невесты непременно из владетельного дома, хотя бы и не важного, молдавского, сквозит и в крупном—в его договоре с Москвой. «Борони Боже смерти на пана гетмана (ибо всякий человек смертен—и без того не может быть)...»—читаем мы в одном из пунктов этого договора: и вы чувствуете, что это не только договор казацкого войска с московским правительством, но и договор двух государей, гетмана Богдана с царем Алексеем. Наиболее полного выражения эта идея достигает в одном из позднейших документов, грамоте Хмельницкого обывателям пинского повета, прибегнувшим к покровительству войска запорожского. Проф. Грушевский справедливо отметил, что в этой грамоте нет ни звука о Москве (если не считать титула: «гетман войска его царской милости запорожского»)—и это, без сомнения, характерно для тех отношений, в каких стоял тогда к московскому правительству гетман: но, может быть, еще характернее обещание пинчанам протекции гетмана с «*потомками нашими* и всем войском запорожским». Богдан чувствовал себя в эту минуту не только монархом, но и наследственным монархом, несмотря на выборы гетмана, которые он конечно признавал теоретически, но это так же мало делало его демократом, как раньше казацкий «республиканизм» мало мешал его верноподданническим чувствам к Яну-Казимиру. Конечно гетмана выбирают, но выбрать должны, разумеется, моего сына: в этой формуле было мало логики, но психологически она как нельзя быть более понятна.

Защита казачества от панов уступает теперь место защите своей внутренней политической самостоятельности от своих союзников и покровителей. Объективное основание такой перемены не нужно долго искать. Паны были сметены народной революцией так чисто, что, когда они понадобились, пришлось их завести заново. Прибегать против них к помощи земного провидения, в образе царя-короля, перед которым все равны, не имело смысла. А московский воевода был реальностью, которую можно было видеть необычайно близко, в соседнем Путивле, откуда этой реальности ничего не стоило передвинуться немного на запад и очутиться в Переяславле или Киеве. Богдан-инсургент 1648 г., может быть, и не поднял бы вопроса о пределах воеводской власти на Украине,—не поднял бы, по крайней мере, до той поры, пока не столкнулся бы с этой властью на

практике. Богдан-государь 1653—1654 гг. был подозрительнее и предусмотрительнее. Петиции Хмельницкого царю Алексею,— которые юридически, может быть, и не совсем правильно называть «договором», потому что представители московского царя, как известно, отказались по ним присягнуть, к великому смущению казацкой старшины,—и носят прежде всего этот *политически-оборонительный* характер. Обороняются, во-первых, само собою разумеется, права и преимущества *казачества*: «спачала изволь, твое царское величество, подтвердить права и вольности войсковые, как от веку было в войске запорожском, которое по своим правам судилось и вольности свои имело, чтоб в именья и суды его ни воевода, ни боярин, ни стольник не вступались, в войсковые суды: пусть товарищество так судит,—где три человека казаков, двое судят третьего». Ближе всего к казачеству стояла *шляхта*: «скасовав шаблею козацкою» права и привилегии крупного феодального землевладения, польского по культуре, католического по вере, казацкая революция не тронула среднего землевладения, русского и православного: около 300 шляхтичей присягнуло в январе 1654 г. царю Алексею вместе с казаками. Естественно было позаботиться и о них. Гетман просил, чтобы «они (шляхтичи) при своих шляхетских вольностях пребывали и между собою выбирали старших на служебные должности (мы знаем, что добиться выборного дворянского суда было крупным успехом литовско-русской шляхты еще до унии с Польшей) и *имения свои* и вольности имели, *как при королях польских было*, чтобы и другие, видя такую милость твоего царского величества, стремились под державу и могущую великую руку» московского царя. Сохранение шляхетством своих «добр» в прежнем виде само собою предполагало и сохранение в прежнем виде крестьянских повинностей в этих «добрах», другими словами, крепостного права. Казачество, использовав хлопское восстание в борьбе с Польшей, вовсе не собиралось закреплять результаты этого восстания, ломая традиционный, общественный строй Украины: оно ограничилось тем, что вобрало в себя экономически более сильные элементы поспольства, увеличив «реестр» до 60 тыс., но сохранив его все-таки. Это сохранение реестра, введенного некогда польским правительством *против* казаков, теперь, когда польское господство было свергнуто, необычайно характерно. Казаки меньше всего желали, чтобы права и вольности войсковые сделались общим достоянием: реестр играл роль новейшего ценза, держа в стороне от власти слишком уже черную «чернь». «Можнейшие попписались в казаки, а подлейшие остались в мужиках»,—такими словами одного документа XVIII в. можно охарактеризовать социальные результаты восстания Хмельницкого. Но, оставив при своих «звичних обовязких» массу поспольства, казачество не могло не позаботиться о своем давнем союзнике—городской буржуазии: «чтобы в городах начальство выбиралось из наших людей

(т. е. украинцев), на то способных, которые и обязаны будут управлять подданными твоего царского величества и правильно вносить в казну твоего царского величества следуемые доходы». Все эти «урядники»—«войты, бурмистры, райцы и лавники»—должны были очевидно остаться такими же, какими были они при польском господстве: как шляхетство осталось при своих «вольностях», так и города Украины—при своем «магдебургском праве». Но «политической страной» оставалось одно казачество: в случае смерти гетмана, нового выбирали не все украинцы, а только одно запорожское войско, притом оно выбирало совершенно самостоятельно, только «извещая его царское величество»—«чтобы не было это для его царского величества тайной». А гетман имел даже право, хотя и ограниченное (Хмельницкий желал неограниченного), ссылаться с иностранными государствами: Москва монополизировала только дипломатические сношения Украины с главными московскими соперниками—Польшей и султаном; послов от них гетман не имел права принимать, ни к ним посылать: со всеми остальными он мог сноситься, опять-таки, извещая Москву.

В свое время, в дни казацкого самоуправления, польское правительство играло на противоречиях классовых интересов внутри самого казачества—на вражде «дуков» и «нетяг». Ошибка ординации 1638 г. в том и заключалась с польской стороны, что ординация, уничтожив казацкое самоуправление вовсе, на время отодвинула на старый план всякие внутренние казацкие разногласия, и «дуки» выдвинули из своей среды гетмана Богдана. Восстановление казацкой,—а не украинской,—автономии должно было восстановить и прежние отношения внутри автономного казачества: и московское правительство не хуже польского сумело использовать классовую вражду казацкого верха с казацким низом. Постепенное превращение казацкого государства в московскую провинцию, только управляемую на особых условиях, было ближайшим результатом этого. В три гетманства—Выговского, Юрия Хмельницкого и Брюховецкого—процесс был почти закончен. Боярин Брюховецкий был уже не столько «казацким государем», сколько просто наместником государя московского с особыми полномочиями. А к началу XVIII в. это положение стало считаться настолько нормальным, что попытка Ивана Мазепы подражать Хмельницкому в деле шведского союза значительной доле даже самого казачества показалась настоящей государственной изменой.

Москве необходимо было ассимилировать Украину по той простой причине, что иначе московская «польская украйна» превращалась в бездонную бочку, и основная задача, из-за которой только и стоило вмешиваться в казацко-панскую войну, колонизация пристепных южных уездов московского государства становилась задачей неразрешимой. В Москве на каждого прибылого черкаса смотрели, как на ценную добычу, и даже по

поводу Хмельницкого одно время питали надежду, что, может быть, он со всем «войском Запорожским» перекочует в московские пределы, на Донец: а теперь Украина начала полниться на счет этих самых московских пределов. То явление, которое мы отмечали уже выше, бегство великорусских крестьян в казачину, продолжалось неудержимо и после смерти Хмельницкого. «В это время,—говорит Костомаров о гетманстве Юрия Хмельницкого,—Малая Русь сделалась притоном беглых людей и крестьян из Великой Руси. Из уездов Брянского, Карачевского Рыльского и Путивльского от вотчинников и помещиков бегали боярские люди и крестьяне в Малую Русь, составляли шайки около Новгорода-Северского, Почепа и Стародуба, нападали на имения и усадьбы своих прежних владельцев и делали им всякие «злости и неисправи ые разорения» [1]. Любопытно, что интересы «можнейших» и московского правительства в этом пункте совпадали: для казачества и свои «гультяи», просившиеся в его ряды, были не малой докукой; что же было сказать о тех, кто старался пробраться на Украину из-за московского рубежа? Гетман Выговский (заступивший место Хмельницкого после смерти последнего, 27 июля 1657 г.) бил челом царю Алексею, чтоб великий государь послал сделать перепись между казаками, написать 60 тыс. *и вперед бы гультяям в казаки писаться было не вольно.* Очень хорошо, что решено царских воевод посылать по украинским городам: «этим в войске бунты усмирятся; да хотя бы государь и в иных городах изволил воеводам быть, то у них бы в войске было гораздо лучше и смирнее; изволил бы великий государь послать в войско Запорожское своих воевод и ратных людей для искоренения своеволия» [2]. Найдя московское правительство в деле «искоренения своеволия» недостаточно энергичным, Выговский ушел к полякам: кто его поддерживал, достаточно ясно из договора, заключенного им с Речью Посполитой в Гадяче (6 сентября 1658 г.). По одной из этих знаменитых «гадяческих статей» король обязывался «нобилитовать», возвести в шляхетское звание, казаков, которых представит ему гетман; по другой, все уряды и чины в воеводствах Киевском, Брацлавском и Черниговском должны были остаться в руках шляхты. Казацкая старшина и местное дворянство сливались теперь и фактически, и юридически в один класс. В первую минуту Москва так испугалась неминуемой, казалось, потери Украины, что московскому главнокомандующему князю Трубецкому было дано полномочие—просто переписать гадяческие статьи на царское имя, если Выговский согласится. Но Москва напрасно беспокоилась: если царские воеводы не хотели покончить с «своевольниками», дабы не нарушать необходимого для них на Украине неустойчивого равновесия, всегда дававшего повод для

[1] «Исторические монографии и исследования», т. XII, стр. 170—171.
[2] *Соловьев*, изд. «Общ. польза», кн. III, стр. 20.

московского вмешательства, то поляки не могли этого сделать. Занятые в это время войной на других театрах, они не в состоянии были предоставить в распоряжение Выговского более 1 500 человек коронного войска. С москвичами преемник Хмельницкого справился только при классической помощи татар, лишний раз оправдав поговорку: «За кого хан, тот и пан». Крымцы уничтожили московское войско (под Конотопом, весною 1659 г.), но оставить их в стране для «поддержания порядка» не пришло бы в голову самым жадным до шляхетского звания казакам. А между тем без жандарма они обходиться уже не могли. «Благоразумнейшие из старшин казацких молят Бога, чтобы кто-нибудь *или ваша королевская милость, или царь взял их в крепкие руки и не допускал грубую чернь до такого своеволия*», писал польскому королю его генерал, начальствовавший небольшим коронным войском на Украине. Пришлось обратиться опять к Москве, и Выговский уступил булаву сыну Хмельницкого, Юрию. Условия, предъявленные Москве при этом случае казацкой старшиною, представляют собою последнюю попытку отстоять казацкую автономию, как понималась она при отце нового гетмана. Мы опять видим перед собой казацкое государство, самостоятельно сносящееся с иными странами — только с ведома своего союзника и покровителя; опять находим просьбу, чтобы царских воевод на Украине не было,—разве в одном Киеве. Но в 1659 г. выяснились уже кое-какие новые пункты, о которых при Хмельницком еще не думали. Царь русский и православный, принявший под свою высокую руку Украину, именно ради того, чтобы там не терпела больших обид православная вера,—это была официальная мотивировка войны с поляками,—должен бы, казалось, иметь в малороссийском православном духовенстве своих ревностнейших слуг, главную опору своего влияния. На деле, как только зашла речь о присяге московскому государю украинцев, первые, кто от этого уклонился, были шляхта и дворовые люди митрополита киевского. Сам митрополит, хотя и признавал свою обязанность «за государево многолетнее здоровье Бога молить», одобрял однакоже поведение своего вассалитета в вопросе о присяге и упорно избегал личного свидания с представителем московского царя. Такое начало не обещало ничего доброго: и действительно, довольно скоро в Москве узнали, что киевский митрополит и остальное высшее украинское духовенство присылали к Яну-Казимиру тайно двоих монахов «с объявлением, что им (митрополиту и другим малорусским архиереям) быть с московскими людьми в союзе невозможно, и они этого никогда не желали; Москва хочет их перекрещивать: так чтобы король, собравши войско, высвобождал их, а они из Киева московских людей выбьют и будут под королевскою рукою попрежнему» [1]. Московские люди,

[1] *Соловьев*, I, стр. 1674.

в свою очередь, не оставались в долгу, и первый же московский комендант Киева начал с того, что отобрал часть земли у митрополита и различных киевских монастырей для постройки на этой земле укреплений. Хмельницкому приходилось в одно и то же время искоренять крамолу среди украинского духовенства и защищать это духовенство от слишком круто наступавших на него московских порядков. Приходилось рядом с автономией войска запорожского ставить автономию украинской церкви: это и выполняли статьи, предъявленные казацкими полковниками кн. Трубецкому в Переяславле в октябре 1659 г.; малороссийское духовенство должно было остаться таким же выборным, как и казацкая старшина, а в духовном отношении зависеть от патриарха не московского, а константинопольского, к которому привыкли и с которым знали, как ладить. Но единого казачества уже давно не существовало, это и в Москве отлично знали, да этого и старшина в своих пунктах не умела скрыть. Она сама признавалась, как плоха у нее дома дисциплина, прося, чтобы царь не принимал челобитий из Украины иначе, как через гетмана или его представителя, и чтобы он прислал в распоряжение гетмана московское войско. Но два требования: «не мешайтесь в наши внутренние дела» и «защитите нас от наших внутренних врагов» взаимно исключали друг друга, и Москва отлично поняла это. Коли гетман не может обойтись без московского войска, чего же он чурается московских воевод? Нужно тебе войско, бери воеводу с ним. «Быть царским воеводам с войском в городах Переяславле, Нежине, Чернигове, Бреславле, Умани», ответили из Москвы на пункт о воеводах. А затем, явно нелогично было ставить гетмана независимым правителем автономной Украины и в то же время признаваться, что без московской поддержки ему не усидеть: тот, при чьей помощи гетман только и может быть гетманом, очевидно и есть настоящий хозяин Украины. Москва должна же была знать, кого она должна будет поддерживать: пусть гетмана выбирают, но под контролем московского правительства; пусть, если угодно, меняют, но только с его разрешения. А что применимо к главе всей казацкой старшины, применимо и к ней вообще: судить и казнить полковников гетман мог опять-таки только с ведома и разрешения Москвы. Очевидно при такой постановке дела, что сношений отдельных казаков и казацких «урядников» с Москвой мимо гетмана никак нельзя было запретить. «Если кто из войска запорожского к царскому величеству без гетманского листа и приедет, то царское величество велит дело рассмотреть,—поучали в Москве казацких депутатов,—и если которые люди станут приезжать по своим делам, а не для смут, то царское величество и указ им велит чинить по их делам; от которых же объявятся ссоры, то государь никаким ссорам не поверит и велит отписать об этом к гетману. Так гетман бы ничего не опасался; если же исполнить эту их просьбу, то вольностям их будет нарушенье,

этим они вольности свои замыкают». Точно так же, ограждая «вольности» украинского духовенства, в Москве не согласились и на его автономию. «Митрополиту киевскому быть под благословением патриарха московского, потому что духовенство на переяславской раде приговорило так». А о том, что переяславская рада 1659 г. совещалась, окруженная со всех сторон московскими войсками, — обеспечивавшими свободу прений, само собою разумеется, чтобы какие-нибудь смутьяны ее не нарушили,—об этом что же было вспоминать? Ведь сам же гетман просил, чтобы войск царских из Украины не уводить.

Москва имела теперь против себя не только верхи казачества, но и украинскую буржуазию, ибо западнорусская церковь, как мы видели, была прежде всего буржуазной организацией. За это московское правительство поплатилось еще одной военной неудачей: благодаря тому, что и Юрий Хмельницкий, подобно Выговскому, вынужден был «изменить» и присягнуть королю, повторился Конотоп, и даже в увеличенном масштабе. В октябре 1660 г. вся московская украинская армия, под командой Шереметева, при Чуднове (около Житомира), должна была положить оружие. Но политически Москва вела беспроигрышную игру: чем резче проявляли свою антипатию к московскому режиму верхи, тем преданнее были низы Москве. А единственная опора верхов после «измены», польское войско, оказалась так же слаба при Юрии Хмельницком, как и при Выговском: на другой день после Чуднова татары (без которых и здесь конечно не обошлось) ушли, а коронное войско, не получая жалованья, стало бунтовать. Старшина опять волей-неволей начала думать о примирении с Москвой; и на раде, где не было «черни» (как наивно объясняли собравшиеся: чтобы избежать чересчур больших расходов), был выбран гетманом Сомко, дядя постригшегося в монахи Юрия Хмельницкого, тотчас же начавший уверять царя Алексея в своей преданности. Но для Москвы подобные союзники были уже не нужны: это была пройденная ступень, и простого повторения истории Выговского теперь было мало. Нужно было нанести старшине такой удар, после которого ей осталось бы только сдаться на милость победителю. Предлог же не утвердить Сомка гетманом—что без утверждения московского государя гетманом быть нельзя, об этом теперь уже не спорили—был превосходный: гетмана должно выбирать все казачество, «как старшие, так и меньшие»: а где же эти последние? Кто их видел на выборах Сомка? Повести на этой почве демагогическую агитацию было крайне легко, и весьма скоро мы находим депутатов от запорожской «черни» в очень дружеских разговорах с московским воеводою кн. Ромодановским—тут же, при них, третировавшим Сомка и его сторонников. Депутаты эти, подпив, откровенно говорили, что они «сошлись затем, чтобы перебить городовую старшину, которая обогащается на счет простого народа»[1].

[1] *Костомаров*, ibid., стр. 280.

Под видом демократической, «черной», рады подготовляли, таким образом, просто погром старшины казацкими низами: и программа эта была выполнена, как не надо лучше. Казацкая демократия выдвинула кандидатом в гетманы Брюховецкого, который сразу стал и официальным кандидатом московского правительства: царский представитель разбил свой шатер рядом с его ставкой, и Сомко со своими сторонниками должен был итти во вражеский стан для того, чтобы принять участие в выборах. «Их кармазинные, вышитые золотом жупаны, богатые уборы на конях составляли противоположность с сермяжными свитами и лохмотьями пеших, обнищалых, разоренных сторонников Брюховецкого, сбежавшихся отовсюду на добычу». Оставшаяся еще на стороне Сомка часть «черни», увидав своих у Брюховецкого, стала массами покидать кандидата старшины. Сомка прогнали с места выборов—не без содействия и московских войск, а потом отпраздновали свою победу грандиозным грабежом всех его богатых сторонников, которых тут же, на раде, ободрали догола. «Брюховецкий исполнил свое обещание, которое сообщали черному народу его пособники: он дозволил грабить богатых и потешаться вообще над «знатными» в течение трех дней. По этому дозволению безобразное пьянство, грабежи, насилия продолжались три дня, «знатных» мучили беспощадно, никто за них не взыскивал, все обращалось в шутку,—говорит самовидец. Все имение тех, которые сидели в замке под стражею, было расхищено, так что у них во дворах не осталось ровно ничего. Худо было всякому, кто носил кармазинный жупан; иных убивали, а многие тем спасли себя, что оделись в сермяги» [1]. На место ограбленных, убитых и казненных—к числу последних принадлежал сам Сомко с ближайшими сторонниками—поставлена была новая старшина, полковники «из гультяйства запорожского», которые, из «голоты» ставши начальниками, прежде всего стремились материально использовать возможно скорее доставшуюся им —бог весть, надолго ли?—власть и от того «имеяху всегда на мысли разграбление». Главные вожди «черной» рати были пожалованы дворянами московскими, а их начальник, Брюховецкий, стал боярином. За такую царскую милость нельзя было не отблагодарить, и новый гетман ударил государю челом—всей Украиной приехав в Москву, просил, чтобы великий государь пожаловал, велел малороссийские города со всеми принадлежавшими к ним местами принять и с них денежные и всякие доходы сбирать в свою государеву казну, и послать в города своих воевод и разных людей. А насчет церкви Брюховецкий оказался радикальнее самой Москвы: прямо предложил, чтобы киевским митрополитом был «святитель русский из Москвы». Московский государь нашел, что это уже слишком,—и пообещал только снестись об этом с патриархом константинопольским.

[1] *Костомаров*, ibid., стр. 295, 301—302.

Мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что этот демократический гетман отсутствие «сепаратизма» выкупал какими-либо социальными новшествами, проведенными ценою уступок Москве. Ничуть не бывало. В этом отношении Брюховецкий решительно ничем не отличался от своих предшественников. Отдавая московскому царю доходы с украинских городов, он и себя не забывал. Вдобавок к Гадячу—гетманскому домену со времен Хмельницкого, он просил себе еще в личное, не по гетманской должности, наследственное владение целую «сотню» (волость) в Стародубском полку, да еще мельницу под Переяславлем. Всем полковникам своим новый гетман выпросил по селу. И, наконец, не довольствуясь московскими войсками, которым теперь и не суждено было уходить из Украины, хлопотал об организации постоянной гетманской гвардии «из московских людей»: «без таких людей мне никакими мерами быть нельзя в шаткое время—меня уже раз хотели погубить, да сведал во время», говорил он приставленному к нему московскому дворянину Желябужскому. Москва могла быть довольной,—несмотря на полный разгром старшины, Брюховецкий не остался без противников. Буржуазия с духовенством во главе ненавидела новую старшину и боялась ее. Боярин Шереметев писал из Киева: «Теперь епископ, архимандрит печерский и всех малороссийских монастырей архимандриты и игумены, и приходские попы с мещанами в большом совете и соединении, а с гетманом, полковниками и казаками совету у них мало за то, что гетман во всех городах многие монастырские местности, также и мещанские мельницы отнимает, да он же, гетман, со всех малороссийских городов, которыми великому государю челом ударил, с мещан берет хлеб и стацию большую грабежом, а с иных за правежем». А Брюховецкий на вопрос, чем успокоить «шатость» в малороссийских городах, отвечал: «одно средство—когда эти города будут взяты государевыми ратными людьми (после бунта, подразумевалось), то надобно все их высечь и выжечь, и всячески разорить, также и села около них, чтобы вперед в этих городах и селах жителей не было» [1]. При таких отношениях вождя голоты и зажиточного мещанства (включая сюда и зажиточных казаков, проживавших в городах, которые теперь охотнее писались мещанами, чем казаками), пожива для московской дипломатии оставалась богатая.

Если этой дипломатии пришлось по Андрусовскому перемирию (1667 г.) отказаться от целой половины захваченной было добычи—от всей правобережной Украины, кроме Киева,—в этом виноваты были не внутренние украинские условия, а те тиски, в которые извне схватили Москву с севера шведы, с юга турки, призванные правобережным гетманом Дорошенком. Чего стоила московскому государству тринадцатилетняя

[1] *Соловьев*, часть III, стр. 151, 158.

война, мы увидим в следующей главе: начинать новую кампанию с противниками посильнее расшатанной казацкими и крестьянскими восстаниями Речи Посполитой думать не приходилось. Оставалось пользоваться тем, что в тех же тисках была и сама Польша; но предложение—поделить Украину Днепром и тем покончить спор—шло из Москвы. И даже уступка Киева была для московских дипломатов приятным сюрпризом: «свыше человеческой мысли», писал об этом нежданном приобретении Ордин-Нащокин. Насколько Москве был нужен мир, видно из того, что она не отказалась заплатить бывшим польским помещикам левобережной Украины за их «скасованные козацкою шаблею» права, правда, не совсем по их оценке: паны желали получать по 3 млн. золотых *в год*, а московский государь отпустил им 1 млн. *единовременно*. Но принципиально конфискация латифундий Вишневецкого и других магнатов была все же не без выкупа.

К этому времени впрочем не было уже недостатка в новых магнатах: крупное землевладение возродилось так же быстро, как и пропало. Об имениях гетманов, не уступавших Конецпольским и Вишневецким, мы уже не раз упоминали мимоходом. Но за гетманом шла и остальная старшина. «... Пожалуй меня, подданного своего,—бил челом царю Алексею нежинский полковник Василий Золотаренко (март 1660 г.),—и их, ясаула Леонтия Бута и сотников Романа и Филиппа, за их к тебе, государь, верную службу, и за раденье, и за давнюю и за нынешнюю работу: вели, государь, им дать вновь—Леонтию Буту, ясаулу, сельцо Киселевку и Адамовку... а крестьянских дворов в них с сорок, опричь казаков... сотника Романа в Нежинском полку селом Кистер... а в нем крестьянских дворов, опричь казаков, со сто; глуховского сотника Филиппа селом, называемым Гремячи... и в том селе крестьянских дворов с шестьдесят, опричь казаков...» Брюховецкий в то время, когда еще он не был гетманом, а был в оппозиции и обличал неправды Сомка и его друзей, говорил московскому посланнику Ладыженскому: «У нас в войске Запорожском от века не бывало того, чтобы гетманы, полковники, сотники и всякие начальные люди без королевских привилегий владели мещанами и крестьянами в городах и селах, разве кому король за великие службы на какое-нибудь место привилей даст: те только и владели. А гетманской, полковницкой, и казацкой, и мещанской вольности только и было, что если кто займет пустое место земли, лугу, лесу, да огородит или окопает, да поселится со своею семьей—тем и владеет в своей городьбе; а крестьян держать на таких землях, кто сам собою занял, никому не было вольно,—разве позволялось мельницу поставить; да и вином в чарки казаки не торговали: одни мещане торговали тогда и с того платили королю или панам, за кем кто жил... А теперь гетман, полковники и прочие начальные люди самовольно позабирали

себе города, и места, и пустовые мельницы, а черных людей отяготили так, что под бусурманом в Царьграде христианам такой тягости не наложено» [1].

Характеристика тех экономических условий, которые в свою очередь «скасовали» завоевания казацкой сабли на Украине во второй половине XVII в., так хорошо сделана одной новейшей исследовательницей, что мы можем воспроизвести эту характеристику здесь дословно, с небольшими оговорками, читатель увидит, какими. «Хлеб, почти единственный продукт южной полосы края, не имел сбыта ни внутреннего, так как население, вообще говоря, не нуждалось в покупном хлебе, ни внешнего: хлеб, по своей дешевизне и по затруднительности транспорта, не выносил сколько-нибудь отдаленной перевозки. Чтобы обратить хлеб в деньги, необходимо было его переработать. И вот, первою страстною заботой каждого пана стало всеми правдами и неправдами завладеть возможно большим числом мельниц и мест, для них удобных, а затем и понастроить винокурен с возможно большим числом казанов, т. е. винокуренных котлов. Свобода винокурения, предоставленная московским правительством украинскому народу, была такой важной привилегией, что, конечно, та более обеспеченная часть населения, которая могла извлекать из этой привилегии непосредственные выгоды, дорожила ею не менее, чем всеми своими политическими правами и преимуществами. Водка распродавалась и на месте по шинкам, выдерживала и отдаленную перевозку; паны даже брали ее для распродажи с собой в походы, и куда бы случайности войны ни загоняли наших воинов, всюду находил себе рынок этот ходкий товар. Вторым предметом торговых оборотов был скот, главным образом волы, которые так отлично выпасались «вольны, не хранимы» на безграничном свободном степу. Скот гоняли в Москву, в Петербург, гоняли и за границу. Главными заграничными местами были Гданск и Шленск (Данциг и Силезия). Иной хозяйственный склад представляла северная полоса края, собственно так называемый Стародубский полк. Здесь имело место разведение промышленных растений, главным образом конопли; более скудная почва, песчаная и болотистая, покрытая лесами, давала побуждение искать в земле иных источников дохода. Предприимчивость обратилась на устройство руден (заводы для добывания и обработки железной руды), буд (поташных) и гут (стеклянных заводов); бортное пчеловодство, исконный местный промысел, также обратило на себя внимание панов, которые стали захватывать в свои руки борти. Уряды Стародубского полка, в особенности конечно стародубское полковничество, стали считаться завиднейшими из уря-

[1] Памятники, изданные Киевской археографической комиссией, III, стр. 425; *Костомаров*, цит. соч., стр. 284.

дов. Пунктами сбыта, в особенности для пеньки, служили Рига и Кенигсберг. Наконец, для всего края издавна были проторены торговые пути на юг, в Крым, куда также находили свой сбыт различные продукты и откуда вывозилась главным образом соль» [1].

К середине XVIII в. крупное землевладение на Украине если и уступало по размерам имениям прежних польских магнатов, то с вотчинным землевладением «Великой России» смело могло померяться. В одном списке малороссийской старшины, от начала царствования Елизаветы Петровны, мы находим Андрея Полуботка, владеющего 1 269 дворами, Кочубеев с 1 193 дворами, Галаганов и Лизогубов—с 3—4 сотнями дворов. Все это—потомство гетманов, полковников, судей, есаулов и других казацких начальных людей; с другой стороны, и старшина XVIII в. сплошь состоит из крупных землевладельцев; за одним «енеральным судьею» Горленком числится 232 двора, за другим, Лисенком, даже 415, за «подскарбием енеральным» Скоропадским—405 дворов. Казацкая Украина Хмельницкого за сто лет успела превратиться в такую же дворянскую страну, какою было московское государство XVII в. Правда, это дворянство не было настолько старым, чтобы его генеалогию можно было возводить до времен мифических, и, по словам малороссийского генерал-губернатора Румянцева, когда два украинских шляхтича начинали считаться знатностью, один у другого без большого труда находил в предках «мещанина, либо жида». Но деньги все исправляли—и какой-нибудь мелкий торговец-грек, ходивший по Украине с коробом на спине, по заказу его правнука легко превращался в знатного греческого выходца, ведшего свой род чуть не от Палеологов. Сказочно быстрый рост новых латифундий на почве, довольно основательно нивелированной революцией, дает нам зато великолепный случай наблюдать образование крупной земельной собственности без всякой помощи феодальной традиции. Лишь в очень редких случаях украинское крупное землевладение второй половины XVII в. было простым продолжением того, что было до хмельничины. Таковы были главным образом церковные имения. Уже сам Богдан очень заботился о том, чтобы в них все оставалось по-старому и чтобы православная церковь от революции только выиграла, ничего не потеряв. В одном документе 1652 г. гетман требует, чтобы казаки, поселившиеся на землях Никольского пустынного монастыря в Киеве, обязательно отбывали в пользу владельца земли все те повинности, на которые игумен монастыря показывал Хмельницкому «листы, права и привилеи давние», выданные еще польскими королями: там, в остальной Украине, как хочешь, а в монастырских

[1] *А. Ефименко*, Малороссийское дворянство и его судьба, «Вестник Европы», 1891 г., август.

имениях все должно было быть так, как при «ляшской неволе». Но в громадном большинстве случаев «права и привилеи» приходилось создавать заново. Самым простым средством создания новых имений было конечно ростовщичество—средство классическое и универсальное, одинаково знакомое как античной Греции и античному Риму, так и современной России. Вот один случай, приводимый как типичный пример несколькими историками. Один из Лизогубов дал казаку Шкуренку в долг 50 злотых (10 руб.)—и взял у него «в арешт» его «грунтик». Казак имел чем заплатить в срок,—у него был скот, который он специально «выготовил» для продажи; но Лизогуб принял меры, чтобы его должник не мог во время достать денег и оказался таким образом неисправным. Когда пришел срок, он попросту арестовал Шкуренка у себя на дворе и держал две недели—тот скота продать и не смог. А затем управляющий Лизогуба оценил казацкий «грунтик» и отвел несчастного владельца к конотопскому попу, который и написал от имени Шкуренка купчую на имя Лизогуба. Вырвавшись наконец на свободу, злосчастный казак прежде всего поспешил достать денег и принес их «пану»; но пан сослался на купчую и заявил, что земля теперь его, панская, казаку на ней делать нечего [1]. Рядом с этим универсальным способом применялись и более специально украинские. Превратив Украину в военный лагерь, хмельничина все управление поставила на военную ногу: полковники и сотники совмещали в своей округе все власти в своем лице—и судебную, и исполнительную, и даже законодательную. Как всеми этими полномочиями пользовалась старшина уже во времена, весьма недалекие от Хмельницкого, показывает такой рассказ о полтавском полковнике Витязенке, относящийся к 1667 г. Тот полковник «козаков многих напрасно зневажает, а иных и бьет напрасно; а жена де его полковникова жон козацких напрасно же бьет и бесчестит. *А кто де, козак или мужик, упадает хоть в малую вину, и их де полковник животы все, и лошади, и животину, емлет на себя.* Да он же со всего полку согнал мельников и заставил на себя работать, а мужики де из села возили ему, полковнику, на дворовое строение лес и устроили де от себя дом такой, что де у самого гетмана такого дому и строения нет». Витязенко грабил преимущественно движимость, но это был его вкус: другие полковники при подобных же условиях отбирали и земельные участки [2]. Кроме того, каждый «уряд», каждая войсковая должность давала право на известные натуральные повинности крестьян—вначале небольшие: помочи при покосе, перевозка зерна на мельницу (мельницы были весьма обычным натуральным вознаграждением за службу) и т. п. Но при полном отсут-

[1] Целый ряд других примеров в назв. статье Ефименко, ibid., стр. 532.

[2] *Лазаревский*, Очерки, I, стр. 94 и в других местах.

ствии контроля легко было сделать из этих повинностей каторгу, заставлявшую население разбегаться, куда глаза глядят. «Обнявши они селцо Хмелевку в подданство,—жаловались крестьяне на одного из подобных панов,—немерными и несносными работизнами и податками нас утеснили для того, чтобы смо по слободкам расходились, *а ему чтобы грунта наши и дворы остались*, яко с десяти тяглых человек один только остался человек; прочие по слободам, оставивши свои оседлости, мусели (должны были) разволоктися».

Как видим, в большинстве случаев речь шла не только о земле, а о земле плюс повинности сидевших на ней крестьян: возрождалось, как мы уже упоминали, не только крупное землевладение, а и крепостное право. И это возрождение крепостного права началось еще во время Хмельницкого: его послы в Москве, Зарудный и Тетеря, выпрашивая себе имения, желали, чтобы они «были вольны в своих поддавных, как хотя ими урежати и обладати». Дискреционная власть казацкой старшины не только над военным, но и над штатским населением своего околотка, над «посполитыми», чрезвычайно облегчала создание нового подданства в пользу новых панов—мы уже видели достаточно примеров этого. К началу XVIII в. почти все повинности и поборы с посполитых, существовавшие перед восстанием Хмельницкого, действовали снова в полной силе [1]. Гораздо любопытнее, что и процесс *закрепощения казаков*, начатый Вишневецкими и их собратьями в конце XVI в., после небольшого перерыва продолжался с прежней интенсивностью. Закрепощение было здесь прежде всего неизбежным спутником обезземеления: лишенный земли казак не имел возможности отбывать военную службу и уже тем самым падал до положения посполитого, из шляхтича второго сорта становился мужиком. С чрезвычайной простотой и выразительностью обрисовано это превращение в одной купчей начала XVIII столетия. «Мы, нижепоименованные, чиним ведомо сим нашим писанием,—читаем мы здесь,—что хотя покойные отцы наши, а по них и мы, козацко, а не посполито служачи, воинскую повинность до сих времен отбывали, однакоже теперь, до крайнего убожества и скудости пришедши и не будучи в силах впредь службы козацкой отбывать, продали мы его милости Игнатию Галагану, полковнику прилуцкому, дворовую землю нашу, на которой хаты наши построены, где мы, продолжая жить, обязываемся *служить пану полковнику посполито, а не казацко* и всякие повинности отбывать, и *на будущее время неповинны уже будем ссылаться на наш козацкий чин*, чего ради и сие наше писание до рук его милости пана полковника прилуцкого выдаем». Мы не знаем, дожидался ли этот Галаган

[1] См. их перечень по данным малороссийской коллегии и верховного тайного совета, приводимый Л. Ч. в его ст. «Україна після 1654 року». Записки наук. т-ва. ім. Шевченка, т. XXX, стр. 38.

естественной смерти казацкого звания у своих будущих подданных,—но у одного из его родственников на это нехватило терпения, и он посылал своих «куренчиков» (нечто среднее между вестовыми и вассалами, но у нового панства были и настоящие вассалы, называвшиеся по-старому «боярами»)«с оружием, как надлежит воинскому человеку, по козачьим дворам и дворы их разорял: в хатах двери и окна снимал, забирал скот и взятым скотом—лозу, колоду дерева, что найдет во дворе и что ему понадобится, в свой двор перевозить приказывал. А кто с того принуждения ему, Галагану, быть подданным полпишется, тому все забратое возвращается».

ГЛАВА X.

# ПЕТРОВСКАЯ РЕФОРМА.

## 1. Торговый капитализм XVII века.

В очень старые времена тот культурный переворот, который пережило московское государство на пороге XVII—XVIII столетий, рассматривали исключительно, так сказать, с педагогической точки зрения: Россия «училась», Запад «учил», мы стали «учениками» Западной Европы. Что нас сделало учениками, было ясно само собой: любовь к просвещению. «Ученье—свет, неученье—тьма»; пока свет был от нас закрыт, пока русские люди не видали просвещенной Европы, они еще могли коснеть в своем невежестве. Но вот русские стали ездить за границу (при этом всегда рассказывалось несколько анекдотов, показывающих, какие они тогда были смешные), иностранцы стали ездить в Москву—так как речь шла о просвещении, то из иностранцев на первый план выдвигались врачи, аптекаря, художники и техники всякого рода; мало-помалу началось «культурное взаимодействие», благополучно приведшее при Петре к тому, что московские дикари, сбрив волосы, естественно росшие у них на подбородке, увеличили запас волос на голове большой искусственной накладкой, в виде кудрявого, волнистого парика. В то же время они построили флот и завели сначала элементарные школы, а потом и академию наук, после чего в Россию стали приезжать уж не только аптекаря и врачи, но и светила европейской науки

Тем читателям, которые скажут, что это—грубая карикатура, мы можем посоветовать заняться изучением многочисленных писаний покойного Брикнера, несомненно, лучшего знатока «культурного взаимодействия» России и Европы петровских времен, какого только имела русская наука. Там обширный—и иногда очень ценный—фактический материал объединен именно этой точкой зрения, и популярная русская историография довольствовалась ею чуть не до вчерашнего дня. Не очень далеко от этого наивного школярства ушел даже Соловьев, и первый шаг к действительно научному пониманию

«европеизации России» был сделан—довольно редкое событие—историком литературы. Раньше других Н. С. Тихонравов в нескольких строках своей знаменитой рецензии на «Историю русской словесности» Галахова наметил *параллелизм* русского и западного культурного развития XV—XVII вв. Те же литературные темы, те же идейные тенденции сами собой наводили на мысль, что мы имеем здесь не заимствование, а сходство самостоятельных, оригинальных переживаний,—вернее, что внешнее заимствование, только благодаря этому внутреннему сходству, и было возможно. Тихонравов не нашел непосредственных продолжателей на этом пути, а сам, по обыкновению, не развил мимоходом брошенных им замечаний. Но скоро уже и «русским историкам», в тесном смысле этого слова, уподобление Московской Руси гимназическому классу стало казаться слишком пресным. И так как туманная метафизика, в которую спасались от этой пресноты Соловьев и Чичерин, тем временем вышла из моды, пришлось искать конкретных, осязательных корней европеизма в московской почве. Ученикам Соловьева и Чичерина вполне естественно было начать эти поиски с того конца, который был ими лучше всего изучен,—с «государственности». Объективная необходимость переворота впервые была демонстрирована как необходимость *военно-финансовая*. Россия должна была стать Европой потому, что иначе она не могла бы выдержать конкуренции с европейскими государствами—так можно вкратце резюмировать новую схему. Внимательный читатель уже уловил, что в этой схеме осталось от чичеринско-соловьевской метафизики. Заранее предполагалось, что Россия для чего-то *должна* существовать, что в этом одна из целей мирового процесса. Но пока план этого последнего нам не известен, и есть даже большие основания сомневаться в самом существовании этого плана, объяснение висит в воздухе. Оно напоминает известную тавтологию. Россия уцелела, потому что сумела стать Европой, а Европой она стала для того, чтобы уцелеть: опиум усыпляет, потому что он обладает усыпительной силой, а не будь в нем этой усыпительной силы, он не был бы опиумом. Но вот, столетие спустя, Польша не сумела стать централизованной бюрократической монархией—и оттого погибла, говорят нам те же историки: отчего же Польша не могла стать тем, чем ей было нужно, а Россия могла? Почему опиум обладает усыпительной силой? Ощупью дойдя до границы как раз тех фактов, которые помогли бы сорвать завесу с тайны, новая схема, схема Ключевского и Милюкова, тут именно и останавливалась. Правда, чтобы научно обосновать дальнейшие шаги русской академической историографии, пришлось бы выйти из заколдованного круга, в котором она вращалась до 90-х годов прошлого столетия: пришлось бы перестать быть историей приказов и канцелярий и стать историей народного хозяйства. Мало того, ей пришлось бы даже

выйти за географические рамки своих привычных тем, так как ключа к петровской реформе—читатель это увидит ниже—приходится искать, в конечном счете, в условиях европейской торговли XVII в. Именно эти условия и дают ответ на знаменитый вопрос г. Милюкова: что сделало *неизбежным* появление России в кругу европейских государств того времени? Но самая форма вопроса, взваливающая заботу о его разрешении на кого-то другого (повидимому, на соседей автора по кафедре—«всеобщих» историков), ясно показывала, как всего 15—20 лет назад склонны были люди довольствоваться тою истиной, что опиум действительно обладает усыпительной силой. Понадобилась помощь со стороны кафедры, повидимому, не предусматривавшейся в числе союзников г. Милюковым, когда он писал о государственном хозяйстве России в эпоху Петра Великого. Лет шесть спустя после появления его книги, в одной диссертации по политической экономии впервые было определенно указано на *торговый капитализм* как экономическую основу петровской реформы. Это был один из первых случаев влияния идей Маркса в той области, которая до тех пор была в безраздельном владении исторического идеализма в различных его ипостасях.

Исследование г. Туган-Барановского по истории русской фабрики—читатель уж догадался, что речь идет о нем,—лишь очень немногими, общими штрихами нарисовало картину допетровской экономики. Автор, видимо, спешил покончить с этим отделом и перейти к дальнейшим, более для него интересным, а для XVII в. ограничился простой констатацией факта, беглой и поэтому даже не вполне точной. Выписав замечание *Кильбургера*, что все русские, от высших до низших, любят торговлю, и что в Москве больше лавок, нежели в Амстердаме или даже в целом ином государстве, он опустил дальнейшие слова того же автора: «мы не будем отрицать, что эти лавки малы и ничтожны по своим оборотам: мы хотим только доказать, что русские любят торговлю, и не делаем никаких сравнений—иначе пришлось бы согласиться, что *из одной амстердамской лавки можно сделать десять и даже больше московских*» [1]. Если бы он привел цитату до конца, и ему, и его читателям было бы ясно, что это место в пользу его тезы еще ничего пока не говорит, и что от такой чисто ремесленной и типично средневековой формы торговли еще очень далеко до торгового капитализма. Нужно прибавить, что именно слабое развитие этого последнего в России того времени—Кильбургер писал около 1674 г.—и заставило взяться за перо шведского автора: основная идея «Краткого сообщения о русской торговле» в том и состоит, что в «Московии» налицо все, что нужно для крупной торговли европейского типа—а ее самой-то вот и нет, по тупо-

[1] Ср. в другом месте: «большая часть (московских) лавок так малы и узки, что продавец еле может повернуться среди своих товаров».

сти московитов. А так как в то же время они производили на Кильбургера впечатление людей необыкновенно коварных и искусившихся во всяких мошенничествах, то добрый швед останавливается в совершенном недоумении перед этой загадкой—и приводит такой образчик хитрости и тупости русских в одно и то же время, при виде которого ему самому остается только развести руками. Именно, часто бывает, говорит он, что русские, выменяв у немцев на свои товары заграничные материи, атлас или бархат, «тотчас же снова продают это какому-нибудь немцу, и так дешево, что их без убытка можно снова послать в Гамбург или Амстердам». Предшественник—и, во многом, источник для Кильбургера—рижский купец и шведский комиссар де-Родес, писавший на 20 лет раньше, приводит другой пример такой же хитрой тупости, отлично поясняющий первый. Русские, говорит де-Родес, крайне упрямо стоят на своей цене—и не стесняются тем, что из-за своего упрямства иногда пропускают сезон: бывают случаи (де-Родес приводит один такой), что им из-за этого удается сбыть товар только на пятый год. Если бы они с самого начала уступили за ту цену, которую предлагали им иностранные купцы, то эта сумма, с процентами за 5 лет, была бы выше той, которую они требовали: «но они не считают процентов, пропадающих из-за того, что капитал лежит у них без движения». В противоположность капиталисту, русский купец XVII в. не гнался за прибылью не по бескорыстию, а потому, что не имел этого понятия: прибыли на капитал. Он стремился выручить то, что казалось ему «справедливым» вознаграждением за труды и хлопоты по доставке товара на рынок. Оттого привезенный из Персии шелк он ценил очень высоко, не соображаясь с тем, что цены на европейском шелковом рынке зависели от цены шелка, привезенного морем, через Турцию. А купленные на месте, в Архангельске, атлас или бархат не стоили ему никаких хлопот, и он спешил сбыть их, за что попадется, чтобы поскорее выручить некоторое количество наличных денег, в которых этот типичный средневековый торговец чувствовал живую нужду.

Итак, внутренняя, а отчасти даже и заграничная торговля Московской Руси носила еще ремесленный характер, почти такой, какой носила она в Руси Киевской [1]. Это вполне отвечало общей физиономии московской экономики. Мы видели, что в деревне этой поры решительно брало верх мелкое хозяйство крестьянского типа [2]: в промышленности также господствовало исключительно мелкое, ремесленное производство. Теперь [3] с большим трудом поддерживают и спасают русского кустаря—и стараются проложить ему дорогу за границу, устраивая кустарные музеи и кустарные отделы на международных выставках. Тогда без всяких ухищрений европейцы,

[1] См. «Русская история», т. I. [2] См. «Русская история», т. II.
[3] Написано в 1911 г.

вообще знавшие во второй половине XVII в. Россию не хуже, чем мы теперь знаем например Китай, знали и ценили русское ремесленное мастерство, занимавшее в тогдашнем мире приблизительно такое же место, какое теперь принадлежит различным «восточным» базарам. И круг товаров был отчасти тот же. Кильбургер перечисляет, в соответствующем месте, патронташи, разные дорожные вещи: сундуки, котомки, саквояжи, кошельки, шелковые шарфы, башлыки из верблюжьей шерсти и тому подобное. Очень часто и приемы были заимствованы с востока. Один польский автор, бывший свидетелем еще Смуты, писал о современных ему русских кустарях: «Все русские ремесленники превосходны, весьма искусны и так смышлены, что все, что с роду не видывали, не только не делывали, с первого взгляда поймут и сработают столь хорошо, как будто с малолетства привыкли, в *особенности турецкие вещи*: чепраки, сбруи, седла, сабли с золотой насечкой. Все эти вещи не уступают турецким». Но позже они так же удачно подражали и западным образчикам. Бывший в Москве на четверть столетия позднее знаменитый Олеарий, подтверждая то, что говорилось об искусстве рук и способности к подражанию русских ремесленников, приводит как пример, что их точеные и резные вещи «не хуже и даже лучше самых лучших из тех, которые делают в Германии». «Иностранцы, которые хотят сохранить про себя секрет их искусства, не должны заниматься им в присутствии московитов», прибавляет он, и рассказывает, как быстро проникли русские во все тайны литейного мастерства, несмотря на то, что заграничные литейщики, приглашенные московским правительством, всячески прятались от туземцев. Некоторые продукты русского ремесла не только не уступали привозным из-за границы, но и находили себе сбыт за границу; таковы были, в особенности, всякого рода *кожаные* изделия. Уже Олеарий, в 30-х годах, говорит о «русской коже» как предмете экспорта главным образом из Новгорода. Исключительной репутацией пользовалась русская *юфть*, которую московское государство поставляло, кажется, на всю Европу. Во времена де-Родеса (1650-е годы) она занимала первое место в русском отпуске, и ее вывозилось за границу ежегодно до 75 тыс. свертков, на 335 тыс. рублей (не менее 5 млн. руб. на золотые деньги), тогда как общая сумма вывоза немногим превышала миллион тогдашних рублей. Другим предметом оптовой заграничной торговли были рукавицы: они продавались в Москве на сотни, и шли в большом числе в Швецию. Надо заметить при этом, что скотоводство тогда было в самом московском государстве в плохом состоянии и кожа русского скота не годилась в дело. «Самые красивые и большие кожи собираются и скупаются русскими отовсюду,—говорит де-Родес.—Они пользуются для этого санным путем, когда скупщики кожи и заготовители юфти отправляются в Польшу, а в особенности в Подолию и на Украину, и

скупают там, что только могут достать». Кожи затем мокли до весны, когда начиналась горячая, лихорадочная работа, чтобы изготовить их к отпуску по полой воде, от Вологды, по Сухоне и Двине, на архангельскую ярмарку.

На этом примере хорошо видно, как и в какой именно области торговый капитализм завладевал русским ремеслом: этой областью была заграничная торговля. Внутри страны русский ремесленник, как и русский торговец, продолжали стоять на средневековой точке зрения. Иностранцы с удивлением рассказывают о дешевизне русских кустарных изделий: по Кильбургеру, серебряные пуговицы в Москве продавались за столько серебряных копеек, сколько весили сами пуговицы; он мог объяснить это только тем, что серебро русских ювелиров было очень невысокой пробы,—но нужно сказать, что и тогдашняя серебряная копейка делалась из очень плохого серебра. Олеарий был ближе к правильному пониманию дела, когда он объяснял дешевизну русских изделий дешевизной съестных припасов в России: ремесленник не ценил своего труда и требовал только, чтобы работа его кормила,—а для этого достаточно было самой незначительной прибыли. Если добавить к этому, что ремесло часто было подсобным занятием—им, как и мелкой торговлей, в большом числе занимались например стрельцы,—то дешевизна русского ремесленного производства будет вполне понятна. Но стоило каким-нибудь видом этого ремесла заинтересоваться Западной Европе, в дело вторгался крупный капитал,—и картина резко менялась.

Торговый капитализм шел к нам с Запада; мы уже тогда были для Западной Европы той *колонией*, характер которой во многом мы сохранили доселе. Для истории нашей «колониальности» чрезвычайно интересна попытка голландцев в первой половине XVII в. сделать Россию своей «житницей». На эту попытку до недавнего времени обращали очень мало внимания, и крайне любопытные переговоры правительства Нидерландов с царем Михаилом Федоровичем по этому поводу стали известны во всех подробностях лишь в начале текущего столетия [1].

Родоначальником русско-нидерландской торговли был преподобный Трифон, основатель Печенгского монастыря, самого северного из монастырей России. Монастырь вел обширное промысловое хозяйство, сбывая продукты—рыбу, тресковый жир и прочее—норвежцам в соседнем Варде. Случайно попавший туда голландский купец оказался более выгодным покупателем, а так как ревнивые к своей монополии норвежцы мешали ему торговать в Варде, то монахи пригласили нового знакомого к себе, в Печенгскую губу. Уже в следующем году (дело происходило как раз около того времени, когда Грозный создавал

[1] См. исследование *В. Кордта*, напечатанное как введение к документам о посольстве Бурха и Фельтдриля 1630—1631 гг. в 116 томе «Сборника Русского исторического общества».

свою опричнину) образовалась целая компания нидерландских купцов, выхлопотавших себе привилегию на торговлю с русским севером от Филиппа II испанского, владевшего еще тогда всеми Нидерландами. Дело оказалось на первых порах сложнее, чем думали обе стороны: на мурманском побережьи были живы традиции «разбойничьей торговли» времен викингов, и первый же нидерландский торговый караван был ограблен русскими а экипаж его вырезан. Но сношения на этом не прервались. Нидерландские корабли продолжали регулярно, из году в год, посещать Мурман, и обитель преподобного Трифона стала крупным торговым центром. В год первого знакомства монахов с голландцами монастырь считал всего 20 монахов и 30 послушников; а уже всего пять лет спустя первых было 50, а вторых—вместе с рабочими—до 200. На Печенгу приезжали торговцы из Холмогор и Каргополя,—а монастырские рыболовные ладьи забирались даже в норвежские воды, так что московское начальство должно было вмешаться и обуздать промысловую предприимчивость печенгских отшельников. Но и того, что удавалось последним добывать в русских водах, было достаточно для очень широкого сбыта: не довольствуясь первоначальными своими контрагентами, упоминавшейся выше антверпенской компанией, печенгская братия заключила еще договор с одним амстердамским торговым домом. Последнее впрочем могло быть результатом некоторой передвижки к северу самой нидерландской торговли: с освобождением северных Нидерландов от испанского ига эта торговля все более и более становилась *голландской* в тесном смысле этого слова. Тем временем нидерландские корабли тоже перестали ограничиваться одной Печенгской губой и, продвигаясь постепенно к югу, добрались сначала до Колы,—где в год первого приезда голландцев было всего три дома, а через семнадцать лет это был порядочный городок, с особым воеводой и «острогом», т. е. крепостью,—а потом и до Архангельска. Последний самым своим возникновением был обязан, как обнаружили новейшие исследования, именно голландцам. Норвежцы продолжали очень косо смотреть на своих конкурентов, а норвежский государь, он же и король датский, имел еще особые причины не поощрять русско-нидерландской торговли на Белом море: это был «обход» его таможни, которая до тех пор собирала обильную дань со всех кораблей, шедших на Русь и из Руси Балтийским морем, через Зунд. Он объявил тогда, что море между берегами Норвегии и Исландией—тоже «Зунд», тоже пролив, и что корабли, идущие этим «проливом» вокруг Нордкапа, должны платить датчанам таможенную пошлину. А так как голландцы отказывались признать датской собственностью половину Атлантического океана, то они были объявлены контрабандистами, и датские крейсеры стали преследовать «контрабанду» до самых русских берегов, благо у московского государства флота не

было, и оно могло спорить с датчанами только на бумаге. Спасаясь от датчан, один голландский капитан поднялся по Двине до Пур-Наволокского мыса, где стоял тогда только монастырь Михаила Архангела. Нечаянно открытая гавань оказалась гораздо удобнее прежней английской стоянки в бухте св. Николая, куда большие морские суда не могли входить, и скоро вся заграничная торговля Москвы перешла, по следам голландцев, в «Новогородок» Архангельский. Но первое место прочно осталось за теми, кому принадлежала честь открытия нового порта. Уже в 1603 г. один английский автор писал: «Мы (англичане) вели в течение 70 лет значительную торговлю с Россией и еще 14 лет тому назад отправляли туда большое количество кораблей; но три года тому назад мы отправили в Россию четыре корабля, а в последнем году только два или три. Нидерландцы же посылают туда уже 30—40 кораблей, из которых каждый в два раза больше наших». А какое значение сами голландцы придавали торговле с Россией, видно из одного проекта, представленного генеральным штатам в конце XVI в. «Богатство наших Нидерландов основывается на торговле и мореплавании,—говорит автор этого проекта,—если мы не будем заниматься ими, то нам не только нехватит средств вести войну (с Испанией), но весь наш народ оскудеет и могут вспыхнуть беспорядки. Однако нет сомнения, что всемогущий бог не допустит этого и нас не оставит, так как он указывает нам новую дорогу, *которая столь же прибыльна, как и плавание в Испанию, а именно дорогу в Московию*». Но торговля с Испанией для нидерландцев была торговлей с Новым светом—со сказочно богатыми в глазах тогдашних европейцев Мексикой и Перу: вот на чье место должна была теперь стать «Московия». Допуская, что, как всякий сочинитель подобных проектов, голландский автор несколько увлекался, нельзя же однако думать, чтобы генеральные штаты стали серьезно заниматься сумасбродными мечтаниями досужего фантазера. Очевидно, что, когда он говорил, что «ни Германия, ни наши Нидерланды не могут обойтись без торговли с Россией» и что торговля эта—«дело величайшей важности для нашей страны и ее жителей», он высказывал вещи, которые многим казались разумными. Четверть столетия спустя уже не отдельные прожектеры, а само нидерландское правительство делает столь радикальную попытку повести всю голландскую торговлю в восточной Европе через «Московию», что «величайшая важность» нового рынка для Нидерландов не могла уже быть предметом спора. Оставался только вопрос, признает ли «величайшую важность» для себя в этих сношениях другая сторона—сама «Московия».

Для того чтобы понять происхождение этой первой попытки европейского торгового капитализма «завоевать Россию», надо иметь в виду, как складывались тогда торговые отношения на дальнем—для Москвы—Западе. К XVII в. предметом между-

народного обмена стали не только продукты ремесленного производства и нужное для этого производства сырье (шерсть или кожи например), но и *жизненные припасы*: начинал уже складываться международный хлебный рынок. Цена ржи в Данциге определяла стоимость жизни в Мадриде или Лиссабоне. Ежегодно громадные массы зерна передвигались из земледельческих стран восточной Европы, главным образом Пруссии и Польши, во Францию, Испанию и Италию. Посредниками в этом обмене были голландцы, участие которых в хлебной торговле мерялось *тысячами* кораблей, так что для процветания нидерландского флота она имела едва ли меньше значения, чем гораздо более известная торговля с колониями. «Морская хлебная торговля находится почти исключительно в руках нашей нации», говорили в Москве в 1631 г. нидерландские послы. Но заинтересован был здесь не один голландский флот: сами Нидерланды, давно перешедшие от хлебопашества к культуре промышленных растений (что, по словам нидерландских дипломатов, было несравненно выгоднее), не могли уже прокормиться собственным хлебом. «Наша страна так плотно населена, слава богу, что собственного зерна нехватает,—говорили послы,—и нам приходится ввозить хлеб из-за границы для прокормления населения и торговать им». Но обычный источник, откуда новая республика пополняла свои хлебные запасы, представлял два неудобства. Во-первых, и в Пруссии, и в Польше, и в Прибалтийском крае уже достаточно была развита собственная обрабатывающая промышленность, почему произведения нидерландских мануфактур уже в конце XVI в. находят там плохой сбыт. По крайней мере цитировавшийся нами выше автор голландского проекта весьма решительно утверждает, что «каждый корабль, отправляемый в Россию или оттуда в Нидерланды, приносит больше чем 7, 8 и даже 10 кораблей, приходящих, например, из Данцига, потому что *корабли, которые идут в Московию, нагружаются ценным товаром, а не балластом, как те, которые ходят в Данциг, Ригу или Францию*». Очевидно во всяком случае, что количество хлеба, вывозившегося из Риги или Данцига, было во много раз больше количества ввозившихся туда нидерландских фабрикатов, так что «торговый баланс» получался для нидерландцев невыгодный. Невыгодность эта до чрезвычайности усиливалась вторым условием балтийской торговли, нам уже знакомым,—«зундскими пошлинами», которые взимал в свою пользу с каждого входящего в Балтийское море и выходящего оттуда корабля датский король. Пошлины эти еще можно было терпеть ради дешевизны польского или лифляндского хлеба: но цена на хлеб росла, по мере роста его международного значения, с чрезвычайной быстротой. «В начале 1606 г. ласт (120 пудов) ржи стоил в Данциге только 16 гульденов; в десятилетие 1610—1620 гг. цена колебалась от 45 до 65 гульд., в сентябре следующего

года она поднялась до 80 гульд.; а в 1622 г. до 120 гульд.». В 1628 г. ласт ржи в Амстердаме дошел до 250 гульд., «и затем цена уже не падала, а достигла небывалой высоты» [1]. Тут нидерландцы вспомнили, что «русская земля велика и хлебом богата» и что на Руси «на монастырских и других землях постоянно лежат большие запасы зерна и часто даже гниют», как объяснял в Москве представитель Морица Оранского, известный Исаак Масса. Нидерландский штатгальтер, или его представитель, старался найти у московского государя разные чувствительные струны: он обращал внимание московского правительства на то, что «усиленный вывоз зерна увеличит доходы царя от пошлин». «Примером в данном случае может служить Польша, откуда каждый год прибывает в Нидерланды по полуторы и по две тысячи кораблей с хлебом. В одном только Амстердаме из Данцига и Кенигсберга ежегодно получается больше ста тысяч ластов хлеба». А благодаря тому, что доходов будет больше, можно будет и начать опять войну с Польшей: благодаря хлебным пошлинам только польский король и имеет возможность воевать, да и сами Нидерланды «только благодаря тому, что сумели добывать себе лишние доходы, были в состоянии воевать со своим сильным недругом». А сколько выиграет от этого население московского государства—и говорить нечего: к полякам, в обмен на их хлеб, приходит из Нидерландов ежегодно по сто тысяч угорских червонцев. Упоминание о монастырских землях, где хлеб понапрасну гниет, тоже было сделано недаром: Масса особенно рассчитывал в Москве на патриарха Филарета Никитича, имея в виду заинтересовать в своих проектах крупнейшего земельного собственника—церковь.

Массе не удалось довести своего дела до конца, так как повидимому он слишком заботился о своих личных коммерческих интересах и тем вызвал против себя сильное неудовольствие со стороны остального нидерландского купечества, торговавшего с Москвою. У него были отняты полномочия; но переговоры с московским правительством насчет торговли хлебом не прекратились, так как они отнюдь не были чьей-нибудь личной затеей. Весь торговый мир Голландии заинтересовался этим делом, появились проекты, сулившие от нового предприятия необыкновенные барыши—до 24 бочек золота в год, сравнительно с польской или прибалтийской торговлей,—и контрпроекты, доказывавшие, что перенесение нидерландской торговли с Балтийского на Белое море погубит голландский флот. Наконец в 1630 г. явилось в Россию формальное посольство от генеральных штатов для заключения торгового договора. Отчет этого посольства дает нам понятие о грандиозности нидерландских замыслов. Русский хлебный рынок предполага-

[1] *Кордт*, назв. соч., стр. CXXVII—CXXIX.

лось эксплоатировать на обычных для той эпохи колониальных началах: голландцы должны были получить *монополию* на вывоз хлеба из России. Но этого мало: в московском государстве должны были появиться своего рода хлебные плантации; нидерландские предприниматели должны были получить право приезжать в Россию и распахивать здесь «новинные земли», лежавшие впусте, которых, по голландскому представлению, в московском государстве было чрезвычайно много. Кстати, на таких же началах предполагалось использовать и другое ценное сырье, имевшееся в России: например великолепный мачтовый лес, росший в изобилии по берегам Двины и ее притоков. Выгоды московского государства, по голландским проектам, должны были выразиться главным образом в пошлинах с вывозимого сырья; московских дипломатов снова и снова манили грандиозными цифрами вывоза, указывая например, что одного хлеба Нидерландам нужно, на первый же случай, не менее 200 тыс. четвертей. Но в Москве очевидно больше понимали условия тогдашней торговли, нежели это думали в Нидерландах: в Москве тоже не прочь были сделать хлебный торг монополией, но монополией *царской*. Непосредственное участие государей восточной Европы в торговле хлебом уже имело крупный пример: шведский король был главным конкурентом голландцев на Балтийском море. В Москве не прочь были последовать этому примеру. Но зачем же царь стал бы себя связывать обязательством—торговать только с голландцами? «К нашему великому государю и отцу его, великому государю святейшему патриарху, присылают своих послов и посланников великие христианские государи: король английский Карл, король датский Христиан, король шведский Густав-Адольф и другие государи, и пишут в своих грамотах, что в их государствах неурожай хлеба и что для прокормления их подданных не хватает зерна», отвечали бояре и дьяки нидерландским послам: так как же разрешить вывоз хлеба одним голландцам при таких условиях? А затем обнаружилось, что в Москве и насчет хлебных цен в Западной Европе кое-что понимают—и за первую же пробную партию в 23 тыс. четвертей московский торговый агент, гость Надей Светешников, назначил такую цену, что надежды голландцев на дешевый русский хлеб моментально поблекли. Послы заявили, что по такой цене они и у себя дома могут хлеба достать. Светешников сбавил тогда, но очень немного: было совершенно ясно, что из 24 бочек золота, о которых мечтал голландский прожектер, московский государь намерен оставить в своей казне никак не менее половины,—если не все. Само собою разумеется, что, рассчитывая держать московский хлебный рынок в своих руках, правительство Михаила Федоровича не могло согласиться ни на какие голландские «хлебные плантации» в России. Голландских торговцев и других людей, ответили послам, «допускать в московское госу-

дарство для земледелия невозможно, потому что, если голландским торговым людям дозволить заниматься земледелием в московском государстве, русским людям это будет стеснительно, вызовет споры о земле и причинит убыток их хлебной торговле». Яснее нельзя было дать понять, что барыши от торговли хлебом предполагается оставить за «русскими людьми», т. е. Надеем Светешниковым и его товарищами. Навстречу западноевропейскому торговому капитализму поднялся русский. Как всякий новичок в подобном деле, он оказался слишком жаден—и собственно на хлебной торговле прогадал: с отказом от голландских предложений 1630—1631 гг. она вообще не наладилась, и до второй половины следующего столетия вывоз хлеба из России остался случайным, спорадическим явлением. Но не следует думать, что русский торговый капитал так и замер на подобных бессильных потугах; в целом ряде других случаев ему действительно удалось установить в свою пользу монополии, на которые с завистью смотрели в Западной Европе.

Во-первых, хотя правильной торговли хлебом с заграницей не удалось завести, но та случайная, которая была, все же сделалась царской монополией. Один из цитированных нами выше иностранцев дает о последней весьма точные сведения, а другой задним числом подтверждает его рассказ. До 1653 г. скупалось ежегодно царскими агентами до 200 тыс. четвертей: четверть ржи с перевозкой до Архангельска обходилась не дороже рубля, а продавали ее не дешевле $2\frac{1}{2}$—$2\frac{3}{4}$ талеров; так как из талера, перечеканенного на московском монетном дворе, выходило 64 серебряных копейки, то чистая прибыль царской казны на проданном хлебе составляла от 60 до 75%. Чтобы дождаться высоких цен, хлеб иногда выдерживали в амбарах по нескольку лет,—как это вообще, мы видели, делалось с московскими товарами. В короткое время монополия дала, будто бы, более миллиона талеров (640 тыс. рублей тогдашних—от 9 до 10 млн. на золотые рубли). От нее однакоже отказались, и к тому времени, когда писал Кильбургер, ее уже не было: «Весь хлеб теперь остается в стране, так как его в большом количестве потребляют винокуренные заводы», говорит этот автор. Быстрый рост населения во второй половине XVII в. [1] привел к тому, что обычного количества водки нехватало, ее приходилось закупать за границей, на Украине и в Лифляндии, чтобы царские кабаки могли удовлетворить спрос; при таких условиях выгоднее оказывалось перегонять хлеб в водку, нежели торговать им. Любопытно, что питейную монополию уже в то время оправдывали интересами народной трезвости. «Великий князь Михаил Федорович,—говорит Олеарий, повторяя конечно то, что ему самому рассказывало московское чиновничество,—который сам был человек очень

[1] См. выше, гл. VIII.

трезвый и враг пьянства, видя, что невозможно уничтожить совершенно этот порок, сделал в свое время несколько распоряжений, чтобы его обуздать: было предписано закрыть кабаки, и под строгим наказанием запрещено продавать водку, мед и другие крепкие напитки без царского позволения и в других местах, кроме как в привилегированных трактирах, где продают только шкаликами и штофами и где нельзя пить». Чиновники уверяли Олеария, что результаты получились очень хорошие, но этому противоречили улицы, усеянные пьяными: в этом отношении монополия XVII в. ничем не отличалась от монополии XIX—XX вв. Но они имели сходство и в другом отношении: доход казны от «привилегированных трактиров»— от царева кабака, другими словами,—был огромный; тот же Олеарий сообщает, что таких «привилегированных» заведений было более тысячи ,причем это отнюдь не были мелкие лавочники: три новгородских каб ка отдавались на откуп за 12 тыс. талеров—более 100 тыс. золотых рублей. А это было еще в середине царствования того самого Михаила Федоровича, который так заботился о народной трезвости, когда Россия только что оправлялась от Смуты. Коллинс, придворный врач царя Алексея, уверяет, что были отдельные кабаки, сдававшиеся за 10 и даже за 20 тыс. рублей тогдашних (до 300 тыс. руб. золотом). Так что цифра кабацких доходов, которую приводит Котошихин— 100 тыс. руб. в год—является очень скромной и объясняется тем, что Котошихин, как он и сам замечает, принял в расчет лишь тот район винной монополии, который ведался в Новой четверти, а кабацкие деньги собирали и Большой дворец, и Хлебный приказ, и вероятно всякий другой приказ в тех городах, которыми он специально заведывал [1].

Но водка далеко не была единственным товаром, торговать которым составляло привилегию царской казны. Первые цари дома Романовых монополизировали в своих руках, в сущности, все наиболее ценные предметы сбыта. «Царь—первый купец в своем государстве», говорит долго проживший в России Коллинс. Перечень царских монополий дает нам любопытную картину концентрации русского вывоза, создавшей почву, на которой вырастал туземный торговый капитализм, в лице Надея Светешникова, так обескуражившего собиравшихся поживиться от московской дикости голландцев. Современных читателей, убежденных, что русская кухня стала проникать на Запад только в наши дни, чуть не одновременно с русской литературой, немало удивят точные сообщения Кильбургера и де-Родеса о том выдающемся коммерческом значении, которое имела в их дни торговля *икрой*. По отношению к ней удалось достигнуть того, к чему неудачно стремились нидерландские

[1] В 1680 г. таможенных и кабацких денег вместе поступало до 650 тыс. руб. до 10 млн. руб. золотом. К сожалению, выделить из общей суммы доход от винной монополии невозможно.

купцы относительно хлеба: вывоз икры за границу был очень рано концентрирован в руках одной торговой компании, сначала голландско-итальянской, потом чисто голландской, повидимому, хотя главным потребителем русской икры была Италия и вообще католические страны, нуждавшиеся в постной пище. В 1650-х годах вывоз икры достигал уже 20 тыс. пудов ежегодно; к 1670-м, когда писал Кильбургер, эта цифра осталась почти без перемены; царские агенты поставляли икру в Архангельск по цене, условленной на довольно продолжительный период времени,—с голландцами например был заключен контракт на 10 лет. Компания платила в 50-х годах по 1½ руб., а двадцать лет спустя по 3 рейхсталера (почти 2 руб.) за пуд: общая стоимость вывоза составляла таким образом в первом случае около 30 тыс. рублей тогдашних, во втором—около 40 тыс. (450—601 тыс. руб. золотом). Вывозилась исключительно прессованная (паюсная) икра, так как зернистой не умели консервировать; впрочем и паюсную приготовляли не очень хорошо, и она часто портилась: тогда гости, служившие царскими коммерческими агентами, обязаны были брать ее себе по рублю за 10 пудов. Ее продавали внутри России, и она расходилась в большом числе между «бедными людьми» «впрочем не даром», оговаривается один из иностранцев, сообщающий об этой операции, дабы предупредить подозрение, будто царская казна хотя бы порченый продукт могла отдать кому-нибудь даром. Наряду с икрой предмет царской монополии составлял *рыбий клей*, сбыт которого доходил до 300 пудов, ценою от 7 до 15 руб. за пуд, и *лососина*, ежегодный лов которой составлял более 200 ластов (до 25 тыс. пудов)—за ней специально каждый год являлись два голландских корабля. Рыбная ловля на нижней Волге являлась настолько казенным делом, что Олеарию и его спутникам рыбаки отказывались продавать рыбу, уверяя, что их постигнет за это жестокое наказание; «впрочем,—прибавляет Олеарий,—они потом очень охотно снабдили нас рыбой—за несколько шкаликов водки».

Наиболее популярной из всех царских монополий являлась *меховая*: самые ценные виды мехов, например собольи, можно было найти только в царской казне, так же, как и паюсную икру. Де-Родес дает, по архангельским таможенным книгам, довольно подробные сведения о русском меховом экспорте. Общую ценность его он определяет приблизительно в 100 тыс. руб.—в том числе на соболей приходилось $^3/_5$: концентрация и здесь достигла 1½ млн. руб. на теперешние деньги. Но меха, этот старинный русский продукт, на котором вырос торговый капитализм Новгорода, начинали уже терять былое значение: ценного пушного зверя теперь можно было найти только в Сибири; в то же время начинают попадаться сведения о *ввозе* пушного товару в Россию—так, из Франции привозили в Архангельск лисьи меха. Еще больше утратила значение другая

старинная отрасль новгородской торговли—воск и мед. Они почти целиком теперь потреблялись дома,—воск, потому что во множестве шел на церковные свечи, мед, потому что его в таком же множестве потребляла царская винная монополия. Оттого попытки монополизировать, захвативши даже «рыбий зуб» (моржовые клыки, находившие себе очень хороший сбыт как суррогат слоновой кости) и нефть, не имевшую тогда еще и тысячной доли своего теперешнего торгового значения,—и которую однако можно было добыть в Москве лишь в царской казне,—обошли эти традиционные отделы русского экспорта. Зато громадное значение получила монополизация товаров, шедших, как и встарь, через Россию транзитом с востока—на первом месте монополизация *шелка*.

«Торговля шелком есть, без сомнения, самая важная из всех, которые ведутся в Европе», напоминает своему читателю Олеарий, приступая к рассказу о путешествии голштинского посольства в Московию и Персию. Поводом для самого путешествия и послужило желание Фридриха, герцога шлезвиг-голштинского и ольденбургского, который тогда и не подозревал, что он будет одним из предков русского царствующего дома,—сделаться для западной Европы таким же монополистом этого драгоценнейшего в мире товара, каким для восточной был русский царь. Герцог Фридрих был не первый и не последний на этом пути: никакая царевна в сказке не видала у себе больше женихов, чем видали московские бояре иностранцев, домогавшихся пропуска через московскую землю в Персию, главнейший тогда экспортный рынок шелка-сырца. В 1614 г. приехал в Россию английский агент Джон Мерик,—известный посредник в мирных переговорах Москвы со Швецией, приведших к Столбовскому миру. С первых же слов он передал желание английского короля, чтобы английским купцам был открыт свободный путь по Волге. Мерик был человек нужный, и английская помощь необходима, как никогда: англичан старались отговорить ласково, внушали им, что «в Персию и в иные восточные государства английским гостям в нынешнее время ходить страшно», что на Волге «многие воры воруют», и наших многих торговых людей пограбили, и «наши торговые люди теперь в Персию не ходят». Мерик не унялся, и после заключения Столбовского мира возобновил разговор уже настоятельнее. На этот раз ему ответили откровеннее. «Наши русские торговые люди оскудели,—сказали ему,—теперь они у Архангельска покупают у англичан товары, сукна, возят их на Астрахань и продают там Кизиль-Башам (персам), меняют на их товары, от чего им прибыль и казне прибыль; а станут англичане прямо ездить в Персию, то они у Архангельска русским людям продавать своих товаров не будут, повезут их прямо в Персию, и Кизиль-Баши со своими товарами в Астрахань ездить не станут,—будут торговать

с англичанами у себя». В 1629 г. приехал французский посол, де-Гэ-Курменен—он тоже между прочим просил: «царское величество позволил бы французанам ездить в Персию через свое государство». Бояре ответили, что французы могут покупать персидские товары у русских купцов. В 1630 г. явились знакомые нам голландцы: они также толковали не об одной хлебной торговле: голландская монополия должна была распространиться и на персидские товары. С своим обычным предрассудком насчет московской дешевизны голландцы предлагали за персидскую монополию 15 тыс. руб. в год. Бояре ответили, что быть тому невозможно: английскому королю (а уж какой друг!) отказано по челобитью торговых людей московского государства. Немного спустя приехали датские послы—и тоже завели разговор, чтобы дана была дорога датским купцам в Персию. Им ответили уже совсем лаконически, что в шахову землю дороги никому давать не велено. Больше всего повезло, было, голштинцам: они за персидскую монополию, на 10 лет, обещались платить по 600 тыс. ефимков (до 5 млн. руб. золотом) ежегодно. Очевидно мнение Олеария, что нет для Европы торговли важнее шелковой, вполне разделялась и его земляками. Цифра показалась в Москве внушительной, и согласие было дано. Но тотчас же оказалось, что в Голштинии теория сильнее практики и что там лучше умеют считать, чем платить. Когда дело дошло до платежа, необходимых капиталов у голштинцев не оказалось—и грандиозное предприятие весьма жалко кончилось дипломатической перебранкой между правительством царя Михаила и герцогом Фридрихом. Благодаря сплошному водному пути от самой Персии почти без перерыва до самого Архангельска—сначала Каспийским морем, потом Волгою, Сухоною и Сев. Двиной—транзит шелка через Россию представлял громадные выгоды сравнительно с перевозкой его сухим путем. В то время как каждый тюк, перевезенный из Гиляна в Ормуз [1] на спине верблюда, обходился не меньше 35—40 руб. золотом, перевозка такого же тюка морем до Астрахани обходилась не дороже 1 руб. тогдашнего, т. е. 15 золотых рублей. Нет ничего мудреного, что в среде тогдашних коммерсантов под впечатлением подобных цифр зарождались проекты, ничуть не уступавшие по грандиозности голландскому плану—превратить Россию XVII в. в ту «житницу Европы», какой она стала к половине XIX в. Помимо дешевизны фрахта тут можно было спекулировать еще на политической вражде персидского шаха и турецкого султана, между тем как московское государство старательно поддерживало с Персией самые лучшие отношения. Основываясь на всем этом, де-Родес предлагал боярину Милославскому, тестю царя Алексея, организовать компанию из крупнейших европей-

[1] Гавань в Персидском заливе.

ских коммерсантов, которая, пользуясь русской дорогой, захватила бы в свои руки всю персидскую торговлю, не одним шелком-сырцом, а кстати и добрую долю торговли с Индией и Китаем. За триста лет до Сибирской и проектировавшейся иранской железной дороги рижский купец покушался аннулировать результаты открытия Васко-де-Гамы, сделав из Волги и Двины конкурентов великого океанского пути на Дальний Восток. К его несчастию, у де-Родеса были только мечты, а не капиталы,—а его собеседник, и с ним все московское правительство, не принадлежали к числу людей, способных упустить синицу из рук ради журавля, который еще бог весть когда прилетит. В Москве шли по линии наименьшего сопротивления—и делали самое простое, что в данном случае можно было сделать: персиян не пускали дальше Астрахани, а европейцам не сдавали шелк ближе Архангельска, причем держались правила запрашивать всегда как можно выше как за русские товары, шедшие в обмен на шелк в Астрахани, так и за самый шелк, шедший в обмен на европейские фабрикаты или, еще лучше, на наличные деньги—в Архангельске,—и с однажды достигнутой цены никогда не спускать. Из товаров в Персию шли: русское полотно, медь и в особенности соболя и другие ценные меха. Медь фактически стоила, с провозом в Персию, 120 талеров за «корабельный пуд» (берковец, т. е. 10 пудов), но в Астрахани царские *гости*, которые одни имели право торговать ею с персиянами, не уступали ее меньше чем за 180 талеров берковец. Полотну красная цена была 4—5 талеров за кусок: персидским торговцам продавали его за 8—10 руб.; даже расплачиваясь чистыми деньгами (дукатами), спускали их по искусственно вздутому курсу, который был на 12% выше обычного европейского. Все это можно было делать потому, что в Астрахани с персами строго запрещено было торговать кому бы то ни было, кроме агентов правительственной монополии, гостей. Персам оставалось на выбор: или совсем не брать товаров, которые были им необходимы, или платить то, что назначают московские гости. При таких условиях пуд шелку-сырцу обходился в Архангельске с доставкой не дороже 30 руб., а продавали его за 45 руб. Прибыль царской монополии составляла таким образом 50%. Оборот торговли был крайне медленный: шелковый караван приходил в Архангельск раз в три года. Груз его составлял обычно до 9 тыс. пуд. на сумму 40 500 руб. тогдашних—более 600 тыс. руб. золотом; сюда входил только шелк-сырец, так высоко ценившийся в то время на Западе, что во Франции например не было места, где бы не пробовали разводить шелковицу; сам король занимался этим в Фонтенебло. Торговля шелковыми изделиями, привозившимися из той же Персии, а отчасти и с более далекого Востока, была свободна—и до 1670-х годов в Москве проживало большое количество персидских и даже индийских торговцев.

Не победив мирового пути, открытого португальцами, персидская торговля московского царя все же была несомненно самым крупным коммерческим предприятием Московской России. Персидский караван, который голштинское посольство догнало между Саратовом и Царицыном, состоял из 16 больших и 6 меньших судов: а самые большие волжские насады XVII в. поднимали до 1 тыс. ластов, т. е. до 2 тыс. тонн груза, и имели до 400 человек экипажа (т. е. собственно бурлаков, которые тащили судно бечевой, когда не было ветра). Современные волжские баржи по части размеров вероятно не очень опередили своих предшественниц допетровской эпохи. Нужно заметить, что вообще крупные суда на Волге обслуживали царскую монополию: два других громадных «насада», встреченных Олеарием, принадлежали один царю, другой патриарху, и везли икру.

Мы еще не исчерпали всех царских монополий, о которых говорят современники: торговля ревенем например тоже была сосредоточена в казне. Но сущность дела уже давно ясна читателю: концентрация в одних руках сотен тысяч по-тогдашнему, миллионов рублей по-теперешнему на золото, впервые повела к образованию в ремесленной России, знавшей до тех пор лишь мелкий торг, как и мелкое только производство,— *торгового капитала.* Но мы очень ошиблись бы, если бы предположили, что капитал этот весь был в руках царя. Фактически им распоряжались гости, от царского имени ведшие торговлю и с Востоком и с Западом. «Гости—царские коммерции советники и факторы, они неограниченно правят торговлей во всем государстве. Эта своекорыстная и вредная коллегия, довольно многолюдная, имеет главу и старшину, и все они занимаются торговлей (sind alle Kaufleute), в числе их есть и несколько немцев... Они рассеяны по всему государству и во всех местах по своему званию пользуются привилегией покупать первыми, хотя бы они действовали и не за царский счет. Так как они одни однакоже не в состоянии справиться со столь широко раскинувшейся торговлей, то во всех больших городах у них есть подставные лица, в лице двух или трех из проживающих там виднейших купцов, которые в качестве царских факторов пользуются привилегиями гостей, хотя не носят этого имени, и ради своей частной корысти всюду причиняют различные стеснения торговле. Простые купцы замечают и знают это очень хорошо, говорят о гостях плохо, и можно опасаться, что в случае восстания чернь всем гостям свернет шею. Они (гости) производят оценку товаров в царской казне в Москве, распоряжаются ловлей соболей и сбором соболиной десятины в Сибири точно так же, как и архангельским караваном, и подают царю советы и проекты по части учреждений царских монополий. День и ночь они стараются о том, чтобы совершенно подавить торговлю на Балтийском море и нигде не допускать

свободной торговли, чтобы тем прочнее было их господство и тем легче они могли наполнять собственные кошельки». К этой характеристике Кильбургера, которая хорошо передает если не самые факты, то впечатление, которое эти факты производили на очень внимательного и очень осведомленного наблюдателя, превосходную иллюстрацию дает известный псковский эпизод. В Пскове, под тем предлогом, что мелкие торговцы являются орудием в руках заграничных капиталистов, которые, ссужая их деньгами, обращают их фактически в своих комиссионеров,—гости монополизировали всю без исключения заграничную торговлю в своих руках, обратив все второстепенное псковское купечество в комиссионеров их, гостей. Ни один из местных купцов второго рязряда («маломочные») не имел более права торговать за свой счет, все они были приписаны «по свойству и по знакомству» к крупным псковским капиталистам и, получая ссуды для своих операций из земской избы, должны были доставлять все закупленные товары туда же, к «лучшим людям, у кого они были в записке». А для удобства контроля вся торговля с иностранцами была приурочена хронологически к двум ярмаркам (9 января и 9 мая), а топографически—к трем гостиным дворам, двум для заграничных и одному для русских товаров: обмен товарами мог производиться только в это время и в этих местах. Как мера «покровительства» туземному торговому капиталу в борьбе с иноземными псковское постановление 1665 г. является, для своего времени, чрезвычайно смелым шагом, свидетельствующим о большой сознательности его авторов: недаром оно связано с именем отца русского меркантилизма, Ордина-Нащокина. Но оно же указывает и оборотную сторону дела: мы видим, как трудно было русскому капитализму держаться в борьбе с Западом естественным путем, без подпорок.

Торговле ремесленного типа, а такой оставалась, в общем и целом, русская торговля XVII в., самые приемы капиталистического обмена внушали суеверный ужас. «Да немцы же, живя в Москве и городах, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год по пяти, шести и десяти раз с вестями, что делается в московском государстве, почем какие товары покупают,—плакались московские торговые люди в своей челобитной 1646 г.,—и которые товары в Москве дорого покупают, те они станут готовить, *и все делают по частым своим вестям и по грамоткам*, сговорясь заодно». И тут же обиженные таким дьявольским ухищрением, как *почта*, русские люди приводят необычайно выразительный пример своей беспомощности перед коварными иноземцами: понадеявшись на высокую цену шелка-сырца в прошлых годах, русские торговцы скупили весь запас шелку из царской казны в расчете выгодно перепродать его «немцам». Но на европейском рынке тем временем цены на шелк упали, и «немцы» не только не купили ни одного тюка

по цене, которая казалась русским «справедливой», но еще насмеялись над ними. «Милостивый государь,—взывали обиженные русские коммерсанты,—помилуй нас, холопей и сирот твоих, всего государства торговых людей: воззри на нас бедных и не дай нам, природным своим государевым холопам и сиротам, от иноверцев быть в вечной нищете и скудости, не вели искони вечных наших промыслишков у нас бедных отнять».

Какую коммерческую роль уже в то время играла почта, видно из рассуждений и проектов де-Родеса, писавшего меньше чем через 10 лет после цитированной нами сейчас челобитной. Успешную конкуренцию голландцев со шведами он приписывает главным образом тому обстоятельству, что голландская корреспонденция через Ригу скорее доходила до Москвы, нежели шведская через Нарву. Он советует поэтому совершенно запретить пересылку писем прямым путем из Риги в Москву через Псков и сделать Нарву центральным почтамтом для всего балтийского побережья—тогда вся корреспонденция, идущая с запада на Москву Балтийским морем, будет в одинаковых условиях. Но русские правительственные круги и стоявшие близко к ним коммерсанты и в этом пункте были достаточно европейцами, и почтовой монополии шведам не уступили. В 1663 г. в московском государстве появляется своя заграничная почта, сданная в эксплоатацию одному частному предпринимателю Иоганну фон-Шведен. Она отправлялась регулярно каждый вторник на Новгород, Псков и Ригу, а возвращалась обратно каждый четверг. Нарвская линия, напротив, была совершенно заброшена; шведы потерпели тут полное поражение. Письмо от Москвы до Риги шло не меньше 9—10 дней, и франкировка его обходилась, на наш современный взгляд, невероятно дорого: 1 золотник стоил до Новгорода 6, до Пскова 8 и до Риги 10 копеек (90 коп., 1 р. 20 к. и 1 р. 50 к. на золото). Другая заграничная линия шла на Вильну и Кенигсберг: письма в Германию выигрывали, если их отправляли этим путем, два дня. До Берлина письмо шло 21 день и стоило по 25 коп. (3 р. 75 к.) за золотник. Приходившие из-за границы письма доставлялись сначала в Посольский приказ, и здесь с совершенной откровенностью вскрывались и прочитывались подъячими, дабы правительство раньше всех знало заграничные новости: понятие «тайны частной корреспонденции» было совершенно чуждо тогда не только московским людям, но и их иноземным учителям—по крайней мере Кильбургер сообщает об этой обязательной перлюстрации, как о самом нормальном факте. Для широких масс зато сама почта и долго потом продолжала оставаться фактом, глубоко ненормальным. «Да пожаловали они, прорубили из нашего государства во все свои земли диру, что все наши государственные и промышленные дела ясно зрят,—жаловался Посошков еще около 1701 г.—Дира же есть сия: зделали почту, а что в ней великому государю прибыли, про то Бог весть, а колько гибели

от той почты во все царство чинитца, того и исчислить невозможно. Что в нашем государстве ни зделается, то во все земли разнесетца; одни иноземцы от нее богатятся, а русские люди нищают. И почты ради иноземцы торгуют издеваючись, а русские люди жилы из себя изрываючи». Понятно, что Посошков советовал «ту диру загородить накрепко» и почту «буде мочно—оставить вовсе», и даже частным лицам запретить возить с собою письма. При всей отсталости взглядов Посошкова (для данного пункта его интересно сравнить с другим прожектером петровского времени, Федором Салтыковым, который советовал, напротив, в добавок к иногородней завести еще и городскую почту, с самым дешевым тарифом), одной отсталостью этой черты не объяснишь. Как всякое орудие торговой конкуренции, почта еще больше усиливала сильного и ослабляла слабого; а так как заграничный капитал был всегда гораздо сильнее русского, то выгоды от усовершенствованных сношений доставались именно ему. В 1670-х годах Кильбургер мог сообщить своему читателю удивительный факт: вся архангельская торговля находится в руках нескольких голландцев, гамбургцев и бременцев, которые держат в Москве постоянных приказчиков и факторов—русские же в Архангельск не ездят. Он перечисляет при этом поименно целый ряд немецких купцов, которые специализировались на торговле между Архангельском и Москвою и никогда сами не выезжали за границу. Мало того, иностранцы, по его словам, проникли и в коллегию гостей, и притом не только в качестве заграничных царских агентов, как Клинк Бернгард и Фагелер в Амстердаме, но и в самой Москве,—как Томас Келлерман.

Для характеристики заграничной торговли остается прибавить, что не только вывоз, но и ввоз приобрел уже в XVII в. массовый характер. Давно прошло то время, когда в Россию ввозились из-за границы только предметы роскоши, как это было при Грозном и отчасти даже в начале XVII в., когда в списке привозимых товаров мы находим позолоченные аллебарды, аптекарские снадобья, органы, клавикорды и другие музыкальные инструменты, кармин, нитки, жемчуг, дорогую посуду, зеркала, люстры и т. п. Списки товаров, привезенных в 1670-х годах, дают такие например цифры: селедок привезено через Архангельск в 1671 г. 2 477 тонн, в 1672 г.—1 251 тонна; иголок в первом году 683 тыс., во втором—545 тыс. штук; краски всякого рода 5 тонн, и кроме того 809 боченков индиго; бумаги 28 454 стопы. Особенно характерен для развивавшейся русской индустрии ввоз железа и железных изделий, причем нужно иметь в виду, что в то время, как увидим дальше, были железоделательные заводы и в самом московском государстве, уже с очень крупным производством. Тем не менее, не считая железных изделий, в 1671 г. через Архангельск было привезено 1 957 полос шведского железа: такой спрос на этот материал существовал в русских мастерских за 20 лет до Петра.

Торговый капитализм XVII в. имел громадное влияние и на внешнюю и на внутреннюю политику московского правительства. До завоевания Украины и отчасти даже до Петра объектом первой был юг,—колонизация южной окраины, теперь безраздельно доставшаяся в московские руки, дала непосредственный повод и к походам в Крым кн. В. В. Голицына, и к азовским походам Петра. Перемена в ориентировке этой политики, связанная с Северной войной, была вызвана главным образом интересами русской внешней торговли. Уже де-Родес указывал, в 1650-х годах, что традиционное направление этой последней на Архангельск по крайней мере вдвое понижает барыши капиталистов, так как, по климатическим условиям, торговый капитал на Белом море успевает обернуться только один раз (он совершал этот оборот в пять месяцев), а на Балтийском два или даже три раза (если считать судоходную кампанию Риги или Либавы в 9 месяцев, а оборот при максимальной скорости в 3 месяца). Де-Родес формально работал в пользу Швеции, но, по существу, едва ли не в пользу своего родного города Риги, торговля которой росла во второй половине XVII в. чрезвычайно заметно. Вывоз льна с 1669 по 1686 г. увеличился вдвое (с 67 570 до 137 550 пуд.), конопли с лишком втрое (с 187 260 до 654 510 пуд., в 1699 г.—816 440 пуд.), все прочее в такой же пропорции. Территорией, питавшей рижскую торговлю, были: во-первых, Литва, во-вторых, соседние области московского государства. Экономически город очевидно теснее был связан с ними, нежели со своим юридическим «отечеством»—Швецией, которой он тогда принадлежал. В таком же положении был и второй после Риги остзейский порт—Ревель. Шведское правительство, вообще одно из лучших бюрократических правительств тогдашней Европы, отлично сознавало это, как свидетельствует один любопытный указ королевы Христины (3 июня 1648 г.). Им русская торговля в Ревеле ставилась в исключительно благоприятные условия, а, с другой стороны, делались все усилия привлечь сюда в возможно большем количестве заграничных купцов, чрезвычайно облегчив им доступ в среду ревельского гражданства, а, стало быть, и ко всем торговым привилегиям, какими обильно пользовалось местное население по сравнению с иноземными [1]. Вскоре после Кардисского мира (1661 г.) шведское правительство добилось «свободной торговли» между русскими и шведскими подданными. Несколько ранее, когда русские, под влиянием голландцев, всячески, между прочим и литературным путем, посредством карикатур и памфлетов, конкурировавших с англичанами, отняли у последних их привилегию, и английская фактория в Архангельске закрылась, Швеция пыталась перевести английский торг к себе в Нарву. Но все эти

[1] «Здесь обычай,—записал кн. Ф. А. Куракин о Гамбурге в 1708 г.,—когда торговой приедет в который город, в котором он не записан гражданином, не может торговать ни грунтовым торгом, ни мелким».

хлопоты, как можно видеть уже из приведенных примеров, больше шли на пользу Швеции как политического целого, нежели ее остзейских подданных. Щедро даря бюргерские привилегии в остзейских городах иностранцам, шведские короли были очень скупы на те привилегии, которыми пользовались шведские купцы. Мы видели, какую роль в тогдашней торговле играли *зундские* пошлины, которые собирала в свою пользу Дания со всех входящих в Балтийское море и выходящих из него кораблей. Шведы добились их отмены, но только для себя: рижане и ревельцы продолжали их платить. Во вторую половину XVII в. стал быстро расти лифляндский *хлебный вывоз* (с 2 380 «лофов» в 1669 г. до 6 591 в 1686 и 14 939 в 1695 г.). Но Карл XI поспешил обложить его высокими вывозными пошлинами, чтобы создать преимущество для Швеции, которая тоже нуждалась в привозном хлебе. В то же самое время, когда это было им выгодно, шведы очень хлопотали о «свободной торговле». В половине столетия крупные рижские торговцы вздумали образовать компанию, которая должна была монополизировать в своих руках все коммерческие сношения с заграницей (упоминавшиеся выше псковские мероприятия 1665 г. едва ли не были подражанием этому рижскому проекту). Но шведское правительство, в лице местного губернатора Бенгта Оксенширны, решительно воспротивилось этому, опираясь на «маломочных» рижских купцов, которым затея капиталистов, естественно, не могла нравиться. С полным нарушением прав городского совета, где командовал крупный капитал, Оксенширна наложил запретительные вывозные пошлины до тех пор, пока не будет восстановлена «свободная торговля». В результате всякая торговля остановилась вовсе. Война с Данией и опасение, что датчане воспользуют этот конфликт, вынудили стокгольмское правительство отступиться от решительных шагов своего рижского представителя; но к тому времени компания была уже разорена и должна была ликвидироваться как раз в тот момент, когда ее представители одержали победу в Стокгольме [1].

Естественному тяготению остзейских портов на восток соответствовало такое же естественное отталкивание их со стороны их скандинавского сюзерена. Когда Петр начал великую Северную войну походом на Нарву, воскрешая этим операционную линию Грозного, когда он, идя по следам царя Алексея, осаждал Ригу, он являлся, в сущности, освободителем пленного шведским засильем остзейского торгового капитала. Рига должна была стать русским портом, так как русская торговля уже выросла из Архангельска; с другой стороны, Риге нужно было освободиться от шведских пут, так как иначе ее убил бы Кенигсберг, который год от году отбивал у Риги ее клиентов,

[1] Для всех вышеприведенных фактов см. *Richter*, Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen, Riga, 1858, Bd. II, Teil, 2 passim.

пользуясь тем, что кенигсбергские пошлины были в несколько раз ниже шведских. Собственно на Петербург Петр был отброшен после того, как ему не удалось завладеть Нарвой, а его союзники, саксонцы, потерпели поражение под Ригой. А раз выяснившиеся стратегические удобства передового поста на Неве должны были обеспечить ему первенство и позже, когда дела пошли удачнее. С коммерческой же точки зрения, Петербург и долго после не мог конкурировать естественным путем не только с Ригой, но даже с Архангельском. Пришлось и для того и для другого порта создать целый ряд ограничений: запретить ввозить в Ригу и в Архангельск целый ряд товаров, торговлю которыми должен был монополизировать Петербург. Зато русское правительство всячески старалось облегчить Риге конкуренцию с Кенигсбергом, причем из одного относящегося сюда документа мы узнаем, что так заботившиеся о «свободной торговле» шведы отдали в 1690 г. всю мануфактурную торговлю Риги на откуп четырем человекам, тогда как остальное купечество могло торговать мануфактурой только во время ярмарки (с 20 июня по 10 августа) [1]. Как видим, то, что обыкновенно выставляется, как ближайшая причина перехода остзейских провинций—главного объекта Северной войны—на русскую сторону, знаменитая «редукция», отобрание у лифляндского дворянства захваченных им в прошлые годы коронных имений, занимает в числе причин, обусловивших войну, далеко не первое место. Поскольку речь идет о завоевании Россией восточного побережья Балтики, «редукция» не играла даже никакой роли. Остзейское дворянство смотрело не на восток, а на юг, желало присоединения не к московскому государству, а к Польше. Лидер дворянской оппозиции Паткуль был очень испуган, когда увидал, что фронт русского наступления поворачивает на запад, к Нарве: он бы предпочел видеть Петра в Финляндии. С другой стороны, рижское бюргерство не чувствовало, повидимому, ни малейшего желания переходить из шведского подданства в польское, и в 1700 г. от войск короля Августа город защищал не столько малолюдный шведский гарнизон, сколько вооруженные граждане, за что лифляндское дворянство, в договоре с тем же польским королем, проектировало лишить рижских бюргеров их исконных привилегий и передать управление городом окрестным помещикам. Союз остзейских баронов с русским правительством датируется от гораздо более позднего времени, когда взяла верх дворянская реакция, временно уступившая при Петре союзу торгового капитала с новой феодальной знатью.

Торговыми интересами на Балтийском море определяется и та комбинация держав, при которой началась Северная война и которая держалась, с перерывами, до ее конца. Союз России с

[1] См. Доклад рижского оберинспектора Данненштерна, «Сборник Русск. историч. общества», т. XI, стр. 459.

Польшей именно на этой почве был столь же естественным, как тяготение Риги к московскому государству: обеим державам для их экспорта нужно было «свободное» Балтийское море, т. е. уничтожение шведской монополии. Дания была в этом с ними солидарна, хотя бы, прежде всего, во имя зундских пошлин, которых она не могла заставить платить шведов, не говоря уже о старинной конкуренции двух скандинавских народов на Балтике. Наоборот, голландцы, именно от этих зундских пошлин убежавшие на Белое море, должны были отнестись к русско-польскому предприятию весьма несочувственно. Взаимные отношения Петра и Нидерландской республики во время Северной войны и по ее поводу могут служить наилучшей иллюстрацией того, как всяческие «культурные» влияния пасуют перед экономическими в случае столкновения. Казалось бы, что могло быть сильнее голландского влияния на «саардамского плотника», даже в своей подписи рабски копировавшего ту страну, которая в его глазах была олицетворением европейской цивилизации? А между тем, начиная войну, он знал, что его друзья смотрят на это более чем холодно. Даже обещание вдвое понизить таможенные пошлины, сравнительно с Архангельском, не заставило лед растаять. «Нынешняя война ваша со шведами Штатам очень неприятна,—писал из Гааги Петру его тамошний представитель, Матвеев,—и всей Голландии весьма непотребна, потому что намерение ваше—взять у шведа на Балтийском море пристань». А когда в Гаагу пришло известие о поражении русских под Нарвою, оно произвело там «несказанную радость». Друзья Петра, вместе с англичанами, не останавливались даже перед тем, чтобы разорвать союз Петра с Польшей,—наладив отдельный мир короля Августа с Карлом XII. На Данию тоже оказывалось давление в том же направлении. Причем все заманчивые обещания Петра насчет тех коммерческих выгод, которые сулит балтийская торговля, сравнительно с беломорской, благодаря более быстрому обороту капитала (старый аргумент де-Родеса) на англичан совершенно не действовали. Голландцы же формально заявили русскому представителю, что они «по старым договорам обязаны во всем помогать Швеции». Нужны были, с одной стороны, полтавская победа, с другой—видимое упрочение русских на берегах Финского залива для того, чтобы в Лондоне и в Гааге решили несколько изменить свое отношение к внешней политике Петра.

## 2. Меркантилизм.

В основе этой политики лежал, таким образом, *меркантилизм*. О Петре как одном из представителей этого именно течения экономической политики его времени принято говорить уже давно [1]. Меркантилизмом, как известно, называется такое на-

[1] См. между прочим статью *Штиды* (Stieda) в «Russische Revue», 1874, № IV, «Peter der Grosse, als Mercantilist»—весьма сухой, но очень добро-

правление этой политики, которое, исходя из отождествления богатства с деньгами или вообще с драгоценными металлами, видит в торговле, приносящей в страну драгоценные металлы, источник народного богатства. Первые зачатки меркантилизма в Западной Европе относятся к концу средних веков (XIII—XV), а его расцвет—к эпохе Людовика XIV. Но его теория не стояла все время на одном месте, и в то время как ранний меркантилизм опирался исключительно на торговлю ценным сырьем, особено колониальным, в XVII в. стали сознавать всю выгодность сбыта фабрикатов, особенно когда в фабрикаты перерабатывалось местное сырье, которого не было или которого мало было у других. Эта вторая стадия меркантилизма, связанная с именем Кольбера—почему иногда это направление и называют специально *кольбертизмом*—и характеризующаяся покровительством туземной обрабатывающей промышленности, дожила, как всем известно, до нашего времени и составляет интегральную часть государственной мудрости, проповедуемой всеми консервативными партиями. Петровской России были уже знакомы обе стадии. Первая нашла себе юридическое выражение уже в 1667 г., в знаменитом Новоторговом уставе, изданном по почину Ордина-Нащокина, вероятного вдохновителя известной нам псковской реформы. Устав начинается с характерно меркантилистского заявления. «Во всех окрестных государствах свободные и прибыльные торги считаются между первыми государственными делами; остерегают торги с великим бережением и в вольности держат для сбора пошлин и всенародных пожитков мирских». Фразы о «свободе» и «вольности» нас не должны смущать—речь тут идет не о «свободе торговли» в том смысле, какой придал этому термину XVIII в., а об отмене всякого рода феодальных стеснений и поборов узко-фискального характера, стеснявших обмен ради непосредственной грошевой выгоды царского, а раньше княжеского казначейства. Множество мелких поборов, оставшихся от удельного времени (мыты, сотое, тридцатое, свальное, складки, повороты, статейное, мостовое, гостиное и т. д.), были уничтожены Новоторговым уставом и заменены однообразной таможенной пошлиной, которая имела в виду не столько непосредственную прибыль казны, сколько создание выгодного для московского государства торгового баланса: была повышена пошлина с иностранных вин, зато совсем беспошлинно можно было привозить драгоценные металлы. А предметы роскоши, «узорочные вещи» были вовсе запрещены к привозу без особого разрешения. «В порубежных городах головам (таможенным) и целовальникам у иноземцев расспрашивать и пересматривать в сундуках, ларцах и ящиках жемчугу и каменья неотложно, чтобы узорочные вещи в утайке

совестный свод или, вернее, каталог фактов, характеризующих эту сторону петровской реформы.

не были; от покупки таких вещей надобно беречься, как и в других государствах берегут серебро, а излишние такие вещи покупать запрещают, не позволяют носить их простым нечиновным людям, чтобы оттого не беднели; также низких чинов люди, чтоб не носили шелку и сукна. Надобно удерживать таких людей от покупки таких вещей накладною пошлиною большою и заповедью без пощады: берегут того во всех государствах и от напрасного убожества своих людей охраняют». Нет надобности говорить, что заботы о том, чтобы «нечиновные люди не беднели», представляют собою такое же чиновничье лицемерие, как и оправдание казенных кабаков интересами народной трезвости. По существу же, тенденции Новоторгового устава не представляют собою ничего нового: во Франции еще в конце XIII в. в заботах о том, чтобы «нечиновные люди не беднели», запрещено было лицам, имевшим менее 6 тыс. ливров годового дохода, приобретать золотую и серебряную посуду, заказывать более, нежели 4 платья в год и т. п. В Германии бархат могли носить только рыцари, золотые украшения на шляпе тоже составляли дворянскую привилегию: и еще в 1699 г. служанка, осмелившаяся надеть платье со шлейфом или отделанное кружевами, рисковала попасть с бала в участок. В литературе у нас выразителем взглядов этого раннего меркантилизма является Посошков, писавший при Петре, отчасти даже в конце царствования, но характерный, в сущности, для второй половины XVII в. По мнению Посошкова, «не худо бы расположить, чтобы всякий чин свое бы определение имел: посадские люди все купечество собственное платье носили, чтобы оно ничем ни военному, ни приказному согласно не было. А то ныне никоими делами по платью не можно познать, кто какого чина есть, посадский или приказный или дворянин, или холоп чей, и не токмо с военными людьми, но и с царедворцем распознать не можно». Дальше идет проект обмундирования всех разрядов посадского населения, где предусматривается не только материал, из которого сделана одежда, но и ее фасон и окраска. У первой статьи купецкого чина кафтаны должны были быть «ниже подвязки, чтобы оно было служивого платья длиннее, а церковного чина покороче, а штаны бы имели суконные и триповые, а камчатных и парчевых отнюдь бы не было у них, а на ногах имели бы сапоги, а башмаков тот чин отнюдь не носил же бы». Тогда как «нижняя статья... те бы носили сукна русские крашеные лазоревые и иными цветами, хотя валеные, хотя не валеные, только бы были крашеные, а некрашеные носили бы работные люди и крестьяне» [1]. Параллельно с этим идут советы запретить ввоз шелковых носовых платков и иностранных вин: «буде кто хочет прохладиться, то может и русскими питьи забавиться». Подобно русским купцам, державшим у себя шелк по пяти лет в наивной уверенности,

[1] См. *А. Брикнера*, Посошков как экономист, стр. 124—125.

что иностранцам все равно достать его негде, и они только из упрямства не хотят платить москвичам «справедливой» цены, Посошков тоже был твердо убежден, что русские без иностранных товаров могут прожить, «а они без наших товаров и десяти лет прожить не могут». И то, что однажды случилось в Архангельске, он готов обратить в систему, которую он, с обычной конкретностью своей фантазии, разрабатывает во всех деталях. «Пока иноземцы по наложенной цене товаров наших приймать не будут, до того времени отнюдь нималого числа таких товаров на иноземческие торги не возили бы»; и товаров, привезенных из-за границы, не позволять складывать в русских портах—не захотел покупать русского товару, вези и свой обратно. А на будущий год накинуть «на рубль по гривне или по четыре алтына»—«как бы купечеству в том слично было и деньги бы в том товаре даром не прогуляли». «И так колико годов ни проволочат они упрямством своим, то на каждый год по толико и те накладки на всякий рубль налагать, не уступая ни малым чем, чтоб в купечестве деньги в тех залежалых товарах не даром лежали, но проценты бы на всякий год умножились. И аще в тех процентах товарам нашим (цена) возвысится, что коему прежняя цена была рубль, а в упорстве иноземском возвыситься в два рубля, то *такову цену впредь за упрямство их держать*, не уступая ни малым чем».

Рядом с этим глубоким убеждением автора «Скудости и богатства», что барыш в торговле определяется тем, кто кого переупрямит, можно поставить только его теорию денег—столь же вполне средневековую, как и его теория обмена. Посошкова очень возмущало, что иноземцы осмеливаются устанавливать курс на русские деньги: «деньги нашего великого государя ценят, до чего было им ни малого дела не надлежало». «А наш великий император сам собою владеет, и в своем государстве *аще и копейку повелит за гривну имать*, то так и может правиться». На этот раз наш автор отстал не только от европейских взглядов на дело, но и от русской действительности: опыт назвать копейку гривенником был уже сделан в России приблизительно за три четверти столетия до того, как была написана книга «О скудости и богатстве». Так как этот опыт весьма характерен для раннего меркантилизма, то место упомянуть о нем именно здесь. Одновременная война с Польшей и Швецией поставила небогатую золотом и серебром казну царя Алексея в очень затруднительное положение. Надо иметь в виду, что в московском государстве не было ни золотых россыпей, ни серебряных рудников, так что заграничная торговля была единственным источником драгоценных металлов. Сначала прибегли к обычной не только у нас, но и в Западной Европе, и не только в то время, но и гораздо позже, до Петра включительно, порче приходившей с запада полноценной монеты: из «ефимка», принимавшегося у иностранных

купцов по искусственно пониженному курсу (40—42 копейки вместо полтинника) чеканили 63—64 серебряных копейки. Затем перестали себя затруднять даже перечеканкой и просто клали на «ефимки» особые штемпеля, повышавшие их номинальную цену на 25%. Относительный успех этих мер, не затрагивавших широкой массы, для которой копейка (равнявшаяся 15—17 копейкам XIX в.) была наиболее обычной монетой, навел довольно естественно на соблазн: выпустить деньги совершенно искусственной ценности, определенной исключительно царской печатью. Так появились в обращении медные полтинники и рубли с принудительным курсом. Их совершенно напрасно сравнивали иногда новейшие историки с ассигнациями: последние всегда могли быть разменены на золото или серебро, хотя бы и не рубль за рубль, а «медные рубли» царя Алексея менять или выкупать вовсе не предполагалось. Это были «искусственные деньги» в полном смысле этого слова—металлическое выражение той идеи, что царь может и копейку велеть за гривенник считать. Но пределы царской власти неожиданно оказались ограниченными, и на московском рынке разразился самый неприятный и затрагивавший самые широкие круги кризис: крестьяне перестали возить в город сено, дрова и съестные припасы, за которые им платили медью, вместо привычного серебра (нужно иметь в виду, что и копейка была тогда серебряная). Цены на все предметы первой необходимости сразу поднялись вдвое. Так как недовольство охватило и служилых людей, то правительству пришлось пойти на уступку: были снова выпущены серебряные копейки,—другими словами, казна поступилась своей монополией на серебро, которую она хотела было ввести, и они стали обмениваться на медные, копейка за копейку. Это успокоило массу, и она понемногу привыкла к новой, медной копейке, раз было очевидно, что та ничем не отличается от серебряной по своей покупной силе. Медные копейки стали теперь действительно чем-то вроде ассигнаций: но для правительства это была лишь временная мера, которою оно рассчитывало приучить народные массы к нововведению. Едва медная копейка вошла в обычай, как ее стали чеканить в огромном количестве, совершенно не соображаясь с возможностью размена. По отзывам современников (наиболее полный рассказ о монетной авантюре тех дней оставил нам Котошихин), сюда примешались и злоупотребления: московские гости, пользуясь своей близостью к государственным финансам, стали чеканить на царском монетном дворе деньги за свой частный счет, наживая при этом всю разницу, какая была в цене между серебром и медью. Как бы то ни было, количество медных денег в обращении настолько увеличилось, что курс их постепенно упал до 17 рублей медных за 1 серебряный. Кризис повторился, но уже в удесятеренных размерах, причем теперь правительство не могло так легко из него вы-

путаться, так как не имело никакой возможности выпустить серебряных денег, хотя бы приблизительно в таком количестве, чтобы можно было менять на них медные. Тогда-то произошел тот знаменитый бунт, когда толпа пришедших в Коломенское гилевщиков держала царя Алексея «за пуговицы». Очевидно кто-то уже и в те времена пытался объяснить волнение «иноземным подкупом», потому что Котошихин находит необходимым подчеркнуть, что среди бунтовщиков не было ни одного из многочисленных в Москве иностранцев. Зато он дает определенную социальную физиономию бунта: «были в смятении люди торговые и их дети, и рейтары [1], и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские и гулящие, и боярские люди»,— бунтовали мелкие торговцы, ремесленники и рабочие (как увидим ниже, категория наемных рабочих не была так незнакома Московской Руси, как часто думают). А направлено было восстание, наряду с администрацией, против крупного капитала: одним из наиболее заметных эпизодов является разгром двора одного из гостей, Шорина—крупнейшего из царских факторов того времени. Расправа «тишайшего» царя с бунтовщиками стоит того, чтобы ее отметить: началось с того, что безоружную толпу, пришедшую в Коломенское, в простоте души, «поговорить» с Алексеем Михайловичем, «начали бить и сечь и ловить, а им было противиться не уметь, потому что в руках у них не было ничего ни у кого, начали бегать и топиться в Москву-реку, и потопилося их в реке больше 100 человек, а пересечено и переловлено больше 7 тыс. человек, а иные разбежались. И того же дня около того села повесили до 150 человек, а достальным всем был указ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук пальцы, а иных били кнутьем, и клали на лице на правой стороне признаки, разжегши железо накрасно, а поставлено на том железе «буки», то-есть бунтовщик, чтобы был до веку признатен; и чиня им наказание разослали всех в дальние города, в Казань, и в Астрахань, и на Терки, и в Сибирь, на вечное житье и после по сказкам их, где кто жил, и чей кто ни был, и жен их и детей потому ж за ними разослали; а иным пущим ворам того же дня, в ночи, учинен указ, завязав руки назад, посадя в большие суда, потопили в Москве-реке». Всего за восстание было казнено, по словам Котошихина, более 7 тыс. человек, а сослано более 15 тыс. «А те все, которые казнены и потоплены и разосланы, не все были воры,—прибавляет он,—прямых воров больше не было, что с 200 человек; и те невинные люди пошли за теми ворами смотреть, что они будут у царя в своем деле учинять, а ворам на такое множество людей надежно было говорить и чинить что хотели, и оттого все погинули, виноватый

[1] Т. е. мелкие служилые, подобно стрельцам занимавшиеся мелкой торговлей и ремеслом.

и правый». Прибавьте к этому выразительному повествованию не менее выразительный рассказ Коллинса о том «капитане», которого тишайший царь собственноручно уложил на месте железным посохом—не хуже Грозного!—за то, что несчастный не во-время сунулся к нему с челобитной и напугал царя: и вам сразу станут понятны и стрелецкий розыск Петра, так же мало говорящий о его личной, исключительной жестокости, как казни Ивана Васильевича о патологическом состоянии последнего, и та атмосфера, которою окружен был московский двор XVII в., где одним из тягчайших преступлений было появиться во дворце, или хотя бы перед дворцом с оружием в руках. Впечатления Смуты, с ее убитыми и низвергнутыми царями, забывались не так легко, а XVIII веку суждено было многое освежить в памяти.

«Медные рубли» были самым эффектным эпизодом ранней поры русского меркантилизма, когда он не метил дальше того, чтобы все золото и серебро, какое возможно, собрать в казенные сундуки. Европа была слишком близко, и европейские влияния слишком сильны. Уже столь типичные московские люди, как Посошков, начинали понимать, что одной «твердостью» в обращении с иностранцами (твердости по отношению к своим не приходилось учить, как мы сейчас видели) страны не обогатишь; а что богатая казна возможна только в богатой стране, это опять-таки понимал и Посошков. «Все, что есть в народе богатства—богатство царственное, подобно и оскудение народное, оскудение царственное»,—записал он в одном месте,—правда, по совершенно случайному поводу, вспомнив, как сгноили в царской казне чью-то конфискованную соболью шубу. А что народное богатство извлекается не из одних торговых барышей, это представлялось ему тоже довольно ясно: и у Посошкова мы находим уже вполне определенный переход к промышленному меркантилизму кольберовского типа. По обыкновению, наивное национальное самодовольство первого русского экономиста (Крижанича не приходится считать «русским» экономистом—и вообще историческое значение его писаний весьма проблематично: что Петр делал часто «именно то самое», на что указывал ученый серб, ровно ничего не доказывает, раз этот серб говорил то же самое, что и все иностранцы его времени) придает его кольбертизму смешноватый оттенок. Он все рад бы делать дома — до «робячьих игрушек» и очков включительно, не покупая ничего подобного у иноземцев «ни на полцены», и, по обыкновению же налегая на волевой момент, уверен, что коли хорошенько приняться за дело, так стеклянной посудой например «все их государства наполнить можем». Меры, которые он предлагает для поднятия русской промышленности—мелочной контроль над доброкачественностью каждой отдельной вещи, штрафовка «неисправных» масте-

ров и т. п.—чисто средневековые. Но когда он мотивирует устройство суконных заводов в России тем, что тогда «те деньги у нас в России будут», он идет в ногу с современными ему европейскими меркантилистами, быть может, и прямо кое-что у них заимствуя, со-слуху, из рассказов бывавших за границей русских. В подлиннике русские официальные круги познакомились с более современными экономическими течениями из проектов голштинца Любераса, бывшего при Петре вице-президентом берг- и мануфактур-коллегий. В одной из своих записок, представленных Петру, этот образованный немецкий чиновник начинает, в сущности, с жестокой критики московских порядков, не называя только московского государства по имени. «Известно,—говорит он,—что в некоторых странах, несмотря на то, что ведется большая торговля, подданные мало получают от нее пользы. Бывает это тогда, когда жители продают свои продукты в сыром виде; в этом случае подданные других стран обрабатывают сырье и получают большую прибыль, тогда как первые обладатели имеют скудное пропитание... Или же тогда, когда государь либо за свой собственный счет возьмет известную торговлю, либо дозволит другим людям монопольную торговлю за ежегодное вознаграждение; от этого, повидимости, и вначале казна может несколько выиграть, но в действительности наибольшую выгоду извлекает руководитель предприятия, общая же торговля, которая тогда только и процветает, когда ведется свободно частными предпринимателями, с помощью их кредита и их индивидуальных усилий, испытывает великий вред для своего правильного течения...» [1]. «Знакомство с прошлым и настоящим временем делает бесспорным и ясным, как день, что после благословения Божия существует два главных пути, пренебрежение или внимание к которым обусловливает как погибель и порабощение стран, так и их процветание и рост: именно—мореплавание и *промышленность*...» Как на пример Люберас указывает русскому царю на его собственную страну, «превосходные и необходимые продукты которой до сих пор зависят от чужеземного вывоза и уравновешиваются обменом на иностранные товары, частью вовсе ненужные, *так как ваше величество имеете возможность завести собственные подобные мануфактуры*».

Люберас не мог указать, какие именно мануфактуры нужно завести в России, так как, по его словам, природные особенности (specialia) русского государства не были ему известны. За это взялся другой прожектер, уже природный русский, которого Петр посылал строить корабли в Англию, где его при жизни едва не арестовали по требованию английских кредиторов русского правительства, а после смерти искали, чтобы

[1] *Милюков*, Госуд. хозяйство России и реформа Петра Великого, стр. 528; мы пропустили 2 пункт, трактующий о торговом балансе вообще.

арестовать по царскому приказу: этого многострадального человека звали Федором Салтыковым,—он был правнук знаменитого в истории Смуты Михаила Глебовича Салтыкова и родственник царской семьи через царицу Прасковью Федоровну, жену брата Петра, слабоумного Ивана Алексеевича. В своих «изъявлениях прибыточных государству», написанных в 1714 г., Салтыков, рядом с вереницей самых разнообразных проектов—о присоединении к России Лифляндии, о написании истории Петра Великого, о воспитании сирот обоего пола, о городской почте и т. д.—набрасывает целый план создания в России «заводов»: шелковых парчей, суконных, бумажных, стекольных, игольных, булавочных и белого железа и смоляных. Впервые издавший проекты Салтыкова исследователь обращает по этому поводу внимание своих читателей на то, что к 1714 г. правительство могло извлечь из «пропозиций и изъявлений» очень немного фактически нового. «О производстве шелковых тканей, стекла, писчей бумаги Петр начал заботиться с 1709—1710 гг.,—пишет он.—В 1709 г. Петр отдал англичанину Вильяму Лейду существовавшие в Москве *стеклянные* заводы с обязательством расширить производство и выучить русских мастеров усовершенствованному способу производства стекла. В 1712 г. по приказанию правительства вывезены были из-за границы «припасы к стеклянному делу». Один молодой человек, некто Короткин, отправлен был Петром в Голландию для изучения *писчебумажного* мастерства, и по возвращении в Россию в 1710 г. получил приказание построить около Москвы бумажную мельницу и фабрику на «голландский манир»; несколько молодых людей было отдано ему в ученики, вслед затем граф Апраксин, по приказанию Петра (1712 г.), устроил бумажную мельницу в Красном Селе. Первая *шелковая* фабрика устроена, до проектов Салтыкова, в 1714 г.» [1]. К этому можно только прибавить, что все эти «начинания» Петра сами по себе не представляли собою ровно ничего нового. Стекольные заводы существовали уже в московском государстве в третьей четверти XVII в. Первую бумажную мельницу построили едва ли еще не при Иване Грозном; другую начали строить по приказанию патриарха Никона, но не достроили, а к 70-м годам того же столетия были в ходу уже две бумажных мельницы: одна царская, другая частная, принадлежавшая вдове знакомого нам откупщика заграничной почты, фон-Шведена. Последняя работала на «голландский манир»—и сохранились ее изделия, с водяными знаками, имитировавшими знаменитую тогда иностранную марку голову шута (Narrenkapp papier) [2]. Первая суконная фабрика была основана тем же Иоганном фон-

[1] *Н. Павлов-Сильванский*, Проекты реформ в записках современников Петра Великого, стр. 39—40.

[2] См. у *Лихачева*, Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве.

Шведеном в 1650 г.; первые железоделательные заводы появились еще несколько раньше; и если первая игольная мануфактура возникла в России только через три года после представления Салтыковым своих проектов, то это конечно вовсе не значит, что она без советов этого прожектера не появилась бы вовсе. Теория кольбертизма и у нас, как всюду, возникла на почве практики и, стало быть, после нее; но теория была попыткой систематизировать практику. Мы видели, что московская вывозная торговля представляла собою в конце XVII в. систему довольно правильно и прочно организованных монополий. Теперь такую же систему стремится принять и крупная промышленность.

В начале века промышленное производство в московском государстве носило, как и торговля, ремесленный характер. Впервые характер крупного коммерческого предприятия приняла царская торговля. Царские же, дворцовые промышленные заведения были в числе первых образчиков крупной индустрии в России. За царем в деле создания торгового капитализма в московском государстве шли иностранцы: они же являются и первыми у нас, кроме царя, заводчиками и фабрикантами; причем, как и иностранные купцы, иноземные промышленные предприниматели действовали постоянно под покровительством царской власти и в тесном союзе с нею. На двух образчиках мы можем очень хорошо видеть, как развивались царские мануфактуры из отраслей дворцового хозяйства. В подмосковном дворцовом селе Измайлове с давних пор существовало стекольное производство для домашних дворцовых нужд. По мере разрастания царского дворца, и стеклянной посуды нужно было больше—в 1668 г. в Измайлове мы находим уже стекольный завод с русскими мастерами. Но и придворные вкусы делались тоньше, грубое литье своих мастеров уже не удовлетворяло: всего два года спустя на завод были выписаны венецианцы, один из которых, некто Mignot (в русских документах Миот или Мает) оказался особенно заслуживающим своей репутации, и работа измайловского завода даже иностранцами признавалась «довольно изящной». Попрежнему завод обслуживал и дворцовые надобности: в расходных книгах измайловского дворца за 1677 г. значится, например, что царице Наталье Кирилловне 14 июня было подано 25 стаканов высоких да 25 плоских и разная другая стеклянная посуда. Но в то же самое время мы находим в Москве, на Большом гостином дворе «шалаш», «а в нем государских продажных сосудов» столько-то. Иностранцы же рассказывают об измайловском стекольном заводе просто, как о мануфактуре, принадлежащей царю, рядом с другой такой же мануфактурой, принадлежавшей некому Коэту или Кояе (Kojet), получившему в 1634 г. от царя привилегию на 15 лет. Разница была лишь в том, что завод Коэта производил только грубое стекло, окон-

ное и бутылочное. Любопытно, что конкурентами его являлись не иностранцы—через Архангельск привозилось очень мало бутылок,—а украинские заводчики, наводнявшие Москву по зимнему пути своим стеклом. Тем не менее и сбыт коэтовского завода был довольно крупный—бутылок продавалось ежегодно от 80 до 90 тыс. штук. Что царская мануфактура тоже шла успешно, доказывается появлением филиального отделения измайловского завода, в селе Воскресенском Черноголовской волости. Совершенно аналогичную картину дает нам развитие железоделательного, в частности, оружейного производства. Царские оружейники при Оружейной палате в Москве существовали издавна. Они продолжали работать и при царе Алексее—в 1673 г. ими был изготовлен целый ряд образчиков так называемого «роскошного» оружия (Prunkwaffen), от пушек до луков и колчанов включительно. По словам Кильбургера, московские оружейники того времени только этим и славились, и образчики их мастерства в этом роде попадали даже за границу. Настоящее же, деловое, так сказать, оружие, наоборот, выписывалось из-за границы, так как наши мастера больше заботились о тонкостях внешней отделки, об изяществе золотой насечки и т. д., нежели о том, чтобы из их ружей и пистолетов можно было стрелять. Возможно, что так это было и на самом деле, хотя нельзя не отметить любопытную подробность: в числе изготовленных для царя в 1673 г. образчиков было довольно много оружия *нарезного*, т. е. того типа, которому в XIX в. суждено было сделаться универсальным, и который всегда предпочитался по меткости и силе боя и не входил в общее употребление только из-за трудности заряжения. Как бы то ни было, оружия и вообще железного товару нехватало уже давно—и так как спрос на него рос быстро, то, параллельно с расширением размеров дворцового производства, были выдвинуты привилегированные частные предприниматели, из иностранцев. В 1632 г. голландец Виниус получил царскую привилегию на устройство железоделательного завода, с обеспечением ему казенных заказов на пушки, ядра и другие железные изделия—и с правом вывозить остаток за границу; это было, таким образом, форменное соглашение заграничного предпринимателя с русским правительством. Виниус разорился, но это не было крушением самого предприятия: оно перешло только в другие руки. Новый хозяин, датчанин Марселис, еще владел заводом «как полной наследственной собственностью» (erblich und eigen), когда писал Кильбургер; он только что стал тогда единоличным собственником, выкупив $^3/_4$ предприятия у своего зятя, Томаса Келлермана; за эти $^3/_4$ Марселис заплатил 20 тыс. руб. (300 тыс. руб. золотом),—значит все предприятие ценилось в 400 тыс. наших рублей. Движущей силой была водяная (Виниус и хлопотал о разрешении построить «мельничные заводы»), и вокруг завода,

помещавшегося между Серпуховом и Тулою, были, как до днесь около уральских заводов, огромные пруды. Руда была очень хорошая и добывалась настолько легко, что не давали себе труда выкачивать воду из шахт, а просто когда много набиралось воды, начинали копать в другом месте. С нашим обычным представлением о первых русских заводах, как обслуживавших исключительно «государственные» потребности, нам кажется, что там должны были делать исключительно пушки, ружья, ядра, сабли, панцыри и т. д. Но современник, специально интересовавшийся русской промышленностью, уверяет, что марселисовские пушки были очень плохи, хотя их пытались вывозить даже за границу, в Голландию (мы помним, что это было предусмотрено контрактом); на опытах они все полопались. Это сообщение подтверждается и жалобами московского правительства на своего контрагента: по словам московских дипломатов, обличавших иностранных предпринимателей перед Голландскими штатами в разных недочетах, тульский завод ставил в казну пушки «многим немецкого дела хуже». Что касается ручного оружия, то и у Марселиса, как в царской оружейной палате, делали только «роскошное», а деловое попрежнему выписывалось из Голландии, где московское правительство заказывало по 20—30 тыс. мушкетных стволов. Еще петровская пехота была вооружена в 1700 г. льежскими и мастрихтскими ружьями. Сабельных клинков «делали (в 1673 г.) немного и они совсем плохи». А относительно панцырей мы узнаем пикантную подробность из гяжбы между заводчиками, Виниусом, с одной стороны, Мерселисом и Акемой—с другой: первый обвинял между прочим последних, что у них на заводах лат вовсе не делают (вопреки контракту о поставке оружия), а те на это отвечали, что они держали латного мастера несколько лет, «но так как от царского величества ему работы никакой не было, то его и отпустили назад за границу». Надо прибавить, что на заводе второго из ответчиков, Акемы, оружия и вовсе не делали—это был совсем «штатский» завод.

Чем же занимались эти заводы, основанные, как нас уверяли, исключительно для удовлетворения «государственных» потребностей? А тем же, чем и современные нам фабрики: обслуживали внутренний рынок. Завод Марселиса изготовлял полосовое и кровельное железо, железные двери и ставни, литые чугунные плиты для порогов и тому подобные вещи, находившие себе все больший и больший сбыт, благодаря все большему и большему распространению каменной стройки. Завод Акемы изготовлял кроме того судовые якоря—косвенное указание на то, как широко распространено было речное судоходство, особенно же славился своим полосовым железом, «прекрасным, гибким и упругим, так что каждую полосу легко было согнуть в круг». Царский железный завод, стоявший около Клина, изготовлял совершенно такого же рода товары. В 1677 г.

царского железа записано на приход, с остатком от предыдущего года, 1 664 пуда связного (т. е. железных связей для каменных построек), 633 пуда полосового, 3 бочки «белого» железа, 2 480 гвоздей прибойных, 400 100 гвоздей двоетесных и т. д. Восемь лет спустя связного железа в запасе было 1 901 пуд, полосового—1 447 пуд. 35 фунт. У нас нет данных, по которым можно было бы определить, предназначались ли эти «запасы», как стеклянные, и на продажу, или исключительно для дворцовых надобностей. Можно только заметить, что если царский завод производил между прочим и гвозди, то это явно указывает на невполне коммерческий характер предприятия, так как фабричные гвозди в то время не могли конкурировать с кустарными, которые хотя и были очень плохи, но зато дешевы вне всякого сравнения. О том же плохом коммерческом расчете свидетельствует и местоположение царского завода, поблизости которого имелась только плохая болотная руда. Но плохой предприниматель, дворцовое ведомство не преследовало в этой области иных целей, чем другие,—мотивы, руководившие им, были чисто экономические и отнюдь не политические. Отчасти его предприятия развивались, как мы видели, на почве огромного вотчинного хозяйства: его отдельные отрасли были так громадны, что не трудно было придать им характер крупной индустрии. Но бывали случаи, где царь выступал предпринимателем в чистом виде—без всякого отношения к дворцовому хозяйству. Коллинс рассказывает об огромной канатной мануфактуре, устроенной царем Алексеем для того, чтобы дать заработок нищим, которые были туда собраны, будто бы, «со всей империи»,—причем, работая в царском предприятии, нищие окупали все свое содержание, так что царю оно ничего не стоило. Ободренный этим опытом, который так живо напоминает заботы Михаила Федоровича о народной трезвости, царь Алексей стал «каждый день устраивать все новые и новые мануфактуры» с работниками такого же типа, которым их скудная плата выдавалась притом натурой—тогда как деньги, «которые доставляют ему (царю) кабаки, таким путем сберегались». К числу обычных предрассудков относительно допетровской и петровской промышленности принадлежит и мнение, что такой способ обеспечивать предприятия рабочими руками был господствующим. На этом основании историк русской фабрики отказал этой промышленности в названии «капиталистической»: для капиталистического производства «нехватало в России самого главного—класса свободных рабочих». Были ли у нас свободные рабочие в XVII—XVIII вв. вообще и на тогдашних фабриках в частности? На винокуренном заводе Посошкова, недалеко от Боровичей Новгородской губернии, работали «наемники», без которых, по словам племянника Посошкова, управляющего заводом, никак нельзя было управить заводской работы. Из письма того же

племянника видно кроме того, что и крестьяне самого Посошкова ходили на работу в отход: двое из них «денег рублев с полдесятка принесли». На железных заводах не только мастера-немцы, но и подмастерья и носильщики, уже без всякого сомнения русские, получали денежную плату. В контракте с Марселисом прямо было оговорено: понимать всяких людей по доброте, а не в неволю. Крепостные крестьяне, приписанные к заводам, исполняли больше подсобную работу, но и то не даром, не совсем как барщину: крестьяне, доставлявшие золу на стекольные заводы, получали по 12 коп. с тонны.

### 3. Промышленная политика Петра.

Таким образом в России конца XVII в. были налицо необходимые условия для развития крупного производства, были капиталы—хотя, отчасти, и иностранные,—был внутренний рынок, были свободные рабочие руки. Всего этого слишком достаточно, чтобы не сравнивать петровских фабрик с искусственно выгнанными тепличными растениями. И однако же крах петровской крупной промышленности—такой же несомненный факт, как и все вышеприведенное. Основанные при Петре мануфактуры лопнули одна за другой, и едва десятая часть их довлачила свое существование до второй половины XVIII в. Присматриваясь ближе к этому первому в русской истории промышленному кризису, мы однако видим, что и он был как нельзя более естественным—и объясняется именно тем, чем объясняли часто в прежнее время возникновение крупной промышленности при Петре. Совершенно ошибочно мнение, будто политические условия форсировали развитие русского капитализма XVII—XVIII вв.; но что политическая оболочка дворянского государства помешала этому капитализму развиться, это вполне верно. Самодержавие Петра и здесь, как в других областях, создать ничего не сумело—но разрушило многое: история петровских мануфактур в этом отношении дает полную параллель к картине того административного разгрома, которую так хорошо изобразил в своей книге г. Милюков.

«Купечества у вашего величества весьма мало и можно сказать, что уже нет», писал Петру в 1715 г. один неизвестный русский, «обретавшийся в Голландии». Он объяснял дело конкуренцией «высоких персон»: мы сейчас увидим, в какой связи это стоит с общими политическими условиями. Но помимо конкуренции, самый *способ* воздействия Петра на промышленность был таков, что должен был распугивать, а не привлекать капиталы. Уже в московскую эпоху промышленность была достаточно стеснена монополиями и привилегиями: но и те и другие стесняли приложение капитала, так сказать, отрицательно,—указывая ему, чего он не может делать. Петр попытался *учить* капитал, что он должен делать и куда ему следует итти, и вы-

полнял свою работу с энергией и натиском, которые всегда были ему свойственны, и с наивностью, которая может поспорить даже с методами Посошкова, ставившего размер торговой прибыли в зависимость от твердости характера торгующего. Распоряжения в духе Посошкова—и в духе средневекового меркантилизма вообще—о том, например, чтобы люди боярские (т. е. крепостные) носили только русские сукна, а заморских не смели носить, в случае же, если сукон не хватит, шили бы платье из «каразеи», или о том, чтобы никто не смел носить платье с позументами, «ибо англичане богатее нас, а позументов не носят», были еще самой мягкой и наиболее косвенной формой петровского воздействия на развитие индустрии. Он мог действовать гораздо прямее и проще. Указ Сенату (январь 1712 г.) предписывал: «заводы размножать не в одном месте, так, чтобы в пять лет не покупать мундира заморского, и заведение дать торговым людям, *собрав компанию, буде волею не похотят, хотя в неволю*, а за завод деньги брать погодно, с легкостью, дабы ласковей им в том деле промышлять было». Мы много слышали о крепостных рабочих при Петре; но о крепостных предпринимателях приходится слышать гораздо реже, а этот тип несравненно любопытнее. В 1715 г. до Петра дошло, что русскую юфть не хвалят за границей, так как она скоро портится от сырости, благодаря русскому способу выделки. Немедленно было предписано делать юфть по-новому, для чего разосланы по всей империи мастера: «сему обучению дается срок два года, после чего если *кто будет делать юфти попрежнему, тот будет сослан в каторгу и лишен всего имения*». К каким результатам приводило такое отеческое попечение, показывает известная судьба северо-русского холстоткачества. Как мы знаем, русский холст и русское полотно в большом количестве шло за границу. Иностранные купцы как-то попеняли царю, что русские посылают к ним очень узкое полотно, которое невыгодно в употреблении, и потому ценится гораздо дешевле широкого. Петр немедленно строжайше запретил ткать узкие полотна и холсты; но в избах русских кустарей негде было поставить широкие берда, и кустарное холстоткачество совсем завяло, причем разорилось и много купцов, промышлявших сбытом этого товара. Такие же результаты имело запрещение псковичам торговать льном и продуктами из льна с Ригой, имевшее целью поощрить торговлю петербургского порта. Что весь этот поход на кустарное ткачество имел в виду поддержать крупные полотняные мануфактуры, заводившиеся в то же время (одна из них принадлежала императрице), это едва ли может подлежать сомнению. Но у Петра не было терпения дождаться, пока капиталы сами начнут притекать к этому делу, и он пробовал вогнать капитал в полотняные мануфактуры дубиной. В результате, на место десятков тысяч разоренных ткачей получи-

лась одна полотняная мануфактура Тамеса, где, правда, изготовляли товар, по отзыву иностранцев, не хуже заграничного, но которая могла сводить концы с концами только благодаря тому, что в виде подкрепления к ней было приписано целое большое село (Кохма) с 641 крестьянским двором. Фабрика, которую приходилось содержать трудом крепостных крестьян, во всяком случае не была уже капиталистическим предприятием. Перед иностранными путешественниками ею щеголяли как рассадником русских мастеров, но не видно, чтобы они потом находили приложение своему искусству. Петр однако этим мало смущался и был убежден, что путем административных распоряжений можно не только собрать капиталы «хотя бы неволею», но и выполнить недостаток отсутствующего в России сырья. Он запретил употреблять в канцеляриях бумагу иначе, как русского производства: но оказалось, что развитие этого последнего тормозилось отсутствием на русском рынке тряпья. Тогда издан был следующий указ: «понеже бумажная мельница, которая строится по указу Его Ц. В. за Галерным двором, приходит уже в строении к окончанию, а на делание бумаги материалов никаких нет: для того Е. Ц. В. указал в Санктпетербурге публиковать указом, дабы всяких чинов люди, кто имеет у себя изношенные тонкие полотна, тако ж хотя и не гораздо тонкие, что называются ивановские полотна и прочие тому подобные, и такие бестряпицы приносили и объявляли в канцелярии полицеймейстерских дел, за которые по определению заплочены им будут деньги из кабинета Е. Ц. В.».

В серьезности подобных мер Петр был глубоко убежден и объяснял неудачу их тем, что «не крепко смотрят и исполняют указы». Подобно Посошкову, и он был убежден, кроме того, в злокозненности иностранцев, которые «фабрикам нашим сильно завидуют и всеми способами стараются их уничтожить подкупами». В дубину же как орудие экономического развития он веровал твердо. «Не все ль неволею сделано?» спрашивал он своего воображаемого оппонента в указе 1723 г., по обыкновению из тона законодателя переходя в тон публициста: «и уж за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел. *Так и в мануфактурных делах не предложением одним делать, но и принуждать*, и вспомогать наставлением, машинами и всякими способами; и яко добрым экономам быть, принуждением отчасти; например, предлагается: где валяют полсти тонкие, там *принудить шляпы делать* (дать мастеров), *так чтоб невольно было ему полстей продавать, ежели положенной части шляп притом не будет*; где делают юфть, там кожи на лосинное дело и прочее, что из кож; а когда уже заведется, тогда можно и без надсмотрителей быть». Но «быть без надсмотрителей» это значило все же остаться под надзором, только не центральной власти, а «бурмистров того

города», где заведена мануфактура. Наиболее европейской мерой в этом каталоге принуждений был таможенный протекционизм: «которые фабрики и мануфактуры у нас уже заведены, то надлежит на привозные такие вещи накладывать пошлину на все, кроме сукон». Во исполнение этого пожелания указа 1723 г., тарифом, изданным в следующем году, большая часть привозимых из-за границы фабрикатов была обложена пошлиной в 50—75% своей цены. Как должен был отразиться этот тариф на внутреннем рынке, видно из того, что в число высокопошлинных товаров попало железо, уже за пятьдесят лет ставшее предметом массового потребления. А насколько рационально вырабатывались тарифы, об этом свидетельствует любопытное прошение шелковых фабрикантов, в интересах которых шелковые ткани тоже были обложены запретительными пошлинами. Они просили вновь разрешить ввоз шелковой парчи на том основании, что их собственная мануфактура «не может вскоре в такое состояние прийти, чтоб могла удовлетворить парчами все государство»; они считали более выгодным для себя получить в руки контроль над торговлей заграничными шелковыми товарами, «чтоб мы, по своему усмотрению, могли ввоз одних парчей позволять, а других запрещать». Капитал, загнанный дубиной в промышленность, опять просился в торговлю...

Под этим прошением стоят подписи трех из числа крупнейших персон петрова двора—адмирала Апраксина, вице-канцлера Шафирова и Петра Толстого. Их предприятие, по размерам затраченного капитала, было едва ли не самым большим в петровское время: в него было вложено до миллиона рублей золотом на наши деньги, в том числе третью часть дала казна, не считая того, что она снабдила «компанию» постройками, материалами (мы помним, что торговля шелком-сырцом составляла царскую монополию) и т. д. И все это покровительство излилось на такую отрасль производства, которая для внутреннего рынка имела минимальное значение, а в связи с средневеково-меркантилистскими мерами Петра против распространения роскоши в массах не должна бы иметь его вовсе. А между тем шелковые фабрики при Петре росли, как грибы: в одной Москве их было пять, и кто только не бросался на это выгодное дело! Тут мы встречаем и министров, как упоминавшиеся нами выше, и придворных истопников (Милютин), и ямщиков (Суханов), и заезжих армян. В связи с уже знакомым нам положением России во всемирной торговле шелком в те времена, увлечение идеей сбывать на Запад, вместо сырого шелка, шелковые изделия было вполне понятно. Недаром Федор Салтыков шелковым мануфактурам посвятил особую главу своих «Изъявлений прибыточных»: «которые заводы будут приносить в государстве немалые прибыли,—писал он,—российский народ такие же чувства имеет, как прочие народы и рассуждение,

только их довлеет к таким делам управить». Но попытка конкурировать с Лионом или Утрехтом была детской затеей для государства, где промышленность только еще зарождалась. Староста московского суровского ряда официально заявлял, что шелковые ткани отечественного изделия «против заморских работою не придут, а ценою продаются из фабрик выше заморских»; и от лица всех суровских торговцев староста просил о свободном ввозе заграничных шелковых материй. Все предприятие было типичной авантюрой и скоро лопнуло, а между тем на него тратились крупные казенные деньги, и отвлекались капиталы от других мануфактур. Иначе, но так же нездорово, проявлял себя меркантилизм Петра в железоделательной промышленности: на железо были наложены почти запретительные пошлины, а в то же время казенные тульские заводы были всецело поглощены (с 1715 г.) изготовлением оружия, которого так много требовала реформированная Петром армия. Обслуживание же народного потребления всецело было в руках привилегированных предпринимателей-монополистов, вроде знаменитого Демидова или царского родственника Александра Львовича Нарышкина. Казне было выгоднее и в политическом, и в финансовом отношениях иметь свои ружья и свои пушки, нежели зависеть в этом отношении от Голландии. Но для развития крупной железоделательной индустрии в России едва ли не благоприятнее были те времена, когда Марселис лил плохие пушки и хорошие сковороды.

Интенсивное и принудительное развитие русских мануфактур при Петре имело, наконец, и третье последствие, давно отмеченное в литературе: от Петра ведет свое начало *крепостная фабрика*. Выгоды вольного труда на мануфактуре сознавали тогда столь же хорошо, как и в предшествующую эпоху: Тамес по контракту был обязан, как в свое время Виниус и Марселис, «в мастеровые ученики и работники нанимать свободных, а не крепостных, с платежом за труды их достойной платы». Но когда приходилось пустить в ход сразу сотню предприятий, между которыми были и очень крупные (у Тамеса был 841 рабочий, на московской суконной мануфактуре Щеголина 730, на другой, казанской суконной же, Микляева, 742, на Сестрорецком оружейном заводе 682 человека, на московской казенной парусной фабрике 1 162 и т. д.), имевшегося небольшого количества вольных рабочих не могло хватить. А с другой стороны, монополист-предприниматель и не очень был заинтересован в качестве своих произведений: все равно, кроме него купить было не у кого. Отсюда естественно было стремление заменить вольный труд суррогатами, и правительство охотно шло этому стремлению навстречу. «Указом 10 февраля 1719 г. предписано было отослать на полотняные фабрики Андрея Турчанинова с товарищами «для пряжи льну баб и девок, которые, будучи на Москве из приказов, также и из других

губерний, по делам за вины свои наказаны». Указом 1721 г. эта мера сделана общей: женщины, виновные в разных проступках, отсылались, по усмотрению мануфактур - и берг-коллегии, для работы на компанейских фабриках на некоторый срок или даже пожизненно» [1]. Указ 18 января 1721 г., позволивший купцам покупать к фабрикам и заводам населенные деревни, окончательно узаконил это положение вещей. Но если фабрикант мог вести теперь дело руками своих крепостных людей, кто же мешал владельцу крепостных завести фабрику? Мера Петра мало принесла пользы русскому промышленному капитализму, но она была одним из предвестников, довольно далеких еще, капитализма крепостнического, помещичьего. При одинаковой форме, одинаковом, стало быть, качестве труда помещичья фабрика имела все шансы победить купеческую: так и случилось в течение XVIII в. Слишком натянув струну, петровский меркантилизм оборвал ее вовсе. Но мы очень ошиблись бы, приписав этот исход индивидуальной ошибке «Преобразователя». Даже способ проведения им промышленного меркантилизма в русскую жизнь не был его личной особенностью: мы видели, что Посошков, типичный представитель средней русской буржуазии этого времени, так же много придавал значения «волевому импульсу» и так же мало считался с объективными условиями, как и сам Петр. Выросший на царских монополиях, окруженный условиями ремесленного производства, русский торговый капитализм очень плохо приспособлялся к тому широкому полю действия, на котором он очутился в начале XVIII столетия, не столько выйдя туда по доброй воле, сколько вытолкнутый напором западноевропейского капитала. Этому последнему и досталась львиная доля всех барышей: в то время как в XVII столетии максимальное число кораблей в единственном тогда русском порте Архангельске не превышало сотни, в год смерти Петра в Петербурге было 242 иностранных судна, да кроме того, в Нарве 170, в Риге, которая тоже стала теперь русским портом, 386, в Ревеле 44, в Выборге 72,—запустел только сам Архангельск, куда пришло всего 12 судов из-за границы: с 1718 г. торговля через этот порт была обставлена в интересах Петербурга такими затруднениями, что иностранцы стали его избегать. В общем же, по числу кораблей русская отпускная торговля выросла за полстолетия, со времен Кильбургера, раз в 8—10. А русского купечества в это время было «весьма мало, и можно сказать, что уже вовсе не было—*ибо все торги отняты от купцов и торгуют оными товары высокие персоны и их люди и крестьяне*». Этот отзыв неизвестного прожектера, «обретавшегося в Голландии», вполне подтвердили косвенно и сами «высокие персоны» очень скоро после смерти Петра. В 1727 г. в комиссии

[1] См. у *Туган-Барановского*, цит соч., стр. 22.

о коммерции при Верховном тайном совете Меншиков, Макаров и Остерман подали «мнение», где соглашались, что «купечество в российском государстве едва ли не вовсе разорено», и что нужно «немедленно учредить комиссию из добрых и совестных людей, чтобы оное купечество рассмотреть и искать сию государственную так потребную жилу из корени и с фундамента излечить». В качестве лекарства предлагалось отчасти взять назад некоторые насильственные меры Петра, ибо «купечество воли требует», отчасти возвратиться к московской практике, отворив снова Архангельск. Но, главное, рекомендовалось пересмотреть промышленные предприятия петровской эпохи, рассудив о фабриках и мануфактурах, «которые из оных к пользе государственной, а которые к тягости», и предупредить на будущее время излишнее размножение таких «тягостных» предприятий, запретив купечеству «впредь деревни покупать». «А помещикам *самим* торговать», дипломатично прибавляло «мнение»: но паче *повелеть им крестьянам своим в промыслах и в размножении всяких деревенских заводов сильное вспоможение учинить*». Дав некоторые подачки буржуазии, торг знатными персонами через своих людей предлагалось, таким образом, увековечить. Так рядом с иностранными капиталистами перед нами появляется другая социальная группа, пожавшая плоды «преобразований»: то была новая феодальная знать, под именем «верховных господ» начавшая править Россией на другой же день по смерти Петра.

### 4. Новый административный механизм.

Непосредственное управление дворянской Россией было в тех же руках, в чьих была и политическая власть: вассалы московского государя, *военные землевладельцы*, собирали налоги, судили, устанавливали полицейский порядок в XVII в., как и столетием раньше,—как и двумя столетиями позже, в сущности, если брать социальный смысл явления, а не его юридическую оболочку. На этом однообразном фоне дворянского режима конец XVII и начало XVIII в. дают, однако, очень резкое пятно. Перемещение экономического центра тяжести не могло пройти бесследно и для распределения власти между общественными группами: весна торгового капитализма принесла с собою нечто совершенно необычное для московской России—*буржуазную администрацию*.

Тот факт, что на самом рубеже двух столетий, в 1699 г., дворянский воевода, за службу и раны посаженный на свое место, чтобы «покормиться досыта», должен был уступить это место посадскому бурмистру, не то «ответственному финансовому агенту правительства», не то—на последнее он был больше похож—приказчику на отчете,—этот факт *описан* нашими историками давно. Но с их обычной верой в чудодейственную силу государства, они за него не запнулись: почему же бы

государственной власти и не отдать местного управления в руки купцов, если это было для нее удобнее? Ведь еще Иван Васильевич Грозный хвастался, что он из камней может создать чад Авраама, а сделать из торгового человека судью и администратора во много раз легче. Но если мы вспомним, какой гигантской ломкой сопровождался переход управления из рук *бояр*, т. е. представителей крупного землевладения, в руки *дворян*— представителей землевладения среднего, нам будет понятно, каким прыжком было перемещение власти, хотя бы только на местах, в руки людей, вовсе не принадлежавших к землевладельческому классу. Революционный, катастрофический характер петровских преобразований ничем, быть может, не иллюстрируется более ярко, чем этой заменой, которую вошло в обычай объяснять скромными соображениями государственного удобства. Лишить власти один класс и передать ее другому для того только, чтобы «надежнее урегулировать финансовую ответственность» (как объясняет реформу 1699 года г. Милюков)—этого ни одно государство в мире не делало, потому что ни одно и не могло бы сделать. Правда, и петровской России удалось это ненадолго: меньше чем через тридцать лет дворянское государство взяло свое. Но для того чтобы хотя попытаться это сделать, нужно было совсем особое сочетание сил: нужен был тот союз буржуазии с верхушками землевладельческого класса, о котором мы говорили выше. Когда новая феодальная знать использовала до конца своего буржуазного союзника, последний должен был снова вернуться в прежнее политическое ничтожество. Но сейчас же обнаружилось, что без этой скромной поддержки сами «верховные господа» устоять совершенно не в состоянии: очутившись лицом к лицу с отодвинутым-было на задний план дворянством, они быстро должны были сдать позицию этому последнему,—и дворяне снова укрепились в седле, на этот раз уже почти на два столетия.

Союз буржуазии и «верховников» (так рано приходится уже употреблять этот термин, обычно связываемый с событиями 1730 г.) гораздо старше даже и Петра. К одному и тому же 1681 г. относятся два проекта, порознь довольно странные: один из них известен очень давно, другой впервые изложен подробно, если не ошибаемся, проф. Ключевским, но с уже знакомой нам «государственной» точки зрения; и тот, и другой оставались на положении «интересных случаев», неизвестно откуда взявшихся и что означавших. Один из них имел в виду централизовать сбор косвенных налогов по всему Московскому государству в руках капиталистов города Москвы. Московские гости и торговые люди гостиной и суконной сотен должны были поставить таможенных и кабацких голов на всю Россию. Нет надобности говорить, что наши историки-юристы сейчас же принялись жалеть бедных гостей, на которых взваливали

такое трудное дело, и самый проект объяснили «недостатком правительственных распоряжений». Но гости, отказываясь от предполагаемой чести, мотивировали свой отказ не трудностью дела, а тем, что они не знают в провинции людей, на которых они могли бы положиться: мы поймем смысл этого ответа, если припомним, как, по описанию Кильбургера, провинциальное купечество относилось к привилегированным царским факторам. Что гостям собираются «свернуть шею», об этом знали, разумеется, не одни заезжие иноземцы: лучше всего это знали, конечно, сами гости. Говоря, что они не знают, кому верить на местах, они, собственно, признавались, что на местах *им* не верят. Возможная вещь, что их смущала и неопределенность отношений к местной дворянской администрации. В связи или не в связи с этим, но в то же самое время был выдвинут проект преобразования последней. «Предполагалось разделить государство на несколько наместничеств и рассажать по ним наличных представителей московской знати со значением действительных и при том *несменяемых* наместников» [1]. Проектированные наместничества должны были совпасть с отдельными «царствами», входившими в общий состав московской державы — Сибирским, Казанским и так далее, так что это были бы «не мелкие уезды, на какие делилось московское государство, а целые исторические области». Проект провалился на этот раз не вследствие несогласия тех, на кого собирались возложить такие трудные функции, а по совсем другой причине: против него восстала хранительница традиции, церковь, в лице патриарха Иоакима. Уже одно это должно нам показать, что речь шла не о восстановлении боярского правления, а о чем-то совершенно новом и для Москвы необычном. Двадцать лет спустя, когда голос патриарха ничего более не значил, это новое и необычное вылилось в два учреждения, самыми названиями своими отрицавшие московскую традицию: то были *ратуша* и *губернии*.

Проект 1681 г. потерпел неудачу, поскольку он был смелой попыткой концентрировать сбор налогов в руках представителей крупного торгового капитала. Вообще же мертвой буквой он не остался: начиная с 80-х годов, воеводы и приказные люди систематически устраняются от финансового управления; не только косвенные налоги отнимаются у них, но к ним не попадают больше и вновь вводимые прямые: такова была участь новой стрелецкой подати, оклад которой был установлен *гостями*. Первый из дошедших до нас указов о ратуше (1 марта 1698 г.) ставит реформу в непосредственную связь с ранее заведенными порядками. «Указали мы,—говорится здесь,—по *прежним* отца нашего и брата нашего (т. е. царей Алексея и Федора) и по нашим указам, каковы состоялись в прошлых

[1] *Ключевский*, Боярская дума, 2-е изд., стр. 495.

годах, тех городов с посадов и уездов стрелецкие и оброчные деньги и иные всякие денежные доходы сбирать самим тех городов земским старостам и волостным судейкам и целовальникам в земских избах *мимо воевод и приказных людей*... потому что и в прошлых годех того сбору им воеводам ведать не велено ж, для того, что по их воеводским прихотям были многие с посадских людей и с уездных крестьян ненадобные сборы...» Последние цитированные слова не оставляют никакого сомнения, что дело шло отнюдь не о «финансовых удобствах» только, а об отнятии власти у одной социальной группы и передаче ее другой. Так это и поняли обе стороны—и дворянская администрация и посадские. В Вятке например посадские не только перестали что бы то ни было платить воеводе и давать ему корм, но не хотели и продавать ему съестных припасов по обычной цене, весьма неделикатно давая понять своему вчерашнему начальству, что ему пора убираться из города. С другой стороны, и воеводы ответили на это коллективной отставкой и попытками обструкции: вновь назначенные отказывались ехать к своим местам, а старые уклонялись от всяких дел и заводили длинную переписку с московскими приказами насчет того, что же теперь им делать и «у чего быть»? Как и можно было ожидать, посадская беднота в очень многих случаях оказывалась на одной стороне с воеводами. Перейти под власть столь мало популярных гостей ей отнюдь не улыбалось, и целый ряд провинциальных городов попробовал уклониться от нововведения (по подсчету г. Милюкова, 33 из 70). Правительству пришлось пойти на уступки: в пользу посадских уступили тем, что понизили первоначально намеченную сумму налогов. Воеводы и приказные люди сохранили в своем заведывании те местности, где преобладало крепостное право—должны были «ведать во всяких делах всяких служилых людей и уездных помещиков, вотчинниковых и монастырских крестьян». Иными словами, дворянская Россия осталась при дворянской администрации, буржуазная удержалась только в городах, а деревня попала в ее ведение лишь там, где не было помещиков: за «бурмистрами» остался весь север московского государства. Это голландское название было, кажется, единственным, что во всей реформе принадлежало лично Петру: он тогда только что вернулся из своего путешествия в Голландию.

Самая главная черта проекта 1681 г. была воспроизведена в указах 1699—1700 гг. полностью: управление буржуазной Россией было сосредоточено в руках московского купечества, которое на этот раз, повидимому, не нашло возражений против налагавшейся на него «тяжести». Московские «бурмистры» должны были ведать бурмистров всех других городов, и московская «ратуша» служить средоточием всех сборов, основанных на новой системе. В руках уполномоченных московской буржуазии оказалась почти пятая часть всего тогдашнего бюд-

жета, а если присчитать к этому все промышленные предприятия царской казны, фактически управлявшиеся той же буржуазией, то и гораздо больше. Система монополий никогда еще не достигала такого развития, как в первые годы XVIII столетия. Продажа водки и не переставала быть исключительной привилегией казны: кабацкие доходы составляли главную часть бюджета ратуши. С 1705 г. царской монополией стала также и соль, дававшая ежегодно от 300 до 400 тыс. руб. (тогдашних: на золото 3—3½ миллиона). Несколько позже казенными товарами стали деготь, мел, рыбий жир, сало и щетина. «Здешний двор,—писал в 1706 г. английский посланник своему двору,—совсем превратился в купеческий: не довольствуясь монополией на лучшие товары собственной страны, например, смолу, поташ, ревень, клей и т. п. (которые покупаются по низкой цене и перепродаются с большим барышом англичанам и голландцам, так как никому торговать ими, кроме казны, не позволяется), они захватывают теперь иностранную торговлю; все, что нужно, покупают за границей через частных купцов, которым платят только за комиссию, а барыш принадлежит казне, которая принимает на себя и риск». Русские товары точно так же продавались непосредственно за границей, для чего царские «гости» отправлялись даже в Амстердам, облеченные новым званием «обер-комиссаров». Нет надобности говорить, что и они, как гости старого времени, торговали не только за царя, но и за себя лично, не стараясь особенно тщательно отделить одно от другого. Каким влиянием пользовалось тогда купечество в финансовом управлении, можно судить по предоставленному—в 1703 г.—ратуше праву: контролировать распределение тех сумм, которые прошли через ратушу. Благодаря этому, весь финансовый аппарат петровской армии оказался под надзором бурмистров: они раздавали жалованье на местах и проверяли употребление выданного военным начальством. Дворянин «с эполетою» должен был послушно представлять отчет «купчишке»: так далека была петровская эпоха от нравов, изображавшихся впоследствии Гоголем!

Однакоже и для петровской эпохи такое положение вещей было слишком оригинальным, чтобы оно могло длиться долго. Как ни влиятельна была буржуазия—больше иноземная, чем туземная—экономически, политическая власть была не в ее руках. У ратуши с ее буржуазной централизацией давно был готов соперник, от имени которого и в пользу которого работала, в сущности, и буржуазия. Проект «наместничеств» 1681 г. так же мало упал с неба, как и проект всероссийской «бурмистерской палаты». Уже в 50-х годах XVII в. на окраинах Московского государства мы встречаем начальников с чрезвычайными полномочиями, и всегда из крупной знати, близкой к царскому двору. Таков был кн. Репнин, правивший сначала в Смоленске, потом в Новгороде; когда он уезжал на время

в Москву, команду принимал его сын—точно дело шло о настоящем удельном княжестве. Таков был в Белгороде кн. Ромодановский и в Казани знаменитый Бор. Алекс. Голицын, который, по словам современника, «правил весь низ (все Поволжье) так абсолютно, как бы был государем». Как и полагается феодалам, то были прежде всего военные начальники—командующие войсками того или иного округа, по теперешней терминологии: но по феодальному же обычаю военное начальство было начальством вообще. Белгородский воевода ведал приписанные к Белгороду города не только в военном, но и в финансовом и в судебном отношениях: «службою и судом и денежными и хлебными всякими доходы». В 1670 г. несколько городов Смоленского округа были переданы в Новгородский «разряд» (как именовались тогда эти округа) «со всею службою и со всякими тех городов доходы, и судом и расправою, и поместными и вотчинными делами». Иностранцу, смотревшему на московские порядки, так сказать, с птичьего полета, и от которого поэтому подробности московской административной техники не могли закрыть сущности дела, установившиеся к концу XVII в. порядки казались формальным «разделением Руси». «Во всех областях, на которые разделена была империя,—пишет английский моряк Перри, приехавший в Россию в 1698 г.,—они (важные, знатные господа, которые были любимцами царя и принадлежали обыкновенно к именитейшим родам России) действовали, как подчиненные царю владетельные князья, имеющие право пользоваться царским именем, чтобы придавать большую силу издаваемым ими приказаниям; можно сказать что в их руках находилась жизнь людей и их имущество. Для рассмотрения дел и приведения в исполнение их приказаний каждый из этих господ или князей имел присутственное место, или палату, в Москве, где эти знатные господа большей частью имели место жительства; туда подавали просьбы из всех меньших городов, находящихся в каждой из этих областей. В этом присутствии вместо судей заседали дьяки или канцлер; обязанность их заключалась в том, чтобы выслушивать и решать дела, подписывать приказы, относящиеся до казначейства, военных или гражданских дел, и от времени до времени отдавать отчет в своих действиях тому из господ, под начальством которого они действовали; вышеозначенные господа редко сами приходили в палаты, чтобы выслушивать дело. Дьяки представляли им вопрос в той форме и в том свете, как желали, и в случае неудовольствия в это время не существовало возможности подать прошение ни в какое высшее место. Каждому из этих господ предоставлено было право назначать и посылать правителей во все большие и малые города, посредством которых каждая область подразделялась на меньшие округа... Собранные (воеводами) суммы высылались в главный приказ или в собственную канцелярию каждого из этих бояр, живущих

в Москве, где производился расчет сборов, сделанных в каждой области, смотря по тому, как для них было выгоднее—с приложением отчета о том, что было истрачено на разные вымышленные случаи, относящиеся до служебных необходимостей и пользы каждой области; остаток денег высылали в канцелярию главного казначейства».

«Устройство ратуши было со стороны Петра серьезной попыткой противодействовать» этому растаскиванию государства «важными знатными господами»: если символическую фигуру Петра мы заменим торговым капиталом, как раз к началу Северной войны ставшим в центре всех дел, эта оценка г. Милюкова будет вполне правильной. В момент своего наивысшего подъема торговая буржуазия оттеснила на задний план петровских сатрапов, и они не решились даже серьезно ей сопротивляться (о кое-каком противодействии бояр учреждению ратуши говорит тот же Перри). Но уже очень скоро «важные знатные господа, которые были любимцами царя», взяли свое. В 1707 или 1708 г. все города, кроме тех, которые были ближе 100 верст к Москве, были «расписаны» между пограничными центрами: Киевом, Смоленском, Азовом, Казанью, Архангельском и С. Петербургом [1]. Каким принципом руководились при «расписывании» городов, на этот счет хорошо осведомленный современник, Татищев, говорит вполне определенно. «Губернаторы» старались захватить возможно больше возможно более доходных городов: так например Меншиков «приписал» к Петербургу Ярославль «для богатого купечества»; как наиболее близкое к Петру лицо, он два города своей губернии, Ямбург и Копорье, получил прямо в личную собственность. В том же качестве первого человека по царе Меншиков стал получать города еще раньше официального «расписывания» их по губерниям: уже в 1706 г. Петр сделал распоряжение «Новгород, Великие Луки и прочие принадлежащие к ним города по росписи г. Меншикова отослать совсем к его *губернации*». Но и прочие «губернаторы» были из ближайших к царю людей: Азовская и Казанская губернии были в руках братьев Апраксиных, один из которых, «адмиралтеец» Федор Матвеевич, после Меншикова был к Петру ближе чем кто бы то ни было; Киевская была отдана ставшему впоследствии столь знаменитым вождю «верховников» 1730 г., кн. Дм. Мих. Голицыну, которого Петр особенно уважал; в Смоленске сидел царский родственник Салтыков. Мы очень ошиблись бы, если бы это сосредоточение власти на местах в руках доверенных людей царя объяснили соображениями целесообразности: желанием лучше знать местные дела, непосредственнее на них воздействовать и т. п. Этого уже потому не могло быть, что быть близко к царю и быть

[1] В точности год учреждения губерний неизвестен—образчик того, как еще мало изучена даже внешняя история «эпохи преобразований». См. г. *Милюкова*, Государственное хозяйство России и реформа Петра Великого, стр. 366, прим. 1-е.

близко к своей губернии невозможно было одновременно. Губернаторы по большей части находились там же, где был центр власти, и во время Северной войны «прилучались быть в армии». Более других оседлым в своей губернии был кн. Д. М. Голицын; а вместо Меншикова в «Ингерманландии» управлял «ландрихтер» Корсаков, вместо Ф. Апраксина в Азовской губернии—Кикин, вместо Петра Апраксина в Казани—вице-губернатор Кудрявцев; сибирский губернатор кн. Гагарин, которого Петр впоследствии должен был повесить за невообразимый грабеж, большею частью пребывал в Москве. То управление через «дьяков и канцлеров», о котором говорил Перри, продолжалось, таким образом, и после нового раздела страны между «знатными господами». Все, чего от них требовал Петр, это—чтобы они делились с центральной властью своими доходами: восстановляя денежные подати средневекового вассала средневековому сюзерену, губернаторы подносили царю «подарки». Они бывали большие—до 70 тыс. руб. сразу—и маленькие, исчислявшиеся десятками рублей; регулярные, из года в год, и чрезвычайные—по какому-нибудь особенному случаю: так по случаю свадьбы Петра с Екатериной губернаторы должны были прислать по 50 руб. с каждого города. Больше всех утешал Петра своими «подарками» казанский губернатор Петр Апраксин, за три года переславший царю 120 тыс. руб., от своего усердия (на современные золотые деньги несколько более миллиона); зато при нем «учинилось впусте» в Казанской губернии 33 215 дворов инородцев, плативших ясак, и оттого вскоре оказалось «не только запросных (чрезвычайных) но и табельных (обыкновенных) сборов сбирать невозможно—за умножением в дворовом числе многой пустоты». Дм. Мих. Голицын собрал за свое управление Киевской губернией «излишних денежных сборов» 500 тыс. руб. (4,5 млн. руб.)—и от тех тягостей и от излишних сборов в Киевской губернии учинилась пустота». А еще Голицын считался лучшим губернатором!

«Знатные господа» в свое время сопротивлялись устройству ратуши. Как отнеслась сконцентрированная в ратуше буржуазия к учреждению губерний? Попытки сопротивления были и здесь. Обер-инспектор ратуши, знаменитый Курбатов, горячо протестовал против «растаскивания» и старался найти наиболее чувствительный пункт у царя, указывая на возможное, при новых порядках, уменьшение доходов. «Ежели не растащена будет собранная тобою, государем единым, ратуша,—писал он Петру,—и мне бедному препятия, *как уже и есть мне*, не будет, учиню при помощи Божией для святыя войны, ее же ради я призван, многое собрание». Не будет ратуши, и воевать не на что будет, грозился Курбатов: «ей-ей во единособранном правлении всегда лучше бывает», тогда как «немногая бывает и будет польза *в разном правлении*». Петру трудно было на это ответить. Будущий (и как скоро!) создатель бюрократического

режима в России то цеплялся за бюрократизм ратуши, иронически напоминая о десятках расписок, которые приходилось брать каждому плательщику, то приводил избитый мотив о том, как трудно управлять заочно. Мотив, не годный уже потому, что именно губернаторы, как мы видели, по большей части правили заочно, хотя правда, что расписками и вообще отчетностью они себя не утруждали. Возражения Курбатова только несколько затянули дело. И единственной уступкой буржуазии было то, что представитель и защитник ее интересов, Курбатов, сделался начальником Архангельской губернии, наиболее буржуазной из всех. Торговый капитал и феодальная знать размежевались, таким образом, территориально, причем в руки второй досталось 0,9, а в руках первого осталась 0,1 всей территории и всей власти [1].

Но раздел не мог быть совершенно чистым. Во-первых, Петр, говоря словами г. Милюкова, «мало-помалу создал себе... особую сферу непосредственной государственно-хозяйственной деятельности, взяв в свое личное распоряжение эксплоатацию (большей частью с помощью «прибыльщиков») целого ряда регалий». То есть, как и в XVII в., выше крупнейших хозяйств частных вотчинников оставалось хозяйство царское. А затем оставались город и область вокруг него, не поддававшиеся территориальному размежеванию, потому что они одновременно являлись средоточием и новой феодальной знати и крупнейшей буржуазии. То была Москва с ближайшими к ней уездами. Так как географически она совпадала и с центром царского хозяйства, то не было ничего естественнее сосредоточения в одних руках власти над «Московской губернией» и заведывания царскими предприятиями. И не путай нас ассоциации, навеянные положением вещей гораздо более поздним, чем 1711 г., не будь мы кроме того под гипнозом *имен*, мы давно бы нашли правильное место в истории русских учреждений петровскому *сенату*. Это «невиданное и неслыханное», по мнению старых историков-юристов, создание Петра прежде всего было собранием *ответственных царских приказчиков*. Достаточно внимательно перечитать известные «пункты» 2 марта 1711 г., которыми уезжавший в прутский поход царь определял деятельность только что созданного им «правительствующего» центра, чтобы эта именно картина встала перед нами со всею определенностью. Всех «пунктов» 9,—вот пять последних: «векселя исправить и держать в одном месте; товары, которые на откупах или по канцеляриям и губерниям, осмотреть и освидетельствовать; о соли—стараться отдать на откуп и попещися прибыли у оной; торг китайской, сделав компанию добрую, отдать; персидский торг умножить и армян как воз-

[1] Для большей части приводимых выше фактов см. *Милюкова*, Государственное хозяйство России и реформа Петра Великого, гл. II, и V—VII.

можно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезду». Кильбургеровская «коллегия гостей» ничего иного в свое время и не делала. Что в этой коллегии теперь, рядом с «прибыльщиком» и бывшим холопом Васильем Ершовым, который стал «управителем» Московской губернии, мы видим большое число недавних бояр,—правда, не из первого сорта,—это только лишний раз показывает, как перемешались все понятия с перестановкой экономического центра тяжести. Функции же тех бояр, которые попали в сенаторы, как нельзя лучше соответствовали их новой роли. Из членов сената первоначального состава Самарин был генерал-кригс-цалмейстером, т. е. главным казначеем армии, Опухтин заведывал серебряным рядом, Купецкой палатой и денежными дворами, кн. Гр. Волконский—тульскими оружейными заводами и т. д. Ни один из «верховных господ», вроде Меншикова и Апраксина, в сенат не пошел, и они писали ему «указом», а право сената давать им указы было очень сомнительно. Нужно прибавить,—и в этом второй характеристический признак нового учреждения,—что вообще его права за пределами Московской губернии рисовались ему самому и его агентам в некотором тумане. Уже то, что Московская губерния, одна из всех, была упомянута в том самом указе, которым учреждался сенат (22 февраля 1711 г.), указывает на какую-то их специальную связь. Любопытная переписка сената с его первым «обер-фискалом» (мы сейчас увидим значение этой должности) окончательно убеждает в том, что связь эту нельзя считать случайной. Обер-фискал прямо спрашивал: «для одной ли он Московской губернии назначен или для всех»? Со склонностью всех учреждений в мире расширять свою компетенцию, сенат ответил, что обер-фискал должен «смотреть во всех губерниях». Но сам спрашивавший повидимому был твердо убежден в противоположном ответе, ибо в одном из пунктов своего доклада он просит, чтобы «из приказов и *из городов Московской губернии* дела прислать к нему немедленно...», и чтобы о его назначении сделать известным «на Москве в приказах, *в слободах, и в городах, и в уездах Московской губернии*». Сенат положил резолюцию «послать великого государя указы в Московскую и *в другие губернии*», опять подчеркивая этим свое *повсеместное* значение. Но на губернаторов это очень мало действовало, и из целого ряда указов Петра мы узнаем, что на приказания сената губернаторы не обращали никакого внимания, несмотря на грозное заявление указа 5 марта «определили управительный сенат, *которому всяк и их указам да будет послушен так, как нам самому*, под жестоким наказанием или и смертью, по вине смотря». Эти слова создателя сената произвели впечатление больше повидимому на позднейших историков, нежели на тех, кого они ближайшим образом имели в виду. Губернаторы и после неоднократно доводили Петра до угроз поступить с ними

«как ворам достоит» и, что называется, ухом не вели, прекрасно понимая, что «от слова не сделается». Историки же, обратив больше всего внимания на название и на первый пункт петровской инструкции («суд иметь нелицемерный» и т. д.), заговорили о неслыханном и невиданном учреждении, заимствованном будто бы из Швеции. Между тем как раз со шведским, аристократическим и не на словах, а на деле «правительствующим» сенатом, сенат Петра Великого ничего общего не имел, кроме имени.

Снабжение царских приказчиков широкими судебными и административными полномочиями само по себе никого, конечно, не удивило бы в начале XVIII в., когда и в конце его царскому камердинеру ничего не стоило превратиться в первого министра. Против сената могла бы явиться оппозиция лишь в том случае, если бы он, подобно ратуше, получил *социальное* значение—стал орудием буржуазии в борьбе за власть с дворянством. Но буржуазный центр, каким была ратуша, ко времени появления сената был уже окончательно разбит—«верховные господа» «растащили» по своим губерниям все, что удалось собрать купеческой администрации. Реформа самого сената понадобилась лишь тогда, когда и в это учреждение попали «верховные господа», первоначально в нем не представленные и мало им интересовавшиеся. Но еще раньше этого заключительного аккорда петровских преобразований, поскольку они касались администрации, лютую ненависть среднего и мелкого служилого люда снискало одно орудие сенаторского управления, имевшее два основных признака: во-первых, оно было, действительно, заимствованное с запада не по одному названию, а во-вторых, хотя и косвенно, оно оставляло в руках не-дворян крупную долю влияния на дела. То были *фискалы*. С этим именем у всякого связывается столь определенная ассоциация, выдвигающая на первый план идею тайного сыска и шпионажа, что рассмотреть действительный смысл этого учреждения не так легко. Беря его однако же так, как оно изображено в современных документах, особенно в инструкции 17 марта 1714 г., дающей фискальству окончательную отделку, нетрудно видеть, что в воображении Петра носилось, в довольно туманном образе, нечто вроде современной прокуратуры. Фискал—представитель *публичного* интереса, охраняющий «дела народные» от покушений со стороны частных лиц. Оттого в сферу его ведения входят не только «взятки или кража казны», но и все дела, «иже не имеют челобитчиков о себе», в которые никакое частное лицо не имеет поводов вступаться. Убьют ли проезжего, останется ли выморочное имущество—о расследовании в первом случае, об охране беспризорного имения во втором—должен заботиться фискал. Публичный интерес, как таковой, в Московской Руси не имел своей охраны—наиболее близко подходящие по типу к фискалам, губные головы охраняли интересы не обще-

ства в его целом, а только местного населения, органами которого они и являлись. Но эти функции фискалов, навеянные знакомством с европейскими порядками, уже при Петре отпали от них или отступили на второй план, как скоро появилась прокуратура со своим собственным именем. В воображении современников и в памяти потомства гораздо ярче отпечатлелась другая задача фискалов, сближавшая их со знаменитыми «прибыльщиками», из среды которых и вышли некоторые из них— отыскивание прибытка царской казне, притом очень оригинальным способом: не путем изобретения новых источников дохода, а путем устранения расходов, происходящих от злоупотреблений и казнокрадства. При этом впрочем и старый, прибыльщицкий, способ увеличения казенных доходов не совершенно исчез из фискальской практики: знаменитый Нестеров в своем «доношении» перечисляет в ряду своих заслуг не одно раскрытие злоупотреблений, а и свой проект—основать купеческую компанию, которая бы защищала интересы туземного купечества от конкуренции иностранцев. Но это лишь один из пунктов «доношения», притом последний, в остальных речь идет об изобличении или предупреждении краж то из царских предприятий,—например бархата, который поручили продавать одному агенту, то из государственной казны, с монетного двора например, причем не видно, чтобы слуге Петра Великого было доступно то невесомое различие государева и государственного при режиме абсолютной монархии, которое с такой тонкостью проводили впоследствии наши историки-юристы. И покража царского бархата, и взятки, которые брал дворцовый судья Савелов, за всем этим одинаково гнался, с неутомимостью ищейки, царский фискал, стремясь обратить эту охоту за расхитителями казны в наследственную профессию. «Их общая дворянская компания»,—жалуется Нестеров на своих товарищей,—а я, раб твой, меж ими замешался один с сыном моим, которого обучаю фискальству и за подъячего имею...» И из этого же места «доношения» мы узнаем, кстати, что только один этот недворянский фискал и относился к своему делу серьезно, прочие же, «дворянская компания», «отбывая службы и посылок, живут сами, яко сущие тунеядцы, при своих деревнях, и имеют тщание о своих, а не фискальстве». Пусть бывший барский холоп (до своего «прибыльщичества», которое послужило ему ступенью к фискальству, Нестеров был крепостным, как и Курбатов) и поклеветал немного при этом случае на своих бывших господ, но сами петровские указы свидетельствуют, что на дворян как на оберегателей царских доходов царь не рассчитывал. Фискальство сразу же было сделано доступным и для буржуазии. «Выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, *из какого чина ни есть*», читаем мы в первом же распоряжении Петра, детально касающимся новой должности (указ 5 марта 1711 г.; в указе 2 марта фискалы только упомя-

путы). Согласно с этим требованием—брать, не стесняясь чинами,—первого обер-фискала взяли из дьяков Преображенского приказа, петровского департамента полиции. Чиновные люди впрочем сейчас же повели против своего нечиновного надзирателя весьма успешную обструкцию, и назначенный в апреле 1711 г. новый обер-фискал еще в августе не имел ни подчиненных, ни канцелярии, ни даже помещения. Но Петр или, вернее, не потерявшие еще на него влияния буржуазные круги вели свою линию, и даже указ 17 марта 1714 г. требует, чтобы по крайней мере двое из состоявших при сенате фискалов были *из купечества*, «которые бы могли купеческое состояние тайно ведать», дипломатически прибавляет указ; точно так же и в губерниях часть фискальских мест обязательно предоставлялась буржуазии. И действительно, в одном из позднейших сенатских указов мы читаем, что городовые фискалы должны быть «за выбором провинциал-фискалов *и всех того города купецких людей*». А сам о себе один из таких фискалов с товарищами пишет: «выбраны мы на Устюге *мирскими людьми* в фискалы...».

Фактически Нестеров был последним обер-фискалом не из дворян: его место занял уже дворянин, гвардейский полковник Мякинин. Но когда буржуазия впервые явилась в виде охранителя публичного интереса и контролера дворянской администрации, это должно было вызвать у чиновных людей взрыв ярости, которую трудно описать, и некоторое понятие о которой могут дать лишь подлинные слова оратора, впитавшего в себя всю дворянскую злобу против нового учреждения. В знаменитой великопостной проповеди Стефана Яворского (1172 г.) звучат прямо революционные ноты. «Закон Господень непорочен, а законы человеческие бывают порочны. А какой же то закон например: поставити надзирателя над судом и дати ему волю, кого хочет обличити, да обличит, кого хочет обесчестить, да обесчестит; поклеп сложить на ближнего судью, вольно то ему. Не тако подобает сему быти: искал он моей головы, поклеп на меня сложил, а не довел—пусть положит свою голову; сеть мне скрыл, пусть сам ввязнет в узкую; ров мне ископал, пусть сам впадает в онь, сын погибельный, чужою бо мерою мерите. А то какова слова ему не говорите, запинает за бесчестье!» И это своеобразная теория—уголовной ответственности прокурора в случае оправдания подсудимого—не осталось пустым звуком: тот же, цитированный уже нами, указ 17 марта устанавливает для фискалов «штраф легкой» за ошибки без намерения и уголовное взыскание, равное тому, какому подлежало обличаемое фискалом лицо, в случае доказанного злого умысла со стороны фискала. Но это значило превратить фискальский сыск в своего рода дуэль между изыскателями злоупотреблений и «злоупотребителями»: либо ты меня, либо я тебя. А герои, фанатики своего фискальского долга, вроде Нестерова,

и здесь были такою же редкостью, как и везде. Этот пункт указа 17 марта 1714 г. был крупной победой дворянства над буржуазией—началом конца буржуазной администрации вообще.

Погибая, она, однако, если верить некоторым, очень авторитетным показаниям, помогла нанести старой дворянской администрации еще один удар. Фокеродт, писавший всего через 12 лет по смерти Петра,—следовательно, почти современник, многое во всяком случае слышавший от современников,—считает фискальские доносы Нестерова исходной точкой крупнейшей административной реформы Петра—введения *коллегий*. Он изображает дело так: первые 30 лет своей жизни Петр «мало или вовсе не заботился» о внутреннем управлении государством, всецело поглощенный заботами о преобразовании армии и создании флота. В этом направлении толкала царя не одна внешняя политика, как привыкли мы думать: Петр сознавал говорит Фокеродт, «какое значение имеет постоянная армия для самодержавной власти». Мы увидим скоро, что в этом, мимоходом брошенном, замечании прусский дипломат «коротко, ясно и по обыкновению умно» (характеристика, которую дает Фокеродту г. Милюков) наметил одну из кардинальных линий петровской политики. Не будем пока отвлекаться от нашей очередной темы—административной реформы. Итак, не занимаясь первые тридцать лет своего царствования вопросами внутренней администрации, Петр впервые обратил на нее внимание, когда хаос в этой области достиг крайних пределов, причем ближайшим образом открыла глаза царю, по уверению Фокеродта, записка, составленная и поданная в 1714 г. Нестеровым, который за нее именно и был сделан обер-фискалом. Тем временем Петр мог убедиться, что преобразование армии и флота по европейским образцам дало прекрасные результаты: ему, военному инструктору и корабельному инженеру, прежде всего другого, естественно, могла прийти в голову мысль, что, применив те же приемы в области гражданского управления, легко и это последнее сделать столь же образцовым, как балтийский флот или преображенские гренадеры. А так как ближайшим образцом для подражания в военно-морском деле была Швеция, то опять естественно было и за образчиками администрации обратиться туда же. И вот он посылает в Швецию,—с которой тогда еще шла война, доверенного человека, «сыплет деньгами» («Geld auf Geld gab»), чтобы достать, выкрасть, так сказать, уставы и регламенты шведских административных учреждений, как выкрадывают план крепости или модель корабля. А когда этот своеобразный шпион вернулся со своей добычей в Россию, добытые документы поспешно переводятся на русский язык; и в России создается ряд административных органов, представляющих собою точную копию шведских. Причем, так как в военном и морском деле видную роль сыграли приглашенные из-за границы инструкторы, их поспешили найти и теперь: на

службу во вновь учрежденные коллегии было приглашено большое количество иностранцев, в особенности немцев. Скоро однако же обнаружилось, что собственно шведскую технику приглашенные знают плохо, а главное, что для хорошего управления одной техники мало. Притом же новые центральные учреждения оказались островом в море старой приказной Руси, ибо провинциальная администрация осталась в прежнем виде. Все это и заставило Петра повременить с дальнейшим развитием новых учреждений и даже многое прямо взять назад. Коллегии сохранили прежние имена, но их порядки во многом вернулись к прежнему, московскому типу, а в то же время Петр энергично принялся за переделку *местного* управления.

В эту очень упрощенную и даже наивную схему новейшие исследования внесли массу новых штрихов, лишивших набросанную Фокеродтом картину ее классической ясности. Мы знаем теперь, что введение коллегий не было такой детски простой операцией, как изображено у него; что в распоряжении Петра были не одни донесения его лазутчика, а целый ряд обстоятельных проектов, шедших с разных сторон; что коллегии не были введены внезапно, как бы приказом по армии,—что от первой мысли о коллегиях до реализации этой мысли прошло несколько лет; что, наконец, приглашенные из-за границы гражданские инструкторы были не хуже военных, и между ними мы встречаем таких людей, как Люберас и Фик, административными идеями которых тогдашние политические круги питались и долго после коллежской реформы. Но, усложнив картину, исправив ее грубые контуры, новейшие исследования не так полно упразднили Фокеродта, как может показаться. Исходной точкой реформы и теперь приходится считать административный хаос, достигший действительно своего апогея к 1714 г. и в раскрытии которого Петру, действительно, очень должна была помочь его буржуазная администрация в лице фискалов. А единственным прочным результатом ее, как особенно подчеркивает Фокеродт, было введение в русское казенное управление тех приемов строгой отчетности, «которые существуют в коммерческих заведениях». Торговый капитализм в качестве обличителя стоит в начале реформы,—в качестве наставника замыкает ее; и для того чтобы причислить коллегии, несмотря на их наемно-бюрократический состав, к той же «буржуазной администрации», не нужно даже указывать на то, какое место в их системе отведено интересам капитализма и капиталистов. Коллегии были высшими органами центрального управления, соответствовавшими теперешним министерствам; но в то время как теперь и торговля и промышленность довольствуются одним министерством (а недавно довольствовались одним департаментом одного министерства)[1],

[1] Напечатано в 1911 г.

при Петре не только существовали особые коллегии для торговли и промышленности, но была сделана попытка создать особое «министерство фабрик»—мануфактур-коллегию—отдельно от министерства горных заводов—берг-коллегии. Если прибавить к этому, что финансам и отчетности было отведено целых три центральных учреждения—камер-, штатс- и ревизион-коллегии (столько же, сколько всей внешней политике вместе взятой—иностранная, военная и адмиралтейств-коллегии), при полном отсутствии центральных органов не только для народного просвещения, но даже и для полиции—в числе коллегий не было соответствующей министерству внутренних дел—сравнение с «торговым домом» совсем не покажется нам натянутым. И, может быть, нет ничего характернее для коллежской реформы, что началась она именно с забот о торговле. Впервые коллегия является под пером Петра в указе 16 января 1712 г., где говорится: «учинить *коллегиум* для торгового дела и оправления, оную чтоб в лучшее состояние привести, к чему надобно один или два человека иноземцев (которых надобно удовольствовать, дабы правду и ревность в том показали) с присягою, дабы лучший порядок устроить, ибо без пререкословия есть, что их торги несравненно лучше есть наших». Для этой первой русской коллегии представитель Петра в Гааге должен был специально отыскивать обанкротившихся голландских купцов, так как предполагалось, что те, «кому в их отечестве какая несправедливость учинена», во-первых, охотнее пойдут на иноземную службу, а во-вторых, ревностнее будут служить своему новому государю, не имея интереса таить от него секреты их отечественной коммерции. На деле впрочем этой оригинальнейшей в мире коллегии банкротов не удалось осуществиться, и коммерц-коллегия была организована по шведскому образцу, при участии все тех же Фика и Любераса.

Что Петр шел к коллегиям от флота и армии, в этом опять-таки не приходится повидимому поправлять Фокеродта: для доказательства ему достаточно было бы сослаться на знаменитый указ, предписывавший регламенты *всех* коллегий составить по образцу—адмиралтейской. Что хорошо на корабле, то не может быть нигде дурно... Но эта субъективная сторона коллежской реформы не мешает ей объективно быть орудием того же торгового капитала, которому служила и вся петровская реформа вообще. Для интересов этого капитала коллегии пришли однако же в последний час—слишком поздно, чтобы буржуазия могла ими воспользоваться. Мы сейчас увидим, что, в противоположность ратуше, которая была в купеческих руках целый ряд лет, коллегии не были в них ни минуты и что «верховным господам» именно потому и не пришлось «растаскивать» новые учреждения, что они сразу стали в них хозяевами. Но это была уже практика: чрезвычайно важно, что и в теории коллежская реформа заключала в себе крупную уступку обще-

ственному мнению того самого дворянства, с которым так бесцеремонно было поступлено в 1699 г. Вводя новые учреждения, Петр сознательно, как мы видели, руководился техническими соображениями, а бессознательно служил интересам той экономической силы, которая гнала Россию в Европу, не справляясь ни с чьими субъективными планами и намерениями. Но когда он начинает мотивировать реформу перед своими подданными, мы слышим ноты, совершенно неожиданные, дающие резкий диссонанс со всем, что мы привыкли представлять себе, когда мы думаем о Петре-реформаторе. Фанатический поклонник дубинки, уверенный, что все дело в том, чтобы хорошо приказать и наблюсти за тем, чтобы приказание было выполнено, вдруг начинает заботиться: что скажут о нем его подданные? Для чего вводятся коллегии? «Дабы не клеветали непокоривыи человецы, что се или оное *силою* паче и по прихотям своим, нежели судом и истиною заповедует монарх», отвечает Петр устами Феофана Прокоповича. Тридцать лет человек был убежден, что силой все можно сделать,—и теперь он хлопочет, как бы его не попрекнули, что он действует при помощи насилия. И, увлекшись своей аргументацией, секретарь Петра—таким конечно и был Прокопович, когда он писал это предисловие к Духовному регламенту,—доходит ни более, ни менее как до критики личной власти вообще и до восхваления политической свободы. «Известнее взыскуется истина соборным сословием, нежели единым лицом...» А главное: «*Коллегиум свободнейший дух в себе имеет к правосудию*: не тако бо, яко же единоличный правитель, гнева сильных боится». Но что стало бы с девятью десятыми петровских указов без страха перед «гневом сильного»? Интереснее же всего, что это были не одни слова. Организуя юстиц-коллегию, Петр вспомнил, что она «касается до всего государства», и что могут быть «нарекания, что выбрали кого по какой страсти»; поэтому предписано было членов ее выбрать, во-первых, «всеми офицеры, которые здесь», а во-вторых, «из дворян отобрать лучших человек сто и им также» выбрать трех членов юстиц-коллегии. Когда потом, в 1730 г., шляхетство заговорило о «баллотировании» всеми дворянами членов сената, у него, собственно, был превосходный готовый прецедент: не меньше же сенат «касался до всего государства», чем юстиц-коллегия?

На это были пока только *уступки* в пользу дворянства—и не со стороны буржуазии, нужно сказать: кому принадлежала *власть* в новых учреждениях, достаточно показывает список коллежских президентов. Во главе военной коллегии стал Меншиков, адмиралтейской—Апраксин, иностранной—Головкин, каммер-коллегии—кн. Дм. Мих. Голицын, коммерц-коллегии—Петр Толстой; если сюда присоединить наиболее влиятельных сенаторов, Мусина-Пушкина, ставшего президентом штатс-коллегии, и кн. Якова Долгорукова, занявшего

то же место в ревизион-коллегии, то список «верховных господ», каких можно было найти около 1718 г., и список новых министров совпадут почти вполне. Исключение составит только президент берг-и мануфактур-коллегии, знаменитый Брюс: и это исключение не менее характерно, нежели в свое время была оставшаяся в руках Курбатова Архангельская губерния. Еще оставался уголок, тогда территориальный, теперь организационный, где «верховные господа» не решались распоряжаться непосредственно. Но Брюс был человек более покладистый, нежели Курбатов, и с ним было еще легче ладить. От назначения его членом «тайного совета» он прямо отказался, мотивируя отказ тем, что он иностранец. И один указ Петра курьезно проговаривается, почему, собственно, министерство фабрик и заводов досталось этому скромному человеку: отбирая в 1722 г. коллегии у старых президентов, император замечает, что надлежало бы перемену распространить и на берг-коллегию—«да заобычного не знаю». Брюс был не политический человек, а просто хороший техник—найти ему заместителя было не легко, а в то же время он никому не мешал. И его присутствие в числе коллежских президентов нисколько не портило общей картины владычества над Россией «верховных господ» через коллегии, как раньше распоряжались они же в качестве губернаторов.

«Растаскивание» народного достояния должно было продолжаться беспрепятственно и теперь, только в иной форме. Известное дело Шафирова вскрывает перед нами уголок коллежского хозяйства в первые же годы после реформы. Введение отчетности было, как мы знаем, одной из самых сильных сторон этой последней. Но достаточно было стоять во главе коллегии «светлейшему князю», чтобы она была наглухо забронирована от всякого контроля. Меншиков неукоснительно требовал своему ведомству все, что причиталось по окладу на всю армию, а на требования «дать подлинному приходу и расходу ведение» отвечал презрительным молчанием. Между тем армия никогда не достигала комплекта, и в распоряжении ее главного командира каждый год оставались крупные излишки. Но за попытку проникнуть в секрет их употребления Шафиров едва не поплатился головой. С его ссылкой из состава «верховных господ» выбыл последний человек, и по своему происхождению—Шафиров был из еврейской купеческой семьи—и по связям всего ближе стоявший к буржуазии. Феодальный характер верховного управления стал чище, чем когда бы то ни было, а различие между «старой» знатью, в лице Голицыных и Долгоруких, и «новой», в лице Меншиковых и Толстых, никогда не было настолько велико, чтобы создать почву для политической перегруппировки. Но при таких условиях новые учреждения должны были очень скоро притти к банкротству, не вследствие *технических* причин, как казалось Фокеродту: неумелости

наскоро набранных немецких чиновников и неприспособленности центрального управления к местному,—а по причинам чисто *социальным*. Сознание этого банкротства и привело к последней—хронологически—реформе Петра: преобразованию сената и коллегий в 1722 г. Официально перемена была, разумеется, мотивирована соображениями государственной пользы: указ 12 января 1722 г. начинает с изображения того, как трудна задача Сената и сенаторов: «понеже правление сего государства, яко нерасторяженного перед сим, непрестанных трудов в сенате требует»,—и как невозможно быть президентом коллегии и сенатором в одно и то же время. Прямой вывод отсюда, казалось бы, следующий, был тот, что президентов надо уволить от «трудов» в сенате: так и было поступлено с Меншиковым, Головкиным и Брюсом. Они были уволены от обязанности ходить в сенат в обычное время и остались полными хозяевами у себя дома, каждый в своей коллегии. Но по отношению к Голицыну, Толстому, Пушкину и Матвееву (президенту юстиц-коллегии) довольно неожиданно было сделано прямо противоположное: их «уволили» от начальства в коллегиях и оставили им места в сенате. Другими словами, у них отняли реальную единоличную власть, принадлежавшую каждому из них (едва ли нужно объяснять читателю, что «коллегиальность» петровских учреждений была такой же пустой формой, как и коллегиальность позднейших бюрократических «присутствий»), и оставили за ними по одному голосу в учреждении, где сообща обсуждались важнейшие государственные вопросы. Смысл этой меры был, конечно, тот же, что, например, в позднейшее время смысл назначения членом государственного совета какого-нибудь министра: это была почетная отставка. Современники, близко наблюдавшие за ходом событий,—вроде иностранных дипломатов,—никогда и не были настолько наивны, чтобы, подобно новейшим историкам, принимать за чистую монету мотивировку указа. «Царь отставил от должности почти всех президентов коллегий или советов,—сообщает об этом факте своему правительству французский посланник Кампредон.—Все эти господа—сенаторы—и отныне они будут просто заседать в сенате, перед которым прежде поддерживали свои мнения».

Была ли эта временная опала почти всех «верховных господ» результатом случайных злоупотреблений, случайно открытых императором и вызвавших его гнев, или же в перевороте 1722 г. мы должны искать известной принципиальной подкладки, как и в реформе 1718 г.? Некоторые хронологические совпадения показывают нам, где, повидимому, всего ближе можно найти ключ к загадке. 1721—1722 гг. отмечены, во-первых, рядом мер, касавшихся положения дворянства. Крупнейшими из них были учреждение должности герольдмейстера, «кто б дворян ведал», и издание табели о рангах. Эту последнюю принято рассматривать в нашей историографии как меру демо-

кратическую, как своего рода завершение реформы 1682 г., уничтожившей местничество: «порода» была окончательно поставлена ниже «заслуги». Но не надо забывать, что в промежутке русское служилое сословие пережило эпоху полного смешения чинов, когда вчерашние боярские холопы сегодня становились губернаторами и министрами,—если и без этих титулов, то с соответствующей властью. В инструкции же герольдмейстеру определенно проводится та мысль, что впредь не только военное офицерство, но и гражданское чиновничество должно рекрутироваться из дворянских детей, которые в этих видах и должны обучаться «экономии и гражданству». В «табели» же, хотя и подчеркивается неважность «породы» для карьеры служилого человека (потомки служителей русского происхождения или иностранцев, первых 8 рангов, причисляются к лучшему старшему дворянству, «хотя бы и низкой породы были»), делается еще одна уступка военным, которые всегда были из дворян, сравнительно со штатскими, среди которых буржуазные элементы были гораздо сильнее представлены. Именно вновь произведенные в гражданские чины не сразу сравниваются с соответствующими по табели военными чинами, а лишь по выслуге известного количества лет. «Понеже сие в рангах будет оскорбительно воинским людям, которые во многие лета и какою жестокою службою оное получили, а увидят *без заслуги* себе равного или выше». Это внимание к чисто-дворянской точке зрения на «заслугу» еще подчеркивается припиской к табели,—припиской, на первый взгляд довольно странной, но понятной, если мы взглянем на нее как на один из зародышей будущей «Жалованной грамоты дворянству». Приписка снимает бесчестье с тех дворян, которые были под следствием и подвергались пытке, но по суду были потом оправданы. Присоединив ко всему этому заботу о дворянских гербах, проявленную сенатом именно в момент обсуждения табели, мы получим общую картину, весьма далекую от всяких «демократических реформ»; и ее нисколько не портит поношение «породы», потому что породой-то, со старомосковской точки зрения, дворянство XVII в. и не могло похвастаться. Ему нужно было не признание его аристократизма,—в этом смысле все было покончено еще в дни Смуты,—а признание его права на власть, а на первый случай даже просто отобрание в его пользу у буржуазии доходных должностей. Этому последнему и отвечала одна маленькая, весьма мало заметная реформа, относящаяся к тому же 1722 г. В 1718 г., одновременно со введением коллегий, было восстановлено централизованное городское управление, разрушившееся с падением ратуши: были устроены *городовые магистраты*, подчиненные *главному магистрату* в Петербурге. Очень характерно, что восстановление было неполное: в ведение магистратов попало не все буржуазное, неслужилое и некрепостное население, которое ведалось после 1699 г. бурмистрами,

а только горожане, купцы и промышленники в тесном смысле этого слова. Но еще более характерно, что и у магистратов в 1722 г. была отобрана одна из главных функций прежней бурмистерской палаты—сбор косвенных налогов: указами 11 и 13 апреля этого года велено было пошлинные, кабацкие, соляные и другие всякие сборы передать отставным военным, по назначению военной коллегии: а «раскольники и бородачи» при этих военных людях должны были играть исполнительную роль «целовальников». Косвенно петровский указ этим, конечно, устанавливает, что на сбор косвенных налогов в начале XVIII в. смотрели не как на повинность, а как на привилегию: теперь эта привилегия была отнята у буржуазии и передана служилым людям, которые, нужно сказать, на практике мало ею воспользовались, найдя это буржуазное занятие очевидно не по своим вкусам и привычкам. Через три года только четвертая часть пошлинных сборщиков была из отставных военных—остальные места были попрежнему за купцами, потому что их некем было заменить.

1722 год обозначает, таким образом, новый сдвиг в сторону служилой массы,—новый успех *дворянской реакции*. Нет надобности оговаривать, что такова была *объективная* сторона событий; субъективно Петр оставался более, чем когда бы то ни было, на старой колее, в этом самом году начав кампанию, нисколько не менее «буржуазную» по своим задачам, нежели борьба за Балтийское море, и конечно более *сознательно* буржуазную. То был персидский поход. Позже мы несколько детальнее коснемся этого достойного финала эры торгового капитализма—«начала конца» и для личной биографии Петра. Но не приходится отрицать, что ко времени персидского похода Петр был сознательнее не только в области внешней политики. Не отдавая себе отчета в социальной подкладке творившегося вокруг него, он ясно видел одно: что на ту группу людей, с которою он привык делать дело, положиться нельзя; что ее интересы каким-то роковым образом расходятся с интересами этого дела; что они—не помощники, а тормозы, если не сознательные враги его начинаний; что перед ним борется возрожденный реставрацией XVII в. феодализм с привитыми извне новыми экономическими формами; что конечно туземное приспособит к себе занесенное с запада, а не наоборот; что вся его попытка в целом заранее осуждена на неудачу: *так* он, конечно, сам никогда не формулировал бы положения, с глаз подозрительных и ненадежных людей, которых судьба сделала его ближайшими слугами и советниками. А между тем потребности все того же дела заставляли его уехать за две тысячи верст. И вот—чрезвычайно характерное различие:—уезжая в 1711 г., он создает орган *управления*—сенат; уезжая в 1722 г., он оставляет за собою орган *надзора—генерал-прокуратуру*. История сделала впоследствии из генерал-прокурора своего

рода визиря, министра для всех дел, или, если угодно, царского главного бурмистра. Но Петр имел для него в виду совсем не это. Его генерал-прокурор, как его рисует инструкция 27 апреля 1722 г., ничем не управляет: он только следит, следит неукоснительно за лукавыми и ленивыми рабами, носящими звание сенаторов и тайных советников. И чтобы они не проводили времени праздно, работали «истинно, ревностно и порядочно», и чтобы они не забывали правил, сочиненных для них Петром, действовали «по регламентам и указам», и притом не для видимости только,—«не на столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись»,—и, особенно, чтобы не воровали и не взяточничали: «дабы сенат в своем звании праведно и нелицемерно поступал». В лице генерал-прокурора Петр надеялся иметь телескоп, при помощи которого он из Астрахани и Дербента мог бы уследить каждый грош, попавший из казенного сундука в карман «господ сената». Он так и определяет новую должность: «око наше»—и грозит этому живому телескопу самой жестокой участью, если он будет функционировать плохо. Недаром эта должность и была поручена человеку, сравнительно молодому и не выделявшемуся особенно из рядов государственных деятелей, но зато лично необычайно тесно связанному с царем: то был П. И. Ягужинский, за несколько лет перед этим занявший при Петре повидимому то же положение, которое ранее занимал, по общему убеждению, Меншиков. За границей, во Франции, Петр не расставался с ним ни на минуту и все время не спускал с него глаз, как Грозный с Басманова... Но для роли всеобщего ревизора молодой царский любимец, кажется, был слишком слаб. Вернувшись из Персии, Петр решил взять дело надзора непосредственно в свои руки. В одной из ближайших к царской спальне комнат дворца, рассказывает Фокеродт, был поселен новый обер-фискал, полковник Мякинин, и начальник всего сыска сделался главным и постоянным советником императора. В долгих беседах с ним Петр настаивал на одном: истребить до корня все злоупотребления. Жизнь всех висела на волоске—до Меншикова и Екатерины включительно. Но от этого плана всеобщего истребления слишком пахло безумием, чтобы он мог дать какие-нибудь практические результаты. Он показывает только, что к этому времени не одно физическое здоровье Петра было окончательно надорвано, и что катастрофа 28 января 1725 г. пришла совершенно во-время.

### 5. Новое общество.

Завоевание феодальной России торговым капиталом, каким бы временным и непрочным оно ни было, должно было сопровождаться крупными изменениями в *быте* русского общества. На всем протяжении своей тысячелетней истории с *этой* стороны последнее не переживало вероятно более резкой по внеш-

ности перемены. Она особенно поразит нас, если мы взглянем на это общество сверху. На самом верху пирамиды, там, где еще так недавно высилось нечто вроде живой иконы, в строгом византийском стиле, медленно и важно выступавшей перед глазами благоговевшей толпы,—выступавшей лишь на минуту, чтобы тотчас же вновь скрыться в темной глубине теремов,—теперь виднелась нервная, подвижная до суетливости фигура в рабочей куртке, вечно на людях, вечно на улице, причем нельзя было разобрать, где же кончалась улица и начинался царский дворец. Ибо и там и тут было одинаково бесчинно, шумно и пьяно,—и там и тут была одинаково пестрая и бесцеремонная толпа, гдѐ царского министра в золоченом кафтане и андреевской ленте толкал локтем голландский матрос, явившийся сюда прямо с корабля, или немецкий лавочник, пришедший прямо из-за прилавка. Чем дальше от дворца, правда, тем перемена чувствовалась меньше. Уже служилый человек, довольно охотно надев на себя немецкий костюм и несколько менее охотно сбрив бороду, сидя в учрежденной по заморскому образцу коллегии, не прочь был по старине поместничаться со своим соседом, дома же держал у себя все по старому чину, и если пускал к себе иной день улицу, то лишь с великою неохотой и по строгому царскому указу. Ниже служилых шла плотная масса «раскольников и бородачей», которых перемена не коснулась даже и внешним образом, и которые еще на полтора столетия, до романов Печерского и комедий Островского, сохранили свой «быт» во всей его неприкосновенности. И уж совсем никакой перемены нельзя было заметить в многомиллионной мужицкой массе: прежнее крепостное ярмо ее ничуть не облегчилось от новых порядков, а новая, капиталистическая, барщина, с ее утонченными способами эксплоатации, была еще далеко впереди. Употребляя старофранцузские термины, «двор» изменился сильнее, чем «город», а деревня совсем не изменилась. Но «двор» был центром совершившегося экономического переворота—мы видели значение царского хозяйства в деле образования торгового капитала; «город» был театром этого переворота и если теперь, конечно, мы не станем говорить о «петровской культуре», как о какой-то новой эре для всего русского народа—черед его «европеизации» наступил лишь во второй половине XIX в.,—то все же задача: проследить влияние перемены в народном хозяйстве вплоть до «быта» и «нравов»,—остается не лишенной интереса. Тем более, что мы имеем здесь последовательность явлений, не составляющую национальной особенности русского народа. Сходство того, что происходило в России начала XVIII в., с тем, что знакомо западноевропейской истории XVI—иногда фотографическое. И это фотографическое сходство не менее поучительно, нежели тот всем привычный факт, что город, возникающий в начале XX в. где-нибудь в глуши

южной Африки, как две капли воды будет похож на город, который одновременно строят в Канаде или даже на европейских «концессиях» Китая. Утомительное однообразие буржуазной культуры нашего времени на добрую долю объясняется громадной ролью, какую играет в современной жизни техника, одинаковая под всеми широтами и долготами. Общество начала XVIII в. было еще почти столь же примитивно в этом отношении, как и его предшественники на два столетия раньше. Стоит почитать переписку французских чиновников придворного и дипломатического ведомств, решавших в 1717 г. трудную задачу: как им переправить из Кале в Париж русского царя с его свитой—десятка четыре народу, не больше чем на пару вагонов теперешнего экспресса. А тогда люди не знали ни днем, ни ночью покоя от мысли: где достать столько экипажей, чтобы поместить в них такую толпу? И смогли выйти из затруднения, только сделав перевозку знатных путешественников натуральной повинностью местного крестьянства. Общество, так еще мало умевшее бороться с природой, должно было гораздо более нашего зависеть от времени и пространства. Тем удивительнее смотреть, как русские современники Петра до мелочей воспроизводят отдаленный от них на два столетия и большинству из них совершенно незнакомый итальянский и фландрский «ренессанс».

Возьмем классическую характеристику этого последнего, сделанную в свое время Тэном. «Живописные праздники, которые давались во всех городах, торжественные въезды, маскарады, кавалькады составляли главное удовольствие народа и государей... Когда читаешь хроники и мемуары, видишь, что итальянцы хотели сделать жизнь роскошным празднеством. Все другие заботы им казались глупостью». Мы не должны смущаться этим общим определением—«итальянцы»: в приведенных автором примерах мелькают имена Галеаццо Сфорцы, герцога миланского, кардинала Пьетро Риарио, Лаврентия Медичи, папы Александра VI или Льва X. Итальянцы, стремившиеся превратить свою жизнь в роскошный праздник, это опять-таки «двор» и отчасти «город»: итальянское крестьянство жило и тогда так же, как двести лет раньше и как двести лет спустя. Приглядитесь к подробностям этого «роскошного праздника». У папы Льва X был шут, монах Мариано, «страшный обжора, который мог проглотить сразу вареного или жареного голубя и мог съесть за один присест сорок яиц и двадцать цыплят». Папу очень забавляла картина, где Мариано был изображен, окруженный всячески издевавшимися над ним чертями. В присутствии папы представляют комедию, один сюжет которой,—любезно объясненный предварительно публике папским нунцием,—заставил покраснеть присутствовавших французских дипломатов. А можно себе представить, насколько целомудренны были эти современники Франсуа I,

«тешащегося короля» (le roi qui s'amuse)! Когда публика расходилась после этого спектакля, была такая давка и толкотня, что счастлив был тот, кому только «чуть-чуть» не сломали ногу. А накануне папа смотрел турнир между двумя кавалькадами: одна была одета в костюмы мавров, другая—в испанские. Дрались «только» палками, «что было очень красиво видеть и безопасно». Но на другой день был бой быков, уж не столь безопасный: во время него было убито три человека и две лошади. Потом опять была комедия, на этот раз не понравившаяся папе: автора ее, в наказание, завернули в одеяло и подбросили кверху с таким расчетом, чтобы он ударился животом о подмостки сцены [1].

Возьмем теперь записки какого-нибудь современника петровской реформы, имевшего случай наблюдать Россию «сверху», хотя бы известный дневник Берхгольца. Вам покажется, что русские, подобно итальянцам XVI в. решили всю свою жизнь превратить в сплошной праздник и считают все остальное глупостью. С раута в Летнем саду мы попадаем на бал во дворце, с бала на спуск нового корабля, что стоит десяти балов, со спуска корабля на маскарад по случаю Ништадского мира. Неправильно сказать: «на маскарад», ибо их было несколько, и каждый длился по нескольку дней. Густая пелена винного угара висит над всей этой чрезвычайно обстоятельной и многоречивой одиссеей голштинского двора в Петербурге, рассказанной Берхгольцем: и не без вздоха облегчения сообщает он иногда (так редко!), что «сегодня разрешено было пить столько, сколько хочешь». Ибо обыкновенно пить было обязательно, сколько хочет царь... Лаврентий Великолепный, тщетно пытавшийся достать слона для одной из своих процессий, мог бы позавидовать Петру, к услугам которого был целый зверинец. И уж наверное никакому итальянскому князю не удалось бы устроить такого маскарада, который подарила Петру русская зима, когда целый флот двигался по улицам Москвы на санях. Экипаж самого царя представлял точную копию—в миниатюре—только что спущенного недавно величайшего корабля русского флота «Миротворца» (он, конечно, назывался по-голландски—Fridemaker). На нем было несколько мальчиков-юнг, проделывавших все морские эволюции, «как самые лучшие и опытнейшие боцмана». По команде Петра они ставили паруса, как требовало направление ветра, «что оказывало хорошую помощь 15 лошадям, которые тащили корабль». Он был вооружен 8 или 10 настоящими пушками, из которых Петр салютовал время от времени, а ему отвечал с другого такого же «корабля» валахский господарь, ехавший в конце поезда. Всего было около 60 саней—25 дамских и 36 мужских, причем самые маленькие везли 6 лошадей. А перед этим «серьезным» или

[1] «Philosophie de l'art», I, 175.

«настоящим» маскарадом шла еще шутовская процессия «князя-папы» с его кардиналами и божеством морской стихии—Нептуном. «Император, по всему судя, забавлялся истинно по-царски». Сколько стоило это удовольствие государю, который любил говорить, что «копейка рубль бережет», не нужно спрашивать. То была притом не первая забава такого рода на протяжении очень короткого времени: всего за несколько месяцев перед тем, все по случаю того же Ништадского мира, был роскошный маскарад в Петербурге, длившийся тоже несколько дней и происходивший попеременно то на суше, то на Неве. В этом маскараде участвовало до тысячи масок. Дамы были одеты пастушками, нимфами, арапками, монахинями, арлекинами, скарамушами, а впереди их шла императрица со всеми фрейлинами и статс-дамами в костюмах голландских крестьянок. Мужчины шли в костюмах французских виноделов, гамбургских бургомистров, римских воинов, турок, индейцев, испанцев, персиан, китайцев, епископов, прелатов, каноников, аббатов, капуцинов, доминиканцев, иезуитов, министров в шелковых мантиях и огромных париках, венецианских нобилей, корабельных плотников, рудокопов и, наконец, русских бояр, в высоких собольих шапках и длинных парчевых одеяниях, «также и с длинными бородами, и ехали на живых ручных медведях». А за ними, замыкая шествие, вертелся в огромном беличьем колесе царский шут, «очень натурально изображавший медведя», шел индийский брамин, увешанный раковинами, в шляпе с широчайшими полями, и краснокожие, покрытые разноцветными перьями. Два часа двигалось это шествие перед глазами от мала до велика собравшихся на Сенатскую площадь петербуржцев, а впереди него неутомимо колотил в барабан сам царь, одетый то голландским боцманом, то французским крестьянином, но не расставшийся со своим шумным инструментом ни при каком костюме.

Берхгольц много раз повторяет, что все в процессии было очень «натурально». Те способы, какими Петр подготовлял «эту натуральность», весьма живо напоминают нам шутки Льва X с его «братом Марпано». В числе других масок шел, например, Бахус «в тигровой шкуре, обвешанный гроздьями винограда». «Он очень натурально представлял Бахуса: это был необыкновенно толстый, низенький человек, с очень полным лицом, его целых три дня перед тем непрерывно поили, не давая ему ни минуты спать». Тут здоровье бедного Бахуса было принесено в жертву как-никак «искусству». Но Петр любил шутить на чужой коже и просто ради самой шутки, без всяких дальних расчетов. Во время речной части маскарада его знаменитого «князя-папу» везли через Неву на особого рода машине, состоявшей из плота, на котором поставлен был котел, наполненный пивом: посреди котла, в огромной деревянной чашке, плавал несчастный «всешутейший патриарх», а сзади, на

бочках, плыли, ни живы, ни мертвы, его не менее несчастные кардиналы. Когда «машина» подошла к берегу, и ее пассажиров нужно было высаживать, те, кому царь поручил эту операцию, по специальному приказу, опрокинули чашку с князем-папой, и тот принял пивную ванну. Мы уже очень недалеко от того автора комедии, которого по папскому приказу подбрасывали на сцене, как мячик. Сейчас мы будем к нему еще ближе. На обеде у канцлера Головкина «царь забавлялся над кухмистером царицы, подававшим на стол: когда он поставил перед царем блюдо с кушаньем, тот схватил его за голову и сделал ему рожки над головой». Это был деликатный намек на то, что жена кухмистера была когда-то ему неверна, каковое обстоятельство Петр в свое время ознаменовал тем, что велел повесить над дверями кухмистерова жилища пару оленьих рогов. Объект царских шуток относился к ним не очень терпеливо, и царские денщики должны были во все время крепко держать его сзади, чтобы он не вырвался. Он отбивался, и уж совсем не на шутку: один раз схватил царя за пальцы так, что чуть не сломал. Подобные сцены происходили постоянно у Петра с этим человеком, как объяснили Берхгольцу: но, тем не менее Петр, всякий раз как его видел, принимался его дразнить. За двадцать лет раньше Корб был свидетелем сцены в том же роде, но еще более выразительной. Дело было на «роскошно устроенном пире», притом в гостях у цесарского посла. В числе приглашенной вместе с царем знати был боярин Головин, который «питал врожденное отвращение к салату и употреблению уксуса; царь велел полковнику Чамберсу возможно крепче сжать боярина, и сам стал насильно запихивать ему в рот и нос салат и наливать уксус до тех пор, пока Головин сильно закашлялся и из носа у него хлынула кровь».

Глава христианской церкви в XVI в. находил удовольствие смотреть на «шутки чертей» с фра Мариано и на представление комедии, один сюжет которой заставлял краснеть соотечественников Рабле. Главе всемирного православного царства в начале XVIII в. доставляло особенное наслаждение издеваться над церковными обрядами. Мимоходом мы уже упоминали «князя-папу», конечно, знакомого читателю хотя по имени. Выступление его с его коллегией кардиналов представляло собою самый диковинный (sonderbarste) номер маскарада, описанного Берхгольцем. Коллегия состояла из «величайших и распутнейших пьяниц всей России, но притом все людей хорошего происхождения». Мы не будем повторять наивных объяснений этого «обряда», которые повторяет Берхгольц со слов петровских придворных: что это была, будто бы, не то сатира на пьянство (воплощением этой сатиры с удобством мог служить сам царский двор того времени), не то издевательство над католической церковью, до которой Петру не было никакого дела. Свидетельство человека, который был очевидцем основания

«всешутейшей коллегии», не оставляет никаких сомнений, что католицизм тут не при чем. «Теперь не надобно сего забыть и описать коим образом *потешной* был *патриарх* учинен», начинает свое описание петровой потехи кн. Куракин в своей «Гистории о царе Петре Алексеевиче». И хотя он старается ослабить впечатление своих читателей кое-какими оговорками, что «одеяние было поделано некоторым образом шуточное, а не так власное, как на приклад патриарху»; но и он не мог умолчать, что «вместо Евангелия была сделана книга, в которой несколько стклянок с водкою», и что окарикатурение торжественного шествия патриарха на осляти в вербное воскресенье было одною из главных потех; в этот день «патриарха» возили на верблюде «в сад набережной к погребу фряжскому». А другой очевидец, Корб, оставил нам еще более наглядное описание одной из церемоний. 21 февраля 1699 г. «патриарх» освящал лефортовский дворец; при этом были воспроизведены все подробности церковного обряда, курение ладаном (вместо ладана, курили табаком) и т. п., а вместо креста при освящении служили две трубки, положенные поперек одна на другую. Это последнее обстоятельство чрезвычайно сильно поразило воображение набожного католика: «кто поверит,—заканчивает свой рассказ Корб,—что составленный таким образом крест, драгоценнейший символ нашего искупления, являлся предметом посмешища?» Но те, кто ближе был знаком с делом, поверили бы и не этому. Надругательства над евангелием и крестом были самой невинной еще частью «шуточного» ритуала. Как в свое время очевидец не решился передать содержание представлявшейся на папском театре комедии, а только дал понять, какое впечатление произвела она на зрителей, так князь Куракин не решается подробно описывать, в чем состояла церемония поставления «патриарха». «В терминах таких,—кратко говорит он,—о которых залотребно находим не распространять, но кратко скажем—к пьянству, и к блуду, и к всяким дебошам». А в описании царских потех наш автор является большим реалистом и также приводит образчики таких «шуток» Петра, которые в наше время удобнее не цитировать. Можно себе представить, о чем даже и он находил нужным молчать! [1]

Были ли это просто цинизм и грубость, как объяснил петровскую «юмористику» здравомыслящий немец Фокеродт? У настоящего ренессанса шутки над монахами переходили в серьезное отрицание церковной традиции. Над священными вещами смеялись потому, что они в глубине души уже перестали считаться священными. Когда папы почувствовали это, они перестали шутить с огнем, и монахов-шутов при папском дворе сменили иезуиты. Но гуманизм не ограничивался папским

[1] См. «Архив кн. Ф. А. Куракина», I, стр. 74. О церемонии избрания князя-папы кое-что сообщает Фокеродт, к которому мы и отсылаем читателя. См. также *М. Семевского*, Петр Великий как юморист.

двором, и вне этого последнего оставалось достаточно места, где торжествовало «светское настроение», дававшее себя знать уже не одними шутками. Была ли доступна эта серьезная сторона религиозного вольнодумства самому Петру? Современники рисуют его в этой области человеком старых привычек, не пропускавшим церковных служб, любившим подпевать певчим на клиросе и никогда не входившим в церковь в немецком парике. Это был единственный случай, когда царь сам отступал от заведенной им западной моды. Но когда дело заходило не о безобидных уступках обычаю, когда этот обычай сталкивался с тем, что было практически нужно, Петр оказывал я более свободным мыслителем, чем можно было ожидать от человека таких консервативных привычек. Во время кампании 1714 г. петровское интендантство нашло весьма благочестивым делом кормить солдат в петровский пост постной пищей. Присмотревшись к результатам этого благочестия, Петр написал его виновнику Кикину: «Святое ваше распоряжение—на пять недель снятков ржавых и воду—солдаты две недели употребляли, отчего без невелика 1000 человек заболело и службы лишилось, отчего принужден я закон ваш оставить и давать масло и мясо... Правда, когда бы шведов так кормить, дело б изрядно было, а нашим я не вотчим». К раскольникам, изображавшим антихриста и его воинство в мундирах петровской гвардии, Петр не имел оснований относиться особенно благосклонно. Но раскол был силен среди купечества, и с этим не мог не считаться царь, который даже из-за границы готов выписывать обанкротившихся купцов. Узнав, что купцы-староверы «честны и прилежны», Петр высказал сентенцию, может быть, и приукрашенную его позднейшим историком, но едва ли сочиненную этим последним: «если они подлинно таковы, то по мне пусть веруют, чему хотят, и когда уже нельзя их обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучениками за глупость быть—ни они той чести недостойны, ни государство пользы иметь не будет». Выгорецким раскольникам формально было позволено служить по старым книгам, под условием работы на Повенецких заводах: это был едва ли не первый случай в России религиозной терпимости по отношению не к «инославному» исповеданию, а возникшей внутри православия «секте». Заявление известного указа 1702 г. о нежелании царя «совести человеческой приневоливать» не было таким образом голой фразой, и мы имеем образчик терпимого, по тогдашним нравам по крайней мере, отношения Петра и его правительства уже к форменным «вольнодумцам». Московский лекарь Тверитинов говорил громко—и не только говорил, но и писал, и писания свои читать давал—такие, например, вещи: «икона только вапь и доска без силы чудотворения; если бросить ее в огонь, она сгорит и не сохранит себя»; «неподобно поклоняться кресту, как бездушному дереву, не

имеющему никакой силы»; «монашеское девство не по разуму святых писаний держится». Духовные власти, с местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским во главе, конечно, привлекли за это смелого лекаря к ответу. Но в результате следствия он не только не был сожжен, как несомненно случилось бы с ним пятьюдесятью годами раньше, но получил даже свидетельство о своем православии, после формального покаяния, правда. А его духовным обвинителям пришлось наслушаться в сенате, где разбиралось дело Тверитинова, весьма неприятных для них вещей. «Черничишка—плут!—кричали сенаторы монаху, обличавшему лекаря:—ты за склянницу вина душу свою продал». А самого митрополита Стефана из одного сенатского заседания прямо выгнали на том основании, что он не сенатор, и ему на суде (над еретиком, заметим это) не место [1]. Насчет монашества и сам император под конец жизни высказывал мнения, которые Яворскому, если бы он был жив, вероятно очень бы не понравились. Если не происхождение, то распространение монашества он склонен был объяснять «ханжеством» греческих императоров, «а наипаче их жен», и тем, что, пользуясь этим ханжеством, к ним «некоторые плуты подошли». «Сия гангрена и у нас было зело распространяться начала под защищением единовластников церковных, но еще Господь Бог прежних владетелей так благодати своей не лишил, как греческих» [2].

Разрыв с традицией в книжке, в литературе должен был, конечно, сказаться еще сильнее, чем в жизненной практике. Реализм и светское настроение русской повести XVII в. давно отметили специалисты—на наблюдениях этого рода основана упоминавшаяся уже характеристика Тихонравова. Средневековый писатель, как и средневековый художник, знал только схемы, а не живых людей—для него важны были примеры добродетельного жития, а не человеческой *личности*. Интерес к личности, *индивидуализм*, составляет одну из характернейших черт и искусства, и литературы «Возрождения». Наша художественная литература XVII—XVIII вв. была сплошь переводной и подражательной—более подлинное настроение русского общества можно найти в *исторических* работах той поры. Уже историки Смуты, писавшие в первой половине XVII столетия,—Псевдо-Палицын, Катырев-Ростовский, особенно автор соответствующих глав в так называемом «Хронографе 2-й редакции», интересуются своими героями не как отвлеченными моральными образцами, а во всей их исторической конкретности. Кн. Катырев-Ростовский первый захотел собрать данные о наружности русских государей, начиная с Грозного,—и попытался дать характеристики каждого из них

[1] См. *Тихонравов*, Московские вольнодумцы начала XVIII века и Стефан Яворский—во II томе «Сочинений».

[2] См. *Соловьева*, изд. «Общ. пользы», кн. IV, стр. 810 и след.

в отдельности. Гораздо выше его стоит в этом отношении Хронограф 1617 г. Его Годунов, Названый Димитрий, Гермоген—почти живые люди. У Димитрия вы можете уловить его порывистость и нетерпеливый тон в спорах («а что то соборы, соборы? мощно быти и осмому и девятому собору»), его говорливость и живые умственные интересы («речением же многословесен и ко книжному писанию борзострителен»). И чтобы выдержать классический тип «еретика и расстриги», автору—в глубине души, весьма, вероятно, смущенному, что у него выходит не то и не так, как надо,—приходится не жалеть ругательств, совершенно не вяжущихся с теми фактами, которые он же сам приводит. На патриархе Гермогене он не выдержал и вместо стереотипного образа «страдальца за правду» дал портрет, правда, превосходно объясняющий судьбу Гермогена, но который мог бы скандализировать и не XVII в. «Не сладкогласив», «нравом груб», «ко злым же и благим не быстрораспрозрителен, но к льстивым паче и лукавым прилежа», «слуховерствователен»—такие реальные черты в физиономии почти угодника Божия настолько смутили одного из позднейших редакторов Хронографа, что он нашел нужным сопроводить характеристику пространным опровержением, где доказывал, что «неправо се списатель вся глаголаше о святем сем муже о Ермогене». Но, к счастью, не уничтожил самой характеристики.

Реализм Котошихина слишком хорошо известен, чтобы о нем нужно было распространяться. С интересующей нас точки зрения он любопытен между прочим тем, что первый пытается объяснить исторические перемены как результат *личной* деятельности. Возникновение московского государства для него—дело личной завоевательной политики Ивана Грозного; если с царя Алексея не взяли записи, ограничивающей его власть, это результат его личного характера—«разумели его гораздо тихим». У крупнейшего историка петровской эпохи, кн. Б. И. Куракина, мы встречаем тот же прием, в размерах, несравненно более грандиозных. В «Гистории царя Петра Алексеевича» мы уже среди полного «возрождения»,—как и на маскарадах Петра. К писаниям кн. Куракина необыкновенно идет такая случайная мелочь, как любовь автора к итальянским цитатам. Когда вы читаете его, образ великого итальянского историка неотразимо встает перед вами: и, может быть, ничем нельзя лучше измерить *сравнительную* глубину подлинного ренессанса и его отдаленной и бессознательной русской копии, как сравнив «Историю Флоренции» Макиавелли с куракинской «Гисторией». Там, с захватывающим драматизмом, при всей кажущейся сухости и сдержанности, описывается, как флорентийский народ добыл себе свободу—и потерял ее. Здесь так же трезво, сжато и метко рисуются перед нами разные «случайные люди», интригами захватывавшие власть и, благодаря интригам других, терявшие ее. Там огромный амфи-

театр, который был бы, пожалуй, впору и древнему Риму: здесь крошечная домашняя сцена. И благодаря ее узким размерам, благодаря ничтожному числу действующих лиц, индивидуалистическая точка зрения подходила ко всей обстановке еще лучше. У Макиавелли за лицами слишком хорошо видны партии и, еще глубже, классы: недаром он стал одним из предшественников современного «экономического материализма». Нет историка, который был бы дальше от идеализации действительности, более «материалистом» в своем миропонимании, чем кн. Куракин; но «экономизму» у него нечем поживиться. Он не знает других мотивов, кроме эгоистических, других источников общественных перемен, кроме личной воли. Нужно ли ему объяснить стрелецкий бунт: это, конечно, интриги царевны Софьи. А потом она же, «учиня по своему желанию все через тот бунт, начала трудиться, дабы оный угасить и покой восставить, и на кого ни есть сие взвалить»: и вот вам простое объяснение «Хованщины». Но так как Софья Алексеевна была «принцесса ума великого», то, «никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было». И экономическое, и культурное развитие Московского государства в конце XVII в. объясняется именно этим и ничем другим. «Все государство пришло во время ее правления, через семь лет, в цвет великого богатства. Так же умножилась коммерция, и всякие ремесла; и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку». Петр любил иностранцев: это опять личное влияние князя Бориса Алексеевича Голицына. «Оной есть первым, который начал с офицерами и купцами-иностранцами обходиться. И по той своей склонности к иноземцам оных привел в откровенность ко двору и царское величество привел к ним в милость». Стали носить немецкое платье—Куракин опять умеет закрепить эту перемену собственным именем. «Был один англичанин торговой Андрей Кревет, который всякие вещи его величеству закупил, из-за моря выписывал и допущен был ко двору. И от оного первое перенято носить шляпочки аглинские, как сары (sir) носят, и камзол, и кортики с портупеями». Казалось бы, что может быть менее индивидуально, чем пьянство и разврат? Но Куракин и тут не затрудняется найти виноватого. «В то время названный Франц Яковлевич Лефорт пришел в крайную милость и конфиденцию интриг амурных. Помянутой Лефорт был человек забавной и роскошной или назвать дебошан французской. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы. И тут в его доме первое начало учинилось что его царское величество начал с дамами иноземскими обходиться и амур начал первой быть к одной дочери купеческой, названной Анна Ивановна Монсова. Правда, девица была изрядная и умная. Тут же в доме (Лефорта) началось дебошество, пьянство так великое, что невозможно описать, что по три дня запершись в том доме бывали пьяны, и что

многим случалось оттого умирать. И от того времени и по сие число и доныне пьянство продолжается, и между великими домами в моду пришло». И не приходит в голову Куракину, что не от Лефорта же выучились старый «князь-кесарь», Федор Юрьевич Ромодановский, который был «пьян по вся дни», или «невоздержной к питию» царский дядя, Лев Кириллович Нарышкин.

Но индивидуализм эпохи преобразований нашел себе выражение не только в литературе,—а и *в праве*: в двух законах, которые оба, правда, относятся, пожалуй, более тоже к литературе, ибо оба остались мертвою буквой. Это—закон 1714 г. о майорате и указ о престолонаследии 1722 г. Обе меры несомненно стояли во внутренней связи,—так как петровский «майорат», как известно, вовсе не обозначал наследования всего имущества *старшим* сыном, а наследование его *одним* из сыновей, по выбору отца, с устранением остальных. В этом праве отца распорядиться имуществом по своему усмотрению и заключалась, по мнению Петра и его советников, вся суть института. Одна дошедшая до нас записка, информировавшая Петра насчет английских порядков, утверждает, что «по общему закону аглинской земли, отцы могут отлучить и отнять от своих детей все земли, которые им не суть определены чрез духовную или инако, и могут они отдать все токмо одному сыну, а другим ничего, *еже содерживаем «детей в должности и послушании»*. Манифест 1722 г. только воспроизводит это,—нет надобности говорить, совершенно ошибочное,—мнение об «общем законе аглинской земли», когда он говорит: «дабы всегда сие было в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменит, *дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше писано, имея сию узду на себе*». Совпадение настолько буквальное, что не нужно даже тут же имеющейся ссылки на закон 1714 г., чтобы видеть связь: и там и тут для Петра важно было расширить предел отцовской власти, стеснявшейся и в том и в другом случае действовавшими в России обычаями. Как вотчиной, так и царским престолом в московском государстве нельзя было распоряжаться по *личному* усмотрению. Выбирая на престол Михаила Федоровича, выбрали, в сущности, *семью* Романовых, и старший член семьи, так сказать, автоматически становился государем по смерти отца. Эта автоматичность казалась Петру «недобрым, старым обычаем»,—хотя именно она и лежала в основе английского майората, который он ценил за то, чего в нем не было,—и он *семейное* достояние, каким была в России земля,—стремился превратить в *личное*, каким было движимое имущество, товар и деньги. В этом проникновении буржуазных взглядов в сферу наследования земель и престолонаследия, в самую гущу феодального права, так сказать, огромный культурный интерес обоих не-

удавшихся законов. И заимствование было не совсем бессознательное: подготовляя указ 1714 г., требовали от русских агентов за границей сведений о «наследствах и разделе оных» не только «знатнейших, графских, шляхетских», но и «купецких фамилий»[1].

«Индивидуализм» петровской эпохи так же мало должен нас однако же обманывать, как и индивидуализм итальянского возрождения. Литература—ей все дозволено идеализировать—может конечно представлять героев последнего не только смелыми и красивыми, но и утонченными и изящными, глубокомысленными и образованными даже на взгляд читателя XX столетия. Историк такого права не имеет, и ему приходится констатировать, что удовольствия этого времени были крайне грубы, как мы это уже видели, что философия гуманистов была смесью самых наивных предрассудков, завещанных средними веками, с наскоро подхваченными и непереваренными обрывками античной мудрости—и что самые блестящие синьоры, покровительницы гуманизма, иногда не умели писать. Насчет интеллектуальной высоты петровской культуры, к счастью, даже и предрассудков не существует,—и к академии наук тех дней принято относиться даже с большим, может быть, скептицизмом, чем она того заслуживает. Научные интересы самого Петра—если о них можно говорить—не шли дальше собирания «монстров» и «опытов», вроде попытки создать породу высоких людей, поженив добытую откуда-то царем «чрезмерно высокую» финку с показывавшимся в балаганах за деньги французским великаном. И ремесло цырюльника, в те простые времена заменявшего и дантиста, и фельдшера, вовсе не казалось преобразователю России ниже его достоинства: после катанья на яхте и работы с топором или за токарным станком, ничто, кажется, не доставляло Петру такого удовольствия, как рвать зубы. Так как его пациентам это доставляло, повидимому, удовольствие не столь сильное, то на царских деньщиков ложилась деликатная обязанность отыскивать царю случаи для упражнения в зубоврачебном искусстве. Берхгольц рассказывает, с каким трудом ему удалось спасти его собственные зубы, когда он имел неосторожность пожаловаться в присутствии одного из этих своеобразных соглядатаев на зубную боль. Насчет звания пациентов царь совсем не был разборчив,—и его медицинских визитов, в качестве дантиста, удостоивались не только придворные или иноземные купцы, но даже прислуга этих последних. Не менее, чем рвать зубы, любил он выпускать воду у страдавших водянкой. Окружавшая Петра среда была еще примитивнее в этом отношении. Петр, хотя до конца жизни писал, даже со старорусской точки зрения, ужасающе безграмотно, все же любил читать и читал не только по-русски. Он внимательно

[1] См. *Н. Павлов-Сильванский*, Проекты etc., стр. 51.

но следил за голландскими газетами того времени, отмечая в них то, что его интересовало, выписывал из-за границы и книги. Два первых после него лица в государстве, Екатерина и Меншиков, едва ли не были вовсе безграмотными; современники, по крайней мере, весьма твердо стоят на том, что последний в искусстве письма не пошел дальше уменья вывести свою фамилию; а о первой сохранилась легенда, что впоследствии, когда она стала самодержавной императрицей, указы подписывала за нее ее дочь, цесаревна Елизавета. Повторяем, образованность петровского общества вряд ли кто и станет преувеличивать; но мы с трудом представляем себе простоту нравов эпохи. Звания министров, фельдмаршалов и «кавалеров» невольно гипнотизируют нас,—и мы склонны видеть в петровском дворе что-то все-таки «европейское», хотя бы и на тогдашний лад. Тогдашние европейцы, даже сами еще не очень далеко ушедшие по части внешней культурности, как немцы, должны были легко освободиться от этой иллюзии. Вот, например, сценка, которую мы передадим словами все того же словоохотливого голштинского камер-юнкера, который так любил описывать петровские маскарады. Был пир у кн. Ромодановского, где собралась «вся русская знать». Царь уже уехал, когда у «князя-кесаря» и одного из его гостей, не менее знаменитого кн. Долгорукого, затеялась ссора: один припомнил другому какую-то старую обиду,—и Долгорукий отказался выпить, что подносил ему Ромодановский. «Тогда оба эти старика, обменявшись многочисленными отвратительнейшими ругательствами, вцепились друг другу в волосы и добрых полчаса колотили друг друга кулаками, причем никто из присутствовавших в это не вмешивался и не пытался их разнять. Кн. Ромодановский, который был очень пьян, оказался побежденным: тогда он призвал караульных солдат и, хозяин в своем собственном доме, приказал арестовать Долгорукого. Когда последнего освободили, он отказался итти из-под ареста и требовал, будто бы, у императора сатисфакции. Но дело, конечно, так и замрет, потому что подобные кулачные расправы в пьяном виде здесь случаются слишком часто и о них даже и не говорят». Действительно, картину вцепившихся друг другу в волосы царских министров мы и еще раз встречаем на страницах дневника Берхгольца; на этот раз дело происходило в присутствии голштинского герцога, который, понимая обычай страны, отвернулся и сделал вид, что он ничего не замечает. А у Корба мы находим почти такую же сцену между Ромодановским и Апраксиным, будущим петровским генерал-адмиралом; только последний, под свежим впечатлением своих заграничных знакомств, должно быть, поступил более «по-европейски»—обнажил шпагу, чем страшно напугал Ромодановского, привыкшего к тому, что дело кулаками и оканчивается.

Когда мы присутствуем потом при столь патриархальных

сценах, как прием царевной Прасковьей иностранных посетителей в одной рубашке—причем, пока «принцесса» протягивала для целования свою руку, другой рукой она прикрывала свою наготу наскоро взятой у одной из придворных дам мантильей—или при домашнем спектакле у той же царевны и ее сестры, мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны, где вдруг обнаружилось, что исполнитель главной роли, какого-то короля, только что получил 200 ударов батогами, а затем сряду, как ни в чем не бывало, удостоился чести играть не *перед*, *а вместе* с их высочествами—все это на нас уже мало действует. Знаменитая «дубина Петра Великого» начинает рисоваться нам в ее реальной обстановке. С людьми настолько «простыми» и не Петр не стал бы церемониться. И современники отмечали только те случаи, когда дубина касалась уже очень заметных людей, или когда последствия ее применения неожиданно оказывались трагическими. Когда царь нечаянно отправил на тот свет солдата, укравшего кусок меди с пожара, об этом заговорили в городе,—и случай поразил иностранцев, саксонского резидента Лефорта например, который нам его и передает. Но едва ли правильно он из этого делает заключение, что Петр «не отличался гуманным характером». Это—правда конечно, но данный случай еще отнюдь не выходил из ряду. Или приближенный царский холоп, токарь Нартов, не может отказать себе в удовольствии вспомнить, как при нем дубинка гуляла по спине Меншикова либо других именитых персон. «Я часто видал,—будет он рассказывать потом,—как государь за вины знатных чинов людей здесь (в токарной) дубиною подчивал, как они после сего с веселым видом в другие комнаты выходили и со стороны государевой, чтобы постороннне сего не приметили, в тот же день к столу удостоиваемы были». Да еще, пожалуй, какой-нибудь наивный провинциал, вроде новгородского бургомистра Сыренского, познакомившись с придворным бытом, мог обмолвиться сентенцией: «кто с Христом водился, те без головы стали, а кто с царем поводится, те без головы и без спины будут». Но сами члены петровского двора и сам Петр считали, что дубина—самый мягкий вид наказания, даже не наказание, а так сказать, напоминание о возможности быть наказанным. «Теперь в последний раз дубина,—говорил царь Меншикову после одной «тайной» сцены из описанных Нартовым,—ей, впредь, Александра, берегись!»

У этой грубости, если к ней присмотреться, были свои характеристические черты. Вот одна из сцен, какие можно было видеть на праздниках в Летнем саду. «Вскоре после пришло несколько злых апостолов, внушавших почти всем страх и трепет; я имею в виду шесть или около того гвардейских гренадеров, которые, по двое, несли на носилках большую лохань с самым простым хлебным вином, издававшим столь сильный запах, что многие его чувствовали, когда гренадеры находились

еще в другой аллее, более чем за сто шагов от них. Когда я увидел, что сразу много народу убежало, как будто увидели чорта, я спросил стоявшего рядом со мной приятеля: что с этими людьми случилось, почему они исчезли так поспешно? А тот уж схватил меня за руку, показал мне на вошедших молодцов, которых я было сначала не заметил, и мы пустились бежать со всех ног, что было очень благоразумно, так как я вскоре затем встретил нескольких, которые горько жаловались на свою беду, не будучи в состоянии прогнать из своего горла вкуса водки. И так как меня уже предупреждали, что множество шпионов должны были наблюдать за тем, все ли получили горькую чашу, то я не доверял ни одному человеку, но притворялся еще более потерпевшим, чем те. Но одна бессовестная шельма легко сумела проверить, пил я или нет, попросив меня дохнуть. Я ответил, что это бесполезно, так как я уже выполоскал рот водою, на что он возразил, чтобы я ему такого не рассказывал: он знает, что тут ничто не может помочь, хоть возьми в рот корицы или гвоздики, все равно не меньше 24 часов будет вонять водкой изо рта, а от вкуса не отделаешься и еще более долгое время; и что я это должен бы тоже испробовать на себе, чтобы иметь возможность как следует рассказывать о здешних праздниках. Я с благодарностью отказался, указывая на то, что я совершенно не могу пить водки; но все это было бы тщетно, если бы то не был мой добрый друг, прикинувшийся фискалом, чтобы меня подразнить. Но если кто попадет в когти к настоящему, ему не помогут ни просьбы, ни слезы: нужно будет подчиниться, хотя на голову становись. Так как от этой обязанности не освобождаются даже самые нежные дамы, потому что и сама царица иногда пьет вместе с другими. За лоханью с водкой всюду следовали майоры гвардии, чтобы принудить пить тех, кто не слушался простых гренадеров. Нужно было пить из чашки, которую подает один из рядовых—в нее входит добрый пивной стакан, но не для всех ее наливают одинаково полно—здоровье царя: они это называют «за здоровье нашего полковника», но это одно и то же. Когда я потом расспрашивал, почему именно (для этого) раздают такой скверный продукт, как эта водка, мне отвечали, что делается это отчасти потому, что русские больше любят простое хлебное вино, чем все данцигские и французские водки в мире. Другая же причина—*любовь к гвардии, которой царь не знает уже как польстить* (nicht gnugsam zu schmeicheln wisse),—ибо он часто говорит, что среди его гвардейцев нет ни одного, которому он свободно и без опасности не мог доверить свою жизнь» [1].

Гвардия составляла неизменный фон всех празднеств. Рядом с Летним садом, где веселился двор, на Царицыном лугу по-

[1] *Берхгольц*, в «Büschings Magazin XIX», S. 44 fl. Это единственное издание «Дневника», которое нам было доступно,—русского перевода под руками мы не имели.

стоянно можно было видеть ее темнозеленые каре, пестревшие красными воротниками преображенцев и синими—семеновцев. И среди них нередко виднелась высокая фигура самого царя, потчующего водкой своих солдат раньше, чем они пойдут потчевать своим напитком министров и камергеров. К этим гостям Царицына луга Петр был куда внимательнее, нежели к гостям Летнего сада. Те должны были смирно подчиняться царской прихоти—пить, когда царь прикажет, танцовать, когда он этого хочет. Сколько раз бывали случаи, что Петр отлучался с раута отдохнуть (он всегда спал среди дня), либо по какому-нибудь делу: но он хотел, вернувшись, найти веселье в полном разгаре, и ко всем выходам Летнего сада ставились гвардейские часовые, никого не выпускавшие ни под каким предлогом. Раз, во время такого бала под арестом, полил дождь как из ведра: крытых галлерей было слишком мало, чтобы вместить всех гостей и большая часть из них вымокли до нитки. Но в то время как в Летнем саду все должны были дожидаться царя и без его повеления бал не смел кончиться, на Царицыном лугу царь должен был терпеливо ждать, пока кончится вся военная церемония. В свои именины, 29-го июня 1721 г., Петр был чем-то расстроен; он тряс головой и дергал плечами, что было у него всегда признаком сильного волнения; на придворных, собравшихся его поздравить, еле взглянул и прямо прошел к гвардейскому каре. Однако и тут он не мог оставаться долго; прослушав первый салют, он хотел уйти. Но гвардия должна была повторить салют три раза; Меншиков догнал уходившего царя и напомнил ему об этом; Петр вернулся и достоял до конца салюта. Естественно, что после этого голштинский придворный не без самодовольства рассказывает, как эта гордая гвардия отдавала честь его государю, заботливо прибавляя, что большей чести от нее не удостоивается и сам русский царь: гренадерские офицеры и ему только делали «под козырек», но не обнажали шпаги, как было в обычае перед высочайшими особами. И тут для преображенцев «их полковник» шел впереди императора всероссийского.

В нашей исторической литературе прочно укоренилась характеристика Петра Великого, как «царя-мастерового». Действительно, царь на корабельной верфи, с топором или рубанком в руках, картина более редкая и потому более эфектная, нежели царь на плацпараде. Но если не гнаться за эфектами, придется признать, что солдатом Петр стал гораздо ранее, нежели «мастеровым», и, что барабанную науку он изучал в свое время не с меньшим рвением, нежели впоследствии ремесло корабельного плотника, причем последнее вовсе не вытеснило из его головы первого. Тотчас по своем возвращении из первого заграничного путешествия, под свежим впечатлением саардамской верфи, Петр раньше, чем повидал царицу и царевича, успев заехать только в немецкую слободу, отправляется смо-

треть свои войска. «Как только он убедился, насколько далеки эти полчища от настоящих воинов, он показывал им различные жесты и движения на самом себе, уча наклонением собственного тела, какую телесную выправку должны стараться иметь эти беспорядочные массы» (Корб).

А барабан оставался его любимым инстументом до конца жизни, как мы знаем. Все его удовольствия носили резко выраженный военный характер—от всех них «пахло порохом». Доказывая (в 1710 г.), что у царя достаточно средств для продолжения шведской войны, австрийский президент Плейер приводит такое соображение: «уж два года не работает ни одна пороховая мельница, потому что имеется еще в полной готовности большой запас пороха, несмотря на то, что при обучении рекрутов, как только они научатся обращаться с ружьями, происходит непрерывная сильная стрельба; а когда царь, или наследник, или кн. Меншиков в Москве или в деревне, за всяким почти обедом, при каждом тосте за чье-нибудь здоровье, во время бала и танцев, в дни именин или рождения, или по случаю самой хотя бы ничтожной победы беспрерывно стреляют из ружей». Описания роскошных петровских фейерверков—на каждом шагу в современных мемуарах; ими восхищались, задним числом, люди, хорошо знавшие Европу, как князь Куракин. Пирует ли царь у Лефорта, спускает ли корабль, идет ли маскарад по улице Москвы—мы слышим непрерывную пушечную пальбу. На новогоднем празднестве 1699 г. «залп из двадцати пяти пушек отмечал всякий торжественный заздравный тост». Один из иностранных дипломатов видел в этой трате пороха на воздух серьезную статью расхода, порядком обременявшую государственный бюджет. А когда Петр развеселится, в нем гораздо сильнее сказывался буйный солдат (пьяный ландскнехт, если угодно: мы ведь так недалеко еще от Тридцатилетней войны), нежели подгулявший мастеровой. В трезвом виде орудуя дубинкой, во хмелю Петр легко брался за шпагу. На одном пиру у Лефорта, под конец обеда, разгневавшись на воеводу Шеина, «царь распалился так, что, нанося обнаженным мечом без разбору удары, привел в ужас всех собеседников: кн. Ромодановский получил легкую рану в палец, другую—в голову; у Никиты Моисеевича (Зотова, «всешутейшего патриарха»), при движении меча наотмашь, была повреждена рука; гораздо более гибельный удар готовился воеводе, который, несомненно упал бы от царской десницы, обливаясь собственной кровью, но генерал Лефорт (которому почти одному это позволялось), обняв царя, отвел его руку от удара. Царь однако пришел в сильное негодование от того, что нашлось лицо, дерзнувшее помешать последствиям его вполне справедливого гнева, тотчас обернулся и поразил неуместно вмешавшегося тяжелым ударом в спину: поправить дело могло одно только лицо, занимающее первое место среди москвитян по привязанности к нему

царя. Говорят, что этот человек вознесен до верха всем завидного могущества из низшей среди людей участи. Он успел так смягчить царское сердце, что тот удержался от убийства, ограничившись одними угрозами. Эту жестокую бурю сменила приятная и ясная погода». Этот благодетельный чародей, которого Корб не называет, был Меншиков: цитированное нами место—одно из тех, на которых основано известное уже нам представление о характере отношений между Петром и его «Алексашкой».

Была ли эта любовь к военщине и солдатские замашки только делом личной склонности, или Петр сознательно шел в этом направлении? Не надо забывать, что в те времена еще не было на свете «великого Фридриха», который «сделал всех королей капралами», солдатская наука тогда еще не была королевской наукой по преимуществу. Из предшествующих русских царей ни один, кроме Названого Димитрия, не был любителем военного дела. Известную роль тут должно было сыграть детство Петра, прошедшее под впечатлением только что закончившихся долголетних войн царя Алексея: у прежних царевичей едва ли было столько военных игрушек. Борьба за Малороссию и война со шведами должны были сильно расшевелить задремавшие после Смуты милитарные инстинкты московского высшего общества. Но, помимо инстинктов, современники или очень близкие потомки усматривали в милитаризме Петра серьезную политическую сторону—не ту притом, какая выдвигается обыкновенно. Мы уже упоминали мимоходом о замечании Фокеродта, как Петр «достаточно убедился из опыта, какую сильную опору монархической власти представляет регулярная армия», и как, именно благодаря этому, он «в особенности и со всем усердием предался улучшению своих войск». Влиянию военных потребностей в тесном смысле Фокеродт отводит лишь второе место. Как известно, старый предрассудок, будто Петр был создателем регулярной армии в России, давно пора бросить: первые полки «иноземного строя» появляются у нас еще при Михаиле, а в малолетство Петра они, вместе со стрельцами, которые тоже были ближе к постоянному войску, нежели к феодальному ополчению, составляли уже подавляющее большинство русской армии[1]. Правда, это было плохое регулярное войско: вероятно, вроде турецких или персидских солдат первой половины XIX столетия. Тем не менее солдатскую науку Петр нашел в России уже готовой, и петровская гвардия, с военно-технической точки зрения, была еще меньше «открытием», чем «дедушка русского флота», с точки зрения морской техники. Но ее задача и не была военно-технической. Присмотритесь к

[1] Цифры см. у г. *Милюкова*, стр. 52. В походе 1681 г. на 16 приблизительно тысяч дворян и детей боярских московских и городовых, приходилось 30 тысяч конницы и 60 тысяч пехоты иноземного строя, кроме 22 тысяч стрельцов.

ходу ее постепенного развития, как он отчетливо выступает в «Гистории» Куракина. Сначала была 300 «потешных»; эти завелись случайно, действительно для потехи: едва ли тут был серьезный расчет. Но в столкновении с Софьей потешны оказываются не шуточной силой, на которую можно опереться—ведь и противники считают своих приверженцев среди стрельцов тоже только сотнями. И вот, «по возвращении из Троицкого походу 7197 (1689) году», т. е. после своего бегства из Преображенского к Троице и расправы с Софьей, Голицыным и Шакловитым, Петр «начал набирать свои два полка, Преображенской и Семеновской, формально». Для семнадцатилетнего царя это были попрежнему игрушки, но для партии Нарышкиных и для Бориса Алексеевича Голицына, фактического автора coup d'état 1689 г. это была серьезная военно-полицейская сила, которую можно было противопоставить, в случае надобности, ненадежным стрельцам. Десять лет спустя гвардии и пришлось сыграть именно эту роль. Преображенцы и семеновцы с самого начала были нужны против внутреннего врага: против внешнего их двинули уже позднее.

Это *происхождение* гвардии обясняет нам и ее *значение* при Петре. Гвардейские офицеры играли роль, очень близкую к жандармским офицерам времен Николая Павловича. Все более или менее интимные расследования о казнокрадстве и иных злоупотреблениях ближайших к Петру лиц производились при их участии. Так, фискальские доносы на кн. Я. Ф. Долгорукого разбирала комиссия, состоявшая из майора Дмитриева-Мамонова, капитана Лихарева, капитан-поручика Пашкова и поручика Бахметева. Перед учреждением генерал-прокуратуры Петр думал из гвардейских штаб-офицеров создать орган для надзора над всем сенатом. Гвардейские майоры должны были присутствовать в заседаниях сената и следить за тем, чтобы сенаторы вели дела как следует; увидя же что-нибудь «противное сему», могли виновного арестовать и отвести в крепость (Петропавловская крепость уже тогда, по словам Фокеродта, играла роль не столько военную,—она никого и ничего не обороняла,—сколько полицейскую: была «своего рода Бастилией»). Немудрено, что члены сената «вставали со своих мест перед поручиком и относились к нему с подобострастием», как с удивлением сообщал французский агент Лави, не без основания находивший, что «достоинство империи» от того «унижено». Но подобострастие сенаторов перед поручиком было ничем сравнительно с положением, в какое была поставлена относительно последних провинциальная администрация. Гвардейские офицеры, посылавшиеся в губернию, в случае неисполнения их требований имели право «как губернаторов, так и вице-губернаторов и прочих подчиненных *сковать за ноги и на шею положить цепи* и по то время их не освобождать, пока они изготовят» требуемые гвардейцами

отчеты. Позже такое же право было предоставлено не только офицерам, но и унтер-офицерам. Какую картину представляла под унтер-офицерским игом Москва (не какой-нибудь медвежий угол!), весьма живо рисует одно письмо известного петровского дипломата гр. Матвеева. «Присланный из камер-коллегии унтер-офицер, именем Пустошкин,—рассказывает он,—жестокую передрягу учинил и всю канцелярию опустошил и всем здешним правителям, кроме военной коллегии и юстиции, *не только ноги, но и шею смирил цепями*. Между которыми здешний *вице-губернатор* господин Воейков токмо ответствовал тому нарочно присланному, что он послушен на цепь идтить, однакож, чтобы прежде сказана была ему вина, чего тот, Пустошкин, учинить не дерзнул без указу военной коллегии. Однакож, он, вице-губернатор, от него, Пустошкина, равно в той губернской канцелярии при такой же тесноте содержится, как и прочие... Я, тех узников по должности христианской посещая, воистину с плачем видел в губернской канцелярии здешней, что множество детей и женщин, и честных особ, сидящих в них, и токи слез, превосходящие галерных (каторжных) прямых дворов». Это было в Москве, и главным обиженным являлся вице-губернатор и бригадир, нашедший себе заступника в лице близкого к царю человека, недавнего посланника при дворе одной из великих держав, какой тогда была Голландия, почти что одного из «верховных господ». Что терпели в глухой провинции, можно судить по жалобе вятского камерира на тамошнего «солдата», Нетесева. Этот Нетесев, рассказывает камерир, «приходит в канцелярию пьяный не в указанные часы... ночью во втором и в третьем часах и караульных капралов и часовых солдат бьет палкою, а нам, не объявляя вины и без всякой причины, держит нас под арестом по часту, а другим временем и скованных и, забрав вятских обывателей, как посадских, так и уездных лучших людей, которые бывали в прошлых годех у таможенных и питейных сборов бурмистрами, головами и ларешными, держит под земскою конторою за караулом и скованных, где преж сего держаны были тоже и разбойники, и берет взятки». «Этот солдат,—прибавляет исследователь, у которого мы заимствуем эти рассказы,—доходил до какого-то опьянения властью, которое, кажется совпадало у него с опьянением водкой. Многократно говорил похвальные речи, что де он, «пришел в канцелярию, камерира и его секретаря, сковав, замучит в железах до смерти; а если де они в железа сами не скуются, и теми железами будет их бить и головы испроломает». Жену секретаря он грозился шпагою изрубить на мелкие части и исполнить это свое намерение поклялся, приложившись к образу Спасителя при свидетелях»[1].

[1] *М. Богословский*, Областная реформа Петра Великого, Москва, 1902 г., стр. 311—321.

Буржуазное сверху, петровское общество продолжало оставаться военным в своей сердцевине. Упоминание о «солдатах» может внушить читателю иллюзию, будто речь идет о чем-то новом, о какой-то военной демократии. Ничуть не бывало: «князья и простые дворяне» составляли ядро петровской гвардии. Этот факт сразу бросался в глаза иностранным наблюдателям, и они старались по-своему его объяснить. «Он ласков со всеми,—говорит французский дипломат Кампредон,—а преимущественно *с солдатами*, большую часть которых составляют дети *князей и бояр*, *служащие ему как бы залогом верности своих отцов*». Дворянство уже при Петре, таким образом, начало вырабатывать себе тот центральный орган, который помог ему захватить снова власть в свои руки в течение следующих царствований. Тонкая буржуазная оболочка так же мало изменила дворянскую природу Московского государства, как немецкий кафтан природу московского человека. Когда Петр умер, между дворянством и властью стояла только лишенная социальной опоры в массах группа «верховных господ»—штаб без армии, потому что новой буржуазной армии она не смогла себе создать, а старое служилое сословие в преображенском мундире только и ждало удобной минуты, чтобы «головы разбить боярам»...

### 6. Агония буржуазной политики

Служебной силе удалось сделаться силой политической очень скоро: Петр не успел закрыть глаза, как гвардия была уже хозяйкой положения, и не только в императорском дворце. Без ее согласия нельзя было занять русского престола. Гвардейцы пропускали на место «своего полковника» только того, кого они хотели.

Набег торгового капитализма на Россию обошелся ей очень дорого—и не только в смысле затрат людьми и деньгами. Без таких затрат не обходится никогда «активная политика», и в этом специально отношении Россия 1725 г. ничем существенно не отличалось от Франции—в момент смерти Людовика XIV, от Пруссии—по окончании Семилетней войны, или даже от Англии при конце ее борьбы с Наполеоном. Население было разорено и разбегалось, притом с довольно давнего уже времени. Уже к 1710 г. убыль населения, сравнительно с последней допетровской переписью, составляло, по наблюдениям г. Милюкова, местами 40%. Как бы ни мало были надежны цифры тогдашней статистики (переписи 1710 г. не доверяли уже современники), общее впечатление они дают достаточно определенное, особенно там, где их сопровождают словесные комментарии. Об Архангелогородской губернии официальный документ замечает, что «убылые дворы и в них люди явились для того: взяты в рекруты, в солдаты, в плотники, в С.-Петербург в работники, в переведенцы, в кузнецы». Из 5 356 дворов, «убывших» в Пошехонье от рекрутчины и казенных работ запустел

1551, а от побегов 1366[1]. Иностранцам казалось, что центральные области государства совершенно обезлюдели, благодаря Северной войне, и хотя это мнение нуждается в такой же оговорке, как и утверждение тех же иностранцев, будто подмосковный суглинок принадлежит к «лучшим землям в Европе», в этом суммарном впечатлении не все было фантазией. Один документ 1726 г., под которым стоят подписи «верховных господ», почти в полном составе, без спора принимает к сведению такие «резоны» неплательщиков подушной подати: «что де после переписи многие крестьяне, которые могли работою своею доставать деньги, померли и в рекруты взяты и разбежались... а которые ныне работою могут получать деньги на государственную подать, таких осталось малое число». Не спорили «верховные господа» и против ссылок на упадок крестьянского хозяйства: «к тому же де уже несколько лет хлебные недороды, и во многих местах крестьяне зело мало сеют хлеба, а которые и сеют, и те на государственные подати принуждены бывают и в земле хлеб продавать, и от того ищут случая бежать в дальние места, где бы их сыскать было невозможно». Но уже в этой второй цитате мы имеем объяснение крестьянского разорения не от политических причин: и по понятным соображениям казенная бумага молчит о причинах социальных, которые однако хорошо были видны иностранцам, отводившим в деле опустошения центральной России «жестокому обращению господ» одинаковое место с Северной войной. Банкротство петровской системы заключалось не в том, что «ценою разорения страны Россия была возведена в ранг европейской державы», а в том, что, несмотря на разорение страны, и эта цель не была достигнута. Иностранцы, состоявшие на русской службе, оценивали могущество петровской империи далеко не так высоко, как иностранцы, смотревшие издали, и как позднейшие историки. Миних в интимном разговоре с прусским посланником Мардефельдом не скрывал от него, что русские войска находятся в весьма плачевном состоянии: офицеры никуда не годятся, между солдатами много необученных рекрут, кавалерийских лошадей вовсе нет—словом, появись вторично противник вроде Карла XII, он с 25 тыс. человек мог бы справиться со всей «московитской» армией. А это говорилось всего через два года после так блестяще отпразднованного Ништадского мира! Не лучше был флот, в котором куда-нибудь годились только галеры—очень практичные для мелкой войны в финских шхерах, но не для открытого моря. Корабли строились, для скорости, из сырого леса и чрезвычайно быстро гнили в пресных водах кронштадской гавани. Это была одна из главных причин попытки Петра перенести стоянку своего флота

[1] См. г. *Милюков*, Государственное хозяйство России и реформа Петра Великого, стр. 247—249.

в Рогервик (позже «Балтийский порт», около Ревеля), расположенный вблизи открытого моря, где вода была соленая. Но петровские инженеры не умели справиться с крупной волной, и каждая сильная буря, разметав все построенное ими, возвращала дело к исходной точке, так что постройка Рогервика стала синонимом египетской работы. Личный состав флота был не лучше его материальной части. В своих «гардемаринах», учившихся за границей, Петр скоро разочаровался, и в конце царствования за границу более уже не посылали. А о положении матросов хорошее представление дает донесение одного иностранного дипломата своему правительству, относящееся как раз ко времени великолепных маскарадов, которыми праздновалась победа над шведами. «В видах предупреждения беспорядков и охранения спокойствия количество стражи в здешней резиденции удвоено. Мне говорили, что причина множества предосторожностей, принимаемых по этому случаю, заключается в том, что весьма значительное число матросов, которым не заплачено жалованье, несмотря на отданное царем перед отъездом приказание расплатиться с ними, не имея куска хлеба, составили заговор: собраться толпою и грабить дома жителей здешней резиденции».

А в то же время Россия была накануне новой войны. Тот же торговый капитализм, который заставил Петра биться двадцать лет за Балтийское море, теперь гнал его на Каспийское. Ништадский мир еще не был заключен, а у Петра была уже готова новая подробная карта этого моря, за которую французская академия избрала царя своим членом. Составившие карту офицеры привезли, по словам иностранных дипломатов, важное известие: что те места, где, главным образом сосредоточено производство шелка, находятся около самой границы царских владений. «Здесь все льстят себя надеждой, что, так как у персиян нет ни одного морского судна, можно будет большую часть шелковой торговли привлечь сюда и извлекать из этого большой доход», писал прусскому королю его посланник. Открыл эту Америку только прусский дипломат: при русском дворе не могли, конечно, забыть «величайшей торговли в Европе», на которую в XVII в. было столько охотников. Персидский поход Петра был необходимым дополнением к насаждавшимся им шелковым мануфактурам. Год спустя об этом говорили уже вполне определенно. «Царь хочет иметь для безопасности своей торговли порт и крепость по ту сторону Каспийского моря и желает, чтобы шелки, которые посылались обыкновенно в Европу через Смирну, шли отныне на Астрахань и Петербург», писал весною 1722 г. другой дипломат, который скоро потом услыхал подобное же объяснение из уст самого Петра—только царь говорил, разумеется, не о захвате шелковой торговли русскими, а о «свободе» этой торговли. Едва кончились военные действия против шведов, как участво-

вавшие в них войска начали стягиваться к Москве, а оттуда далее—к берегам Дона и Волги. На этой последней быстро вырос военный и транспортный флот, для которого 5 тыс. матросов было перевезено из Кронштадта через Москву в Нижний. В предлоге для войны, как водится, не оказалось недостатка. В Шемахе ограбили царских гостей, не то на пятьдесят тысяч, не то на пятьсот: позже говорили уже о трех миллионах. Притом царский гость был так близок к правительственному чиновнику, что нельзя было не усмотреть здесь прямого неуважения к достоинству русского государя. Правда, ограбившие были мятежниками и против своего государя, персидского шаха: но тем меньше должен был сердиться последний на появление русских войск в его владениях. Для него же, в конце концов, восстановляли порядок—он должен был это оценить, и при русском дворе надеялись даже, что шах, может быть, даром, из одной благодарности, предоставит шелковую монополию России. Все эти радужные надежды однако скоро должны были поблекнуть. Если не само персидское правительство (в это время было и нелегко его найти, так как за шахский престол боролось несколько претендентов), то его вассалы на берегах Каспийского моря, в союзе с горцами Дагестана, оказали русским отчаянное сопротивление. Каспийский флот вышел не лучше балтийского и по большей части погиб от бурь. Бороться с климатом оказалось еще труднее, чем с бурями и неприятелем, болезни и конский падеж свирепствовали в русском лагере, и, отправившись в поход весною 1722 г., в январе следующего Петр уже возвращался в Москву, оставив на месте своих, весьма скромных, завоеваний «15 тыс. лошадей, более 4 тыс. человек регулярного войска, не считая гораздо большего числа казаков и миллиона рублей» [1]. Но непосредственные потери были еще ничто сравнительно с тем, что грозило в будущем. Конкурентка России в области шелковой торговли, Турция поняла каспийскую экспедицию Петра как прямую угрозу себе: одна война тянула за собой другую, и притом несравненно более опасную. Прутского похода не могли забыть ни царь, ни его министры; ожидание турецкой войны отравило последние месяцы жизни Петра, а когда он умер, начавшие править от его имени «верховные господа» не могли говорить о ней без тоски и скорби. Персидские завоевания представляли собою одну из самых неприятных частей петрова наследства, от которой не знали, как избавиться, и не чаяли, чтобы это когда-нибудь удалось. «Войско, которое наряжено регулярное, надлежит в Персию послать,—меланхолически писал год спустя после смерти «преобразователя» его канцлер граф Головкин,—для того, что авось либо они могут что будущим летом какие прогрессы учинить, и увидя то и силу нашу турки

[1] *Кампредон*, «Сборник Русского исторического о-ва», т. XLIX, стр. 281.

и персиане инаково с нами поступать станут». Но другой из «верховных господ», Толстой, находил, что «регулярных войск прибавить туда сверх определенного числа не токмо трудно, но кажется и невозможно», и всю надежду возлагал на какого-то «грузинского принца», о котором «просят тамошние армяне»... «Когда принц грузинский в те страны прибудет, то *может быть* тамошних христиан к нему не малое число соберутся, понеже его там любят», мечтал Толстой, выдавая этим «может быть» всю глубину отчаяния русской дипломатии. Персидский поход не был такой позорной неудачей, как прутский, но это было, во всяком случае, лопнувшее предприятие, и его жалкие результаты не в меньшей степени объясняют нам настроение Петра в последний год его жизни, чем та пустота, в которой почувствовал себя император после бесплодной борьбы с «растаскивавшими» Россию верховниками. Быть может даже, что и эта пустота стала ему заметной благодаря внешней неудаче, когда уже и триумфальными шествиями нельзя было закрасить дела и уверить себя, что все идет, как следует. «Могу, как мне кажется, уверить В. В.,—писал Кампредон Людовику XV в апреле 1723 г.,—что как бы русские ни храбрились и с какой бы твердостью ни пускали пыль в глаза, они не в силах выдержать войну против турок ни со стороны Персии, ни со стороны Азова. Русские финансы плохи, и голод дает себя чувствовать весьма сильно. Кавалерия без лошадей, ибо они погибли все в последнюю кампанию, *а войскам за* 17 *месяцев не плачено жалованье*, чего в прошлую войну не случалось ни разу». Невероятный, на первый взгляд, факт неплатежа жалованья войску вполне подтверждается и русскими документами: 13 февраля 1724 г. сенат доносил государю, что «многие офицеры, а паче иноземцы, а также и русские беспоместные и малопоместные *от невыдачи им на прошлый год жалованья* пришли в такую скудость, что и экипаж свой проели». К концу царствования даже те, из-за кого голодала вся страна, были сами голодны... На склонных к пессимизму людей, каким был, например, саксонский посланник Лефорт, Петр производил в это время впечатление человека, который на все махнул рукою и запил с горя. «Я не могу понять положения этого государства,—писал Лефорт за шесть месяцев до смерти императора,—царь шестой день не выходит из комнаты и очень нездоров от кутежа, происходившего по случаю закладки церкви, которую окрестили 3 тыс. бутылок вина... Уж близко маскарады, и здесь ни о чем другом не говорят, как об удовольствиях, тогда как народ плачет... Не платят ни войскам, ни флоту, ни коллегиям, ни кому бы то ни было; все ужасно ропщут» [1].

Смерть преобразователя была достойным финалом этого пира во время чумы. Петр умер, как известно, от последствий

[1] «Сборник Русского исторического о-ва», т. III, стр. 382.

сифилиса, полученного им, по всей вероятности, в Голландии и плохо вылеченного тогдашними врачами. При гомерическом пьянстве петровского двора и лучшие врачи впрочем едва ли сумели бы помочь. Смерть пришла совершенно неожиданно для царя, хотя посторонние наблюдатели давно уже готовились к катастрофе—и настроение, которое он при этом обнаружил, весьма способно поколебать легенду о «железных людях». «В течение болезни он сильно упал духом, страшно боялся смерти (le tout crainte de la mort), но в то же время выказывал искреннее раскаяние,—пишет в своей подробной реляции о последних днях Петра французский посланник.—По его нарочитому повелению освободили всех заключенных за долги, большую часть коих он приказал выплатить из своих личных средств. Прочих заключенных и всех каторжников, кроме убийц и государственных преступников (!), он также приказал освободить; повелел молиться о себе во всех церквах различных религий и причащался три раза в течение одной недели». Он хворал достаточно долго, чтобы успеть составить завещание, которое логически вытекало из им же изданного закона о престолонаследии. Но боязнь смерти была так велика, что у него не хватало духу за это взяться, а у окружающих—напомнить ему об этом. Спохватились, когда Петр был уже почти в агонии, но в каракулях, выведенных дрожащей рукой, смогли разобрать только два слова: «отдайте все...» Кому—осталось неизвестным. Согласно комментировавшей закон о престолонаследии «Правде воли монаршей» Феофана Прокоповича, «народ» должен был теперь «угадывать» волю умершего государя. Проще говоря, на другой же день по смерти первого императора российский престол стал избирательным. Ни в теории, ни на практике тут не было так много нового, как может показаться нам. Первые цари дома Романовых обыкновенно «обирались» на царство Земским собором—по крайней мере, формальность избрания была соблюдена и при восшествии на престол Петра. Когда «св. Синод и высокоправительствующий Сенат и генералитет согласно приказали» русскому народу повиноваться вдове умершего, императрице Екатерине Алексеевне, это была не столько новая форма, сколько просто новые слова для обозначения собрания, в сущности, такого же состава, как и выбиравшее в 1682 г. самого Петра, которое состояло из «освященного собора», «боярской думы» да «московских чинов». Новизна заключалась в том, что раньше, начиная с Алексея, избрание было, действительно, только *формой*, потому что наследник всем был известен и находился налицо; теперь же, хотя в наследнике тоже не было недостатка, в обход его избрали лицо, никаких прав на престол не имевшее. И выбрали притом не те, кто мог это сделать по традиции, и от чьего лица был написан цитированный нами манифест, а опять-таки люди, формальным правом выбора не располагавшие «Сенат, Синод и генера-

литет», писали под диктовку гвардии, которая в этот момент всеобщего недовольства являлась самой недовольной и наиболее опасной силой.

Иностранные дипломаты весьма согласно в главных чертах передают события, происходившие во дворце в ночь с 27 на 28 января 1725 г. [1]. Когда гвардейские офицеры простились со своим полковником, уже терявшим сознание, старшие из них—согласно одним известиям, по собственному почину, согласно другой версии предводимые «рейхс-маршалом», кн. Меншиковым—направились к Екатерине и «принесли» ей «присягу в верности». Что это не была верноподданническая присяга, ясно из того, что Петр был еще жив в ту минуту: «присяга», очевидно, заключалась в обещании гвардейцев не выдавать свою полковницу. Заручившись таким обещанием, последняя, как сейчас же обнаружилось, поступила вполне целесообразно: ибо даже после немедленно, конечно, огласившегося в придворной среде визита преображенцев к Екатерине находились смелые люди, утверждавшие, что законным наследником является сын казненного царевича Алексея [2] и внук первого императора, будущий Петр II; и между этими людьми было большинство «верховных господ». Только Меншиков, Толстой и генерал-адмирал Апраксин были решительно против этой кандидатуры: и если позицию Толстого легко объяснить его мрачной ролью в деле Алексея Петровича, то поведение главы сухопутной армии и главного начальника русского флота едва ли можно свести только к личным мотивам. Их толкало в определенном направлении общественное мнение тех групп, во главе которых они стояли. Чего ждала от Екатерины армия, совершенно ясно становится, как скоро мы узнаем обещания, данные ею в обмен на «присягу в верности» гвардейцев. «Императрица объявила с самого начала, что жалованье им заплатит из собственной казны». Мало того, она «имела предусмотрительность заранее послать в крепость деньги для уплаты жалованья гарнизону, который не получал его уже шестнадцать месяцев, подобно прочим войскам... Чтобы еще более расположить их к себе, царица распорядилась раздачею всем полкам денег не в счет жалованья; солдатам же, занятым на различных работах, приказано было прекратить работы и отправиться к местам своей стоянки, будто бы молиться богу за государя» [3].

Ловкость, с которой повела себя Екатерина на этом своеобразном аукционе, в первую минуту привела в необыкновенный

[1] Сходство донесений прусского посланника Мардефельда и французского—Кампредона так велико, что в их основе лежит очевидно *один* рассказ.

[2] Что Алексей был казнен тайно, в каземате—это теперь, после опубликования рассказа Румянцева, бывшего одним из палачей, можно считать установленным вне спора. См. «Русская Старина», 1905 г.

[3] *Кампредон*, Сборник Русского исторического о-ва», т. LII, стр. 441 и след.

восторг иностранных наблюдателей и внушила им чрезвычайно преувеличенное представление о способностях новой государыни. Ее «по всей справедливости можно назвать северной Семирамидой и изумительным примером дивного счастья,— писал по поводу события 28 января Кампредон.—Без знатного происхождения, без всякой поддержки, кроме личных своих достоинств, не умея даже ни читать, ни писать, она в течение долгих лет пользовалась любовью и доверием величайшего монарха, человека, наименее из всех смертных поддававшегося чьему-либо прочному влиянию, а после его смерти сумела сделаться самодержавной государыней, к общему восторгу всех и без малейшей тени, по крайней мере, до сих пор—чьего-либо противодействия ее счастью». Противодействовать было бы очень рискованно, когда кн. Меншиков прямо угрожал убить всякого, кто осмелится противиться провозглашению Екатерины царствующей императрицей, и «то же самое говорили и гвардейские офицеры, с намерением помещенные в углу дворцовой залы», где совещались синод, сенат и генералитет. Личная же роль государыни и самим восторгавшимся стала казаться менее значительной, когда они присмотрелись к ее управлению поближе. Из всех функций Петра его вдове всего больше подошли, как это ни странно, полковничьи. Тут она старалась заменить покойного императора с чрезвычайной энергией и не без успеха. Когда ее дочь, Анна Петровна, венчалась с герцогом голштинским (помолвлены они были еще при жизни Петра), Екатерина не была на свадьбе по случаю траура; но и траур не помешал ей явиться на военную часть торжества. Она пешком обошла ряды гвардейцев, выстроенных, по обыкновению, на Царицыном лугу, пила конечно водку за их здоровье и раздавала им жареную говядину. Солдаты «приветствовали ее восторженными кликами, бросая шапки вверх». И подобных военных сцен мы встретим не одну у современников. Но мало-помалу последние начали находить, что этой стороной своей задачи императрица увлекается чересчур. Уже спустя полгода после воцарения Екатерины так восторгавшийся ею Кампредон начал находить, что «и уважение, и преимущества, заслуженные ее великими дарованиями», императрица может утратить благодаря своим «развлечениям». Развлечения эти заключаются в почти ежедневных, продолжающихся всю ночь и добрую часть дня попойках в саду с лицами, которые по обязанности службы должны всегда находиться «при дворе». Екатерина редко ложилась ранее 4 часов утра, и состояние хронического винного угара, в котором она находилась, исключало всякую возможность с ее стороны занятия «государственными делами». Деловые иностранцы, которым приходилось наблюдать близко Петра во время его заграничных поездок, и насчет работоспособности самого преобразователя в этой области были невысокого мнения. Приставленный к Петру во время его путешествия в Париж фран-

цузский чиновник никак не мог понять, когда же русский царь занимается политикой, и пришел, наконец, к заключению, что политические вопросы разрешаются у русских, вероятно, во время обеда, за бутылкой вина. В сущности, эти дела решались «верховными господами» совершенно самостоятельно: Петр, если дело не касалось армии и флота, вмешивался в них лишь спорадически, главным образом в те минуты, когда машина уже очень начинала скрипеть и видимо грозила вовсе остановиться. От Екатерины ждать даже такого спорадического вмешательства было бы бессмыслицей. Необходимость фактического государя рядом с номинальным сознавалась знающими императрицу людьми, повидимому, уже в самый момент ее воцарения: уже тогда шли какие-то глухие толки о каком-то «особенном совете, облеченном некоторою властью», который помешал бы Екатерине быть «вполне самодержавной». В ту минуту, однако, за нею стояли армия и флот, Меншиков и Апраксин—разговоры о «совете» не были никем энергично поддержаны. Но самодержавие Петра дало слишком отрицательные результаты, чтобы с простым продолжением его легко мирились, особенно когда официальный его носитель явно неспособен был поддерживать даже внешний декорум. Оппозиция—и вовсе не во имя возврата к старине, как обыкновенно себе представляют, а напротив, во имя «европеизации» и политических форм,—слабо тлевшая при Петре, в царствование Екатерины I вспыхнула довольно ярким пламенем. Если при жизни преобразователя дело не шло дальше дерзких речей, вроде заявления одного флотского капитана, что царь, собственно, не имеет права распоряжаться, не спросясь Земского собора, его преемнице пришлось иметь дело гораздо больше чем с простыми разговорами. Во время военных салютов, на которые в присутствии императрицы были так же щедры, как и при покойном императоре, начали свистеть пули, «нечаянно» вложенные в ружья, падали раненые и убитые, притом, как на грех, в двух шагах от Екатерины. В застенках постоянно кого-нибудь пытали,—то гвардейских солдат, то каких-то «двух знатных дам, привезенных из Москвы в кандалах», то брата гувернера великого князя. Ромодановский, сын князя-кесаря, унаследовавший от отца должность начальника тайной политической полиции, рассказывал своим приятелям, что он более не в состоянии выносить ужасов, которые ему приходится видеть. Нельзя было безусловно положиться даже на свою главную опору—войско. Помимо отдельных офицеров и солдат, под подозрение подпали целые армии, вроде малороссийской, командир которой, очень популярный среди своих подчиненных кн. Михаил Михайлович Голицын, считался одним из самых ненадежных. В феврале 1726 г. пришлось переменить гарнизон в Петропавловской крепости. Надо было примирить с собой хотя часть недовольных и постараться ослабить недовольство

другой части. В такой обстановке возникает учреждение, значение которого до сих пор мало понятно русским историкам, хотя современники поняли его отлично и сразу—Верховный тайный совет.

Судьба Верховного тайного совета в нашей историографии лишний раз показывает, как рискованно перенесение новейших правовых норм на отношения, весьма далекие от буржуазного государства XIX—XX вв. Споря о «юридической природе» этого странного учреждения, созданного номинально для того, чтобы развязать руки носительнице верховной власти, а фактически связавшего эту носительницу по рукам и по ногам, наши исследователи чрезвычайно мало интересовались его политическим и социальным смыслом. В результате, принято говорить о «попытке ограничить самодержавие в 1730 г.», тогда как оно было уже ограничено в феврале 1726 г., о «верховниках», как о некотором новом явлении, свойственном царствованиям Екатерины I и Петра II, тогда как в действительности членами Верховного совета стали именно те, кто управлял государством при Петре I. Смотревшие со стороны иностранцы, по обыкновению, видели лучше, чем позднейшие туземные историки. Неоднократно цитированный нами Кампредон очень определенно намечает и те мотивы, которые сознательно клались в основу возникавшего учреждения его организаторами, и то объективное значение, которое это учреждение должно было получить независимо от чьих бы то ни было мотивов. Самодержавие гвардии, олицетворяемой Меншиковым, начало, наконец, надоедать наверху так же сильно, как вызывало оно брожение внизу. Сама гвардия должна была остаться весьма мало удовлетворенной меншиковским режимом: из одного документа, относящегося к марту 1726 г., мы узнаем, что еще тогда, год с лишним спустя после вступления на престол Екатерины, гвардия не получила «хлебной дачи» даже за последнюю треть 1724 г., «отчего те полки (преображенский и семеновский) претерпевают нужду». Для того чтобы достигнуть такого результата, не стоило «головы разбивать боярам», как с готовностью предлагали гвардейские офицеры в ночь с 27 на 28 января 1725 г. Но и та, в чье удовольствие делалось это предложение насчет боярских голов, должна была чувствовать себя удовлетворенной не более гвардейцев. Рассматривая политику с семейной точки зрения, Екатерина очень близко принимала к сердцу голштинские интересы своего зятя. Она находила вполне естественным, если не начать войну, то по крайней мере угрожать войной Дании за некорректность этой последней к ее маленькому голштинскому соседу. А герцог-зять, конечно, как нельзя более был бы рад получить в свое полное распоряжение, в придачу к очень умеренному количеству голштинских штыков, совершенно неумеренное количество русских. Но со стороны Меншикова—к его, на этот раз, чести, не видно было

никакого сочувствия к подобным проектам. Наконец, прочие «верховные господа», как мы видели, с самого начала были не только против Меншикова с Толстым и Апраксиным, но и против самой Екатерины. Мало-помалу они должны были однако же убедиться в относительной безобидности последней. Помимо того, что ей «некогда» было вмешиваться в государственные дела, все более и более очевидно становилось, что ее царствование не может быть продолжительно. По распространенному в тогдашних придворных и дипломатических кругах мнению, болезнь Петра была передана и императрице. При отсутствии всякого подобия профилактики в то время это вполне правдоподобно: от Петра случалось заражаться и его денщикам. «Получаемые со всех сторон известия утверждают положительно, что царица жить не может, ибо кровь у нее совершенно заражена», писал французский министр иностранных дел своему агенту в Петербурге слишком за полгода до смерти Екатерины. При дворе этой последней дело, конечно, должны были знать еще лучше, чем в Версале,—то, что не удалось 28 января, оказывалось только отложенным, а отнюдь не потерянным. Нужно было готовиться к новому бою на том же поле и заранее укрепить свои позиции. Когда герцог голштинский выдвинул, в своих личных расчетах, проект ограничения власти фактически Меншикова, Головкин и Голицын пошли на это с полной готовностью, справедливо рассуждая, что пустивший глубокие корни в русскую почву Алексашка бесконечно опаснее маленького и недалекого немецкого принца, которого ничего не стоило и прогнать, когда он будет использован. Так именно и изображает дело упоминавшийся нами иностранный дипломат: хлопоты «герцога голштинского и его министра» он ставит как исходную точку описываемого им «важного события», а «усиление власти русских вельмож» ему кажется неизбежным дальнейшим его последствием. Он заканчивает свою реляцию о новом учреждении такими словами: «легко, впрочем, видеть, что он (Совет) представляет собою первый шаг к перемене формы правления; что московиты хотят его сделать менее деспотическим, нежели оно было, и что многих удержало только малолетство великого князя,—что заставляло их, за отсутствием главы, способного их поддержать, взять всю ответственность за события на себя. Теперь, когда наступит благоприятный случай, они этому риску не подвергнутся более, так как постараются без сомнения утвердить свое влияние и незаметно ограничить самодержавную власть, заставляя ее жаловать такие привилегии, которые создадут возможность учредить и поддержать правление, подобное английскому».

Ссылка на «наиболее разумных людей», которые держатся того же мнения, показывает, что Кампредон не столько сам до него додумался, сколько был на него наведен разговорами самих русских «вельмож». «Пункты», предъявленные импера-

трице Анне в 1730 г., уже определенно предчувствовались в феврале 1726 г. Известное «мнение не в указ», дающее конституцию Верховного тайного совета, ставит дело, в сущности, более обще и просто, нежели эти знаменитые «пункты». Вместо того чтобы перечислить казусы, в которых императрица не может действовать самостоятельно, «мнение» дает положение, обобщающее все возможные случаи: «никаким указам прежде не выходить, пока оные в тайном совете совершенно не состоялись». Екатерине, т. е. герцогу голштинскому, это однако же показалось слишком сильно. Зависеть от русского большинства Совета он не пожелал, и обязательное согласие всего Совета на распоряжения государыни было заменено обязательным контрассигнированием императорских указов одним или, в важных случаях, двумя его членами. Найти себе компаньона герцог очевидно считал более легким делом, нежели переубедить всех «верховников». Но им удалось одержать все же принципиальную победу и в этом пункте. Указы должны были выходить с формулой: «дан в Нашем Верховном тайном совете», равно как и всякого рода «рапорты, доношения или представления» должны были надписываться: «к поданию в Верховном тайном совете». В глазах подданных власть таким образом была уже заключена в весьма прочный футляр, и общество должно было мало-помалу привыкнуть к тому, что государь не управляет непосредственно, и что его распоряжение имеет силу только тогда, когда оно облечено в известную конституционную форму.

С самого начала однако же было совершенно ясно, что эта форма сама по себе никого удовлетворить не может, и что те, кого Ромодановскому приходилось пытать в застенках, всего меньше могли помириться на формальном равенстве между «верховными господами». Меншиков потому, кажется, и согласился без большого спора на образование Совета, что гораздо больше ценил сущность власти, нежели ее парадные атрибуты: в качестве отступного он потребовал себе полной автономии у себя дома—в военной коллегии, где раньше ему докучал Сенат своими попытками ревизии и контроля. Но именно потому, что дело не очень менялось сравнительно с предшествующей эпохой, *такой* перемены обществу было мало. Чтобы приучить его к аристократической конституции на английский лад, нужно было доказать ее практическую пользу. Иначе ее «английская» форма могла только ее скомпрометировать. Что Совету придется отстаивать свое существование, это «верховники» [1] должны были почувствовать с первого же, можно

[1] Членами Совета были назначены: Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Дмитрий Голицын; к ним немного позже присоединился Остерман. Герцог голштинский заменял Екатерину. Ягужинский, присутствовавший на первых заседаниях, скоро выбыл и сделался заклятым врагом верховников.

сказать, дня. 9 февраля Совет официально возник, и об этом был послан указ в Сенат: Сенат указа не принял и через своего экзекутора в самой обидной форме «подбросил» его, что называется, в канцелярию нового учреждения. Это был один из тех моментов, когда даже в сухой канцелярской переписке чувствуется трепет драмы,—если угодно, впрочем, скорее комедии: ибо момент, когда секретарь Совета действительный статский советник Степанов всовывал указ за пазуху сенатскому экзекутору, несомненно, принадлежит к этому последнему жанру. Ближайшая к верховникам по своему официальному положению общественная группа, петровский «генералитет», явно не желал признавать «английской» конституции, делавшей несколько человек, еще вчера сидевших в ее среде ее господами. К Сенату были применены крутые меры: он был лишен титула «правительствующего» и остался только «высоким»; что гораздо важнее и характернее, Сенат был лишен самостоятельной военной силы: под предлогом экономии (это был тогда универсальный предлог), была упразднена «сенатская рота», а при Сенате оставлено 10 человек курьеров; наконец, совершенно «по-английски», назначили ряд новых сенаторов, как в Англии назначают новых пэров для укрощения непослушной верхней палаты, притом совершенно не стесняясь чинами, «ранга генерал-майора и ниже действительных тайных советников двема рангами», так что посланный на ревизию сенатор действительный тайный советник Матвеев, не знал, как ему, не унижая себя, рапортовать столь демократизованному учреждению. В официальной переписке сенат мало-помалу был сравнен с «прочими коллегиями», и за какую-нибудь неисправность у сенаторов удерживали жалованье, точно у мелкой канцелярской сошки. Словом, Совет отвел душу в полное свое удовольствие. Но столкновение с Сенатом было только симптомом общего положения. Ни «верховники», ни «генералитет» не представляли непосредственно никакого общественного класса: значение Верховного тайного совета и его судьба станут нам ясны только, когда мы вскроем классовую подкладку его политики. Тогда мы увидим, что режим «верховников» был финалом петровской реформы. В управление Россией Дмитрия Голицына—ибо фактически он был главой Тайного совета в двухлетний промежуток между ссылкой Меншикова и смертью Петра II—волна буржуазной политики дала свой последний всплеск. С момента падения верховников начинается ничем уже не прерываемый отлив, и своими конституционными проектами Голицын сам засвидетельствовал падение той системы, которой ему суждено было стать последним представителем.

О буржуазной политике Верховного тайного совета можно говорить уже очень рано—еще в меншиковский период его существования. Уже 20 декабря 1726 г., по представлению Меншикова, Остермана и Макарова, решено было организовать

комиссию, «которой рассмотреть генерально все купечество государства российского, каким образом оное к пользе государственной лучше и порядочнее исправлено быть может». А в виде задатка к великим и богатым милостям, которые имели излиться на купечество от этой комиссии, императрица, по докладу тех же лиц, «указать соизволила: для распространения купечества к городу Архангельскому с будущего 1727 году торговать всем позволить невозбранно». Мера была подробно мотивирована в «мнении», поданном в Сенат камер-и коммерц-коллегиями и главным магистратом. Это «мнение» [1]—один из самых толковых документов русского меркантилизма начала XVIII в. В нем весьма обстоятельно доказывается, что петровская дубина в области экономики ни к чему, кроме лишних непроизводительных расходов, не приводила и, стало быть, ничем, кроме задержки в накоплении капиталов, не служила. «Коммерции надлежит быть во всякой вольности; которые купцы к которому порту и за рубеж торговать имеют способность, в том им запрещать не надлежит»: кому выгодно возить в Петербург, тот и впредь свои товары туда повезет, и если уж можно создать в пользу столицы какое-нибудь искусственное преимущество, то разве понизив тамошние вывозные пошлины сравнительно с «городом» (как весьма характерно именуется в документе Архангельск—для допетровской буржуазии город по преимуществу). Запрещать же возить товары в «город», как это делал Петр, есть сущая нелепость. Официальный документ, само собою разумеется, не выражается так определенно: но мысль его именно эта. Стоит отметить одну его деталь: в числе товаров, которые войдут в Архангельск, «мнение» имеет в виду и *хлеб*. «За такой отпускной хлеб из чужих краев входил великой капитал в российское государство *от самой крестьянской работы*»: с запрещением хлебного вывоза Петром, этого «капитала» лишились «*крестьяне*, которые в поморских некоторых городах и на Вятке большею частью *продавая хлеб подати оплачивали*». Так рано появляется предчувствие аграрного капитализма, и при том—что всего характернее—в тех местах, где не было крепостного права. Превращаясь в фабрику для производства хлеба на вывоз, помещичьи имения второй половины XVIII в. только шли по следам «черносошного», государственного крестьянства.

Отмена привилегий Петербурга в деле заграничного отпуска была, едва ли это нужно прибавлять, с экономической точки зрения, прогрессивной, а не реакционной мерой, тем более, что, как мы знаем, Петербург выдвинулся из-за военных, а отнюдь не коммерческих соображений. Для меншиковского режима характерно, что и в деле «увольнения коммерции» сыграли роль мотивы внешней политики: герцог голштинский был очень

[1] Оно напечатано в «Сборнике Русского исторического о-ва», т. LVI, стр. 545—549.

рад лишить своего датского противника зундских пошлин, а возможная война с Данией вообще ставила под вопрос балтийскую торговлю. Без этих привходящих условий мы едва ли бы имели повод говорить о буржуазных тенденциях верховников уже в этот период. Центр внимания меншиковской политики был совершенно в другом месте, и настоящую ее оценку мы получаем, лишь познакомившись с рядом мер Верховного совета, касавшихся *подушной подати*. Это финансовое нововведение Петра, как известно, отмечало собою не столько переворот в финансовой технике, сколько чрезвычайную интенсификацию податного гнета. То, что теперь подать раскладывали на *души* мужского пола, вместо *дворов*, как это было раньше, было бы очень характерно для петровского индивидуализма, если бы деньги и собирали с «души», если бы налог, другими словами, стал *личным*. Но этого вовсе не было: подать попрежнему налагалась гуртом на целую деревню, а в ней разверстывалась по числу наличных хозяйств: и лишь размеры ее определялись количеством находившихся в этой деревне «ртов» мужского пола, не исключая дряхлых стариков и грудных младенцев. Такая манера счета упрощала дела до крайности: никаких споров, вроде происходивших раньше при подворной переписи — что считать двором, что нет—быть не могло; не могло быть спора и о числе работников, относительной силе «тягол» и тому подобном, ибо платил всякий мужчина, был он работником или нет, безразлично. Психологического объяснения реформы приходится искать, таким образом, не в области буржуазного хозяйства, а среди того круга отношений, который к Петру был гораздо ближе,—в армии. Все мужское население страны было разделено на солдат служащих и солдат платящих, причем, по мысли Петра, вторые должны были непосредственно содержать первых. Для этого сбор подушных в каждой губернии был сосредоточен в руках военного начальства, от каждого полка в определенной местности действовала «команда» с офицером во главе, взыскивавшая подать с чисто военной быстротой и прямолинейностью. Эти военные особенности новой финансовой системы население почувствовало всего больнее. Когда Верховный тайный совет, под влиянием тех соображений, с образчиками которых читатель уже познакомился в начале этой главы, решил провести «облегчение крестьянства в платеже подушных денег», он начал с выведения из деревни военных сборщиков. «Которые штаб-и обер-офицеры и рядовые на вечных квартирах у сбору подушных денег и на экзекуциях у разных сборов, тем... ехать к своим командам немедленно», говорит журнал Верховного совета от 1 февраля 1727 г. Официально сбор перешел из рук военного в руки штатского начальства: от «штаб-и обер-офицеров» к воеводам, которые при Петре утратили последние следы своего былого значения, сохранив лишь чисто этимологическую связь с военным делом.

Но воевода не мог заменить военного сборщика, который ездил по провинции и непосредственно «правил» подушные с крестьян: в этом-то и заключались тягости прежней системы. В руках штатского начальства могло остаться лишь общее заведывание делом: в чьи руки фактически перешли функции «штаб- и обер-офицеров», совершенно определенно говорит указ 22 февраля того же года, резюмирующий все намеченные Верховным советом «милости». Пообещав, что особая комиссия, рассмотрев вопрос о подушной подати, уменьшит ее размеры, указ продолжает: «как оная комиссия рассмотрит, почему с крестьян подати брать положено будет, тогда ту положенную на них подать *сами помещики*, а в небытность их прикащики и старосты и выборные *платить принуждены будут*». Одно из важнейших прав землевладельца, то право, которое так помогло ему закрепить за собою крестьян, став благодаря финансовой реформе Петра фикцией, вновь становилось реальностью. Помещик, на которого двадцать лет смотрели как на пушечное мясо, вновь становился «финансовым агентом правительства», как деликатно и изысканно выражается новейшая историография; правильнее было бы сказать: вновь становился государем в миниатюре, ибо за тем, как этот «агент» собирает подати со своих крестьян, никакого контроля и быть не могло, пока существовало крепостное право. Петру, разумеется, и в голову никогда не приходило обрезывать полномочия дворянства в этом отношении: теоретически власть дворянства на местах в его царствование даже увеличилась, как это мы увидим ниже. Но как мог бы осуществить эти теоретические права помещик, из-за «активной политики» служивший «без съезду» до полной дряхлости, многие годы не видя своих родных мест? Отставка при Петре допускалась только в случае полной неспособности продолжать службу. «Без съезду» служили все от самого высш го до низшего. 70-летний старик фельдмаршал Б. П. Шереметев несколько раз просил государя отпустить его в Москву для устройства дел и не удостоивался даже ответа. Тогда он пишет жалобное письмо секретарю Петра, Макарову: «Просил я его царского величества о милосердии, чтоб меня пожаловал, отпустил в Москву в деревни мои для управления... крайняя моя нужда: сколько лет не знаю, что в домишке моем как поводится, и в деревнях; чтобы я мог осмотреть и управить: ежели еще Бог продлит веку моего, где жить до смерти моей и по мне жене моей и детям... А ежели бы мне ныне прямо итить в Питербурх, я не имею себе пристанища: хоромишки мои, которые были мазанки, и о тех пишут мне, что если, жить в них никоими мерами нельзя... Покорно вас, моего государя, прошу: подай мне руку помощи, чтобы по желанию моему его царское величество меня пожаловал». После долгих просьб Шереметеву разрешили наконец отпуск, но не в Москву, а в Петербург, где именно было «жить никоими мерами нельзя».

Если так строго Петр держал генерал-фельдмаршала, легко себе представить, какова была служба простых нечиновных людей. Мало того, что служба была тяжела,—для тогдашнего дворянина, с его привычками, она казалась еще и унизительной. В московскую эпоху он являлся на службу с отрядом своих вооруженных холопов, которыми и командовал; если он подчинялся старшему командиру, то это всегда был свой брат-дворянин. Петровский устав запрещал производить в офицеры и давать команду тому, кто раньше не служил рядовым и «солдатского дела с фундаменту не знает». Вновь поверстанный в службу дворянин должен был тянуть лямку наравне со своими же крепостными, а иной раз попадал и под начальство к своему крепостному, за отличие произведенному в унтер-офицеры. Для того чтобы подняться выше, мало было одной службы—нужно было еще учиться. А неисполнение или плохое исполнение своих служебных обязанностей наказывалось самым строгим образом: петровские фразы о «жестоком истязании за неисправление» нужно понимать вполне буквально. В этом отношении особенно характерны записки одного служилого человека того времени, Желябужского, настоящий мартиролог служилого сословия. Там мы на каждом шагу встречаем такие записи: в 1696 г. *полковник* Мокшеев *бит кнутом* за то, что отпустил раскольника; в 1699 Дивов и Колычев *биты плетьми* за то, что Колычев взял с Дивова 20 руб. денег да бочку вина, чтоб Дивову не быть в Воронеже у корабельного дела. В 1704 г. в Преображенском *бит плетьми князь* Алексей Барятинский за то, что приводил людей к смотру и утаил, а Родион Зерново-Вельяминов бит батогами за то, что *не записался в срок*. Неявка в службу наказывалась, по закону 1714 г., конфискацией всего имущества, по закону 1722 г.—«политической смертью». На лица не смотрели и взыскивали неукоснительно и за малое и за крупное нарушение уставов. В том же 1704 г., по дневнику Желябужского, *воевода* Наумов «*бит батогами нещадно* за то, что у него борода и ус не выбриты».

Вот почему в тесной связи с «милостью» крестьянам, которой, может быть, крестьяне и не были более всех обрадованы, стоит обещание милости дворянам,—без всякого сомнения оцененной ими по достоинству: «когда конъюнктуры допустят, то две части офицеров и урядников и рядовых, *которые из шляхетства, в домы отпускать, чтобы они деревни свои осмотреть и в надлежащий порядок привесть могли*». Их должность в это время должны были исполнять иноземцы и беспоместные. Эту мысль—перевести военно-служащее дворянство на льготу—иностранные дипломаты совершенно определенно приписывают Меншикову. Главный начальник военной силы и тут, может быть, помимо своего сознания, являлся представителем интересов военного сословия.

Падение Меншикова было, таким образом, не совсем только

придворным переворотом, мало интересным для историка. Закулисная история этого падения и до сих пор не очень ясна. Трудно понять перемену в отношениях к «рейхс-маршалу» гвардии, а в этой перемене вся суть дела: будь преображенцы на его стороне, он в полчаса покончил бы со своими новыми противниками, как покончил раньше с заговором Девьера. Тут приходится позавидовать историкам-индивидуалистам: для них то, что Меншиков «раздразнил» маленького Петра II несколькими бестактностями да «возбудил зависть вельмож» своим проектом породниться с царской династией, служит совершенно достаточным объяснением. Хорошо видно одно: что «Алексашка» был совершенно не в уровень с той задачей, какая выпала ему на долю, и не ему было тягаться на политической арене с Дмитрием Михайловичем Голицыным. Чрезвычайно типичный представитель «первоначального накопления», Меншиков соединял в своем лице властного феодала с крупным предпринимателем,—и, кажется, второй часто брал верх. В документах того времени мы то-и-дело встречаем «светлейшего князя» то продающим смольчуг, то перечеканивающим в монету свое старое серебро, с огромной для себя выгодой; у него было несколько фабрик, он был откупщиком рыбных ловель на Белом море—в то же время он был окружен своего рода двором (бумаги, касающиеся его ссылки, упоминают о «неподлых», т. е. не крепостных, людях Меншикова) и имел своих собственных солдат, видимо, внушавших некоторые опасения тем, кто сослал князя. Но не видно, чтобы эти солдаты, или какие-нибудь солдаты и офицеры вообще шевельнулись в пользу сосланного. Армия, кажется, слишком хорошо сознавала, что ее генералиссимус больше всего заботился о наполнении своего кармана. А так как среди его противников не было недостатка в популярных генералах, вроде Мих. Мих. Голицына или Вас. Влад. Долгорукого, то было довольно естественно, что военно-служилое шляхетство решило занять выжидательную позицию и посмотреть, что начнут делать «верховники», избавившись окончательно от фактического самодержца. Ибо с исчезновением Меншикова в России должна была установиться формальная олигархия: русский престол к этому времени был занят лишь номинально. Давно предсказывавшаяся смерть Екатерины I не очень заставила себя ждать; сменивший ее в мае 1727 г. Петр Алексеевич, давнишний, еще с 1725 г., кандидат большинства верховников, имел, по словам английского дипломата Рондо, одну господствующую страсть—охоту («о некоторых других его страстях упоминать неудобно», прибавляет осторожный дипломат). Что этот тринадцатилетний мальчик, которому с виду можно было дать все восемнадцать физически очень рано созрел, давало лишний способ управлять им—через женщин. На этом пути у верховников—или их дочерей—был только один конкурент: цесаревна Елизавета Петровна, из всех окру-

жавших нравившаяся молоденькому императору (ее родному племяннику) всех больше. Но они скоро могли успокоиться: Елизавета того времени (ей самой было только что восемнадцать), не говоря о других страстях, преобладающую имела одну—страсть к нарядам. Политика была ей совершенно чужда, и в самый критический момент она не нашла ничего лучше, как отправиться к своей политической сопернице жаловаться на то, что придворный кухмистер не отпускает ее поварам перца и соли. Меншиков первый попытался приставить к Петру Алексеевичу жену, которая бы блюла интересы своей фамилии; но он взялся за это так грубо, а княжна Меншикова была так мало интересна, что попытка совершенно не удалась и, кажется, даже ускорила катастрофу, от которой надеялись себя застраховать этим способом. Долгоруким почти удалось то, на чем оборвался Меншиков,—и поперек дороги их планам стала уже чистая случайность: Петр умер от оспы накануне того дня, на который была назначена его свадьба с княжной Екатериной Долгорукой. На этом попытки верховников обеспечить себя «семейным» способом должны были прекратиться—пришлось перейти к более общественным способам действия. Тут успех всецело зависел от того, как отнесется к режиму Верховного тайного совета дворянское общество. А это отношение, в свой черед, определялось двухлетней практикой верховников за время номинального царствования Петра II.

Фактическим главою Совета в это время был, как мы уже упоминали, кн. Дмитрий Голицын, бывший киевский губернатор, позже президент камер-коллегии, один из виднейших «верховных господ» петровского времени. Современники считали его главою «старорусской партии»; новейшие исследователи, поправляя эту ошибку, стали подчеркивать образованность Дмитрия Михайловича на новый западный лад и его европейские знакомства. Что Голицын не был главою «старорусской партии», это, конечно, верно: такой партии вовсе не существовало. Но характерно, что он, один из ближайших помощников Петра, не любил иностранных языков, хотя и мог на них объясняться, и его знаменитая библиотека в селе Архангельском, под Москвою, была переполнена рукописными *переводами* европейских юристов и публицистов, сделанными специально для него. Характерно также и то, что в ту пору, когда он пользовался наибольшим влиянием, была сделана явная попытка перенести столицу обратно в Москву. Петр II тут прожил большую часть царствования и здесь умер. За это время сюда переехали все центральные учреждения и между прочим монетный двор, что казалось иностранцам признаком особой прочности совершившейся перемены; под страхом строжайшего наказания запрещено было даже говорить об обратном переезде двора на берега Невы. Нельзя не видеть здесь дальнейшего поступательного шага той политики, которая вновь «отворила»

для торговли Архангельск. То буржуазное течение, которое в Верховном совете представлял кн. Голицын, теснее примыкало к меркантилизму допетровскому, чем петровскому, что однако вовсе не делало его реакционным: ибо после краха петровских предприятий было слишком очевидно, что естественное развитие тех зачатков капитализма, какие существовали в XVII в. дало бы больше, нежели все попытки вогнать русскую буржуазию дубиной в капиталистический рай. «Увольнение коммерции» сделалось лозунгом экономической политики Верховного совета в царствование Петра II. Ряд «фритредерских» мер начался указом 26 мая 1927 г., отменившим крупнейшую из казенных монополий—соляную; изданный в том же году тариф понизил—вдвое—таможенную пошлину на целый ряд иностранных товаров. Но настоящий поток «буржуазного» законодательства начинается со ссылкой Меншикова. С сентября 1927 г. протоколы и журналы Верховного тайного совета приобретают чрезвычайно своеобразную окраску: можно подумать, что мы находимся в государстве, где торговля—душа всего, и где всем правят купцы и заводчики. 16 сентября (ровно через неделю после ссылки Меншикова) разрешено свободное устройство горных заводов в Сибири, без разрешения берг-коллегии. В тот же день «восстановлена» торговля с Хивой и Бухарой, прервавшаяся после неудачных экспедиций Петра. В тот же день издан указ о вольной продаже табаку,—исчезла другая из крупных казенных монополий. 27 сентября, вслед за монополиями, начинается упразднение казенных фабрик: «Екатерингофская полотняная мануфактура отдается в вольное содержание. В тот же день объявлено вольным добывание слюды. 20 октября отменены пошлины с «купеческих людей и их работников», едущих в Сибирь и возвращающихся оттуда, и велено даром выдавать им паспорта. 30 декабря издан соляной устав, практически осуществивший отмену соляной монополии, принципиально состоявшуюся еще в мае. 18 марта следующего года отменена поташная монополия. 19 августа отменены последние стеснения, прикреплявшие вывоз к петербургскому порту; разрешено вывозить товары из Псковской и Великолуцкой провинций к нарвскому и ревельскому портам. В тот же день отменена введенная Петром регламентация в постройке торговых судов и отсрочено взыскание с купцов таможенных пошлин, должных ими за прошлый год, а также и просроченного акциза за иностранные вина. 16 мая 1729 г. издан вексельный устав и в тот же день указ о беспошлинной постройке кораблей из русского материала и русскими предпринимателями, хотя бы и для продажи иностранцам. Мы перечислили только меры более общего характера—те же журналы и протоколы пестрят частными льготами и подачками русским фабрикантам: в тот же знаменательный день, 16 сентября 1727 г., был предоставлен ряд льгот бумажному фабриканту Соленикову. 9 августа

1728 г. отсрочено взыскание ссуды, выданной «полотняной фабрики директору» Ивану Тамесу, и постановлено выдать на четыре года без процентов 5 тыс. рублей Затрапезным; купцам, пострадавшим от пожара в петербургском порте, выдавалась казенная ссуда на поправку, и даже купцы, утаившие от пошлины иностранные товары, удостаивались милости: им обещано было прощение, если они в определенный срок объявят утаенные товары. За все царствование Петра I на всероссийское купечество не излилось больше благодати, чем за коротенькое царствование его внука!

Новейший исследователь защищает политические проекты Голицына от упрека в «своекорыстно-личном» характере их: они не имели, по мнению этого исследователя, даже характера «своекорыстно-сословного». Мы в свое время увидим, насколько приложима эта похвала к плодам политического творчества кн. Дмитрия Михайловича, которое притом не было безусловно личным: известные нам проекты несомненно представляют результат компромисса между различными течениями, существовавшими в среде верховников,—которые ближе нам, к сожалению, неизвестны. Но комплимент вполне приложим к вдохновлявшейся им экономической политике Верховного тайного совета 1727—1729 гг. Она не была «своекорыстно-сословной»: верховники служили не интересам своей маленькой группы, а интересам все того же торгового—и лишь отчасти промышленного—капитализма, который раньше сделал своим орудием «преобразователя России», и служили ему лучше и толковее, чем последний. Когда-нибудь более близкое знакомство с экономическими документами эпохи позволит ответить на вопрос, чем была вызвана эта «вторая молодость» петровской реформы. Пока нам приходится установить только наличность самого факта. Но политические последствия его можно учесть уже и теперь. Буржуазия и в это время, как раньше, не представляла собою господствующей внутри России политической силы. Хозяйкой положения при дворе была гвардия, т. е. дворянство, вооруженное и организованное. Насколько отвечала политика Голицына его интересам? Кое-что, конечно, и дворянство извлекало из «фритредерства» верховников: оттого, что подешевела соль, всем стало лучше, в том числе и дворянству. От понижения цен на табак и иностранные товары «шляхетство» тоже могло только выиграть. Особенно популярным в дворянских кругах должно было оказаться возвращение двора в Москву. Служившие в гвардии помещики все нужное продолжали получать из своих деревень, расположенных преимущественно в центральных губерниях: одно дело было везти оттуда холст или живность за 50—100 верст, другое дело—за 600. Даже для тех, кто большую часть покупал, разница была чувствительна: иностранные дипломаты поражались тем, насколько в Москве все было дешевле сравнительно с Петербургом, особенно в пер-

вое время, пока пребывание двора не вздуло цен. Но все эти выгоды голицынской политики упразднялись одним минусом, который логически вытекал из ее «буржуазного» и фритредерского характера. Упраздненные Верховным советом пошлины и монополии составляли видную часть казенного дохода: пополнить образовавшуюся брешь нельзя было иначе, как обратившись к прямым налогам. Проведенные в меншиковский период льготы относительно подушной подати уже с первых месяцев нового царствования начинают чувствоваться новым правительством как стеснение. Меншиков еще номинально сидел в Совете, когда 31 августа 1727 г. был издан указ, повелевавший, «чтобы в содержании армии и гарнизонов не было в деньгах недостатка, того ради недоплатные на прошедшую январскую треть, такоже и на будущую сентябрьскую подушные деньги попрежнему положению сбирать немедленно». Всего любопытнее было, что этот указ вновь восстановлял военные команды для сбора недоимок, рассматривавшиеся в предыдущий период как главное зло: в помощь губернаторам и воеводам предписывалось «от каждого полка по одному обер-офицеру и с ними солдат... которым в сборе подушных денег земским комиссарам, вспомогать, и в отправлении рапортов их понуждать». От только что вновь обретенного помещиками права—самостоятельно собирать в своих деревнях подати—осталось скоро только весьма неприятное наследство: личная ответственность барина за недоимку своих крестьян. Указ 21 марта 1729 г. требовал, чтобы воеводы «по силе своей инструкции» посылали в недоимочные деревни нарочных «и взяли в город *править* малопоместных, у кого нет прикащиков и старост, *на самих помещиках*»... Исключение допускалось лишь для «знатных людей»: за тех отвечали их управители.

К моменту смерти Петра II участь верховников могла считаться решенной: оттого развязка и могла последовать с такою быстротой. Все условия, которые в 1725 г. помешали им завладеть властью, были налицо в январе 1730, чтобы отнять у них эту власть. Тогда дворянство было озлоблено тем, что его интересы отодвигались на второй план ради буржуазии: теперь было то же самое. И так как элементарному уму тогдашнего дворянина западническая буржуазия представлялась в образе «немцев», как иному южнорусскому мещанину или крестьянину она рисуется в образе еврея, то для настроения шляхетских кругов нельзя себе представить ничего выразительнее немецкого погрома, устроенного гвардией еще в мае 1729 г.—чуть не за год до падения голицынского режима. Вспыхнул пожар в Немецкой слободе, и, доносил французский резидент: «как только огонь был замечен, туда сбежались все солдаты царской гвардии с топорами в руках; этим орудием обыкновенно пользуются, чтобы сносить в подобных случаях соседние дома и прекращать таким образом распространение пожара. Но эти

солдаты, ничуть не стараясь тушить огонь, как бешеные, бросились на угрожаемые пожаром дома слободы, ударами топоров разрушили стены, потом разбили сундуки, шкафы и погреба и разграбили все, что там было; хозяевам же, которые хотели воспротивиться их буйству, они безнаказанно грозили размозжить головы топорами. И самое гнусное при этом случае было то, что все происходило на глазах всех офицеров этих самых войск, не смевших или, вернее, не желавших остановить бесчинства, потому что слышно было, как иные вели такого рода речи: «пусть побьют этих немцев». Одним словом, это был грабеж не менее ужасный, чем если бы целый легион варваров ворвался в неприятельскую страну. Можно было видеть, как они отрезывали даже веревки у колодцев, чтобы помешать таскать воду. Что может быть сказано сильнее, чтобы обрисовать дикий характер этого народа? И могут еще разговаривать о том, что они готовы изменить свои нравы и убеждения».

Действительно, посмотрев на эту сцену (не позабудем, что большинство гвардейских солдат того времени были дворяне), трудно вообразить ее героев обсуждающими проекты российской конституции. Попытки перенести в 1730 г. идеологию «левых земцев» конца XIX столетия психологически как нельзя более понятны, конечно; но каким бы солидным «научным аппаратом» они ни обставлялись, от исторической истины они должны были остаться весьма далеко. К ней гораздо ближе был тот трезвый и спокойный англичанин, который доносил своему правительству: «Я видел несколько проектов, представленных в Верховный совет, но все они кажутся плохо переваренными. Привыкнув слепо повиноваться воле самодержавного монарха, все эти дворяне не имеют ясного представления об ограниченном правлении». Как ни прискорбно присоединиться к «реакционному» мнению против «либерального», но приходится признать, что проф. Загоскин, утверждавший, что шляхетство нисколько не интересовалось содержанием подписывавшихся ими проектов, был ближе к истине, чем его противники, старавшиеся дать фактам «иное объяснение». Когда сами авторы проектов, записные литераторы вроде историка Татищева, видимо не умели отличить конституционную монархию от абсолютной [1], чего же тут требовать от бравых капитанов и поручиков, «подмахивавших» то ту, то другую бумажку, в зависимости от того, кто ее подсовывал? Мы не будем поэтому обременять читателя детальным анализом «плохо переваренных» проектов: этому анализу место в специальной работе по истории русской публицистики XVIII в., а не в общем историческом курсе. Для нас и тут интересны лишь классовые тенденции, которые должны были сказаться в проектах, даже помимо воли их авторов, и как бы

[1] См. на этот счет любопытное признание самого г. *Милюкова* в его статье «Верховники и шляхетство» (Из истор. русск. интеллигенции, стр. 28).

смутно ни было политическое миросозерцание этих последних.

Наиболее близким к реальной русской действительности был тот проект, который первым возник в головах верховников, ошеломленных неожиданным исчезновением символической фигуры, игравшей столь незаменимую роль во всех их комбинациях. Верховный совет был советом при императоре, а он умер; от чьего же имени теперь говорить и действовать? Если судить по намекам некоторых из иностранных дипломатов на какую-то «республику без главы» (république sans chef), было кем-то высказано мнение, что Совет может править от своего собственного имени. Насколько мысль была неудачна, можно судить по тому, что именно так старались изобразить потом намерение верховников их самые лютые враги, вроде Феофана Прокоповича. Члены Совета и сами, конечно, прекрасно понимали это, и о «республиканском» проекте говорить поэтому вовсе не приходится. Первая реальная мысль была гораздо проще. Раз императора нет, надо его выдумать, надо немедленно найти новое лицо, которое могло бы стать таким же живым символом, каким был Петр II, и при том столь же удобным. Малолетство или, во всяком случае, крайняя молодость номинального носителя власти являлась тут весьма капитальным качеством; а еще надежнее, если несовершеннолетний государь будет взят из «своей семьи». Мальчик-император умер: отчего не посадить императрицу-девочку? Обрученной невесте Петра II было 17 лет,—по возрасту она очень подходила. Права ее были, так сказать, одною только ступенью ниже прав Екатерины I: та была обвенчана, эта только обручена, но зато та была Бог весть какого происхождения, а эта—русская княжна рюриковой крови. Для большего подкрепления ее прав ее родственники не постеснялись даже распустить слух, что она беременна от покойного императора: факт, по тогдашним временам, не столь уже скандальный, если вспомнить, что обе дочери Екатерины I считались большинством рожденными вне брака, что не мешало им быть принцессами и цесаревнами не хуже других. Но Екатерине I доставили престол не ее права, а гвардейские штыки: могла ли рассчитывать на их содействие княжна Долгорукая? Ее родственники, как практические люди, с этого и начали, рассуждая, кто из них в каком гвардейском полку подполковник, а кто майор. Особенно близкими к кандидатке оказывались, повидимому, преображенцы, с заряженными ружьями окружавшие обрученных в день помолвки; такое распоряжение отдал их начальник брат государыни-невесты и фаворит императора, Иван Долгорукий. Будь этот последний человеком закала Григория Орлова, мы несомненно имели бы в истории хотя попытку интронизации княжны Екатерины и, быть может, не неудачную. Но добродушный кутила-мученик, князь Иван не пошел дальше сочинения подложного завещания Петра II,

да и то оставил в своем кармане. А дееспособный в данном смысле член семьи, фельдмаршал кн. Василий Владимирович, и на помолвку-то своей племянницы с государем смотрел весьма косо, содействовать же ее возведению на престол отказался самым решительным образом. Еще меньше можно было ожидать содействия основанию династии Долгоруких со стороны верховников других фамилий, особенно Голицыных, которые к влиянию Долгоруких всегда относились весьма ревниво, а из них Дмитрий Михайлович был фактическим президентом Совета, с военным же влиянием его младшего брата, фельдмаршала, считались уже в дни Меншикова. С первого же шага таким образом «замыслы верховников» тормозились в их собственной среде, что не сулило «замыслам» ничего доброго. С провалом попытки обладить дело «семейным» путем—наиболее примитивно-феодальным способом—приходилось искать путей более сложных. Повидимому руководясь какими-то личными счетами, кн. Василий Лукич Долгорукий выдвинул кандидатуру племянницы Петра I, герцогини курляндской Анны Ивановны, имевшей на российский престол разве чуть-чуть больше прав, чем княжна Екатерина Долгорукая [1].

Кандидатура прошла легко—Анна была всем чужая. Но это была уже не девочка, от нее можно было ожидать самостоятельных выступлений (позже она оправдала такие ожидания в максимальном размере), а главное—у нее в Митаве был свой двор, готовое гнездо конкурентов для тех, кто теперь управлял Россией. Кажется, опасения со стороны этого курляндского двора и послужили исходной точкой знаменитых «кондиций», которые мы не станем излагать здесь подробно, потому что они достаточно хорошо известны. Недаром из всех пунктов «кондиций» наибольшее внимание вызвал тот, который запрещал Анне держать при своем дворе придворных чинов из иноземцев. Он обсуждался два раза, и слишком обнаженную редакцию первоначального проекта заменили потом более запутанной и «приличной»: «в придворные чины, *как русских, так и иноземцев*, без совету Верховного тайного совета не производить». Сразу восстановлять против себя курляндских друзей Анны Ивановны, очевидно, не хотели: в разговорах в обществе уже определенно называли по имени Бирона. Во всем остальном кондиции, представляющие собою, как доказал шведский историк Иерне, простую выборку из соответствующих шведских документов [2], вполне оправдывали отзыв Феофана Прокоповича, что верховники «не думали вводить народного владетельства, но всю владения крайнюю силу осьмичисленному

[1] Официально первым заговорил об Анне Дм. Голицын. Но роль В. Л. Долгорукова ясна из всей совокупности фактов, не считая того, что о ней вполне определенно упоминает кн. Щербатов, слышавший рассказы современников.

[2] Сличение текстов см. у г. *Милюкова*, назв. статья, стр. 8—11.

своему совету учреждали». Кондиции везде говорят о правах Совета, систематически опуская *сословия*, всюду фигурирующие рядом с Советом в их шведском образце. Дело шло вовсе не о каком-нибудь новом ограничении самодержавия, а просто о закреплении за наличным составом Верховного тайного совета того положения, которое он фактически занимал при покойном императоре.

Но юридическое закрепление существующего имело не просто формальное значение. О том, как управляется Россия, до тех пор знали очень немногие; для массы имя государя покрывало все: теперь эта масса должна была узнать, что управляют, в сущности, Голицыны и Долгорукие с братией. При всеобщем довольстве режимом Верховного совета, быть может, такое неосторожное снятие покрова с тайны и прошло бы даром. Но когда люди недовольны, подобные открытия дают их недоволству чрезвычайно удобное оправдание. «Ни гражданские, ни военные чины не получают жалованья», писал саксонский посланник Лефорт за два месяца до смерти Петра II.

Мало полков, которым были бы должны меньше чем за год, что же касается генералитета и гражданских чиновников, то они не получали жалованья по десяти и по восьми лет. Что сталось с деньгами? я не знаю. Шляхетство хорошо это знало: деньги раскрали верховники. Еще Совет не пал как учреждение, а уже двух Долгоруких судили за лихоимство и грабеж казны. Но если остальные надеялись откупиться их головами, они жестоко ошибались. Когда, пишет тот же дипломат: «Фельдмаршал Долгорукий предложил Преображенскому полку *присягнуть царице и верховному тайному совету*, они отвечали, что переломают ему ноги, если он еще раз явится к ним с подобным предложением. Это заставило изменить форму присяги». Быть может, люди, не знавшие других средств, как «переломать ноги» или «разбить голову» сами по себе, непосредственно, и не так были еще опасны столь опытным политикам, как кн. Дмитрий Голицын или Василий Лукич Долгорукий. Но к их услугам сейчас же нашлись люди, политически не менее искусившиеся, нежели сами верховники. То были отчасти даже члены Верховного совета, но составлявшие в нем незаметное меньшинство, как Головкин, бывший канцлер Петра I. Отчасти люди, считавшие за собой все права стать такими членами, но, к их удивлению и ярости, оставшиеся за бортом. Их типом был бывший петровский генерал прокурор Ягужинский. Еще за год до смерти Петра II, эти люди составляли «очень страшную» (très formidable) партию, готовившуюся вступить в бой с Голицыным и Долгоруким. Могла ли эта «очень страшная» партия пропустить такой момент, как теперь, когда верховники вынуждены были балансировать над пропастью? Ягужинский в самый момент составления кондиций сделал попытку столковаться с ними. Он был грубо отстранен и ответил на это, послав

Анне письмо, раскрывшее ей глаза на действительное положение дел. После этого его сколько угодно можно было арестовывать и сажать «за караул»: удар был нанесен и пришелся метко. А за Ягужинским стояла плотная шеренга петровских «генералов», каждый из которых что-нибудь имел против верховников. Умнейший из последних, Дмитрий Голицын, очень скоро должен был увидеть, что ему и его товарищам ничего не остается, кроме почетной капитуляции; да вопрос был: примут ли еще и ее?

Капитуляция, которую придумал кн. Дмитрий Михайлович, нашла чрезвычайно своеобразную форму: она показывает, насколько выше был он среднего уровня «верховных господ» того времени. Голицын решил спасти Верховный тайный совет, откупившись от дворянства—конституцией. Принимая во внимание средний политический уровень тогдашних дворян, здесь было не без демагогии, конечно: возможно, что Голицын даже сознательно рассчитывал иметь в шляхетских низах послушную «голосующую скотину», которую в критическую минуту можно направить против настоящего конкурента верховников «генералитета». Как бы то ни было, самая мысль о таком «европейском» способе борьбы со своими политическими противниками в стране, где и долго после дворцовый заговор, опиравшийся на гвардейские штыки, был единственным и универсальным средством,—такая мысль не могла притти в рядовую голову [1]. Наиболее ранний очерк голицынской конституции дают опять-таки английские донесения,—уже от 2 февраля, всего через две недели после смерти Петра II, когда Анна не только еще не успела приехать в Москву, но и о ее согласии на кондиции было известно всего два-три дня. Очевидно, что верховники не находили возможным терять ни минуты: лишний признак, как остро сознавалось ими их критическое положение. Английский резидент очень отчетливо передает сущность проекта. Нетрудно уловить две основные его мысли: во-первых, расширить круг лиц, непосредственно участвующих в управлении, доведя состав Верховного совета до 12 человек (их было 8),—этим должны были быть удовлет-

[1] Вот какую характеристику дает вождю верховников англичанин Рондо,—как мы уже упоминали, один из самых трезвых и толковых иностранных наблюдателей событий февраля—марта 1730 г. «Кн. Д. М. Голицын, старший брат Михаила Михайловича (о котором перед тем говорилось), тайный советник, губернатор киевский—человек необыкновенных природных дарований, развитых работой и опытом. Это—человек духа деятельного, глубоко предусмотрительный, проницательный, разума основательного, превосходящий всех знанием русских законов и мужественным красноречием; он обладает характером живым, предприимчивым; исполнен честолюбия и хитрости, замечательно умерен в привычках, но высокомерен, жесток и неумолим. Духовенство и простой народ глубоко почитают князя, а низшее дворянство скорее его боится, чем любит. Короче, нет в России человека более способного, да и более склонного поднять опасный мятеж и руководить им» («Сб. Рус. ист. о-ва», т. LXVI, стр. 158 и след.).

ворены вожди оппозиции,—и поставив рядом с ним, в качестве своеобразной «нижней палаты», Сенат из 36 членов, «рассматривающий дела до внесения их в Тайный Совет».

Здесь должны были найти приложение своему честолюбию все мало-мальски выдающиеся «генералы». Но Голицын вовсе не предполагал утопить верховников в этом генеральском море: у них оставалось два якоря спасения в лице очень многолюдных собраний, одного в 200 человек «мелкого дворянства», другого—буржуазного, где должны были участвовать и *купцы*. Ни то, ни другое не должно было непосредственно участвовать в управлении, но они могли вмешаться в случае «нарушения права» и «притеснения народа». Иными словами, меньшинство верховников имело в этих собраниях,—для Голицына, не нужно подчеркивать, особенно важно было буржуазное,—готовую точку опоры для борьбы с большинством, которое неизбежно должно было составиться из их противников.

Противники были не так просты, чтобы не заметить ловушки. Ту часть голицынской конституции, которая давала им участие во власти, они адоптировали очень быстро и без спора. В проекте Татищева, который «генералитет» противопоставил голицынскому, имеются обе палаты чиновного состава под именем «вышнего» и «нижнего» правительства; они еще многолюднее голицынских—21 и 100 человек,—так что личное влияние верховников должно было сказываться в них еще слабее. Но о палатах низшего шляхетства и купечества «генеральский» проект молчал; он надеялся купить шляхетство иным способом, менее убыточным: вместо того чтобы навязывать ему политические права, к которым у него не было еще большого стремления, «генералитет» обещал удовлетворить насущные нужды мелких помещиков, о которых шляхетство давно и бесплодно вопияло,—сокращение срока военной службы (не более 20 лет) и освобождение от службы в нижних чинах. Когда шляхетство получило возможность высказаться, оно не нашло присоединить сюда ничего, кроме требования, чтобы жалованье выдавали аккуратно: дворянская и купеческая палаты так и остались особенностью проекта самих верховников. Дворянство не принимало политического подарка Голицына, но оно выразило ему совершенно определенно социальное недоверие, потребовав, чтобы вновь назначенные члены Верховного совета баллотировались всем шляхетством. Средние и мелкие помещики устали от режима новой феодальной знати и желали иметь свое правительство,—с тем конечно, чтобы, раз оно выбрано, предоставить ему делать, что угодно. Никаких форм постоянного воздействия шляхетства на государственные дела дворянские проекты не предусматривали. Даже под челобитной, проводившей личную татищевскую мысль, чтобы «новая норма правления» была обсуждена своего рода дворянским учредительным собранием, подписалось очень немного народу: эти

скромные люди готовы были всю политику целиком предоставить своему начальству.

Такова была обстановка, когда приехала в Москву Анна и произошло «восстановление самодержавия». Фактически дело должно было свестись к замене верховников вождями «генералитета»: кондиции отпали сами собой, так как это были искусственные подпорки, нужные «зяблому дереву» верховных господ, но не настоящим хозяевам положения. Нельзя отрицать, что Анна лично обнаружила большой талант приспособления, очень облегчивший игру ее союзников. Ее первая же встреча с преображенцами кончилась тем, что весь батальон бросился к ее ногам «с криками и слезами радости», причем, в прямое нарушение кондиций, она тут же объявила себя шефом полка. «Затем она призвала в свои покои отряд кавалергардов, объявила себя начальником и этого эскадрона и каждому собственноручно поднесла стакан вина» (Лефорт). Добрые гвардейские солдаты, за время царствования малолетнего императора совсем было отвыкшие от петровских нравов, думали видеть перед собой воскресшую матушку Екатерину. Все это, конечно, делает психологически понятной сцену, разыгравшуюся в стенах кремлевского дворца 25 февраля 1730 г., когда гвардейские офицеры бросались к ногам Анны, обещаясь истребить всех ее злодеев, но не меняет политического результата дела. Он вылился в замену упраздненного Верховного совета опять «правительствующим» Сенатом, как было при Петре, а в состав этого воскресшего учреждения вошли все те, кого верховники ревниво не пускали в свою среду: и фельдмаршал Трубецкой, и кн. Черкасский, и гвардейские генералы Мамонов и Юсупов, а во главе других, разумеется, Павел Иванович Ягужинский. Получило свою часть и изменившее собратиям меньшинство верховников: канцлер Головкин, предусмотрительно захвативший с собою 25 февраля во дворец кондиции, которые Анна тут же разорвала, был на первом месте среди вновь назначенных сенаторов. Но по крайней мере номинально и на первое время не решились исключить из их числа и крамольников: Дмитрий Голицын и Василий Лукич Долгорукий тоже были назначены сенаторами. Месть последовала для Долгоруких через несколько месяцев, а для Голицына даже несколько лет спустя. Потеряв политическую власть, «верховные господа» не сразу перестали быть социальной силой. А станут ли таковой их преемники, это зависело от политического курса, какой возьмет новое учреждение. И тут шляхетство скоро должно было убедиться, что до полного удовлетворения его интересов ему осталось ждать еще довольно долго.

# ПРИЛОЖЕНИЯ.

## СМУТНОЕ ВРЕМЯ [1]

*Смутное время*, или просто «Смута»—так называется период русской истории, непосредственно предшествовавший появлению на московском престоле династии Романовых (1613 г.). Термин «смута», или «смятение» встречается уже у современных событиям писателей, но первоначально имел более тесное значение, прилагаясь к междоусобиям в правление Василия Ивановича Шуйского, хуже которых современники ничего себе представить не могли. Разорения последующих лет заставили забыть это «смятение»; в то же время в историографии выступила легитимистская точка зрения, противоположение законных династий (потомки Калиты, так называемая «Рюрикова династия», с одной стороны, дом Романовых—с другой) различным, более или менее «не настоящим» государям, царствовавшим в промежутке между этими династиями. Наиболее характерным признаком Смуты стало появление *самозванцев*. Эта точка зрения дожила до наших дней, и к ней присоединяется еще В. О. Ключевский, но уже с оговоркой: «очевидно, ни пресечение династии, ни появление самозванцев сами по себе не были достаточными причинами Смуты». Фактически, Ключевский первый попытался дать схему Смутного времени, как эпизода классовой борьбы в московском государстве. Позднейшие исследователи, с С. Ф. Платоновым во главе, пошли в этом случае по его следам, сосредоточивая свое внимание «на изображении деятельности руководивших общественной жизнью кружков и на характеристике массовых движений в Смутное время» (Платонов). Сообразно с точками зрения менялись и хронологические рамки Смуты. Первоначально «смятению» отводилось всего два года (1606—1608). Перенесение центра тяжести

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXXIX, стр. 644—658.

на династические отношения раздвинуло рамки—в них вошел весь промежуток между двумя «законными» династиями (1598—1613 гг.). Причем, в зависимости от симпатий или антипатий пишущего к Борису Годунову, его царствование вводилось в Смуту или же рассматривалось только как пролог к ней (и тогда Смута начиналась с 1605 г.). Но уже более дальновидные современники понимали, что настоящих причин «смятения» нужно искать глубже, и начинали свое повествование с царствования Ивана Грозного (дьяк Тимофеев). Эта точка зрения и усвоена новейшей историографией: исходным моментом Смуты является у новейших историков опричнина Грозного, понимаемая не как полицейская мера, а как социальная катастрофа, падение одного командующего класса и выступление на смену ему другого. До более общих экономических условий, лежавших в основе самого классового переворота, историки, обыкновенно, не углубляются, но собранные ими же факты дают возможность наметить эти условия с достаточной определенностью. Этими условиями были появление в московском государстве *торгового капитализма* и, в связи с ним, *крупного землевладения, основанного на крепостном праве*. Зачатки того и другого наблюдаются именно в эпоху Грозного (полного расцвета оба явления достигают уже в XVIII в.). Сосредоточение в немногих руках капитала и земли сопровождалось экспроприацией широких слоев некогда самостоятельных хозяев—крестьян, мелких помещиков, мелких торговцев, ремесленников и т. д. Истощение земли, благодаря хищнической эксплоатации, очень ускорило этот процесс в первые годы XVII в. и обострило его последствия. Масса пришла в глухое брожение, которое и нашло свой выход в Смуте. Это понимание Смуты, как *непосредственного* результата разорения и голодов первых лет XVII столетия, впервые выдвинуто одним анонимным современником, произведение которого вошло в «Сказание Авраамия Палицына», оно остается верным до наших дней. В европейской истории наибольшую аналогию с нашей Смутой представляет «Великая крестьянская война», в Германии, в первой четверти XVI в. Но тогда как в последней выдающееся участие приняла германская интеллигенция, осмыслившая движение и помогшая ему выставить ряд определенных программ, у нас восставшая масса была глубоко безграмотна и соответственно политически наивна. У нее был туманный идеал «справедливого царя», осуществления которого она искала сначала в названном Димитрии, потом в его заместителе, Тушинском царе (см. Лжедимитрий I и II [1]). Но московского царства она не могла представить себе иначе, как в его традиционной форме. Все политические проекты, которыми довольно обильна Смута, идут

[1] Статьи «Лжедмитрий I» и «Лжедмитрий II» даются в настоящих Приложениях, см. стр. 296.

не от угнетенной массы, а от правящих кругов, среди которых боролись различные течения. Историю Смуты писали также люди, вышедшие из этих кругов: за единственным (да и то не без оговорок) исключением псковского летописца, демократической точки зрения мы нигде не имеем. Восставшие низы общества для всех современных авторов—*воры* (по-теперешнему «злоумышленники»). Представим себе, что от движения 1905—1907 гг. нам остались бы только октябристские документы, и мы будем иметь очень живое изображение «памятников Смуты», в том виде, как они до нас дошли. Вполне естественно недоразумение, в которое впадали авторитетнейшие исследователи вроде Ключевского, представлявшего себе Смуту движением, начавшимся *сверху*, в боярских кругах; хотя уже лица, наблюдавшие события непосредственно (упоминавшийся выше анонимный автор), отчетливо видели, что Смута началась *снизу*. Последнюю точку зрения и приходится признать правильной.

Брожение низших классов можно подметить еще ранее опричнины, около 1550 г. В московском бунте, предшествовавшем этому году, несомненно, принимала участие масса посадского населения, а не одни его высшие слои. Только на фоне этого брожения и можно себе представить опричнину-насильственную экспроприацию крупнейших землевладельцев, потомков удельных династий. Но в опричнине масса, к которой царь Иван непосредственно обращался во время своего государственного переворота, играла еще роль хора античной трагедии. Ее голос одобрял или осуждал действующие лица, но действовали на политической сцене не ее представители: господство боярства сменилось господством дворянства и, отчасти, крупного купечества. Разгром боярских вотчин и целых городов (Новгород) еще увеличил массу обездоленных; закабаление последних пошло ускоренным темпом. Упомянутые выше неурожаи первых лет XVII в. обострили положение до крайности. Борис Годунов, выдвинутый дворянством, видел опасность, но, связанный своею классовою ролью, не мог пойти далее паллиативных мер (запрещение хлебной спекуляции, организация помощи голодающим—есть намеки и на попытки положить границы закабалению), которые лишили его симпатий высших классов, но были недостаточны, чтобы масса признала его *своим* царем. Особенно неудачной была одна из его мер—ссылка неблагонадежных элементов на южную окраину московского государства. Борис надеялся таким путем использовать «внутреннего врага» против врага внешнего, крымских татар. На самом деле он создал область, сплошь заселенную врагами московского порядка, ставшую очагом всех движений Смутного времени. Население этой окраины (так называемой Северской и Польской—от «поля», степь—украины: нынешние Черниговская, Курская и Орловская губернии), социально тесно связанное с массами эмигрантов, скоплявшихся по ту сторону мос-

ковского рубежа только ждало сигнала для восстания. Роль этого сигнала сыграло появление в Польше претендента на московский престол. На вопрос, кто выдвинул претендента, теперь можно дать ответ довольно отчетливый и более полный, чем давали раньше. Первоначально дело представлялось в виде боярского заговора против Бориса Годунова[1]. Продолжатель опричной политики, он шел тем же путем опал и конфискаций, что и Грозный; избавиться от такого царя должно было стать заветной мыслью бояр. Существование боярского заговора не подлежит сомнению, так же как и какая-то прикосновенность к нему будущего царя Димитрия Ивановича, воспитывавшегося во дворе Романовых, стоявших во главе заговорщиков. Но несомненно также, что Борису удалось справиться с заговором и что Димитрий попал за границу в виде его обломка. Романовы были сосланы; из ссылки они могли радоваться успехам своего выкормыша, но едвали могли ему оказать какую-либо помощь. Нам нет надобности гадать, кто не дал заглохнуть заговору, так как на этот счет имеются вполне определенные, документальные свидетельства. Московская боярская интрига, очень для себя удачно, оказалась на пути большой политической комбинации, самой грандиозной для Восточной Европы тех дней. Величайшей славянской державой того времени была Польша. В XVI в. в ней стали складываться тенденции, которые мы теперь назвали бы «панславистскими»: движение в пользу объединения под главенством Польши всех славян, начиная с восточных. Первый этап был пройден удачно: в 1569 г. с Польшей слилась «Литва», т. е., в сущности, западная, бывшая Киевская Русь. Очередь была за Московской Русью. В 1600 г. польское правительство выступило с определенным официальным планом унии Польши и Москвы. Но в Москве, как и в Литве, план унии наткнулся на решительное противодействие крупного землевладения. Землевладение же среднее и мелкое, при помощи которого была проведена литовская уния, не пользовалось в Московской Руси достаточным политическим влиянием и было весьма далеко от настроений, руководивших западнорусской шляхтой. Нет никаких следов, чтобы оно заинтересовалось проектом: боярская же дума ответила на него категорическим отказом. Неудача затронула не только польских унионистов, сделав их врагами существующего московского правительства. У дела был свой династический и свой церковный аспект. Польский король Сигизмунд III был наследником и шведского престола, узурпированного одним из его родственников. В союзе с Москвой Сигизмунд надеялся вернуть свое наследственное достояние. А католическая церковь рассчитывала на политической унии основать церковную, что ей и удалось в «Литве» (Брестская Уния 1596 г.). Появление на сцене московского

[1] Ст. «Борис Годунов» дается в настоящих Приложениях, см. стр. 294

«царевича» (осенью 1603 г.) оказывалось как нельзя более наруку и Димитрию немедленно была обещана и королевская, и церковная помощь. Димитрий, со своей стороны, не скупился на обещания; дело обеих уний, казалось, было теперь на твердой дороге. Но, почти одновременно с польской, претендент получил помощь и с другой стороны: еще за границей его отыскали донские казаки—завязались сношения с тою «неблагонадежной» массой, которую Борис отодвинул как раз на юго-западный московский рубеж. Сношения оказались для Димитрия гораздо ценнее польской помощи. В то время, как нанятые им небольшие польские отряды были бессильны справиться с армией Бориса и больше бунтовали, плохо получая жалованье, чем сражались, пограничное московское население, как один человек, стало на сторону Димитрия. В регулярной битве (под Добрыничами, 20 янв. 1605 г.) претендент был разбит наголову, а гарнизоны одного города за другим приводили к нему связанных воевод. Донцы стали ядром инсуррекционного ополчения; против них правительственные войска, сами считавшие в своих рядах много мелких служилых и морально поколебленные картиной разыгрывавшегося перед ними бунта, ничего не могли поделать. При известии об успехах «царевича» Борис Годунов умер от удара (13 апр. 1605 г.). Московским правительством овладела паника, передавшаяся и в армию. Большая часть этой последней разбежалась, а немногие оставшиеся всем войском передались Димитрию. Наследник Бориса, Федор, и его мать были убиты, и 20 июня того же года царь Димитрий Иванович торжественно въехал в Москву. Романовы были немедленно возвращены из ссылки и снова заняли свое место в первых рядах московской знати.

Цель боярского заговора была достигнута, Годуновы были истреблены так же «всеродно», как некогда опричнина губила бояр. Но это было все, чего последним удалось добиться. Содержание политики нового царя определилось не тем, кто его когда-то отправил за литовский рубеж, а тем, кто его из-за этого рубежа привел в Москву. На царствование Димитрия падают две единственные демократические меры, какие мы встречаем в московском государстве этого периода. Боярский приговор 7 января 1606 г. стеснил закабаление юридически, запретив писать кабалы более чем на одно лицо; а приговор 1 февраля того же года легализировал фактическое уклонение закабаляемых от своих обязательств, лишив помещика прав искать своих беглых крестьян, если они ушли от него в голодные годы. Мелкие служилые были вознаграждены экстренными земельными раздачами и такими щедрыми денежными подарками, какие раньше никому не снились. Казаки чувствовали себя в Москве полными хозяевами. Степень же отчаяния старого боярства можно было измерить тем, что оно, недавно гордо отклонившее предложенную Сигизмундом III унию, теперь само, в лице своих ро-

довитейших членов, начинает хлопотать об унии, заведя секретные переговоры о посажении на московский трон сына Сигизмунда, Владислава. На этот раз однако же в Польше отнеслись к проекту холоднее: там продолжали видеть в Димитрии своего клиента, и считали поэтому унию уже обеспеченной гораздо надежнее. В этом ошибались. На деле Димитрий очень скоро забыл свои унионистские обещания и, сообразно с тенденциями, опять-таки тех, кто посадил его на престол, стал готовиться к походу не на север, против шведов, а на юг, против крымцев. Эти военные приготовления очень облегчили задачу бояр (возникновение нового боярского заговора при данных условиях было делом само собою разумеющимся). Армия, приведшая Димитрия в Москву и ему безгранично преданная, была стянута к южной границе. Вокруг царя остались мало надежные московские полки, составленные из более крупного дворянства, да поляки, лишний раз доказавшие свою бесполезность. Их присутствие, в связи с таинственными слухами о католичестве и полонофильских симпатиях нового царя, только что выписавшего свою невесту со всей ее родней (см. *Мнишки*) [1], лишь помогло его врагам поставить заговор на национальную почву. Димитрий хочет предать Москву полякам, а православную церковь—папе: такова теперь была формула заговора. Она была понятна для городской массы, наименее чувствовавшей на себе благодеяния нового царствования. Притом же бояре имели предусмотрительность направить эту массу непосредственно не против царя, а против поляков. Но пока толпа громила этих последних (в ночь на 17 мая 1606 г.), отряд заговорщиков с боярами во главе проник в Кремль, захватил Димитрия и убил его. Боярский заговор торжествовал, но бояре сейчас же снова должны были убедиться, что они не хозяева положения. Прежде чем они успели решить вопрос даже не о том, кого выбирать в цари, а лишь как устроить выборы, московский посад выкрикнул царем своего любимца кн. Василия Ивановича Шуйского, сосланного и едва не казненного Димитрием в самом начале его царствования, но потом возвращенного в Москву, где он тотчас же примкнул к заговору. Знатный боярин, один из первых, если не самый первый, по «родословцу», Василий Иванович сделался таким образом царем не боярским, а посадским. Бояре опять должны были примириться с неизбежным и удовольствовались тем, что взяли с Шуйского запись, ограничивавшую его власть и мешавшую ему вести ту политику опал и конфискаций, которую начал Грозный и продолжал Годунов. Но гарантиями записи воспользовалось не только боярство, а и богатое купечество, которое с царствования Шуйского начинает играть видную политическую роль.

Шуйский вынужден был пойти на все уступки, каких от него требовали, ибо, положение его с первых шагов стало критиче-

[1] Ст. «Мнишки» дается в настоящих Приложениях, см. стр. 298

ским. Царская казна была совершенно опустошена «щедростью» Димитрия, раздавшего за свое недолгое царствование до 100 млн. руб. на наши деньги. В то же время вся масса, поддерживавшая Димитрия, встала против Шуйского, как один человек. Южные пограничные уезды восстали, едва до них дошла весть о московском бунте. Восстание шло под знаменем все того же Димитрия, смерти которого преданное ему население не хотело верить, но оно носило еще более резко выраженный демократический характер, чем восстание против Годунова. Теперь прямо обращались к холопам и крепостным крестьянам, и во главе дружин «Димитрия Ивановича» шел рядом с князьями бывший холоп Болотников (см. *Болотников*). А сила движения казалось настолько грозной, что к нему сейчас же начали приставать карьеристы из совсем не демократического круга—таковы были крупные рязанские землевладельцы Ляпуновы, которым много был обязан своим успехом и первый Димитрий. Эту категорию своих противников Шуйскому еще удалось купить. Болотниковское ополчение было разбито, хотя и с большим трудом, войсками царя Василия. Но то был лишь минутный успех: за первой волной шла вторая, более страшая. Поляки, которым с их точки зрения Димитрий был не менее нужен, чем Болотникову и его товарищам, быстро усвоили пущенную последними мысль о «чудесном спасении» Димитрия. Едва Шуйскому удалось покончить с «холопьим бунтом», как перед ним были польские ополчения, ведшие на Москву нового «Димитрия Ивановича» (см. *Лжедимитрий* II). Теперь поляки отнеслись к делу более серьезно, чем в первый раз: польская армия Второго Димитрия была впятеро сильнее, чем Первого. Устоять против нее войско Шуйского было уже не в силах (современники отмечают кроме того и «шатость» командовавших войском бояр). Появившийся на сцене в конце лета 1607 г. «Димитрий Иванович» к следующему лету стоял уже под самой Москвой, в селе Тушине. Здесь мало-помалу образовалась вторая столица, со своим царским двором, своей боярской думой, своими приказами и — даже своим патриархом. Знатных авантюристов сюда стекалась уже несравненно больше, чем в болотниковские дружины, и это были уже не какие-нибудь Ляпуновы. От патриаршего престола в Тушине не отказался глава фамилии Романовых Филарет Никитич.

Социальный смысл двоевластия сводился к тому, что за Шуйским стояла вся имущая часть московского общества — крупное землевладение и крупный капитал. Последний был более надежной опорой царя Василия: субсидиями городов и собиравшимися ими ратями Шуйский главным образом и держался, как он сам признавался в своих грамотах. Боярство было гораздо более вялым помощником. Оно видело, что Шуйский не сможет восстановить порядок во всей стране, и не чувствовало потребности класть головы за царя, власть

которого ограничивалась городскими стенами, практически бессильного спасти от разгрома боярские вотчины: а столица Лжедимитрия II продолжала быть центром холопьего бунта, принимавшего все более яркие формы. Меры же Шуйского в пользу закабаления (указ 9 марта 1607 г., отменявший крестьянское законодательство Названого Димитрия) остались мертвой буквой, ибо вернуть помещикам бежавших крестьян правительство царя Василия не имело средств. Боярство в это царствование все сильнее и сильнее склоняется к мысли, что уния с Польшей, польский царь на московском престоле, есть единственный выход из положения. Иначе должен был относиться к делу торговый капитал. В городской среде шла ожесточенная борьба «лучших» и «меньших», капиталистов и бедноты, принимавшая в крупных центрах (например во Пскове) форму, напоминающую даже иные эпизоды французской революции (избиение псковских «лучших» людей по тюрьмам, куда они были посажены при вести о приближении к городу «немцев», нанятых Шуйским). Движение «меньших» всюду шло под знаменем тушинского царя, «лучшим» не у кого было искать защиты, кроме московского правительства, и последнее могло оказать им поддержку как полицейскую, так и военную при помощи городских гарнизонов. Сближение с Польшей для крупного купечества не могло быть приятно—оно дорожило своим монопольным положением и хорошо понимало, что более крепкий зарубежный капитализм явится для него грозным конкурентом. Отсюда его холодность к Годунову и Названому Димитрию, которым оно не оказало никакой поддержки, отсюда же и его патриотическая роль в 1611—1612 гг. (см. *Минин* [1]). Но двумя годами раньше общая политическая комбинация опять оказалась на стороне боярства. Не видя возможности справиться с тушинскими поляками при помощи городских ополчений, Шуйский обратился к помощи Швеции (Выборгский договор 28 февраля 1609 г.).

Сигизмунд мог терпеть в Москве Шуйского, но не шведов. Весь план унии стал под вопрос; польское правительство решило действовать энергично и непосредственно. Польские волонтеры были отозваны из Тушина, но зато в московские пределы вступила, под личным предводительством Сигизмунда, коронная армия, осадившая Смоленск. Собравшиеся в Тушине боярские и дворянские авантюристы оказались лицом к лицу с демократической массой, организующим элементом которой стали теперь одни казаки. В то же время в Москве Шуйский казался силен, как никогда еще раньше; его племянник, Мих. Вас. Шуйский-Скопин, со шведским войском удачно очистил север московского государства от тушинских отрядов и подошел к Москве. Московскому боярству приходилось выбирать

[1] Ст. «Минин» дается в настоящих Приложениях, см. стр. 299.

между Шуйским и поляками: оно выбрало последних. При данных обстоятельствах был как нельзя более естественным его союз с тушинскими его собратьями; они и взяли на себя инициативу, формально предложив Сигизмунду избрание на московский престол его сына Владислава, на условиях, формулированных в договоре 4 февраля 1610 г. Договор ограничивал власть будущего царя *боярской думой*: лишь для учредительного законодательства предполагался созыв *Земского собора*; социально-реакционный смысл договора подчеркивался категорическим требованием окончательного закрепощения крестьян («крестьянскому выходу не быти»). Реальной основой нового порядка могла быть только сила, способная справиться с Шуйским и с казаками одновременно, а такой силой казалось, при данных обстоятельствах, только польское войско. С Шуйским последнее и справилось довольно легко. 24 июня 1610 г. войско царя Василия было уничтожено гетманом Жолкевским под Клушиным, а 17 июля Шуйский был сведен с царства и пострижен. С «Димитрием» дело пошло гораздо туже. Казаки, правда, оставили Тушино и отошли от Москвы, но лишь для того, чтобы стать в Калуге, перехватив все дороги на юг, в области, снабжавшие Москву хлебом. Столица продолжала оставаться если не в осаде, то в блокаде. Не изменила дела и смерть бывшего Тушинского царя—казачество сейчас же нашло ему преемника в лице сына Марины Мнишек. «Восстановление порядка» могло быть делом только долгой борьбы; на нее у Польши совершенно не оказалось средств. Она сумела занять Москву своим гарнизоном, но дальше этого не пошла; во всей остальной стране «лучшие» должны были защищаться от «меньших» как умели. Правительство царя Владислава сразу оказывалось банкротом по самому главному предприятию, ради которого в Москве и пошли на унию. Между тем эта последняя отняла у правительства главную моральную силу того времени: православная церковь не могла помириться с царем-католиком (Владиславу присягнули, не дожидаясь его перехода в православие, и даже не получив никаких обещаний в этом смысле). Патриарх Гермоген стал если не вождем, то символом нового восстания. Реальной опорой последнего был торговый капитал, которому необходимо было сильное правительство, способное дисциплинировать «меньших»,—и притом правительство национальное, но городские рати были бы так же бессильны справиться с поляками, как и при Шуйском: нужна была более солидная военная сила. На первый случай такой казалось казачество: враждебное «лучшим людям», оно было враждебно и правительству Владислава—оставалось попробовать, какая вражда перетянет. Задачу поставить казачество на службу «лучших» взял на себя Ляпунов; в апреле 1611 г. его ополчение, вместе с бывшими тушинскими казацкими отрядами, подступило к Москве, уже находившейся в открытом восстании против своего нового

правительства и выжженной за это поляками (17—18 марта этого года). Но попытка Ляпунова кончилась крахом. Начав с призыва под знамена всей демократической массы, до беглых холопов включительно, Ляпунов кончил тем, что приложил свою руку к мерам, подтверждавшим закабалительные указы Шуйского («приговор» 30 июня 1611 г.), а казаков стал «сажать в воду». За это он и был последними убит (в июле того же года). «Лучшие» лишились сразу и вождя и войска. Но о последнем позаботился их противник. Сигизмунд III, со своей стороны не могший не видеть слабости унионистов в России, деятельно вербовал себе сторонников. Он прибегнул для этого к ряду мер, которые можно охарактеризовать как опричнину на выворот; там была конфискация земель крупной знати—но она теперь была главной опорой Сигизмунда; последний взялся поэтому за имения среднего дворянства, отнимая их у владельцев и раздавая преимущественно переходившим на его службу тушинцам. Этого было достаточно, чтобы оттолкнуть массу помещиков в противоположный лагерь; к услугам торгового капитала была теперь армия. А вождя последний нашел у себя дома, в лице нижегородского земского старосты Кузьмы Минина, который сумел найти и достаточно опытного военного предводителя, в лице одного из помощников Ляпунова, кн. Пожарского[1]. Агитация Минина в Нижнем началась в октябре 1611 г., а в октябре следующего нижегородское ополчение вошло в московский кремль. Военный успех однако же опять не дался без помощи казаков, а потому пришлось пойти по крайней мере на компромисс с ними. Предводитель их более умеренного большинства, кн. Трубецкой, стал одним из членов временного правительства, вместе с Пожарским; и когда зашла речь о выборе царя, симпатии этого казацкого большинства сыграли даже решающую роль (подробности см. *Михаил Федорович*). Несмотря на такое «демократическое» окончание Смуты, она лишь ускорила тот процесс закабаления массы, который ее и вызвал. Неудачная крестьянская революция дорого обошлась прежде всего крестьянам; количество «бобылей», т. е. крестьян, забросивших пашню, составлявшее в конце XVI в. 3—4% по писцовым книгам 1620-х годов, вырастает до чудовищной пропорции—40—50%. Для нового закабаления создавались исключительно благоприятные условия. Разорение массы крестьянских и мелких городских хозяйств способствовало сосредоточению земли и капитала в немногих руках—причем, разумеется, в тех же руках сосредоточивалась и политическая власть (см. *Михаил Федорович*)[2].

*ЛИТЕРАТУРА. В. Ключевский*, Курс русской истории (ч. III, лекции 41—44); *С. Ф. Платонов*, Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. (СПБ., первое изд. 1899 г., есть более новые); Об-

[1] Ст. «Пожарский»—дается в настоящих Приложениях, см. стр. 301.
[2] Ст. «Михаил Федорович» дается в настоящих приложениях, см. стр. 303.

зоры *Соловьева* («История России», т. VIII, по изд. «Общественной пользы», ч. II, стр. 681—1040), и *Костомарова* («Смутное время Московского государства в начале XVII столетия», 3 тома нескольких изданий) в настоящее время сильно устарели. Для отношений Москвы к Польше в Смутное время см. *Pierling*, La Russie et le saint-siège, III (Paris 1900).

## БОРИС ФЕДОРОВИЧ ГОДУНОВ [1]

*Борис Федорович Годунов*, царь и великий князь всея Руси, род. ок. 1551 г., происходил от татарского мурзы Чета, переселившегося в Россию в 1329 г. при Иване Калите. Молодость провел при дворе Иоанна Грозного, у которого сумел, благодаря своему уму, войти в милость, и еще более укрепил свое положение женитьбой на дочери царского любимца Малюты Скуратова. После смерти Иоанна Грозного на престол вступил Федор Иоаннович, и Борис, как шурин царя (Федор был женат на его сестре Ирине), постепенно стал наиболее влиятельным лицом в государстве. Борьба, возникшая между Борисом и остальными членами боярской думы, Мстиславским и Шуйским, за влияние на дела, кончилась полным устранением последних, и Борис уже при Федоре сам правил Русью. Внешняя политика Бориса отличалась крайней осторожностью: он избегал наступательных войн, стараясь поддерживать со всеми мирные отношения. Только в 1590 г. он решился на войну со Швецией, желая вернуть отнятые у Москвы при Иоанне города и вполне уверенный, что Польша не поддержит Швецию. Война окончилась удачно—русские получили обратно Ям, Иван-Город и др. Дважды приходилось отражать набеги крымских татар. В окраинных и вновь присоединенных землях Борис строил города и крепости и населял их русскими выходцами. Во внутреннем управлении Борис опирался примущественно на среднее землевладение в противовес крупному. С этим связаны и меры к укреплению на месте крестьянского населения (отмена Юрьева дня): при свободном переходе, конкуренция из-за рабочих рук шла на пользу крупной боярской вотчины и против более мелкого поместья. К его же правлению относится учреждение патриаршества (1589). Со смертью царевича Дмитрия (1591), в которой народная молва обвинила Бориса, род Рюриковичей, за бездетностью Федора, должен был прекратиться, и перед Россией возникал вопрос об избрании царя. После смерти Федора народ присягнул Ирине, но она удалилась в монастырь, а за ней ушел и Борис. Царством стал править патриарх Иов, сторонник Бориса: это обстоятельство, а главным образом поддержка дворянства дали Борису перевес над другими кандидатами на царство. Земский собор, где преобладали средние служилые, решительно высказался в пользу Бориса, и 1 сентября 1598 г. он венчался на царство. Вступив на пре-

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К° », изд. 7-е, т. VI, стр. 305—307.

стол, Борис продолжал свою прежнюю внешнюю и внутреннюю политику. Сознавая необходимость для России знаний, он привлекал иностранцев—врачей, мастеров, рудознатцев, платя им щедрое жалованье. Он послал даже на Запад несколько молодых людей учиться, но они не вернулись обратно. Значение отмены Юрьева дня он ограничил, разрешив крестьянам переходить от мелкого владельца к мелкому (1601). В финансовой политике он придерживался свободной торговли, предоставив англичанам и ганзейским городам право торговли в России. Во внешней политике Борис попрежнему избегал войн, стараясь завязать родственные связи с иностранными дворами, хотя неудачно: принц Иоанн датский, приехавший в Россию, чтобы жениться на Ксении, дочери Бориса, заболел и умер. Правлением Бориса было крайне недовольно боярство, с его соперниками в деле кандидатуры на царский престол во главе; отсюда постоянная глухая борьба: целый ряд представителей старинных боярских родов были сосланы или пострижены. Подозрительность Бориса еще более возросла, когда в народе пошли слухи, что Дмитрий не умер. В 1605 г. в пределы России вступил самозванец Дмитрий с 17 000 войска, и хотя был разбит при Добрыничах, но скоро оправился. В это время Борис скоропостижно умер (13 апреля 1605 г.). Москва присягнула сыну его Федору. Последний однако вместе с матерью погиб насильственной смертью от самозванца. Прах Бориса покоится в Троицко-Сергиевской лавре.

## БОЛОТНИКОВ [1]

*Болотников*, *Иван*, предводитель крестьянского движения в Смутное время. Холоп кн. Телятевского, в молодости попавший в плен к татарам, бежавший из плена через Западную Европу, побывавший, между прочим, в Венеции, он вновь появляется в России как раз в тот момент, когда восставшими служилыми на сцену был выдвинут второй Лжедимитрий. Дворянство сначала использовало Болотникова как агитатора, умевшего поднять народные массы обещанием воли; но затем, увидав, что агитация дает слишком серьезные последствия и начинается общее движение крестьян против помещиков, вожди служилых (Сумбулов, Ляпунов, Истома Пашков) предпочли пойти на компромисс с правительством Шуйского. Болотников, оставшись один со своими дружинами, был разбит, держался некоторое время к Калуге, потом в Туле. 10 октября 1607 г., по занятии Тулы боярином Колычевым, был схвачен, отправлен вместе с другими в Москву, а оттуда в Каргополь, где и был утоплен.

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. VI, стр. 242—243.

## ЛЖЕДИМИТРИЙ I[1]

*Лжедимитрий* I занимал московский престол с 1 июня 1605 г. по 17 мая 1606 г. под именем царя Димитрия Ивановича, сына Ивана Грозного. Действительно его происхождение вероятно навсегда останется невыясненным, хотя круг возможных догадок становится все уже, по мере опубликования новых материалов. В настоящее время не может уже подлежать спору юридическое положение Лжедимитрия: ставшие известными в течение последних 10—15 лет документы не оставляют никаких сомнений в том, что в детстве и ранней юности будущий царь жил в Москве под именем Юрия Богданова (или Яковлева,—у отца, как часто бывало в то время, было два имени) Отрепьева, галицкого боярского сына. Но его отец умер (был убит) задолго до выступления Лжедимитрия на исторической сцене; родных братьев и сестер его документы не знают,—словом, оттого, что у Лжедимитрия в детстве был, по-теперешнему говоря, определенный «паспорт», выяснение его действительной личности недалеко подвигается вперед. Устраняются только циркулировавшие в прежнее время догадки о перусском или хотя бы немосковском происхождении Лжедимитрия. Остается вполне возможным однако что безвестному Богдану Отрепьеву приписали в сыновья ребенка, которого надо было скрыть от зорких глаз Бориса Годунова. Во всяком случае вся совокупность известных данных фактов противоречит квалификации Лжедимитрия как «самозванца», по собственному, индивидуальному побуждению выдававшего себя за то, чем он не был. Все говорит, напротив, за то, что его выступление было результатом сложного, тщательно обдуманного заговора, и что Лжедимитрий заранее (быть может, с самого детства) был подготовлен к тому, чтобы играть в этом заговоре определенную роль. С этой ролью он сжился и впоследствии чувствовал, поступал и держал себя как настоящий сын Грозного. На исходную точку заговора, может быть, указывает—документельное опять-таки—известие о том, что ранее пострижения в монахи Лжедимитрий жил во дворе Романовых; а в монастырь он вступил 14 лет. Иными словами, в семье Романовых он воспитывался. Скоро однако же здесь, видимо, стало небезопасно; понадобилось скрыть мальчика надежнее, и Лжедимитрий был пострижен. Начинаются скитания по монастырям, едва ли по собственной инициативе почти малолетнего «инока»: вернее, другие искали для него убежища и, отчаявшись найти таковое в России, переправили его за границу, в Литву. По официальной московской версии, Лжедимитрий бежал из Чудова монастыря весною 1602 г. В действительности это должно было быть ранее: официальное выступление его как претендента в Польше относится к осени 1603 г., а ранее он довольно

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXVII, стр. 98—100.

долго служил у кн. Вишневецкого и учился в Гоще у ариан, которым обязан своим литературным образованием, весьма впрочем скромным. Вероятнее поэтому известия, помещающие Лжедимитрия в Польше уже в 1601 г. Рассказ о том, как он «открылся» кн. Ад. Вишневецкому (личному врагу Годунова), а также позднейшие рассказы Лжедимитрия о его чудесном спасении от рук подосланных Годуновым убийц явно сочинены, но последние опять-таки едва ли самим Лжедимитрием: в них слишком много точных подробностей, выдающих, как источник, московские придворные круги. Оттуда же, конечно, инспирировались и многочисленные «свидетели», вереницей потянувшиеся, как только Лжедимитрий «открылся». Но если заговор деятельно двигали из Москвы, то совершенно к нему непричастными оказываются польские паны, которых иногда считали чуть ли не главными его виновниками. Из переписки Сигизмунда III с сенаторами видно, что почти вся польско-литовская знать, с обоими канцлерами, Замойским и Сапегою во главе, относилась к Лжедимитрию крайне скептически и отнюдь не советовала королю его поддерживать. Исключение представлял кружок Мнишка, лично заинтересованного в успехе московского «царевича», с тех пор как последний (с января 1604 г.) стал женихом его дочери Марины. Но решающий оборот в пользу Лжедимитрия дал и не он, а всесильное тогда при дворе Сигизмунда III католическое духовенство. Вопрос об унии восточной и западной церквей стоял тогда в центре всей восточно-европейской политики римской курии. Уния только что была проведена в Западной России, при помощи Лжедимитрия надеялись подчинить ей и Москву. Лжедимитрий, еще недавно из православного монаха превратившийся в арианина, теперь не затруднился формально принять католичество и дать весьма торжественные обещания в смысле, желательном папскому престолу. Тогда Сигизмунд официально принял его под свое покровительство, не пошедшее впрочем далее денежной поддержки. Военную сторону экспедиции в Москву пришлось частным образом организовать Мнишку, и ему, несмотря на его огромные связи, удалось собрать в Польше лишь совершенно ничтожные силы—около 2 000 чел. Успехи Лжедимитрия объясняются, таким образом, исключительно восстанием в его пользу и против Годунова русского населения южных областей московского государства.—О борьбе Лжедимитрия с Годуновыми и деятельности его как московского государя см. *Смутное время*.

*ЛИТЕРАТУРА. Н. Skribanowitz*, Pseudodemetrius I (резюме новейших польских работ; некоторые русские документы остались автору неизвестны); *О. П. Пирлинг*, Димитрий Самозванец (1912); *Е. Н. Щепкин*, Кто был первый Лжедимитрий? (на немецк. яз. в «Archiv für slavische Philologie», XX и след.); документы для истории рода Отрепьевых собраны *В. Н. Сторожевым*, Материалы для истории русского дворянства, вып. II, 1909 (стр. 143—152).

## МНИШКИ [1]

*Мнишки*, польский род, чешского происхождения, известный по документам с XVI в. и существующий доныне. Историческую известность получил благодаря трагической судьбе Марины Мнишки, царицы московской, жены сначала Лжедимитрия I, а потом его заместителя, Тушинского царька. Отец Марины, Юрий Мнишки, воевода Сандомирский, староста Самборский и Львовский, пользовался в современном ему польском обществе очень нелестной репутацией. Молва приписывала ему и его брату Николаю чрезвычайно грязную роль при старом короле Сигизмунде-Августе, последнем Ягеллоне. А когда король умер, их же обвинили в расхищении его имущества, притом не в форме сплетен, а публично, перед сеймом. Влиятельное родство помогло отцу будущей царицы избегнуть суда, которым грозили его противники, но ему не удалось и опровергнуть взведенных на него обвинений. Сохранившаяся переписка Юрия Мнишки рисует нам его постоянно опутанным долгами, неисправным плательщиком оброка с находившихся в его ведении королевских имений, вечно накануне катастрофы, которая едва и не постигла его в 1603 г., когда на его вотчины был наложен уже секвестр. Для него находили доброе слово только католические монахи (бернардины), монастырь которых в Самборе был всем обязан его щедрости, а расположение католического духовенства снискало ему милость и короля Сигизмунда III, всецело находившегося под влиянием монахов, особенно иезуитов. Появление на сцене Лжедимитрия I, именно в роковом для Мнишки 1603 г., оказалось для него якорем спасения. Познакомившись с претендентом через своего зятя кн. Константина Вишневецкого, Мнишки очень быстро успел сделать московского «царевича» женихом одной из своих дочерей, Марины (или Марианны). Последняя, воспитанная бернардинами в строго католическом духе, как можно думать, видела в этом браке прежде всего возможность оказать огромную услугу церкви; переход Димитрия в католичество был результатом скорей всего именно ее влияния. Отец же ее видел здесь главным образом случай раз навсегда блестяще поправить свои дела: он потребовал—и получил—от Димитрия обязательство по вступлении на престол выплатить своему тестю миллион дукатов и передать ему две русские области, Смоленскую и Северскую. Марина должна была получить на свой удел Новгород и Псков (договор 25 мая—4 июня 1604 г.). Безвыходность положения заставляла закрывать глаза на всю рискованность проекта,—отговаривания Сигизмунда III не имели успеха. Но Мнишки соглашался выдать дочь только за царя, а не за претендента, и бр. косочетание было отложено до того времени,

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXIX, стр. 186—188.

когда Димитрий фактически завладеет Москвою; это состоялось лишь 12/22 ноября 1605 г. в Кракове (где отсутствующего Димитрия представлял Афанасий Власьев) и было повторено 8 мая следующего года в Москве, по приезде Марины. А через 9 дней, 17 мая, Димитрий был низвергнут и убит: Марина таким образом фактически была царицей с небольшим неделю. Сохранилось известие, довольно надежное, что Мнишки и тут не потерялся и хлопотал о том, чтобы обвенчать овдовевшую царицу с новым царем, Василием Шуйским, но встретил решительный отказ. Шуйский сослал отца и дочь в Ярославль, где они пробыли до 1608 г. По условию перемирия с Польшей, заключенного в июле этого года, Мнишки со всею польскою свитою убитого Димитрия получили право вернуться на родину; но Юрий Мнишки воспользовался этим только для того, чтобы с дороги вместе в дочерью бежать в Тушино, где тогда сидел уже второй Димитрий. Комедию «похищения» пришлось подстроить, кажется, главным образом ради Марины, которая не очень охотно вышла замуж за самозванца, но, сделавшись снова «царицей», быстро вошла в свою роль и проявила даже большую энергию (в мужском костюме предводительствовала войсками и т. п.). Ее отец, не добившись от самозванца того, на что надеялся, в конце концов возвратился в Польшу, где и умер в 1613 г. Марина, после смерти второго Лжедимитрия, нашла себе защитника в лице казацкого атамана Заруцкого который энергично поддерживал кандидатуру ее сына, маленького Ивана Димитриевича, на московский престол, но без всякого успеха. Принужденные бежать сначала в Астрахань, потом на р. Урал, Марина и Заруцкий были захвачены в плен и привезены в Москву, где Заруцкий был посажен на кол, сын Марины повешен, а сама она, повидимому, утоплена (1714 г.; по официальному московскому заявлению, «умерла с тоски по своей воле»).—См. Pierling, La Russie et le saint-siège, III (P. 1901); из старых соч.: *Хмыров*, Марина Мнишки (1862); *Костомаров*, Русская история в жизнеописаниях.

## ЛЖЕДИМИТРИЙ II [1]

*Лжедимитрий* II, или *Тушинский вор*, неизвестного происхождения человек, объявивший себя (точнее, объявленный) Димитрием Ивановичем после смерти Лжедимитрия I—в июле 1607 г., в Стародубе-Северском,—при помощи поляков и восставшего против царя Василия Шуйского населения южной окраины московского государства дошедший до Москвы, около которой, в с. Тушине, он держался два года, имея там свой царский двор, свою боярскую думу и даже своего патриарха (Филарета Никитича Романова). О социальном значении тушин-

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXVII, стр. 100—104.

ского движения см. Смутное время. Личное значение Лжедимитрия II, было ничтожно, в противоположность Лжедимитрию I. Роль его была чисто символическая. По словам близко наблюдавших его поляков, это был «мужик грубый, обычаев гадких, в разговорах сквернословный», так что, ради спасения внешнего приличия, его приходилось обучать хорошим манерам. Русские источники, сплошь враждебные Тушину, не без аффектации подчеркивают свое незнакомство даже с личным именем «вора»: до такой будто бы степени темно было его происхождение. Один памятник, весьма ранний и хорошо осведомленный, умеет, однако же, назвать и происхождение и имя Лжедимитрия II: «попов сын Матюшка Веревкин». Никаких документальных данных нет. «Тушинский вор» был убит в Калуге татарином Урусовым 10 декабря 1610 г., из личной мести; политическая роль «вора» к этому времени была уже до конца сыграна.

## АНДРОНОВ [1]

*Андронов Федор*, деятель Смутного времени, «торговый мужик», как презрительно обзывали его противники из служилого сословия (Андронов принадлежал к гостиной сотне), поднявшийся до звания думного дьяка. Андровов принадлежал к той партии, одним из вождей которой был М. Г. Салтыков, и которая стремилась формально ограничить власть царя боярскою думой и надеялась добиться цели, возведя на престол польского королевича Владислава. Деятельность польско-боярского правительства (см. Смутное время) вызвала негодование всех средних слоев русского общества, служилых и посадских: вооруженное восстание, организованное этими классами, низвергло Владислава, с тем вместе пала и партия, к которой принадлежали Салтыков и Андронов. При взятии Москвы Пожарским в октябре 1612 г., Андронов был взят в плен и «по многом истязании» повешен.

## МИНИН [2]

*Минин, Кузьма* (Захарьев-Сухорукий: «Минин», собственно отчество, но большая часть памятников знает только его, не упоминая фамилии; оно и осталось за Захарьевым в истории), один из организаторов нижегородского ополчения, освободившего Москву в 1612 г. Родился неизвестно когда, умер в 1616 г. Несмотря на высокое место, отводившееся Минину и современниками и новейшими историками (один из последних дает даже ему эпитет «гениального»), и те и другие знают очень мало конкретного о его личности. Обычное определение его социального положения—мясник («говядарь») ничего не го-

[1] Энциклопедический словарь Железнова, т. III, стр. 107.

[2] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXIX, стр. 6—7.

ворит: это мог быть и мелкий лавочник (что и утверждает один современный источник, к сожалению, слишком литературный, чтобы быть надежным) и оптовый торговец, как утверждал, не имея данных, Костомаров. Несмотря на отсутствие данных, последний, однако, повидимому, ближе к истине. Минин был земским старостой в Нижнем, когда началась его известная истории деятельность; но земскими старостами бывали в тогдашних городах «лучшие», т. е. наиболее зажиточные, обыватели. Один очень близкий к Минину памятник, передающий рассказы очевидцев, выражается так: когда Минин пожертвовал на ополчение свое имение, тогда «и прочие гости и торговцы» стали приносить деньги. Стало быть, Минин по имущественному положению был наряду с гостями, крупнейшим купечеством. Публика, увлеченная его речами, говорила: «на что нам наше *богатство*, если все равно поганые придут и все разорят?» Так, разумеется, не могли бы говорить ремесленники или мелкие лавочники: ясно, что нижегородский трибун обращался к лучшим людям, из среды которых вышел и сам. Что Минин был именно «трибун», влиявший своим ораторским талантом, это источники дают понять довольно определенно; особенно увлекалась им молодежь. Сведения же о роли его как организатора двоятся: по одним, все вышедшее из Нижнего движение было его рук дело,—он один на сцене, и Пожарский чуть что не назначен им главнокомандующим; по другим, его роль при Пожарском совсем второстепенная: он—военный казначей, и больше ничего. Повидимому, мы имеем здесь различные *классовые* тенденции: из двух социальных сил, создавших движение, буржуазии и помещиков, каждая хотела иметь своего героя. Из рядов буржуазии он впрочем ушел, именно благодаря своему подвигу: после победы нижегородского ополчения и воцарения Михаила Федоровича Минин стал думным дворянином, т. е. служилым человеком. Минину поставлены памятники в Нижнем-Новгороде и Москве. О нем см. кроме *Костомарова*, Русская история в жизнеописаниях, *Забелина*, Минин и Пожарский (М. 1883) и *Платонова*, Очерки по истории смуты в Московск. госуд. XVI — XVII вв. (Спб. 1899 и позднее—несколько изданий.)

## ПОЖАРСКИЙ [1]

*Пожарский, Дмитрий Михайлович*, кн., деятель Смутного времени (род. ок. 1578 г., ум. 1642 г.), из младшей ветви князей Стародубских, захудавшей при Иване IV. В 1598 г. был «стряпчим с платьем» и подписался на соборном определении об избрании на царство Бориса Годунова; в 1606 г. был «у стола» за обедом, который Лжедимитрий I давал Ю. Мнишку. Затем верно

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXXII, стр. 443—444.

служил Василию Шуйскому, за что и пожалован от последнего вотчиной. О первых ратных подвигах его мы слышим осенью 1608 г., когда он отбил тушинцев от Коломны. Но популярность ему снискала удачная борьба с казаками, после низложения Шуйского. Пожарский не только отбил казаков от Зарайска, где он был воеводою, но помог Ляпунову выгнать их из Пронска и очистить от них всю рязанскую землю; современники такой блестящий успех могли объяснить только чудом. С авангардом ляпуновского ополчения Пожарский подошел к Москве и там, во время уличного боя 19/20 марта 1611 г., когда поляки сожгли весь Белый город, был тяжело ранен. Благодаря этому свидетелем разгрома ляпуновского ополчения казаками ему не пришлось быть. Когда поволжские города, с Нижним во главе, взяли на себя продолжение дела Ляпунова и искали воеводу, их выбор вполне последовательно пал на Пожарского: очередным противником «прямых», т. е. средних классов, были в это время не столько поляки или вообще иноземцы, сколько именно казаки (см. Смутное время). Последние видели в Пожарском также прежде всего своего противника и пытались избавиться от него при помощи убийства (когда нижегородская рать была в Ярославле), но неудачно. Постепенно, однако, наладился компромисс, одним из результатов которого было избрание на престол казацкого кандидата, Михаила Федоровича Романова. Пожарский вместе с другими вождями нижегородского ополчения стоял сначала за кандидатуру шведского королевича Филиппа, потом от себя лично затеял переговоры с австрийским домом, наконец хлопотал о собственном избрании. Вполне естественно, что при новом царе он не мог стать доверенным лицом. Его положение было почетное, ему было оказано боярство, он получал имения и в поместье и в вотчину, в 1628 г. он занял одно из крупнейших воеводств в России—Новгород, в 1636—1637 гг., он был начальником московского Судного приказа. Но ни разу он не стоял непосредственно у власти, и правящая знать никогда не отказывала себе в удовольствии напомнить ему о захудалости его рода. Отчасти впрочем ему мешала и болезненность: у Пожарского был «черный недуг», т. е. он был эпилептик. Пожарский похоронен в суздальском Спасо-Евфимьевом монастыре (вопрос о месте его погребения был предметом ученой полемики в середине прошлого столетия). Ему поставлены памятники (вместе с Мининым) в Москве и в Нижнем-Новгороде. Новейшая его биография, сводящая все известные о нем данные,— *В. Корсаковой*, в «Русском биограф. словаре»; из старых работ см. *С. Смирнова* в «Отечественных записках» за 1849 г.

## МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ[1]

*Михаил Федорович*, первый царь из Дома Романовых (род. в 1596 г., ум. в 1645 г.). О личности его известно мало; мы знаем только, что он был человек очень болезненный. Царским домом долгое время правила его мать, «инока великая старица Марфа», в миру Ксения Ивановна (урожденная Шестова), постриженная во время романовской опалы при Годунове одновременно со своим мужем, Федором Никитичем Романовым, получившим историческую известность под своим монашеским именем «Филарета». Государством до 1634 г. управлял именно последний, а до его возвращения из плена, повидимому, родня матери Михаила Федоровича, Салтыковы. На престол был избран в 1613 г. не столько Михаил Федорович, тогда шестнадцатилетний мальчик, никому кроме своих близких неизвестный, сколько род Романовых. Обстоятельства этого избрания породили целую литературу не только на русском, но и на иностранных языках. Современная традиция выдвигала два момента: родство с угасшей московской династией и единодушное желание народа, который «едиными устами взывал и вопиял» о постановлении царем именно Михаила Федоровича. Условность этой традиции прекрасно сознавалась уже современниками и ближайшими потомками. Уже у авторов XVII в. (Псковское сказание, Котошихин) мы находим намеки на то, что появление на московском престоле новой династии было результатом некоторого рода компромисса. Но публицистические интересы эпохи дали этому компромиссу одностороннее освещение, сбившее с толку позднейших историков. Михаил Федорович представлялся как царь, выдвинутый боярством, ограничившим в свою пользу его власть. Эта вторая традиция (в отличие от первой, официальной, ее можно назвать «оппозиционной») господствовала уже в первой половине XVIII в. Ее слышали из уст признанных в то время знатоков русского прошлого иностранцы. Записи этих последних (Страленберга, Фокеродта, Миниха) явились новым источником для истории вопроса, больше затемнявшим, чем разъяснявшим его. Реальную связь фактов дали опубликованные в новейшее время шведские и польские документы; при свете их стали понятны и глухие намеки современных сказателей, на которые до сих пор не обращалось внимания. Документы эти неоспоримо устанавливают, что главным фактором, выдвинувшим кандидатуру Романовых на престол, было не боярство, а казачество. К моменту выборов (зима 1612/13 г.) помещичье ополчение, в союзе с казаками взявшее Москву (см. Смутное время), понемногу растаяло: служилые люди разъехались по своим деревням. Бояре, почти сплошь сторонники низвергнутого ополчением Владислава, разбежались еще ра-

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXIX, стр. 105—111.

нее: Москва для них была станом победоносного неприятеля. Оставшееся временное правительство, с кн. Трубецким и Пожарским во главе, само уже заключало в себе элементы, выдвинутые казаками (Трубецкой), и, за разъездом помещиков, не имело в руках никакой реальной силы. Казаки были в сущности хозяевами положения, что и утверждают категорически упомянутые нами документы, современные событиям и притом друг от друга независимые. Среди казаков было два течения. Одно, более радикальное, желало просто продолжения Тушинской династии и «примеривало» на московский трон сына Лжедимитрия II и Марины Мнишки, Ивана. Но это было стремление явно утопическое: такому царю пришлось бы снова завоевывать престол. Казаки же руководились соображениями вполне практическими: они хотели иметь государя, который бы их «жаловал», хотели не дальнейшей борьбы, а вознаграждения за борьбу, уже пережитую. Радикалы оказались в меньшинстве и исчезли со сцены, а более умеренное большинство подало свой голос за «природного государя Михаила Феодоровича Романова», сына Тушинского патриарха Филарета. Временное правительство, повидимому, охотнее видело бы кандидатуру иностранца, если не Владислава, то шведского принца, с которым были завязаны уже формальные переговоры. Но казаки не давали отсрочки, и собиравшемуся медленно Земскому собору оставалось только сказать «да» или «нет». Романовская кандидатура давно носилась в воздухе, о ней говорили еще при Годунове, за нее велась литературная борьба: памятники Смуты сохранили не одно произведение с резкой «романовской» тенденцией. Произведения эти шли, насколько можно догадываться, из городских, *посадских* кругов. Если временное правительство и хотело бороться против казацкой кандидатуры, оно не нашло союзников и должно было подчиниться неизбежному. 21 февраля 1613 г. Михаил Федорович стал официальным кандидатом «всей земли». Присягнули ему однако же только после 14 марта, когда получено было официальное его «согласие»: до этого дня все дипломатические сношения велись от имени временного правительства, и московскому гонцу в Польшу велено было даже отрицать, что в Москве уже состоялось избрание. Трехнедельный промежуток ушел, по всей вероятности, на организацию того второго компромисса, который раньше всего был замечен историками. Вступать на престол вопреки ясно определившемуся настроению боярства было рискованно: об этом напоминали свежие примеры Названного Дмитрия и Шуйского. Казачество не было надежной опорой,—это боярская родня Михаила Федоровича понимала слишком хорошо. Вполне возможно, и даже наиболее вероятно, что именно в это время Михаилом Федоровичем было дано обещание «быть не жестоким и не палчивым», о котором упоминает Котошихин. Т. е. он должен был повторить обязательство Шуйского и Владис-

лава, а бояре под этим условием отказались от своей оппозиции. Что грамота до нас не дошла—вполне естественно: шведский историк события справедливо замечает, что было больше чем достаточно оснований для ее уничтожения впоследствии. Представлять себе дело иначе (как поступают однако же очень авторитетные историки, например проф. Платонов)—значит делать из всего события неразрешимую загадку: ибо, выдвинутый казаками, Михаил Федорович стал на практике не казацким, а именно боярским ставленником. Воцарение новой династии было отмечено прежде всего крупными земельными раздачами. В первые же недели было роздано не менее 60 тыс. десятин дворцовой и «черной» (государственной) земли. Раздачи повторялись и позже: в 1619 г., например, был роздан целый Галицкий уезд. Жаловали иногда целыми волостями, а в числе пожалованных мы находим боярина Шеина, боярина Шереметева, князей Мстиславского, Буйносова, Ростовского, Ромодановского и др., и между прочим и кн. Пожарского. С царствования Михаила Феодоровича начинается возрождение в московском государстве крупнейшего землевладения, которому нанесла такой тяжелый удар опричнина. В политической области характерно, что с первых же недель нового царствования на месте временного правительства мы опять видим боярскую думу, в которой сидят те же люди, что перед тем отсиживались в Москве от нижегородского ополчения. Компромисс с казачеством выразился в том, что в качестве помощников при этих людях мы встречаем целый ряд бывших тушинцев, пожалованных большой частью дьяками. Фактически управление часто оставалось именно в руках дьяков, на долю бояр доставались почет и вотчины, но фактически так бывало и раньше. Интересы средних классов, представлялись земским собором, который заседал непрерывно первые 6 лет царствования Михаила Федоровича; и после этого собирали земские собрания при нем чаще, нежели при каком бы то ни было другом государе. Но среднее землевладение слишком занято было восстановлением своего разоренного Смутой хозяйства («перелог», пашня запустевшая и заброшенная, составлял в среднем около $^1/_3$ всей земли, пахавшейся в конце XVI в., доходя в отдельных случаях до 80 и даже до 95%). Причем надо иметь в виду, во-первых, что разорение вовсе не прекратилось с 1613 г.; наоборот, первые три года нового царствования ознаменованы такими грабежами партизанских отрядов (Лисовского, Баловня и др.), каких не было видано и в тушинский период; а, во-вторых, что за время Смуты помещики растеряли большую часть своей рабочей силы, крестьяне разбежались, их приходилось отыскивать и «вывозить» обратно. Словом, землевладельцам нужна была *сильная центральная власть*, вот почему, конечно, и речи быть не может об ограничении власти Михаила Феодоровича Земским собором. Но власть, всею своею полнотою, должна была служить помещичьим инте-

ресам: на царствование Михаила Федоровича приходятся окончательное прикрепление крестьян к их владельцам и окончательное закрепление за дворянством его податных льгот (помещичьи крестьяне платили в 30 раз меньше государственных; собственная барская запашка была изъята из обложения еще при Федоре Ивановиче). Главным образом этой цели, возможного податного облегчения помещичьих имений, служили предпринятые новым правительством в 1620-х гг. переписи платящего населения. Не в ином положении по отношению к власти были те посадские круги, которые стояли во главе движения 1611—1612 гг.: как помещики в это время прикрепляли к своим имениям крестьян, так быстро развивавшийся крупный торговый капитал (торговые обороты московского государства за первые 18 лет царствования Михаила Федоровича выросли в полтора раза) кабалил мелкое посадское население. Чрезвычайные налоги, падавшие на торговый класс (*пятая деньга*—20% с оборота), платило главным образом это мелкое население, а организация сбора была в руках крупных капиталистов, плативших относительно меньше всех. Вся внутренняя политика Михаила Федоровича носила таким образом определенный характер диктатуры во имя интересов высших, имущих классов, причем самая верхушка старого общества, боярство, получила долю участия и в самой власти, а средние слои довольствовались упрочением своего социального положения, потрясенного демократическим тушинским движением. Главные представители последнего, казаки, тоже получили материальное удовлетворение: виднейшие из них были поверстаны в службу, получили земли и стали помещиками, а неорганизованная масса была легко приведена в подчинение полицейскими мерами. *Внешняя политика* царствования определялась само собою итогами, в этой области, Смуты. Освобождение московского трона от иноземных кандидатур обошлось дорого: Швеции, по Столбовскому миру 1617 г., были окончательно уступлены берега Балтийского моря, спорные со времен Ивана Грозного; единственным морским портом России стал надолго Архангельск. Пожертвования в пользу Польши были еще тяжелее: по Деулинскому перемирию 1618 г. московское государство потеряло Смоленск,—на западной границе вернулись ко временам великого княжества московского. Москва оказывалась под постоянной урозой нового польского нашествия. Положение было стратегически невозможное, и из него неизбежно следовало возобновление войны с Польшей при первом удобном случае. Такой, как казалось, представился в 1632 г., когда после смерти Сигизмунда III, в Польше началась усобица. К войне в Москве готовились тщательно. Так как во время Смуты московским ополчениям много доставалось от польских регулярных войск, наняты были иноземные полки. Война кончилась однако же поражением, и Поляновский мир 1634 г.

закрепил Смоленск за поляками. Это отбило охоту к активной внешней политике, и когда казаки стали втягивать Москву в войну с турками, взяв Азов, московское правительство за ними не пошло и энергическими мерами поддержало мир.— Михаил Федорович был женат два раза и от второй жены, Евдокии (Стрешневой), имел несколько человек детей; из сыновей остался в живых только один, Алексей, будущий царь и отец Петра Великого.

Наиболее обстоятельный обзор царствования Михаила Федоровича см. у *Соловьева*, История России с древнейших времен, т. IX (в изд. «Общественной пользы», кн. II, стр. 1041—1404). Более старая литература утратила всякое значение. Из новейшей см. *Е. Сташевского*, Очерки по истории царствования Михаила Федоровича (Киев 1913). Для истории воцарения и первых лет капитальное значение имеет статья проф. *Платонова*, Московское правительство при первых Романовых («Журн. Мин. нар. просв.» 1906).

## БЮРОКРАТИЯ[1]

*Бюрократия*, варварское слово, составленное из французского bureau (бюро), что значит *письменный стол*, а также *кабинет*, комната, где стоит письменный стол, и греческого cratos (кратос)—«сила». Образовано по аналогии с «аристо-кратия», «демо-кратия» и т. д. В буквальном русском переводе: «столоправление» или «кабинетовладычество». Слово возникло в начале XIX столетия во Франции, до сих пор остающейся классической страной бюрократии. Обозначается этим словом такой государственный режим, где управление осуществляется через посредство «оторванных от масс, стоящих *над* массами, привилегированных лиц» (Ленин). По меткому определению Маркса (в «Критике гегелевской философии права»), бюрократия есть нечто вроде ордена иезуитов—осуществление государственной власти замкнутой корпорацией, основную сущность которой составляет *тайна*, охраняемая внутри корпорации ее иерархическим устройством (сущность ведущейся государством политики знают только верхи; чем ниже ступень, тем знание ограниченнее, все более и более касается только деталей), а от внешнего мира—недоступностью корпорации для посторонних. Дверь с надписью «без доклада не входить»—самый выразительный символ бюрократии и бюрократизма, какой только можно придумать. Другая черта бюрократии, указываемая Марксом, это ее *формализм*. Форма государства (и государственные формы, обрядовые формальности текущего государственного обихода) превращается в руках бюрократии в некоторую самостоятельную сущность: цели государства подменяются целями бюрократической корпорации, как таковой. Дела ре-

[1] Б.С.Э., т. VIII, стр. 468—480.

шаются не по существу, не по соображению, с тем, что нужно и полезно государству или народной массе, а с тем, что удобно и выгодно для бюрократии. Эта сторона бюрократии в нашей художественной литературе прекрасно выражена словами Фамусова в «Горе от ума»: «А у меня что дело, что не дело, обычай мой такой: подписано, так с плеч долой».

Все эти черты бюрократии—иерархичность, замкнутость, формализм—предполагают как социальную базу довольно сложный общественный строй: ни патриархальная демократия, ни даже патриархальная деспотия не дают почвы для бюрократии—там все вершится непосредственно, без всяких формальностей, и власть, будет ли это власть *веча* или власть патриархального владыки, действует совершенно открыто и прямо, ничем не маскируясь. Бюрократия предполагает уже довольно значительную оторванность власти от массы, предполагает,—по крайней мере в зачатке,—*классовое общество*. Образчиком зачаточной формы бюрократии может служить крепостное имение в России XVIII—первой половины XIX века. Во главе такого имения, если оно было небольшое, стоял обыкновенно приказчик—грамотный крепостной, умевший читать и считать, а если имение было большое,—целая группа таких грамотных холопов, контора, которая даже одному народническому историку напомнила учреждение бюрократического государства. Крепостные приказчики одного из Орловых (фаворитов Екатерины II), по словам В. И. Семевского, были «в миниатюре скорее государственными людьми, нежели агрономами... Они докладывали о деле вместе со своим проектом резолюции, подписанным ими единогласно или с мнениями и представлениями»... *Торгово-феодальное государство* с закрепощенной массой, но уже с денежным хозяйством, и с зачатками кое-какой «образованности», служившей прежде всего средством усовершенствования эксплоатации, увеличения выжимаемого из крепостных прибавочного продукта, и было настоящей родиной бюрократии. С полным правом можно сказать, что бюрократия по своему происхождению была аппаратом *абсолютизма*.

В качестве такого аппарата бюрократия появляется исторически чрезвычайно рано. По словам известного историка древности Эд. Мейера, в Египте уже Древнее царство было «не феодальным государством, а бюрократическим государством». Древнее же царство египетской истории приходится на конец четвертого и начало третьего тысячелетия до христианской эры. По этой хронологии бюрократии не меньше 5 000 лет от роду. Поскольку в древнем Египте мы встречаем сложную иерархию должностей и очень развитое письменное делопроизводство, внешнее сходство с бюрократическим государством получается, в самом деле, очень полное. Закрепощенность массы населения, твердо установленная для этой эпохи, также увеличивает правдоподобность характеристики Эд. Мейера. Но об этой

древнейшей в мире бюрократии мы знаем слишком мало (главным образом номенклатуру должностей), гораздо меньше, чем о подлинной, несомненной бюрократии конца античного мира, эпохи *Римской империи*, во многом являющейся прототипом бюрократии позднейшей. Римская империя и в центре и на местах создала очень сложную систему канцелярий, со всеми чертами бюрократического режима—тайной, иерархичностью и формализмом. Рядом с уцелевшими формально учреждениями республиканского Рима эти канцелярии представляли собой настоящее чужеродное тело, понемногу обескровливавшее весь организм. Эта бюрократия вызывала страшное озлобление со стороны остатков старой земельной знати, обиженной главным образом низким происхождением новых господ положения: большая часть бюрократов императорского Рима были из отпущенных на волю рабов. В исторической литературе протест против римской бюрократии вылился в бесчисленное количество анекдотов о злоупотреблениях и наглости *вольноотпущенников*. По сути дела «вольноотпущенники» были первыми министрами нового государства, опиравшегося на *торговый капитал*. Они уже составляли нечто вроде постоянной корпорации, фактически державшей в руках все текущее управление: император определял только общий курс политики, если это был крупный человек, вроде Траяна или Марка Аврелия; или же отравлял существование своих придворных, если он был ничтожеством; правили «вольноотпущенники». Один из них, Клавдий Этруск, воспетый специально поэтом Стацием и служивший десяти императорам, занимал, по определению новейшего историка, посты сразу четырех министров: торговли, общественных работ, финансов и императорского двора; другой, воспетый тем же поэтом, Абаскант, был министром почт. Их канцелярский персонал состоял уже не из вольноотпущенных, а прямо из рабов, карьера которых состояла в том, что они долгой и усердной службой приобретали свободу, а более удачливые становились министрами.

Это противоположение низкого происхождения бюрократов, наделенных огромной властью, и земельной знати, формально высоко поставленной, но на деле трепещущей перед бюрократией и втайне ее ненавидящей, встречает нас на всех ступенях развития бюрократии, во все эпохи: в средневековой Франции, в Германии XVIII в., в московском государстве, в империи Романовых так же, как в Риме и *Византии*. Последняя интересна как первый и едва ли не самый совершенный в истории образчик чрезвычайно тонко разработанной и широко разветвленной *бюрократической иерархии*. Византия дает нам первый пример *табели о рангах* (Notitia dignitatum), подобно изданной впоследствии в России Петром I, но гораздо более сложной. В Византии складывается уже, характерная для бюрократического режима впоследствии, *двойная* иерархия: долж-

ностей и *чинов*. Должность давала право на «чин» (с титулатурой, весьма точно соответствовавшей нашим дореволюционным: «сиятельство», «превосходительство», «высокородие» и т. д.), но «чин» сам по себе не давал никакой власти, и Византия уже знала «тайных советников», с которыми никто не советуется, и «асессоров», которые нигде не заседают. Отставленного чиновника утешали высоким чином с пышным титулом, а скромные на вид «столоначальники» в действительности правили всем. Византия была настоящей родиной «чиновничества»— понятие в русском языке, ставшее синонимом бюрократии.

Средневековые государства Западной Европы начинали со ступеньки, гораздо более низкой, чем на какой стояла Византия V—VI вв. Управление французских королей XI—XII вв. мало отличалось от управления большой крепостной вотчины. Тем легче мы можем наблюдать на истории французской бюрократии тесную связь ее возникновения с вотчинным хозяйством, с одной стороны, и ростом купеческого капитала—с другой. Первые чиновники неотделимы от управляющего и приказчиков королевского домена. Королевский духовник, капеллан, заведывавший домашней церковью короля, подписывал жалованные грамоты, и иногда на первом месте после короля. Как единственный вполне грамотный человек в королевской усадьбе, он же эти грамоты и составлял—и он же облекал их в окончательную законную форму, прикладывая к ним печать. От этого заключительного акта всей процедуры, самого важного в глазах внешнего мира (без печати грамота была недействительна), он получил звание «печатника», *канцлера*. Чиновниками его *канцелярии* были отчасти дьячки и пономари, отчасти—грамотные дворовые люди. Постепенно *писать* грамоты стали уже эти последние: канцлер только подписывал; позже и подписывать стали *секретари* (название, перешедшее из византийской табели о рангах); один из французских королей XVI в., Карл IX, предоставил секретарям даже право подписывать вместо него, так как, говорил он, «я все равно не читаю того, что подписываю». Вместе с этим из дьячка или грамотного холопа «государственный секретарь» превращается в знатную персону, начинает одеваться, как дворянин, а жена его начинает ездить в карете: как и в Римской империи, это изменение в социальном положении бюрократии особенно дразнило феодальную знать. В то же время внешняя обстановка, в которой работает бюрократия, долго еще напоминает о ее вотчинном происхождении: еще в начале XVII в. у французских министров нет министерств, они работают каждый у себя дома, из личных средств (точнее на получаемые «безгрешные доходы», которые были так велики, что один государственный секретарь просил 30 тыс. ливров ежегодной ренты за уступку своего места другому лицу), нанимают писцов и т. д. В списках секретари фигурируют среди всякой другой придворной челяди и к празднику получают

такие же подарки, что и королевские камердинеры. Если канцелярская бюрократия еще в XVII в., вплоть до царствования Людовика XIV, напоминает, что она вышла из среды «дворовых людей», то бюрократия *финансовая* носит столь же определенные следы родства в другую сторону. «В счетной палате» французских королей еще до XVI в. половина членов были духовные, но считать умел лучше купец, чем поп, и последние церковные люди, действительно управлявшие финансами средневековой Франции, были *тамплиеры*, сочетавшие в своем лице военных людей, рыцарей, служителей культа и крупнейших ростовщиков своего времени. Из их рядов вышел министр финансов Людовика VII Тьерри Галеран. Полтора века спустя тамплиеры пали, и министром финансов казнившего их Филиппа Красивого был «ломбардец», т. е. профессиональный ростовщик, но уже светский, Бетино Кассинелли. А в начале XVI в. Франциск I доверил реорганизацию своих финансов, жестоко расстроенных войной и королевскими кутежами, туренскому купцу Жаку де Бону, который стал «сеньером Самблансэ», вошел в ряды знати и распоряжался королевской казной с неограниченными полномочиями. Его карьера кончилась на эшафоте, как карьера многих представителей ранней бюрократии. Ни в этом, ни в других отношениях он не был исключением, и не им одним засвидетельствована тесная связь торгового капитализма с абсолютизмом: она имела представителей и раньше его, в лице Жака Кера, и после него, вплоть до последнего министра финансов старой французской монархии, банкира Неккера.

К концу XVII в., одновременно с торжеством торгового капитализма и абсолютизма, бюрократический режим стал нормой для всего континента Европы. Лишь в Англии и абсолютизм, и бюрократический режим—первый в лице короля Карла I, второй в лице его министра Страффорда—потерпели поражение, стоившее жизни их представителям. Во Франции, родине континентальной бюрократии, она дольше всего сохранила средневековые вотчинные формы. Современная бюрократия, охарактеризованная Марксом, сложилась здесь только в результате революции,—в сущности при Наполеоне I; ранее королевское и государственное хозяйство, двор и канцелярия, влияние фавориток и любимцев и власть министров перемешивались совершенно хаотически. Классической страной новой бюрократии стала центральная Европа, особенно *Пруссия и Австрия*. Здесь более чем где бы то ни было бюрократический режим прокладывал дорогу зарождавшемуся капитализму и был его орудием. При помощи бюрократии капитализм ломал последние остатки средневековья—местные вольности, феодальные привилегии, «обычное право», под конец (в Пруссии в начале XIX в., в Австрии еще позже) и крепостное хозяйство. Здесь же сложилась и *теория* бюрократического государства,

нашедшая свой апофеоз в философии права Гегеля, по совершенно правильному замечанию Меринга, отразившей прусскую действительность 1821 г.—эпохи наивысшего расцвета прусского бюрократизма. XVIII век был героическим периодом бюрократии. Под именем «просвещенного деспотизма» бюрократический режим прославлялся буржуазными историками как эпоха разумного и гуманного управления, благодетельного для масс. Предполагалось, что счастье народа прямо зависит от разумности и целесообразности устройства правительственного механизма (знаменитое сравнение—Лейбницем—государства *с часами*). На деле благосостояние масс стояло на последнем плане. Правительства «просвещенных деспотов» больше всего заботилось об увеличении податей. Наиболее последовательный из них, Иосиф II Австрийский, ввел варварские наказания (кнут, клеймение и т. п.). Освобождение крестьян фактически было их ограблением в пользу помещиков, притом оно было доведено до конца в Пруссии лишь под влиянием разгрома прусской армии Наполеоном, в Австрии—еще гораздо позже, после революции 1848 г. Лучшей стороной режима бюрократии была борьба, наряду с другими остатками средневековья, против нетерпимости католической церкви, но церковь давно уже перестала быть главным врагом масс и сама обратилась в подсобное орудие бюрократического государства. По существу «просвещенный деспотизм» был попыткой «разумно», т. е. с наибольшей выгодой для государства, эксплоатировать массы, и представлял собою полную аналогию превращению феодального имения в предприятие, превращению «рыцаря» в «сельского хозяина». Это было политическое отражение происходившей одновременно экономической перемены. Промышленный капитализм очень скоро почувствовал себя тесно в рамках бюрократического государства, и, одновременно с возведением его в идеал Гегелем, начинается либеральное брожение среди буржуазии, подготовившее революцию 1848 г.

Во *Франции* остатки средневековья были сметены не чиновничьим реформами, а массовым движением, поэтому сметены гораздо более чисто, чем в Центральной Европе, хотя и немного позже. Но так как, после короткого периода якобинской диктатуры власть ушла из рук масс и созданное на развалинах революционной Франции государство было все же государством классового угнетения, только в пользу другого класса, не помещиков, а буржуазии, то бюрократия опять понадобилась. Но бюрократическая система, созданная Наполеоном I и с чисто военной прямолинейностью проведенная сверху донизу, была свободна от тех пережитков вотчинного строя, которыми была переполнена Франция «старого порядка» и убрать которые окончательно был бессилен «просвещенный деспотизм» Пруссии и Австрии. Франция вошла в XIX в. с наиболее законченной и рационализированной системой бюро-

кратического управления, какую только знала какая-либо страна, и в существенных чертах сохранила эту систему доселе. Во главе каждого департамента (губернии) был поставлен государственный чиновник, префект, без разрешения которого нельзя провести ни одной дороги, построить ни одной школы или больницы, а самое главное—в руках которого вся *полиция*. Бюрократическое управление полицией является главным признаком французской системы—даже в Париже полиция совершенно не зависит от местного управления (по-нашему, совета): во главе ее стоит назначенный центральной властью чиновник, префект полиции. Благодаря этому классовая диктатура буржуазии ни в одной стране мира не выступает в таком обнаженном виде. Слова, сказанные Марксом в 1871 г.: «По мере того, как прогресс современной промышленности развивал, расширял и углублял классовую противоположность между капиталом и трудом, государственная власть все в большей степени приобретала характер общественной силы, служащей для порабощения рабочего класса, характер орудия для классового господства» («Гражданская война во Франции»),—сохраняют всю свою силу и до сего дня.

В *России* ход развития бюрократии отражал те же социально-экономические перемены, что и на Западе, и представляет поэтому множество даже внешне сходных черт с историей французской, например, бюрократии. Наши первые чиновники, *дьяки* XV—XVI вв., как показывает самое название, брались из низшего духовенства («дьяк», «дьячок»—низший служитель культа православной церкви), а по своему социальному положению были близки к холопам: в княжеских завещаниях мы встречаем дьяков в числе отпускаемых на волю. Как это было и на Западе, роль бюрократии росла по мере роста денежного хозяйства и появления торгового капитала. Как и там, бюрократию ненавидела феодальная знать, рассказывавшая уже при Грозном, как у московского вел. князя появились новые доверенные люди-дьяки, которые «половиною (своих доходов) его кормят, а половину себе берут». И уже при непосредственных преемниках Грозного в Москве бывали дьяки (братья Щелкаловы), состоявшие крупнейшими акционерами английской торговой компании и казавшиеся иностранцам по степени своего влияния настоящими «царями». Этого рода дьяки были уже членами боярской думы и, хотя занимали в ней формально самое последнее место,—даже не сидели в ней, а только присутствовали при ее заседаниях стоя,—по сути дела были самыми влиятельными ее членами: при помощи «думного дьяка» Щелкалова Борис Годунов стал царем, «думный дьяк» из купцов Федор Андронов при Владиславе правил московским государством. В это время о дьячих местах хлопотали дворяне хорошего происхождения, не стесняясь тем, что дьяк—«чин худой», родовитого человека недостойный. Рядом с духовенством дьяк того

времени был первой русской интеллигенцией: мы имеем историю «Смутного времени», написанную дьяком Иваном Тимофеевым. Стиль этого произведения наводил В. О. Ключевского на мысль, что Тимофеев думал по-латыни; во всяком случае его современники того же круга знали не только латинский, но и греческий язык. Позже подьячий Котошихин дает одно из замечательнейших описаний московского государства.

Расцвет московского торгового капитализма в XVII в. должен был сильно толкнуть вперед рост московской бюрократии. Жалобы земского собора 1642 г. на засилье дьяков, построивших себе «хоромы каменные такие, что неудобь сказаемые» (образчик таких хором до сих пор стоит на Берсеневской набережной реки Москвы: это дом, занимаемый теперь Институтом этнических культур народов Востока; раньше здесь помещалось Московское археологическое общество, а в XVII в. дом был построен дьяком Меркуловым; хотя и надстроенный в XVIII в., он является по теперешним понятиям довольно скромным зданием), и появление среди московских приказов одного, чисто бюрократического, приказа тайных дел, где все было в руках дьяков и куда бояре, управлявшие другими приказами, «не ходили и дел там не ведали» (Котошихин), намечают этот рост,—особенно, если принять в расчет, что и в других приказах фактическими хозяевами часто бывали дьяки. Насколько поднялось социальное самосознание этой группы, видно из того, что еще в начале XVII в. в одном *местническом* деле, т. е. в деле, касавшемся счетов между людьми «с отечеством», людьми «великородными», бывший в числе судей дьяк отколотил виновного палкой, и не видно, чтобы судьи-бояре имели гражданское мужество вступиться за своего односсословника. Тем не менее о настоящей бюрократии в России можно говорить лишь с эпохи Петра, который был и первым представителем здесь абсолютизма в западно-европейском смысле слова, т. е. представителем *личной* власти, не связанной традициями феодального общества. Первым настоящим бюрократическим учреждением у нас был сенат Петра (1711), сменивший боярскую думу. Та была собранием крупнейших вассалов московского царя,—людей, предки которых сами когда-то были государями; и хотя к концу XVII в. в эту аристократическую группу влилось много новых людей, а потомки прежних удельных князей были в ней уже в меньшинстве, все же дума оставалась собранием крупных землевладельцев, имевших социальное значение и независимо от своего «чина». Сенат был собранием чиновников, назначенных царем без всякаго внимания к их происхождению и социальному положению (на место одного из князей был сейчас же назначен бывший крепостной Шереметева, Курбатов; другому, бывшему крепостному, Василию Ершову, было поручено управлять Московской губернией) и подчиненных самой суровой бюрократической дисци-

плине. Думе царь, юридически, не мог приказать—боярский приговор, формально, и в конце XVII в. шел рядом с государевым указом («государь указал и бояре приговорили...»). Но это была лишь *форма* того, что имело реальное значение в XVI в., это был факт, а не право. Петр еще до учреждения сената обходился без всяких приговоров. Указ об учреждении губерний (декабрь 1708 г.) начинался словами: «Великий государь указал... И по тому его, великаго государя, именному указу те губернии и к ним принадлежащие города в Ближней канцелярии расписаны»... С сенатом же царь разговаривал в таком стиле: «С великим удивлением получил письмо из Петербурга, что 8000 человек солдат и рекрут не доведено туда, чем ежели губернаторы вскоре не исправятся, учинить им за сие, как ворам достоит, или сами то терпеть будете...» (указ 28 июля 1711 г.). Или: «доставить войска на Украину, чтобы конечно к июлю поспели, сие все, что надлежит к войне, как наискорее управить сенату, под жестоким истязанием за несправление» (указ 16 января 1712 г.). Постоянно обуреваемый мыслью, что сенаторы ленятся, лодырничают и воруют, Петр сначала вводит в сенат для надзора гвардейских офицеров, а потом создает специальную должность «око царево», в лице *генерал-прокурора*, обязанного следить за тем, «дабы сенат в своем звании праведно и нелицемерно поступал», и, чтобы там «не на столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись», «истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени». А для надзора за всей администрацией вообще были созданы *фискалы*, чтобы «над всеми делами тайно надсматривать».

Институт фискалов снова возвращает нас к *социальному* смыслу бюрократии. Новые петровские учреждения не только не считались ни с каким «отечеством», но определенно носили *буржуазный* характер. Обер-фискал Нестеров, тоже бывший крепостной, писал царю о своих «поднадзорных»: «их общая дворянская компания, а я, раб твой, меж ними замешался один с сыном моим, котораго обучаю фискальству и за подячего имею...». Кроме фискальства, он еще видвинулся и проектом основать купеческую компанию, которая бы защищала «отечественное» купечество от засилия иностранцев. Простые фискалы выбирались между прочим и «из купецких людей», в количестве 50%. Для успокоения дворянства в указе говорилось, что они будут наблюдать «за купечеством», но мы видели, как смотрел на себя Нестеров. Присматриваясь к программе сената, оставленной этому учреждению Петром, когда он отправлялся в Прутский поход, мы видим, что она почти вся состоит из финансово-экономических пунктов («смотреть во всем государстве расходов...», «денег как возможно больше собирать...», «векселя исправить», «товары ...освидетельствовать...», «соль стараться отдать на откуп», «заботиться

о развитии китайского и персидского торга...»). В этом перечне тонут общие вопросы, как «суд нелицемерный», или специально военные (образование офицерского запаса). Сенат Петра носит на себе такой четкий отпечаток торгового капитализма, какого только можно потребовать.

В эпоху Петра бюрократия в России не только принимает западно-европейскую форму, но и поднимается почти до такого же пафоса, какой мы находим в эту эпоху на Западе. В регламенте о полиции (1721 г.) мы читаем: «полиция способствует в нравах и правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных; непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу; чинит добрых домостроителей, тщательных и добрых служителей; города и в них улицы регулярно сочиняет, препятствует дороговизне и приносит довольство во всем потребном в жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам и в домах, запрещает излишество в домовых расходах и все явные погрешения; призирает нищих, бедных, больных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных; по заповедям божиим воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках; вкратце же под всеми сими полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобства».

Эта «поэзия» бюрократии скрывала собою грязную и жестокую прозу «первоначального накопления», которому бюрократия служила. Тем, кто любит сравнивать революционную (по форме она была таковой) ломку Петра с разгромом старого режима нашей революцией, не мешает почаще вспоминать, что революция повысила благосостояние широких масс, и это нашло себе наглядное выражение в понижении смертности, тогда как «революция» Петра страшно понизила это благосостояние и повела к колоссальному увеличению смертности и уменьшению населения почти на 20%. Реформа Петра была вполне аналогичной западному «просвещенному деспотизму» попыткой более рационально эксплоатировать народный труд на пользу зарождавшемуся капитализму. Отсюда и попытки рационального устройства государственного управления (проекты, отчасти осуществленные, Фика, Любераса и др.); лейбницевское сравнение государства с часовым механизмом очень нравилось Петру,—и он посылал особых агентов разузнавать, как устроена та или другая отрасль администрации в той или другой стране, чтобы, если нужно, перенять и завести у себя (так были скопированы с заграничного образца фискалы). Но размах русского капитализма начала XVIII в. был шире того, что он мог захватить, и от заведенного Петром «часового механизма» скоро осталось почти так же мало, как от петровских фабрик.

Остались часто одни названия и внешние формы, или то, что в сущности тормозило развитие бюрократии, каковы *коллегии*, затушевывавшие личную ответственность. Практически русский режим XVIII в. был более вотчинным, чем прусский или австрийский той же эпохи. Попытка путем *табели о рангах* (1722 г.) создать твердую иерархию бюрократических должностей была сорвана вотчинными традициями без всякого труда. Даже среднее дворянство легко перескакивало низшие ступеньки табели, записывая детей в службу с пеленок; чины им шли регулярно, и к совершеннолетию они часто бывали уже «штаб-офицерами». А для придворной знати мерилом всех вещей была личная близость к императору или—в XVIII в.—чаще к императрице. Попавший в «случай» корнет становился выше всяких тайных и действительных тайных советников, которые иной раз целовали корнету руку. Любимый камердинер Павла I, Кутайсов, почти моментально стал действительным тайным советником и андреевским кавалером, а на нескромный вопрос Суворова, какой службой он этого достиг, должен был скромно ответить, что он «брил его величество».

Бюрократия XVIII в. больше таким образом походила на свою предшественницу XVII в., чем на то, что рисовалось Петру. Остановка в ее развитии была точным отражением остановки в развитии русского капитализма в первые десятилетия после Петра. Как только экономика начинает двигаться вперед более ускоренным темпом, это сейчас же сказывается новым подъемом бюрократии. Таких подъемов послепетровская бюрократия знает два. Первый—как раз в конце XVIII и в начале XIX вв., в эпоху Павла—Александра I, отмеченную новым размахом русского торгового капитализма (образование мирового хлебного рынка и превращение России в «житницу Европы») и возникновением крупной машинной индустрии. Наиболее видная фигура русской бюрократии этой эпохи, Сперанский, снова выдвинувший ряд проектов осчастливления России путем переделки административного механизма и очень осторожно поставивший вопрос о ликвидации крепостного права, вращался в кругу крупной петербургской буржуазии, считал управление «мануфактурами», т. е. министерство промышленности, одним из основных государственных ведомств и был во внешней политике сторонником Франции и противником Англии, главного конкурента нарождавшегося русского промышленного капитала, что и послужило основной причиной опалы Сперанского перед войной 1812 г. Царствование Николая I было почти таким же расцветом русской бюрократии, как и петровское, что тесно связано с расцветом русской промышленности, в это время отчасти начавшей уже определять своими интересами внешнюю политику царизма. Доверенейший статс-секретарь Николая, Корф, был учеником и почитателем Сперанского; «начальник штаба по крестьянской части» Ни-

колая, Киселев, весьма напоминает прусских бюрократических реформаторов предшествующего периода. Через николаевскую бюрократию идет таким образом непрерывная нить от эпохи Сперанского к новому подъему русской бюрократии—знаменитым «реформам 60-х годов», когда и ликвидация крепостного права, и земское «самоуправление», и новые суды были проведены чисто бюрократическим путем, к чрезвычайному озлоблению помещиков, находивших, что «чиновник-бюрократ и член общества суть два совершенно противоположные существа». Оживление бюрократической работы опять-таки точно соответствовало новому подъему капитализма, созданному расширением внутреннего рынка, благодаря частичному раскрепощению крестьян, постройке ж.-д. сети и т. д. Надо прибавить, что все реформы остались недоконченными и половинчатыми и все не ослабили, а усилили гнет, тяготевший над массами.

После эпохи «реформ» бюрократия понемногу превращается в прямой аппарат капитализма. Министры Александра II были, несомненно, «левее» своего царя и на совещании после 1 марта 1881 г. крупным большинством высказались за конституцию. Победила временно феодальная реакция, но по линии экономики и финансов она должна была пойти на крупные уступки. Характерно, что все русские министры финансов конца XIX в. не были людьми бюрократической карьеры: Бунге был профессором, Вышнеградский—крупным биржевым дельцом (что он совмещал также и с профессурой), Витте, один из виднейших железнодорожников, накануне призвания его на высшие бюрократические посты имел скромный чин титулярного советника. «Табель о рангах» пассовала, как и в XVIII в., но на этот раз не перед привычками феодалов, а перед требованиями капитала. Наиболее бюрократический характер сохранила *полиция* во всех ее видах, центральная и местная (губернаторы, министерство внутренних дел и особенно *департамент полиции*, ставший настоящим центром всемогущей бюрократии), подчеркивая этим, что и в России «государственная власть все в большей степени приобретала характер общественной силы, служащей для порабощения рабочего класса».

Пролетарская революция должна была таким образом в одну из первых очередей разбить бюрократическую машину. «Рабочие,—писал Ленин в августе-сентябре 1917 г.,—завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же самых рабочих и служащих, *против* превращения коих в бюрократов будут приняты тотчас меры, подробно разработанные Марксом и Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше платы рабочего; 3) переход немедленный к тому чтобы *все* исполняли функции контроля и надзора,

чтобы *все* на время становились «бюрократами» и чтобы поэтому *никто* не мог стать «бюрократом».

*ЛИТЕРАТУРА. Грибовский В. М.*, Народ и власть в Византийском государстве, СПБ, 1897; *Скабаланович Н. А.*, Византийское государство и церковь во II в., СПБ, 1884; *Ардашев П. Н.*, Провинциальная администрация во Франции, т. I, СПБ, 1900; *Градовский А.*, Высшая администрация в России в XVIII в., СПБ, 1866; *Александров М. С.* (Ольминский), Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России, М.—Л., 1925; *Рожков Н.*, Происхождение самодержавия в России, М. 1906; *Покровский С. П.*, Министерская власть в России, Ярославль, 1906; *P. Viollet*, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, vls. I—III. P. 1889—1903; *A. Luchaire*, Histoire des institutions monarchiques de la France, vls. I—II, P. 1884; *J. Mispoulet*, Les institutions politiques des Romains, vls. I—II, P. 1882—1883; *A. L. Lowell*, The Government of England, v. I, London. 1912; *E. M. Meyr*, Geschichte des alten Aegyptens, Berlin. 1887.

## МЕНШИКОВ [1]

*Меншиков, Александр Данилович*, светлейший князь, фаворит Петра Великого. Родился в 1670 или в 1673 г. (последнее ближе к истине), умер в 1729 г. Начинает собою ряд русских «случайных людей» XVIII в. Царский денщик, по общему убеждению чрезвычайно близкий к своему барину, Меншиков всем был обязан этой близости. Происхождения он был самого простого: по словам хорошо его знавшего и им покровительствуемого кн. Куракина, «ниже шляхетства». По другим данным, отец Меншикова был придворный конюх, а сам он в детстве продавал пироги на улицах, что вполне вяжется одно с другим, так как мелкие служилые люди и их семьи все занимались в то время каким-нибудь ремеслом. С Петром свел его Лефорт, и скоро он уж был «вознесен до верха всем завидного могущества», занимая «первое место среди москвитян по привязанности к нему царя» (дневник Корба). Современники не находили в «Алексашке» других достоинств, кроме большой сметливости и изворотливости. По словам того же кн. Куракина, Меншиков еле умел подписать свою фамилию и ума был «гораздо среднего»,—что не мешало ему быть «таким сильным фаворитом, что разве в римских гисториях находят». Петра в особенности возмущало, что его любимец страшно нечист на руку и грабит все, что ни попадется. Он неоднократно «учил» его за это дубиною, приговаривая: «Теперь в последний раз дубина! Ей, Александра, берегись!» и налагал на него громадные денежные штрафы. Но Меншиков умел стать необходимым своему барину, и тот до конца жизни не умел без него обойтись. Когда их личная близость стала уже недостаточной связью, он старался влиять на Петра через женщин. Сначала он носился с проектом ни более не менее как выдать за Петра свою родную сестру; позже через Меншикова Петр познакомился с

[1] Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. Гранат и К°», изд. 7-е, т. XXVIII, стр. 479—481.

Екатериной, которая всю жизнь считала Меншикова своим благодетелем и долго относилась к нему почтительно (уже будучи женой Петра, она писала Меншикову: «Милостивый наш государь батюшка, князь Александр Данилович»). По смерти Петра Екатерина вступила на престол при ближайшем участии Меншикова и последний сделался фактическим правителем России. Тут он обнаружил полное отсутствие каких-либо политических дарований. Своим могуществом он воспользовался только для того, чтобы удовлетворять свое тщеславие и жадность, стремясь к почетным званиям и накопляя деньги. Он произвел себя в генералиссимусы, хотя вовсе не был ни первым из русских генералов, ни вообще выдающимся полководцем; хлопотал об избрании его герцогом курляндским (титул светлейшего князя «Ижорского» он получил еще при Петре, с некоторыми «владетельными» правами, так что имел свои крепости с артиллерией и свое войско, то и другое, впрочем, в миниатюрных размерах); наконец осуществил свою давнюю мечту породниться с царским домом, обручив свою дочь с наследником Екатерины I, маленьким Петром II. Он стал писать о себе «мы» и внизу своих приказов—«дан», как на высочайших указах. В то же время он торговал русскими дипломатическими секретами, получая за это от шведского например правительства крупные суммы. Но не сумел помешать образованию Верховного тайного совета, ограничивавшего фактически его власть, и где большинство составили его аристократические конкуренты с кн. Дм. Мих. Голицыным во главе. Он не сумел даже заручиться прочным расположением гвардии, важнейшего тогда фактора придворной, если не государственной, жизни. В результате противникам его удалось с поразительной легкостью превратить его из могущественнейшего лица в государстве в политического ссыльного. Арестованный 8 сентября 1727 г. по приказу (номинально) Петра II, он был сослан со всей семьей в Березов, где через два года и умер. В несчастьи он обнаружил больше достоинства, чем в дни своего фавора. Ничтожный, как государственный человек, Меншиков был рачительным и предприимчивым хозяином (качество, в свое время использованное Петром, который сделал его начальником «Ижорской» канцелярии, специально ведавшей вновь изобретенные налоги). Он в обширных размерах занимался торговлей, имел фабрики и составил себе крупнейшее в тогдашней России состояние (до 150 тыс. руб. дохода—более миллиона на теперешние деньги). После его опалы все это было конфисковано. См. о нем «Архив кн. Куракина», т. I; «Протоколы, журналы etc. Верх. тайн. сов.» Русского исторического о-ва тт., 55, 56, 69 и 79); *Есипов*, Жизнеописание А. Д. Меншикова («Русский Архив», 1875 г.), Переписку Меншикова с Петром см. в «Письмах и бумагах Петра Великого», т. I—VI и в сборнике Ист. Общ., т. XI.

## ЗАСТАВКИ


*Стр.*

**Поход на Москву Балотникова.** Так называемая «смута» была первым массовым крестьянским движением в истории феодально-крепостной России. В 1606 г. восставшее на Северной Украине крестьянство под начальством Болотникова подошло к самой Москве . . . 5

**Выход на осляти.** Рисунок цесарского посла А. Мейерберга. Изображает известную религизную процессию в вербное воскресенье, когда царь вел под уздцы лошадь с сидящим на ней патриархом; кругом распростертый народ. Рисунок ярко отражает характер московского самодержавия и роль православной церкви как идеологического орудия самодержавия в закабалении сознания народных масс . . . . . 71

**Встреча казацкого войска** киевским мещанством перед Софийским собором (с рис. 1651 г.). . . . . 110

**Петровские коллегии.** Рисунок первой половины XVIII в. Самое раннее изображение зданий коллегий, построенных архитектором Трезини в 1 22—1733 гг. . 171

# ОГЛАВЛЕНИЕ


*Стр.*

## ГЛАВА VII.

## СМУТА.

### 1. Феодальная реакция, Годунов и дворянство.

Возрождение феодализма; судьба старой знати: феодалы из опричнины: Богдан-Бельский; Годунов; противоречия в его положении: «дворянский царь», покровительствующий «мужикам черным» и заключающий соглашения с боярами; личное влияние и семейное положение . . . . . 5

Политика Бориса—правителя . . . . . 9

Столкновение 1587 года, его социальная подкладка, его влияние на внешнюю политику . . . . . 11

Союз с дворянством; роль «жалованья» . . . . . 12

Смерть царевича Димитрия в современной литературе и новейшей историографии; отношение к факту Бориса Годунова; предосторожности после смерти Федора . . . 13

Избрание Бориса на царство; роль Земского собора и народной массы в этом событии . . . . . 17

Акт избрания и его особенности; крестоцеловальная запись . . . . . 18

*Стр.*

Разрыв Годунова с командующими слоями; попытки опереться на народную массу; борьба с злоупотреблениями администрации . . . . . 20

Голод 1602—1604 гг. и крушение демократической политики Бориса . . . . . 23

### 2. Дворянское восстание.

Кто выдвинул Названного Димитрия . . . . . 24

«Извет» старца Варлаама; другая русская версия; роль казаков и московской эмиграции; дело Романовых . . . 25

«Северская украина», характер ее населения; характер движения против Годунова. Поход Названного Димитрия к Москве . . . . . 27

Дворянский заговор; Ляпунов и южные помещики; отношение к делу посадских; положение боярства царствования Димитрия; оргия земельных раздач и денежных наград . . . . . 30

Сходство с опричниной; боярский заговор; брожение среди буржуазии и его причины . . . . . 31

Социальная и внешняя политика Димитрия; раскол среди служилых . . . . . 32

Переворот 17 мая 1606 года . . 36

Растерянность боярства на другой день после перевороо-

*Стр.*

та; воцарение Шуйского, как заговор в заговоре; его социальная подкладка; самооборона боярства; крестоцеловальная запись Шуйского . . . . . 36
Финансовое положение царя Василия . . . . . 40
Восстание южных помещиков; «возмущение холопов и крестьян» и его роль в движении . . . . . 40
Компромисс Шуйского с помещиками. Критическое положение царя Василия; видение «некоему мужу» . . . . 42
Вмешательство поляков и второй Димитрий. . . . . 43

**3. «Лучшие и меньшие».**

Последние два года царствования Шуйского. Отношение к царю Василию различных общественных классов. 44
Тушино; роль поляков и движение общественных низов; крестьяне и холопы; посадское движение; псковская революция . . . . . 46
Тушинские «верхи» и Сигизмунд. Договор 4 февраля 1610 года. . . . . 51
Агония Шуйского и второго Димитрия. Избрание Владислава. Бессилие польско-боярского правительства . . . 55
Церковная оппозиция; действительные причины движения против Владислава . . 58
Идеология движения: «Новая повесть»; легенда о Гермогене . . . . . 64
Отдельные восстания посадских и служилых и их неудача (Московский бунт 17 марта 1611 г.; ляпуновское ополчение и приговор 30 июня) . . . . . 66
Союз буржуазии и помещиков. Нижегородское ополчение. . . . . 68

**ГЛАВА VIII.**

**ДВОРЯНСКАЯ РОССИЯ.**

**1. Ликвидация аграрного кризиса.**

Непосредственные результаты смуты. Крестьянское разорение . . . . . 71

*Стр.*

Новые черты крестьянской крепости . . . . . 7
Признаки улучшения со второго десятилетия XVII века; уменьшения перелога, внутренняя колонизация . . 76
Экономическая реставрация: натуральные оброки; сокращение барщины . . . . . 77
Рост крестьянской запашки; исчезновение бобыльных дворов; рост населения в центральных уездах . . . . . 80
Реставрация вотчинного землевладения, новые латифундии. . . . . 82

**2. Политическая реставрация.**

«Злоупотребления» XVII века и их обычное объяснение . . 85
Разложение местного самоуправления и его причины. . . 91
Классовая борьба в городах . 92
Судьба губных учреждений. 94
Возрождение кормлений . . . 94
Иммунитеты . . . . . 100
Феодальные черты московского центрального управления; государев двор, дума и приказы. Земские соборы . 101
Новая феодальная знать и торговый капитализм. . . . . 101
Устройство центральной администрации в XVII в. . . . . 102
Архаические черты; местничество . . . . . 102
Значение личной близости к царю . . . . . 102
Приказы . . . . . 103
Приказ тайных дел. . . . . 104
Земский собор . . . . . 105
Происхождение Земского собора из феодальных отношений . . . . . 105
Экономические причины его упадка . . . . . 106
Земские соборы и политическая реставрация XVII в. 106
Архаические черты московских Земских соборов: состав представительства . . . 107
Неопределенность их компетенции . . . . . 108
Земский собор как выражение экстренного запроса; вытекающая отсюда непопулярность Земского собора . . . 109

*Стр.*

ГЛАВА IX.

БОРЬБА ЗА УКРАИНУ.

1. Западная Русь XVI—XVII веков.

Внешняя политика дворянской России . . . . . 110
Стратегические условия . . . 110
Колонизация . . . . . 111
Борьба двух типов колонизации; идеология борьбы . . . 112
Юго-зап. Русь после татарского разгрома . . . . . 113
Литовско-русский феодализм. 115
Люблинская уния; ее социальные условия . . . . . 117
Экономический переворот XV—XVI столетий . . . . . 119
Замена натурального оброка денежным . . . . . 119
Барщина . . . . . 120
Уменьшение крестьянского надела . . . . . 121
Судьба обезземеленных . . . . 124
Вольная колонизация: романтическое представление о казачестве . . . . . 125
Действительное социальное значение казачества великорусского и украинского . 125
Казацкая революция как эпизод борьбы феодальной и буржуазной собственности 130

2. Казацкая революция.

Идеологическая оболочка казацкого движения и его организационный центр . . . . 131
Церковная уния . . . . . 132
Церковь и денежное хозяйство. . . . . 133
Церковь и буржуазия; братства . . . . . 133
Феодальная реакция в церкви . . . . . 135
Связь казачества и буржуазии . . . . . 136
Запорожье. . . . . 137
Экономический конфликт: хлебная торговля и пиратство. . . . . 138
Политический конфликт . . . 138
Первые «рухи» . . . . . 141
Схема казацкого восстания . 142
Этапы наступления Польши на Запорожье . . . . . 143
Хмельничина . . . . . 144
Условия, обострившие кризис; «ординация» 1638 г. . . 144
Роль Крымской орды . . . . . 144
Политическая обстановка: Богдан и «чернь» . . . . . 146
Отношение казацкого и крестьянского движения, роль мещан. . . . . 146
Хмельницкий как выразитель казацкого и казацко-мещанско-церковного движения . . . . . 148
Разрыв с крестьянством . . . . 149

3. Украина под московским владычеством.

Необходимость иностранной поддержки после разрыва; колебания между Швецией и Москвой. . . . . 150
Альтернатива казацко-московского или московско-польского союзов . . . . . 151
Хмельницкий и московское самодержавие . . . . . 153
Влияние успеха на Хмельницкого; «единовластец русский»; борьба за политическую автономию . . . . . 154
Условия договора 1654 г.; социальная реакция . . . . . 156
Классовая борьба на Украине и московский захват . . . 157
Обрусение Украины и интересы русских помещиков . 157
«Нобилитация» казацкой старшины . . . . . 158
Москва и киевская митрополия . . . . . 159
Нарушения автономии . . . . . 160
Московская демагогия, Самко и Брюховецкий . . . . . 161
Андрусовское перемирие . . . 163
Социальная реставрация . . . 164
Возрождение крупного землевладения . . . . . 164
Его экономические условия . 165
Украинское дворянство половины XVIII в. . . . . 166
Монастырское землевладение . 166
Земельное ростовщичество . . 167
Военный режим и феодализация . . . . . 167
Закрепощение казаков . . . . . 168

*Стр.*

ГЛАВА X.

ПЕТРОВСКАЯ РЕФОРМА.

**1. Торговый капитализм XVII века.**

Традиционное представление об «европеизации России» . . 170
Параллелизм русского и западного культурного развития XV—XVII веков . . 171
Военно-финансовая схема реформы . . . . . 171
Ее экономическая основа . . . 172
Московская торговля XVII в.: ее некапиталистический характер вначале . . . . . 172
Московское ремесло: его средневековые особенности . . 173
Вторжение европейского торгового капитала . . . . . 175
Русско-нидерландская торговля . . . . . 175
Хлебный рынок в начале XVII века. . . . . 177
Московское государство как голландская «хлебная колония». . . . . 178
Голландские проекты и туземный торговый капитал 179
Концентрация капитала на почве главным образом заграничной торговли: царские монополии . . . . . 181
Торговля шелком и ее значение. . . . . 184
Роль гостей . . . . . 186
Западные приемы торговой конкуренции: почта . . . . 188
Массовый характер заграничного ввоза . . . . . 190
Влияние торгового капитализма на внешнюю политику: Рига и Архангельск, коммерческие интересы на Балтийском море и Северная война . . . . . 191
Балтийская торговля и комбинация держав в начале XVIII в. . . . . 193

**2. Меркантилизм.**

Старый и новый тип меркантилизма. . . . . 194
Старый тип в России: Новоторговый устав . . . . . 195
Посошков . . . . . 196

*Стр.*

«Медные рубли» . . . . . 197
Бунт по их поводу и расправа с бунтовщиками . . . . . 199
Переход к новому типу: Посошков . . . . . 200
Люберас . . . . . 201
Салтыков . . . . . 202
Реальные основы русского «кольбертизма»: до-петровские фабрики . . . . . 202
Дворцовые мануфактуры . . . 203
Заграничные предприниматели . . . . . 204
Характер производства и сбыта. . . . . 205
Зачатки пролетариата . . . . . 206

**3. Промышленная политика Петра.**

Приемы дворянского государства и экономическое развитие: принуждение как основа экономической политики . . 207
Регламентация производства 207
Протекционизм . . . . . 207
Искусственное создание новых отраслей производства: шелковые мануфактуры . . 210
Недостаток свободных рабочих рук и способы искусственной их замены: применение арестантского труда . . 211
Крепостная фабрика . . . . . 212
Банкротство петровского капитализма: мнение комиссии о коммерции 1727 г. . . . 212

**4. Новый административный механизм.**

Буржуазная администрация петровской России . . . . . 213
Союз буржуазии и феодальной знати; два проекта 1681 г. 214
Ратуша и ее связь с предыдущими мерами . . . . . 216
Происхождение губерний: военные округа XVII в., их социальное значение . . . 217
Характер петровской губернии . . . . . 218
Губернии и ратуша: «растаскивание» России . . . . . 219
Остатки централизации: *Сенат* как центр царского хозяйства . . . . . 221
Остатки буржуазной админи-

*Стр.*

страции: фискалы, их значение и судьба . . . . . 223
Происхождение коллегий; рассказ Фокеродта . . . . . 226
Коллегии и торговый капитализм . . . . . 227
Коллегии и дворянская реакция . . . . . 229
Коллегии и верховные «господа» . . . . . 229
Новые успехи дворянской реакции; табель о рангах . . . 231
Последняя вспышка буржуазных тенденций: реформа 1722 г. и генерал-прокуратура . . . . . 233

### 5. Новое общество.

Торговый капитализм и *быт* русского общества; резкость перемены; ее социальные размеры . . . . . 234
Эпоха Петра и западноевропейское «Возрождение»; характеристика Тэна . . . . . 236
Петровские празднества . . . 237
Характер шуток Петра . . . . 238
«Всепьянейший собор» . . . . 239
Более серьезные формы вольнодумства; отношение Петра к посту и к раскольникам; дело Тверитинова . . . 240
Литературный индивидуализм петровской эпохи: его подготовка к литературе. Смуты 242
Котошихин. «Гистория» князя Куракина . . . . . 243
Индивидуализм в праве: указы о майорате и о престолонаследии . . . . . 245
Научные интересы эпохи; Петр — дантист; Петр — фельдшер . . . . . 246
Безграмотность петровского двора . . . . . 247
Простота нравов: петровская дубинка . . . . . 247
Характерные черты петровской грубости: солдатчина. 248
Отношение Петра к гвардии . 249
Военный характер забав Петра; солдатские замашки . . 250
Связь солдатчины с режимом; мнение Фокеродта . . . . . 252
Происхождение гвардии . . . 253
Ее значение при Петре: гвардейцы в Сенате; гвардейская тирания в провинции. 253
Гвардия как центр дворянской реакции . . . . . 254

### 6. Агония буржуазной политики.

Итоги петровской политики: разорение крестьянства . . 255
Состояние войска и флота . . . 256
Персидский поход: его экономическое значение, его неудача . . . . . 257
Настроение накануне смерти Петра . . . . . 258
Обстоятельства его смерти. . . 259
Русский престол становится избирательным . . . . . 260
Как в действительности происходили выборы: Екатерина I и гвардия . . . . . 261
Характер царствования Екатерины: нарастание оппозиции . . . . . 261
Верховный тайный совет: его происхождение . . . . . 264
Его политическое значение . . 265
Оппозиция генералитета: Верховный совет и Сенат . . . 266
Буржуазная политика Верховного тайного совета . . 267
«Вольность коммерции», отмена торговых привилегий Петербурга . . . . . 268
Влияние Меншикова и дворянства: меры относительно подушной подати . . . . . 268
Облегчение дворянской службы . . . . . 270
Значение падения Меншикова; «верховники» и Петр II 271
Экономическая политика Д. М. Голицина. . . . . 273
Отношение к ней дворянства: немецкий погром 1729 г. 276
Смерть Петра II и кризис 1730 г.; императорские кандидатуры . . . . . 276
«Пункты» и их действительное значение . . . . . 280
Отношение к ним гвардии. 280
Конституционные проекты «верховников» и «генералитета» . . . . . 281
Пассивное поведение шляхетской массы . . . . . 282
Анна и гвардия . . . . . 282

Победа генералитета и «восстановление самодержавия» 283

**ПРИЛОЖЕНИЯ.**

Смутное время . . . . . 284
Борис Годунов . . . . . 294
Болотников . . . . . 295
Лжедимитрий I . . . . . 296
Мнишки . . . . . 298
Лжедимитрий II . . . . . 299
Андронов . . . . . 300
Минин . . . . . —
Пожарский . . . . . 301
Михаил Федорович . . . . . 303
Бюрократия . . . . . 307
Меншиков . . . . . 319
Список заставок . . . . . 321

**Карты.** Русское государство в XVII и первой четверти XVIII века.
Экономика Московского государства конца XVII в.
Экономика России в первой четверти XVIII в.
Сибирь с конца XVI в. до 1725 г.
Крестьянская война начала XVII в.
Украинская революция 1698 г.
Гордские восстания середины XVII века.
Разинщина.
Восстания националов в XVII и первой четверти XVIII в.
Булавинщина.

Редактор С. Сеф. Технич. редактор Р. Шапиро.

Сдано в производство 17/V 33 г., подписано к печати 27/X 33 г.; Огиз № 1163. С-4-40 формат 62×94/16. 20 1/2 п. л., по 48 256 зн. в п. л.+10 карт вклеек. Уполномоченный Главлита Б 32 535. Заказ № 642. Тираж 40 000 экз.

Отпечатано в 16 тип. треста «Полиграфкнига», Москва, Трехпрудный, 9.

# РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО
# В XVII И ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА

Территория Моск. гос. по Деулинскому и Столбовскому миру

Завоевания Московск. госуд. по Андрусовск. миру 1667 г.

Завоевания Петра I

Территория, захвачен. Московским государст. в 1598—1676 гг.

Область, отошедшая к Швеции по Столбовск. миру 1617 г.

Область, уступл. Польше по Деулинск. перемирию 1619 г.

Граница 1725 г.

ШВЕЦИЯ

ПОЛЬША

Соловецкий монастырь
Кемь
Архангельск
Холмогоры
Сев. Двина
Усть-Сысольск
Сольвычегодск
Каргополь
Вельск
Устюг Великий
Соликамск
Верхотурье 1592 г.
Выборг
Ладога
Столбово
Нотебург
Вологда
Новгород
Устюжна
Пермь
Хлынов
Псков
Рига
Кострома
Углич
Ярославль
Ростов
Великие Луки
Тверь
Сергиев монастырь
Козьмодемьянск
Нижний Новгород
Казань
Елабуга
Уфа 1592 г.
Ковно
Полоцк
Витебск
Волоколамск
Москва
Владимир
Коломна
Серпухов
Калуга
Кашира
Рязань
Тула
Гродно
Минск
Смоленск
Андрусово
Могилев
Симбирск
Самара 1592 г.
Пенза 1666 г.
Пинск
Тамбов 1630 г.
Новгород Северский
Курск
Воронеж 1592 г.
Саратов 1591 г.
Уральск
Волга
Чернигов
Киев
Харьков 1650 г.
1652 г. Изюм
Борисов 1600 г.
Царицын
Черный Яр 1627 г.
Азов
Астрахань
Терский городок

Главлит № Б-32535 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. лит. Мособлполиграф

# ЭКОНОМИКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА КОНЦА XVII ВЕКА

## УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

- Железные заводы
- рудники
- Медные заводы
- Кожевенные заводы
- Соляные варницы
- Торговые пути
- Хлебные районы
- Рыбные промысла
- Пункты пушного торга
- Поташные заводы
- К — Канатные фабрики
- Ярмарки
- Первая почтовая линия
- Промышленные районы

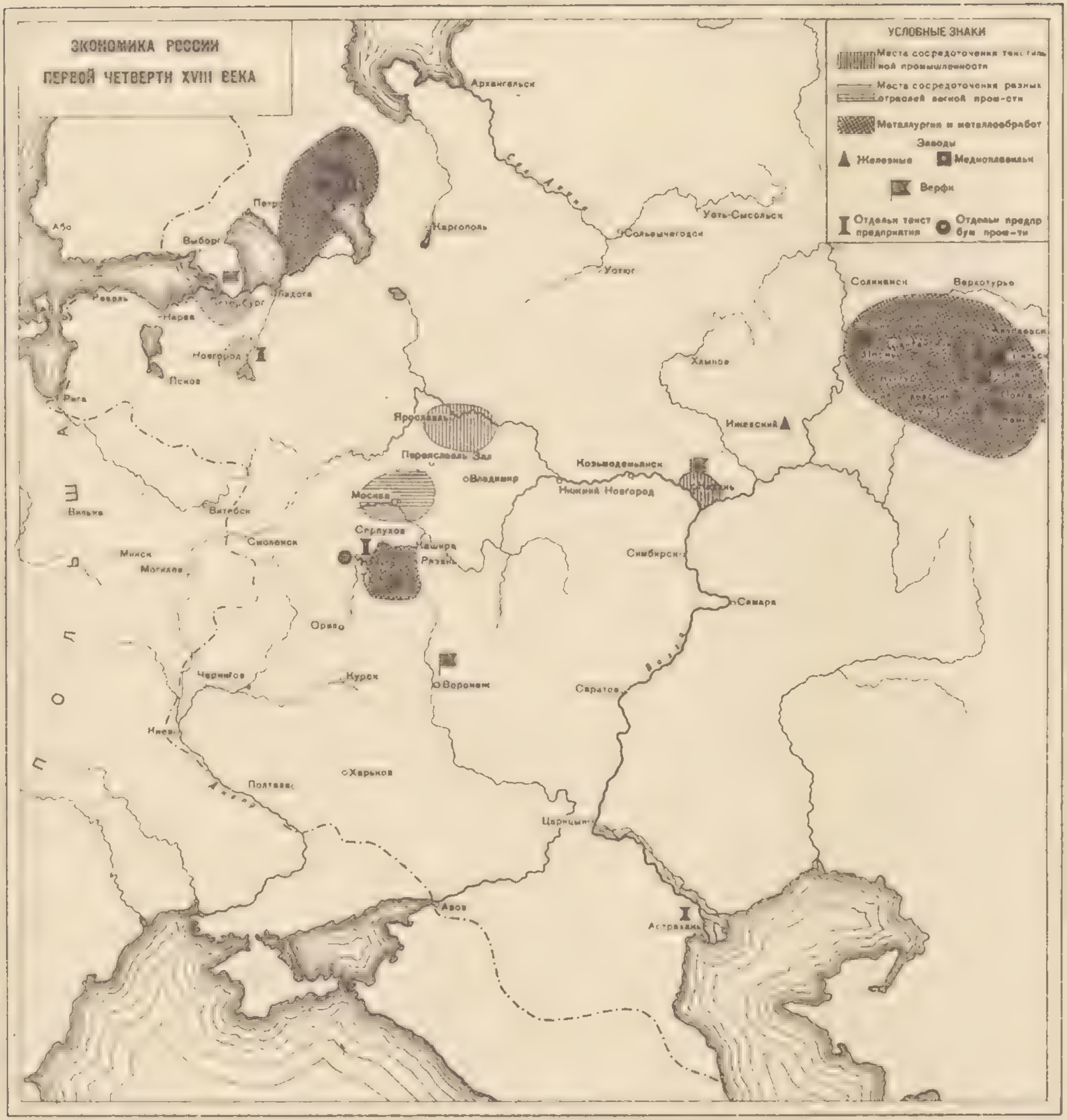
ШВЕЦИЯ

ПОЛЬША

Лампожная
Архангельск
Холмогоры
К
Сев. Двина
Каргополь
Вельск
Усть-Сысольск
Сольвычегодск
Устюг Великий
Соликамск
Ладога
Колывань
Столбово
Тихвин
Белозеро
Устюжна
Вологда
Новгород
Псков
Весьегонск
Рига
Кострома
Ярославль
Углич
Ростов
Великие Луки
Тверь
Сергиев монаст
Владимир
Н.Новгород
Козьмодемьянск
Макарьев
Казань
Елабуга
Уфа
Ковно
Полоцк
Витебск
Волоколамск
Москва
Гродно
Минск
Смоленск
Серпухов
Коломна
Каширa
Калуга
Рязань
Симбирск
Могилев
Тула
Брянск
Свенский мон
Пинск
Орел
Пенза
Самара
Тамбов
Новгород Северский
Чернигов
Курск
Воронеж
Саратов
Волга
Уральск
Киев
Харьков
Днепр
Изюм
Царицыно
Черный Яр
Азов
Астрахань

Главлит № Б-32535 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. дит. Мособлполиграф

# ЭКОНОМИКА РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА




Главлит № Б-32535 Тираж 10000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я тип. лит. Мособлполиграф

Главлит № Б-32383 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. тип. Мособлполиграф

# КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА НАЧ. XVII ВЕКА

Район восстания Болотникова

Район восстания националов

Путь Болотникова на Москву

Отступление Болотникова

Движение „Тушинского вора“

Путь Истомы Пашкова

Путь Прокопия Ляпунова

Движение казачества (Самозванца Петра)

Путь Нижегородского ополчения 1612 г.

Базовые города Нижегородск. ополчения

Архангельск
Сев. Двина
Шенкурск
Усть-Сысольск
Сольвычегодск
Устюг Великий
Вологда
Хлынов
Новгород
Псков
Рига
Кострома
Ярославль
Яранск
Санчурск
Царевококшайск
Тверь
Н.Новгород
Васильсурск
Казань
Москва
Владимиро
Можайск
Коломенское
Муром
Цывильск
Арзамас
Алатырь
Витебск
Смоленск
Серпухов
Каширa
Темников
Симбирск
Минск
Калуга
Алексин
Рязань
Мещовск
Венев
Могилев
Лихвин
Тула
Михайлов
Козельск
Одоев
Жиздра
Белев
Самара
Брянск
Болхов
Мокшан
Пинск
Почеп
Карачев
Орел
Пенза
Городище
Стародуб
Кромы
Тамбов
Елец
Новгород Северский
Севск
Чернигов
Курск
Воронеж
Рыльск
Новоград Волынский
Путивль
Киев
Днепр
Царево-Борисов
Царицыно
Волга
Монастырское
Азов
Астрахань
Терский городок

О Л Ь Ш А

П

Главлит № Б-37525 Тираж 40000.

Изд. СОЦЭКГИЗ

2-я гос. лит. Мособлполиграф

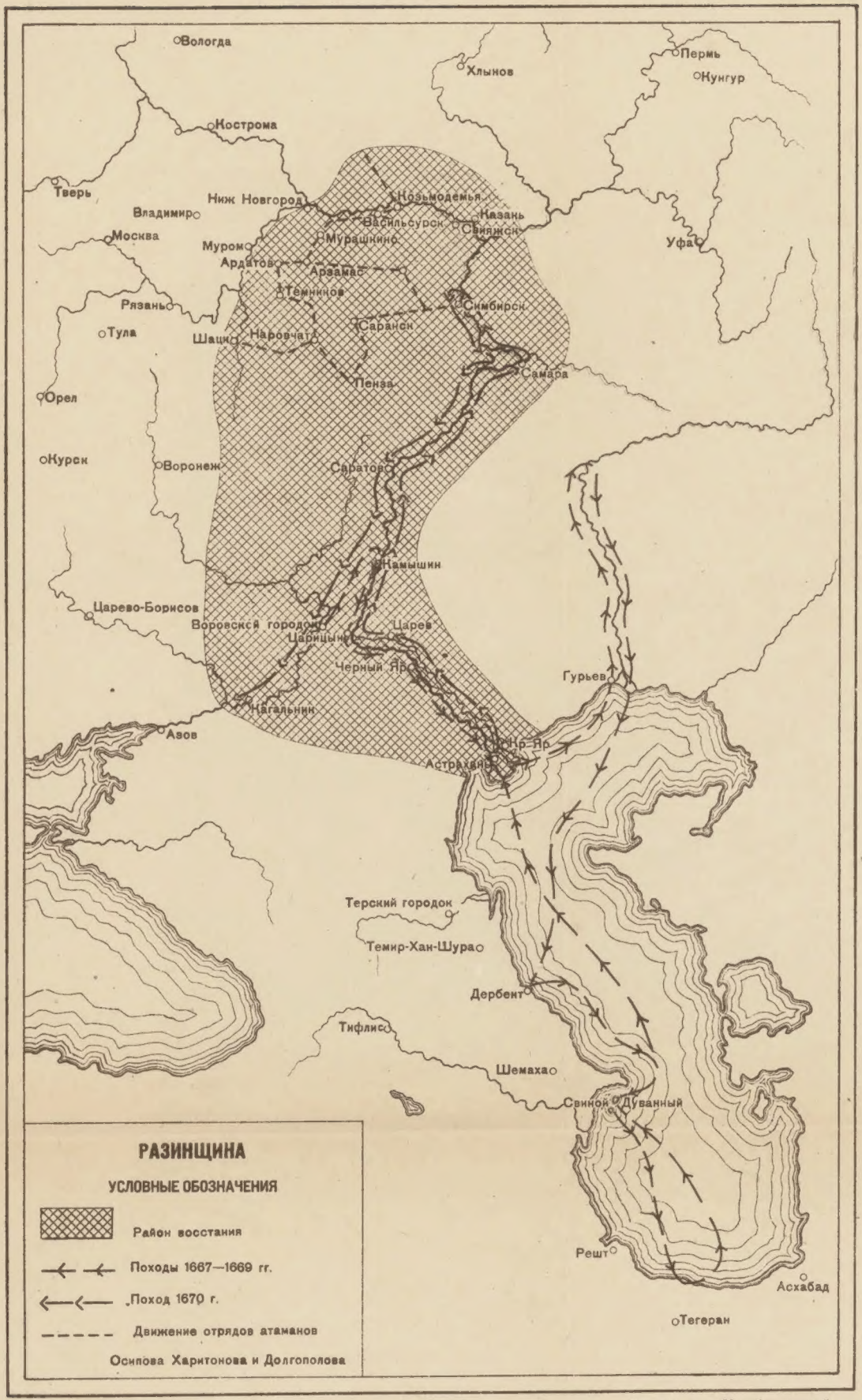
Главлит № Б-32535 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. лит: Мособлполиграф

# ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА

● Псков — Пункты восстания

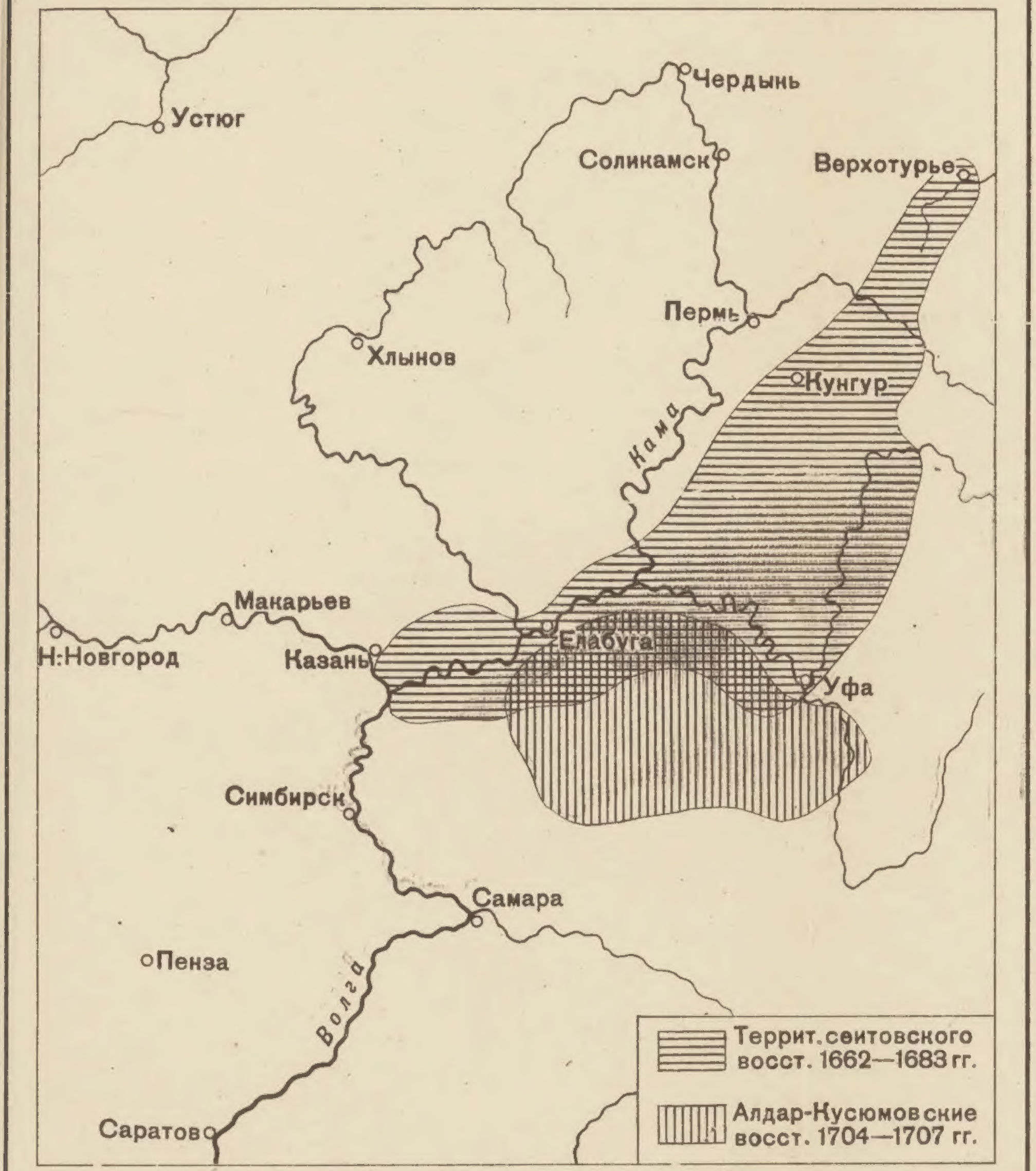
Архангельск
Карголполь
Усть Сысольск
Сольвычегодск
Чердынь
1648
Верхотурье
Устюг Великий
9/VII 1648
Соликамск
1648
Хлынов
Новгород
1648 и 1650
Ярославль
Псков
27/II – 21/VIII 1650
Тверь
Владимир
Казань
Н Новгород
Москва
2/VI – 29/VIII 1648
Вильна
Смоленск
Минск
Калуга
Рязань
Тула
Симбирск
Самара
Орел
Козлов
11/VI 1648
Черниговъ
Курск
5/VI 1648
Воронеж
26/VI 1648
Саратов
Киев
Чугуев
VIII 1648
Царицын
Астрахань

Главлит № Б-32535 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. лит. Мособлполиграф




Главлит № Б-32535 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. лит. Мособлполиграф

# ВОССТАНИЯ НАЦИОНАЛОВ В XVII И В ПЕРВ. ЧЕТВ. XVIII ВЕКА




Главлит № Б-32535 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. лит. Мособлполиграф

# БУЛАВИНЩИНА

Районы восстания

Осажденные города

Взятые города

Вологда
Хлынов
Кострома
Ярославль
Тверь
Ростов
Владимир
Нижний Новгород
Казань
Москва
Серпухов
Смоленск
Калуга
Рязань
Симбирск
Тула
Брянск
Пенза
Самара
Орел
Тамбов
Воронеж
Чернигов
Курск
Путивль
Саратов
Оскол
Киев
Лебедин
Валуйки
Переяславль
Харьков
Миргород
Полтава
Камышин
Чигирин
Царицын
Черный Яр
Черкасы
Азов
Астрахань
Бахчисарай

Главлит № Б-32535 Тираж 40000. Изд. СОЦЭКГИЗ 2-я гос. лит. Мособлполиграф